

4 | Звѣнор АСТАФЬЕВ

4 | Звѣнор АСТАФЬЕВ

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений в пятнадцати томах

**КРАСНОЯРСК
«ОФСЕТ»
1997**

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

•
Том
четвертый

•
ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН

Повесть
в рассказах

КНИГА ПЕРВАЯ
КНИГА ВТОРАЯ

КРАСНОЯРСК
«ОФСЕТ»
1997

Художественное оформление
А. Озеревской, А. Яковлева

Астафьев В. П.

А91 Собрание сочинений: В 15 т. Т. 4. Последний поклон: Повесть в рассказах. Кн. 1, 2. — Красноярск: ПИК «Офсет», 1997. 464 с.

В четвертый том собрания сочинений В. П. Астафьева вошли первая и вторая книги его лирической повести в рассказах «Последний поклон». Из отдельных рассказов о сибирском детстве, написанных в 60-х годах, сложилась повесть, состоящая первоначально из одной книги, вышедшей в Перми в 1968 году. Позднее В. П. Астафьев неоднократно возвращался к своим истокам, уже в Москве повесть вышла в составе двух, а затем и трех книг. Произведение это явилось своеобразной поэтической летописью жизни сибирской деревни, начиная с 20-х годов и до наших дней.

© В. Астафьев, 1997

© А. Озеревская, А. Яковлев.

Оформление, 1997

© Производственно-издательский комбинат «Офсет», 1997

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН



Повесть
в рассказах



Пой, скворушка,
Гори, моя лучина.
Свети, звезда, над пугником в степи.

Ал. Домнин

**КНИГА
ПЕРВАЯ**



ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ СКАЗКА

На задворках нашего села среди травянистой поляны стояло на сваях длинное бревенчатое помещение с подшивом из досок. Оно называлось «мангазина», к которой примыкала также завозня, — сюда крестьяне нашего села свозили артельный инвентарь и семена, называлось это «общественным фондом». Если сгорит дом, если сгорит даже все село, семена будут целы и, значит, люди будут жить, потому что, покудова есть семена, есть пашня, в которую можно бросить их и вырастить хлеб, он крестьянин, хозяин, а не нищеврод.

Поодаль от завозни — караулка. Прижалась она под каменной осыпью, в заветрии и вечной тени. Над караулкой, высоко на увале, росли лиственницы и сосны. Сзади нее выкуривался из камней синим дымком ключ. Он растекался по подножию увала, обозначая себя густой осокой и цветами таволги в летнюю пору, зимой — тихим парком из-под снега и куржаком по наползавшим с увалов кустарникам.

В караулке было два окна: одно подле двери и одно сбоку в сторону села. То окно, что к селу, затянуло расплодившимися от ключа черемушником, жалицей, хмелем и разной дурпиной. Крыши у караулки не было. Хмель запеленал ее так, что напоминала она одноглазую косматую голову. Из хмеля торчало трубой опрокинутое ведро, дверь открывалась сразу же на улицу и стряхивала капли дождя, шишки хмеля, ягоды черемухи, снег и сосульки в зависимости от времени года и погоды.

Жил в караулке Вася-поляк. Роста он был небольшо-

го, хром на одну ногу, и у него были очки. Единственный человек в селе, у которого были очки. Они вызывали пугливую учтивость не только у нас, ребятишек, но и у взрослых.

Жил Вася тихо-мирно, зла никому не причинял, но редко кто заходил к нему. Лишь самые отчаянные ребятишки украдкой заглядывали в окно караулки и никого не могли разглядеть, но пугались все же чего-то и с воплями убегали прочь.

У завозни же ребятишки толкались с ранней весны и до осени: играли в прятки, заползали на брюхе под бревенчатый въезд к воротам завозни либо хоронились под высоким полом за сваями, и еще в сусеках прятались; рубились в бабки, в чикю. Тес подшива был избит панками — битыми, налитыми свищом. При ударах, гулко отдававшихся под сводами завозни, внутри нее вспыхивал воробьиный переполох.

Здесь, возле завозни, я был приобщен к труду — крутил по очереди с ребятишками веялку и здесь же в первый раз в жизни услышал музыку — скрипку...

На скрипке редко, очень, правда, редко, играл Вася-поляк, тот загадочный, не из мира сего человек, который обязательно приходит в жизнь каждого парнишки, каждой девчонки и остается в памяти навсегда. Такому таинственному человеку вроде и полагалось жить в избушке на курьих ножках, в морхлом месте, под увалом, и чтобы огонек в ней едва теплился, и чтобы над трубою ночами по-пяпному хохотал филин, и чтобы за избушкой дымился ключ, и чтобы никто-шкто не знал, что делается в избушке и о чем думает хозяин.

Помню, пришел Вася однажды к бабушке и что-то спросил у нее. Бабушка посадила Васю пить чай, принесла сухой травы и стала заваривать ее в чугунке. Она жалостно поглядывала на Васю и протяжно вздыхала.

Вася пил чай не по-нашему, не вприкуску и не из блюдца, прямо из стакана пил, чайную ложку выкладывал на блюдце и не ронял ее на пол. Очки его грозно посверкивали, стриженная голова казалась маленькой, с брюковку. По черной бороде полоснуло сединой. И весь он будто присолен, и крупная соль иссушила его.

Ел Вася стеснительно, выпил лишь один стакан чаю и, сколько бабушка его ни уговаривала, есть больше ничего не стал, церемонно откланялся и унес в одной руке гли-

няную кринку с наваром из травы, в другой — черемуховую палку.

— Господи, Господи! — вздохнула бабушка, прикрывая за Васей дверь. — Доля ты тяжкая... Слепнет человек. Вечером я услышал Василину скрипку.

Была ранняя осень. Ворота завозни распахнуты настежь. В них гулял сквозняк, шевелил стружки в отремонтированных для зерна сусеках. Запахом прогорклого, затхлого зерна тянуло в ворота. Стайка ребятишек, не взятых на пашню из-за малолетства, играла в сыщиков-разбойников. Игра шла вяло и вскоре совсем затухла. Осенью, не то что весной, как-то плохо играет. Один по одному разбрелись ребятишки по домам, а я растянулся на прогретом бревенчатом въезде и стал выдергивать проросшие в щелях зерна. Ждал, когда загремят телеги на увале, чтобы перехватить наших с пашни, прокатиться домой, а там, глядишь, коня сводить на водопой дадут.

За Енисеем, за Караульным быком, затемнело. В распадке речки Караулки, просыпаясь, мигнула раз-другой крупная звезда и стала светиться. Была она похожа на шишку репья. За увалами, над вершинами гор, упрямо, не по-осеннему тлела полоска зари. Но вот на нее скоротечно наплыла темнота. Зарю притворило, будто светящееся окно ставнями. До утра.

Сделалось тихо и одиноко. Караулки не видно. Она скрывалась в тени горы, сливалась с темнотою, и только зажелтевшие листья чуть отсвечивали под горой, в углублении, вымытом ключом. Из-за тени начали выкруживать летучие мыши, попискивать надо мною, залетать в распахнутые ворота завозни, мух там и ночных бабочек ловить, не иначе.

Я боялся громко дышать, втиснулся в зауголок завозни. По увалу, над Василиной избушкой, загрохотали телеги, застучали копыта: люди возвращались с полей, с заимок, с работы, но я так и не решился отклеиться от шершавых бревен, так и не мог одолеть накатившего на меня парализующего страха. На селе засветились окна. К Енисею потянулись дымы из труб. В зарослях Фокинской речки кто-то искал корову и то звал ее ласковым голосом, то ругал последними словами.

В небо, рядом с той звездой, что все еще одиноко светилась над Караульной речкой, кто-то зашвырнул отрывок луны, и она, словно обкусанная половинка яблока, никуда не катилась, бескорая, сиротская, зябко стекленела,

и от нее стекленело все вокруг. Он завозни упала тень на всю поляну, и от меня тоже упала тень, узкая и носатая.

За Фокинской речкой — рукой подать — забелели кресты на кладбище, скрипнуло что-то в завозне — холод пополз под рубаху, по спине, под кожу, к сердцу. Я уже оперся руками о бревна, чтобы разом оттолкнуться, полететь до самых ворот и забренчать щеколдой так, что проснутыя на селе все собаки.

Но из-под увала, из сплетений хмеля и черемух, из глубокого нутра земли возникла музыка и пригвоздила меня к стене.

Сделалось еще страшнее: слева кладбище, спереди увал с избушкой, справа жуткое займище за селом, где валяется много белых костей и где давно еще, бабушка говорила, задавился человек, сзади темная завозня, за нею село, огороды, охваченные чертополохом, издали похожим на черные клубы дыма.

Один я, один, кругом жуть такая, и еще музыка — скрипка. Совсем-совсем одинокая скрипка. И не грозитя она вовсе. Жалуетя. И совсем ничего нет жуткого. И бояться нечего. Дурак-дурачок! Разве музыки можно бояться? Дурак-дурачок, не слушал никогда один-то, вот и...

Музыка льется тише, прозрачней, слышу я, и у меня отпускает сердце. И не музыка это, а ключ течет из-под горы. Кто-то припал к воде губами, пьет, пьет и не может напиться — так иссохло у него во рту и внутри.

Видитя почему-то тихий в ночи Енисей, на нем плот с огоньком. С плота кричит неведомый человек: «Какая деревня-а-а?» — Зачем? Куда он плывет? И еще обоз на Енисее видитя, длинный, скрипучий. Он тоже уходит куда-то. Сбоку обоза бегут собаки. Кони идут медленно, дремотно. И еще видитя толпа на берегу Енисея, мокрое что-то, замытое тиной, деревенский люд по всему берегу, бабушка, на голове волосья рвущая.

Музыка эта сказывает о печальном, о болезни вот о моей говорит, как я целое лето малярией болел, как мне было страшно, когда я перестал слышать и думал, что навсегда буду глухим, вроде Алешки, двоюродного моего брата, и как являлась ко мне в лихорадочном сне мама, прикладывала холодную руку с синими ногтями ко лбу. Я кричал и не слышал своего крика.

В избе всю ночь горела привернутая лампа, бабушка показывала мне углы, светила лампой под печью, под кроватью, мол, никого нету.

Еще вот девочку помню, беленькую, смешливую, рука у нее сохнет. Обозники в город ее везли лечить.

И опять обоз возник.

Все он идет куда-то, идет, скрывается в студеных торо-росах, в морозном тумане. Лошади все меньше, меньше, вот и последнюю скрал туман. Одиноко, как-то пусто, лед, стужа и неподвижные темные скалы с неподвижными лесами.

Но не стало Енисея, ни зимнего, ни летнего; снова забилась живая жилка ключа за Васиной избушкой. Ключ начал полнеть, и не один уж ключ, два, три, грозный уже поток хлещет из скалы, катит камни, ломает деревья, выворачивает их с корнями, несет, крутит. Вот-вот сметет он избушку под горой, смоег завозню и обрушит все с гор. В небе ударят громы, сверкнут молнии, от них вспыхнут таинственные цветы паноротника. От цветов зажжется лес, зажжется земля, и не залить уже будет этот огонь даже Енисеем — ничем не остановить страшную такую бурю!

«Да что же это такое?! Где-же люди-то? Чего же они смотрят?! Связали бы Васю-то!»

Но скрипка сама все потушила. Снова тоскует один человек, снова чего-то жаль, снова едет кто-то куда-то, может, обозом, может, на плоту, может, и пешком идет в дали дальние.

Мир не сторел, ничего не обрушилось. Все на месте. Луна со звездой на месте. Село, уже без огней, на месте, кладбище в вечном молчании и покое, караулка под увалом, обьятая отгорающими черемухами и тихой струной скрипки.

Все-все на месте. Только сердце мое, занявшееся от горя и восторга, как встрепенулось, как подпрыгнуло, так и бьется у горла, раненное на всю жизнь музыкой.

О чем же это рассказывала мне музыка? Про обоз? Про мертвую маму? Про девочку, у которой сохнет рука? На что она жаловалась? На кого гневалась? Почему так тревожно и горько мне? Почему жалко самого себя? И тех вон жалко, что спят непробудным сном на кладбище. Среди них под бугром лежит моя мама, рядом с нею две сестренки, которых я даже не видел: они жили до меня, жили мало, — и мать ушла к ним, оставила меня одного на этом свете, где высоко бьется в окно нарядной траурницей чье-то сердце.

Музыка кончилась неожиданно, точно кто-то опустил

властную руку на плечо скрипача: «Ну, хватит!» На полуслове смолкла скрипка, смолкла, не выкрикнув, а выдохнув боль. Но уже, помимо нее, по своей воле другая какая-то скрипка взвивалась выше, выше и замирающей болью, затиснутым в зубы стоном оборвалась в поднебесье...

Долго сидел я в уголочке завозни, слизывая крупные слезы, кагившиеся на губы. Не было сил подняться и уйти. Мне хотелось тут, в темном уголке, возле шершавых бревен, умереть всеми заброшенным и забытым. Скрипки не было слышно, свет в Васиной избушке не горел. «Уж не умер ли Вася-то?» — подумал я и осторожно пробрался к караулке. Ноги мои вязнули в холодном и вязком черноземе, размоченном ключом. Лица моего коснулись цепкие, всегда студеные листья хмеля, над головой сухо зашелестели шишки, пахнущие ключевой водою. Я приподнял пависшие над окошком перевитые бечевки хмеля и заглянул в окно. Чуть мерцая, топилась в избушке прогоревшая железная печка. Колеблющимся светом она обозначала столик у стены, топчан в углу. На топчане полулежал Вася, прикрывши глаза левой рукой. Очки его кверху лапками валялись на столе и то вспыхивали, то гасли. На груди Васи покоилась скрипка, длинная палочка-смычок была зажата в правой руке.

Я тихонько приоткрыл дверь, шагнул в караулку. После того как Вася пил у нас чай, в особенности после музыки, не так страшно было сюда заходить.

Я сел на порог, не отрываясь глядел на руку, в которой зажата была гладкая палочка.

— Сыграйте, дяденька, еще.

— Что тебе, мальчик, сыграть?

По голосу я угадал: Вася нисколько не удивился тому, что кто-то здесь есть, кто-то пришел.

— Что хотите, дяденька.

Вася сел на топчане, повертел деревянные штыречки скрипки, потрогал смычком струны.

— Подбрось дров в печку.

Я исполнил его просьбу. Вася ждал, не шевелился. В печке щелкнуло раз, другой, прогоревшие бока ее обозначились красными корешками и травинками, качнулся отблеск огня, пал на Васю. Он вскинул к плечу скрипку и заиграл.

Прошло немалое время, пока я узнал музыку. Та же самая была она, какую слышал я у завозни, и в то же

время совсем другая. Мягче, добрее, тревога и боль только угадывались в ней, скрипка уже не стонала, не сочилась ее душа кровью, не бушевал огонь вокруг и не рушились камни.

Трепетал и трепетал огонек в печке, но, может, там, за избушкой, на увале засветился папоротник. Говорят, если пайдешь цветок папоротника — невидимкой станешь, можешь забрать все богатства у богатых и отдать их бедным, выкрасть у Кощея Бессмертного Василису Прекрасную и вернуть ее Иванушке, можешь даже пробраться на кладбище и оживить свою родную мать.

Разгорелись дрова подсеченной сухостоины — сосны, накалилось до лиловости колено трубы, запахло раскаленным деревом, вскипевшей смолой на потолке. Избушка наполнилась жаром и грузным красным светом. Поплясывал огонь, весело прищелкивала разогнавшаяся печка, выстреливая на ходу крупные искры.

Тень музыканта, сломанная у поясницы, металась по избушке, вытягивалась по стене, становилась прозрачной, будто отражение в воде, потом тень отдалялась в угол, исчезала в нем, и тогда там обозначался живой музыкант, живой Вася-поляк. Рубаха на нем была расстегнута, ноги босы, глаза в темных обводах. Щекою Вася лежал на скрипке, и мне казалось, так ему покойней, удобней и слышит он в скрипке такое, чего мне никогда не услышать.

Когда притухала печка, я радовался, что не мог видеть Васиного лица, бледной ключицы, выступившей из-под рубахи, и правой ноги, кургузой, куцей, будто обкусанной щипцами, глаз, плотно, до боли затиснутых в черные ямки глазниц. Должно быть, глаза Васи боялись даже такого малого света, какой выплескивался из печки.

В полутьме я старался глядеть только на вздрагивающий, мечущийся или плавно скользящий смычок, на гибкую, мерно раскачивающуюся вместе со скрипкой тень. И тогда Вася снова начинал представляться мне чем-то вроде волшебника из далекой сказки, а не одиноким калекою, до которого никому нет дела. Я так засмотрелся, так заслушался, что вздрогнул, когда Вася заговорил.

— Эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого. — Вася думал вслух, не переставая играть. — Если у человека нет матери, нет отца, но есть родина, — он еще не сирота. — Какое-то время Вася думал про себя. Я ждал. — Все проходит: любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от рап проходит, но никогда-никогда не проходит и не гаснет тоска по родине...

Скрипка снова тронула те самые струны, что накалились при давешней игре и еще не остыли. Рука Васина снова содрогнулась от боли, но тут же смирилась, пальцы, собранные в кулак, разжались.

— Эту музыку написал мой земляк Огинский в корчме — так называется у нас заезжий дом, — продолжал Вася. — Написал на границе, прощаясь с родиной. Он посылал ей последний привет. Давно уже нет композитора на свете. Но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто не мог отнять, жива до сих пор.

Вася замолчал, говорила скрипка, пела скрипка, угасала скрипка. Голос ее становился тише, тише, он растягивался в темноте тонкосенькой светлой паутинкой. Паутинка задрожала, качнулась и почти беззвучно оборвалась.

Я убрал руку от горла и выдохнул тот вдох, который удерживал грудью, рукой, оттого что боялся оборвать светлую паутинку. Но все равно она оборвалась. Печка потухла. Слаясь, засыпали в ней угли. Васи не видно. Скрипки не слышно.

Тишь. Темень. Грусть.

— Уже поздно, — сказал Вася из темноты. — Иди домой. Бабушка будет беспокоиться.

Я привстал с порога и, если бы не схватился за деревянную скобу, упал бы. Ноги были все в иголках и как будто вовсе не мои.

— Спасибо вам, дяденька, — прошептал я.

Вася шевельнулся в углу и рассмеялся смущенно или спросил «За что?».

— Я не знаю, за что...

И выскочил из избушки. Растроганными слезами благодарил я Васю, этот мир ночной, спящее село, спящий за ним лес. Мне даже мимо кладбища не страшно было идти. Ничего сейчас не страшно. В эти минуты не было вокруг меня зла. Мир был добр и одинок — ничего, ничего дурного в нем не умещалось.

Доверяясь доброте, разлитой слабым небесным светом по всему селу и по всей земле, я зашел на кладбище, постоял на могиле матери.

— Мама, это я. Я забыл тебя, и ты мне больше не снишься.

Опустившись на землю, я припал ухом к холмику. Мать не отвечала. Все было тихо на земле и в земле. Маленькая рябина, посаженная мной и бабушкой, нароняла остроперых крылышек на мамин бугорок. У соседних могил

березы распустили нити с желтым листом до самой земли. На вершинах берез листа уже не было, и голые прутья исполосовали огрызок луны, висевший теперь над самым кладбищем. Все было тихо. Роса проступила на траве. Стояло полное безветрие. Потом с увалов ощутимо потянуло знобким холодком. Гуще потекли с берез листья. Роса стекленела на траве. Ноги мои застыли от ломкой росы, один лист закатился под рубаху, сделалось знобко, и я побрел с кладбища в темные улицы села меж спящих домов к Енисею.

Мне отчего-то не хотелось домой.

Не знаю, сколько я просидел на крутом яру по-над Енисеем. Он шумел у займища, на каменных бычках. Вода, сбитая с плавного хода бычками, вязалась в узлы, грузно переваливалась возле берегов и кругами, воронками откатывалась к стрежню. Непокойная папа река. Какое-то силы вечно тревожат ее, в вечной борьбе она сама с собой и со скалами, сдавившими ее с обеих сторон.

Но эта ее беспокойность, это ее древнее буйство не возбуждали, а успокаивали меня. Оттого, наверно, что была осень, луна над головой, скалистая от росы трава и крапива по берегам, вовсе не похожая на дурман, скорее на какие-то расчудесные растения; и еще оттого, наверно, что во мне звучала Васина музыка о неистребимой любви к родине. А Енисей, не спящий даже ночью, крутолобый бык на той стороне, пилка еловых вершин над дальним перевалом, молчаливое село за моей спишой, кузнечик, из последних сил работающий наперекор осени в крапиве, вроде бы один он во всем мире, трава, как бы отлитая из мегалла, — это и была моя родина, близкая и тревожная.

Глухой ночью возвратился я домой. Бабушка, должно быть, по лицу моему угадала, что в душе моей что-то свершилось, и не стала меня бранить.

— Ты где так долго? — только и спросила она. — Ужин на столе, ешь и ложись.

— Баба, я слышал скрипку.

— А-а, — отозвалась бабушка, — Вася-поляк чужое, батюшко, играет, непонятное. От его музыки бабы плачут, а мужики напиваются и буйствуют...

— А кто он?

— Вася-то? Да кто? — зевнула бабушка. — Человек. Спал бы ты. Мне рано к корове подыматься. — Но она знала, что я все равно не отстану: — Иди ко мне, лезь под одеяло.

Я прижался к бабушке.

— Студеный-то какой! И ноги мокрущие! Опять болеть будут. — Бабушка подоткнула под меня одеяло, погладила по голове. — Вася — человек без роду-племени. Отец и мать у него были из далекой державы — Польши. Люди там говорят не по-нашему, молятся не как мы. Царь у них королем называется. Землю польскую захватил русский царь, чего-то они с королем не поделили... Ты спишь?

— Не-е.

— Спал бы. Мне ведь вставать с петухами. — Бабушка, чтобы скорее отвязаться от меня, бегом рассказала, что в земле этой далекой взбунтовались люди против русского царя, и их к нам, в Сибирь, сослали. Родители Васи тоже были сюда пригнаны. Вася родился на подводе, под тулупом конвоира. И зовут его вовсе не Вася, а Стася — Станислав по-ихнему. Это уж наши, деревенские, переименовали. — Ты спишь? — снова спросила бабушка.

— Не-е.

— А, чтоб тебе! Ну, умерли Васины родители. Помялись, помялись на чужой стороне и померли. Сперва мать, потом отец. Видел большой такой черный крест и могилу с цветками? Ихняя могила. Вася бережет ее, ухаживает пуще, чем за собой. А сам-то состарился уж, когда — не заметили. О Господи, прости, и мы не молоды! Так вот и прожил Вася около мангазины, в сторожах. На войну не брали. У него еще у мокренского младенца нога ознобилась на подводе... Так вот и живет... помирать скоро... И мы тоже...

Бабушка говорила все тише, невнятной и отошла ко сну со вздохом. Я не тревожил ее. Лежал, думал, пытаюсь постигнуть человеческую жизнь, но у меня ничего из этой затеи не получалось.

Несколько лет спустя после той памятной ночи мангазину перестали использовать, потому что построен был в городе элеватор, и в мангазинах исчезла надобность. Вася остался не у дел. Да и ослеп он к той поре окончательно и сторожем быть уже не мог. Какое-то время он еще собирал милостыню по селу, но потом и ходить не смог, тогда бабушка моя и другие старухи стали носить еду в Васину избушку.

Однажды бабушка пришла озабоченная, выставила швейную машину и принялась шить сатиновую рубаху,

штаны без прорехи, наволочку с завязками и простыню без шва посредине — так шьют для покойников.

Заходили люди, сдержанными голосами разговаривали с бабушкой. До меня донеслось раз-другой «Вася», и я помчался к караулке.

Дверь ее была распахнута. Подле избушки толпился народ. Люди заходили в нее без шапок и выходили оттуда вздыхая, с кроткими, опечаленными лицами.

Васю вынесли в маленьком, словно бы мальчишеском гробу. Лицо покойного было прикрыто полотном. Цветов в домовине не было, венков люди не несли. За гробом тащилось несколько старух, никто не голосил. Все свершалось в деловом молчании. Темнолицая старуха, бывшая староста церкви, на ходу читала молитвы и косила холодным зраком на заброшенную, с упавшими воротами, сорванными с крыши тесинами мангазину и осуждающе трясла головою.

Я зашел в караулку. Железная печка с середины была убрана. В потолке холодела дыра, по свесившимся корням травы и хмеля в нее падали капли. На полу разбросаны стружки. Старая нехитрая постель была закатана в изголовье нар. Валялись под нарами сторожевая колотушка, метла, топор, лопата. На окошке, за столешницей, виднелась глиняная миска, деревянная кружка с отломленной ручкой, ложка, гребень и отчего-то не замеченный мною сразу шкалик с водой. В нем ветка черемухи с набухшими и уже лопнувшими почками. Со столешницы сиротливо глядели на меня пустыми стеклами очки.

«А где скрипка-то?» — вспомнил я, глядя на очки. И тут же увидел ее. Скрипка висела над изголовьем нар. Я сузил очки в карман, снял скрипку со стены и бросился догонять похоронную процессию.

Мужики с домовиной и старухи, бредущие кучкой следом за нею, перешли по бревнам Фокинскую речку, захмелевшую от весеннего половодья, поднимались к кладбищу по косогору, подернутому зеленым туманчиком очнувшейся травы.

Я потянул бабушку за рукав и показал ей скрипку, смычок. Бабушка строго нахмурилась и отвернулась от меня. Затем сделала шаг шире и зашептала с темнолицей старухой:

— Расходы... накладно... сельсовет-то не больно...

Я уже умел кое-что соображать и догадался, что старуха хочет продать скрипку, чтобы возместить похоронные

расходы, уцепился за бабушкин рукав и, когда мы отстали, мрачно спросил:

— Скрипка чья?

— Васина, батюшко, Васина, — бабушка отвела от меня глаза и уставилась в спину темнолицей старухи. — В доловину-то... Сам!.. — наклонилась ко мне и быстро шепнула бабушка, прибавляя шагу.

Перед тем, как люди собрались накрывать Васю крышкой, я протиснулся вперед и, ни слова не говоря, положил ему на грудь скрипку и смычок, на скрипку бросил несколько живых цветочков мать-мачехи, сорванных мною у моста-перекидыша.

Никто ничего не посмел мне сказать, только старуха богомолка пронзила меня острым взглядом и тут же, воздев глаза к небу, закрестилась: «Помилуй, Господи, душу усопшего Станислава и родителей его, прости их согрешения вольные и невольные...»

Я следил, как заколачивали гроб — крепко ли? Первый бросил горсть земли в могилу Васи, будто ближний его родственник, а после того, как люди разобрали свои лопаты, полотенца и разбрелись по тропинкам кладбища, чтобы омочить скопившимися слезами могилы родных, долго сидел возле Васиной могилы, разминая пальцами комочки земли, чего-то ждал. И знал, что уж ничего не дожидаться, но все равно подняться и уйти не было сил и желания.

За одно лето сопрела пустая Васина караулка. Обвалился потолок, приплюснул, вдавил избушку в гущу жалицы, хмеля и чернобыльника. Из бурьяна долго торчали сгнившие бревешки, но и они постепенно покрылись дурманом; ниточка ключа пробила себе новое русло и потекла по тому месту, где стояла избушка. Но и ключ скоро начал хиреть, а в засушливое лето тридцать третьего года вовсе иссох. И сразу начали вянуть черемухи, выродился хмель, упялась и разнотравная дурнина.

Ушел человек, и жизнь в этом месте остановилась.

Но деревня-то жила, подрастали ребятишки, на смену тем, кто уходил с земли. Пока Вася-поляк был жив, односельчане относились к нему по-разному: иные не замечали его, как лишнего человека, иные даже и поддразнивали, пугали им ребятишек, иные жалели убогого человека. Но вот помер Вася-поляк, и селу стало чего-то недоста-

вать. Непонятная виноватость одолела людей, и не было уж такого дома, такой семьи в селе, где бы не помянули его добрым словом в родительский день и в другие тихие праздники, и оказалось, что в незаметной жизни был Вася-поляк вроде праведника и помогал людям смиренностью, почтительностью быть лучше, добрей друг к другу.

В войну какой-то лиходея начал воровать с деревенского кладбища кресты на дрова, первым унес он грубо тесанный листовичный крест с могилы Васи-поляка. И могила его утерялась, но не исчезла о нем память. По сей день женщины нашего села нет-нет да и вспомнят его с печальным долгим вздохом, и чувствуются, что вспоминать им его и благостно, и горько.

Последней военной осенью я стоял на посту возле пушек в небольшом, разбитом польском городе. Это был первый иностранный город, который я видел в своей жизни. Он ничем не отличался от разрушенных городов России. И пахло в нем так же: гарью, трупами, пылью. Меж изуродованных домов по улицам, заваленным ломью, кружило листву, бумагу, сажу. Над городом мрачно стоял купол пожара. Он слабел, опускался к домам, проваливался в улицы и переулки, дробился на усталые кострища. Но раздавался долгий, глухой взрыв, купол подбрасывало в темное небо, и все вокруг озарялось тяжелым багровым светом. Листья с деревьев срывало, кружило жаром вверх, и там они истлевали.

На горящие развалины то и дело обрушивался артиллерийский или минометный налет, нудили в высоте самолеты, неровно вычерчивали линию фронта немецкие ракеты за городом, искрами осыпаясь из темноты в бушующий огненный котел, где корчилось в последних судорогах человеческое прибежище.

Мне чудилось — я один в этом догорающем городе и ничего живого не осталось на земле. Это ощущение постоянно бывает в ночи, но особенно гнетуще оно при виде разора и смерти. Но я-то узнал, что совсем неподалеку — только перескочить через зеленую изгородь, обжаленную огнем, — в пустой избе спят наши расчеты, и это темного меня успокаивало.

Днем мы заняли город, а к вечеру откуда-то, словно из-под земли, начали появляться люди с узлами, с чемоданами, с тележками, чаще с ребятишками на руках. Они

плакали у развалин, выгаскивали что-то из пожарищ. Ночь укрыла бездомных людей с их горем и страданиями. И только пожары укрыть не смогла.

Неожиданно в доме, стоявшем через улицу от меня, разлились звуки органа. От дома этого при бомбежке отвалился угол, обнажив стены с нарисованными на них сухощековыми святыми и мадоннами, глядящими сквозь копоть голубыми скорбными глазами. До потемок глазели эти святые и мадонны на меня. Неловко мне было за себя, за людей, под укоряющими взглядами святых, и ночью нег-нег да выхватывало отблесками пожаров лики с поврежденными головами на длинных шеях.

Я сидел на лафете пушки с зажатым в коленях карабином и покачивал головой, слушая одинокий среди войны орган. Когда-то, после того как я послушал скрипку, мне хотелось умереть от непонятной печали и восторга. Глупый был. Малый был. Я так много увидел потом смертей, что не было для меня более ненавистного, проклятого слова, чем «смерть». И потому, должно быть, музыка, которую я слушал в детстве, переломилась во мне, и то, что пугало в детстве, было вовсе и не страшно, жизнь припасла для нас такие ужасы, такие страхи...

Да-а, музыка та же, и я вроде бы тот же, и горло мое сдавило, стиснуло, но нег слез, нег детского восторга и жалости чистой, детской жалости. Музыка разворачивала душу, как огонь войны разворачивал дома, обнажая то святых на стене, то кровать, то качалку, то рояль, то тряпки бедняка, убогое жилище нищего, скрытые от глаз людских — бедность и святость, — все-все обнажилось, со всего сорваны одежды, все подвергнуто унижению, все вывернуто грязной изнанкой, и оттого-то, видимо, старая музыка повернулась иной ко мне стороною, звучала древним боевым кличем, звала куда-то, заставляла что-то делать, чтобы потухли эти пожары, чтобы люди не жались к горящим развалинам, чтобы зашли они в свой дом, под крышу, к близким и любимым, чтобы небо, вечное наше небо, не подбрасывало взрывами и не сжигало адовым огнем.

Музыка гремела над городом, глушила разрывы снарядов, гул самолетов, треск и шорох горящих деревьев. Музыка властвовала над оцепелелыми развалинами, та самая музыка, какую, словно вздох родной земли, хранил в сердце человек, который никогда не видел своей родины, по всю жизнь тосковал о ней.

ЗОРЬКИНА ПЕСНЯ

Бабушка разбудила меня рано утром, и мы пошли на ближний увал по землянику. Огород наш упирался дальним пряслом в увал. Через жерди переваливались ветви берез, осин, сосен, одна черемушка катнула под городьбу ягоду, и та взошла прутиком, разрослась на меже среди крапивы и конопляника. Черемушку не срубали, и на ней птички вили гнезда.

Деревня еще тихо спала. Ставни на окнах были закрыты, не топились еще печи, и пастух не выгонял неповоротливых коров за поскотину, на приречный луг.

А по лугу стелился туман, и была от него мокра трава, никли долу цветы куриной слепоты, ромашки приморщили белые ресницы на желтых зрачках.

Енисей тоже был в тумане, скалы на другом берегу, будто подкуренные густым дымом снизу, отдаленно проступали вершинами в поднебесье и словно плыли встреч течению реки.

Неслышная дном, вдруг обнаружила себя Фокинская речка, пересекающая село напополам. Тихо пробежавши мимо кладбища, она начинала гуркотать, плескаться и картова наговаривать на перекатах. И чем дальше, тем смелей и говорливей делалась, измученная скотом, ребятишками и всяким другим народом, речка: из нее брали воду на поливку гряд, в баню, на питье, на варево и парево, бродили по ней, валили в нее всякий хлам, а она как-то умела и резвость, и светлость свою сберечь.

Вот и наговаривает, наговаривает сама с собой,

довольная тем, что пока ее не мутят и не баламутят. Но говор ее внезапно оборвался — прибежала речка к Енисею, споткнулась о его большую воду и, как слишком уж расшумевшееся дитя, пристыженно смолкла. Тонкой волосинкой вплеталась речка в круглые, седоватые валы Енисея, и голос ее сливался с тысячами других речных голосов, и, капля по капле накопив силу, грозно гремела река на порогах, пробивая путь к студеному морю, и растягивал Енисей светлую ниточку деревенской незатейливой речки на многие тысячи верст, и как бы живою жилой деревня наша всегда была соединена с огромной землей.

Кто-то собирался плыть в город и сколачивал салик на Енисее. Звук топора возникал на берегу, пронесился по верху, минуя спящее село, ударялся о каменные обрывы увалов и, повторившись под ними, рассыпался многозхо по распадкам.

Сначала бабушка, а за нею я пролезли меж мокрых от росы жердей и пошли по распадку вверх на увалы. Весной по этому распадку рокотал ручей, гнал талый снег, лесной хлам и камни в наш огород, но летом утихомирился, и бурный его путь обозначился до блеска промытым камешником.

В распадке уютно дремал туман, и было так тихо, что мы боялись кашлянуть. Бабушка держала меня за руку и все крепче, крепче сжимала ее, будто боялась, что я могу вдруг исчезнуть, провалиться в эту волокнисто-белую тишину. А я боязливо прижимался к ней, к моей живой и теплой бабушке. Под ногами шуршала мелкая ершистая травка. В ней желтели шляпки маслят и краснели рыхлые сыроежки.

Местами мы пригибались, чтобы пролезть под наклонившуюся сосенку, по кустам переплетались камнеломки, повилика, дедушкины кудри. Мы запутывались в питках цветов, и тогда из белых чашечек выливались мне за воротник и на голову студеные капли.

Я вздрагивал, ежился, облизывал горьковатые капли с губ, бабушка вытирала мою стриженую голову ладонью или краешком платка и с улыбкой подбадривала, уверяя, что от росы да от дождя люди растут большие-пребольшие.

Туман все плотнее прижимался к земле, волокнистой куделею затянуло село, огороды и палисадники, оставшиеся внизу. Енисей словно бы набух молочной пеною, берега и сам он заснули, успокоились под непроглядной,

шум не пропускающей мягкостью. Даже на изгибах Фокинской речки появились белые зачесы, видно сделалось, какая она вилючая.

Но светом и теплом все шире разливающегося утра тоньше и тоньше раскатывало туманы, скручивало их валами в распадах, загопяло в потайную дрему тайги.

Топор на Енисее перестал стучать. И тут же залилась, гнусаво запела на улицах березовая пастушья дуда, откликнулись ей со двора коровы, брякнули боталами, сделался слышен скрип ворот. Коровы брели по улицам села, за поскотину, то появляясь в разрывах тумана, то исчезая в нем. Тень Енисея раз-другой обнаружила себя.

Тихо умирали над рекой туманы.

А в распадах и в тайге они будут стоять до высокого солнца, которое хотя еще и не обозначило себя и было за далью гор, где стойко держались снежные беляки, ночами насылающие холод и эти вот густые туманы, что украдчиво ползли к нашему селу в сонное предутрие, по с первыми звуками, с пробуждением людей убирались в лога, ущелья, провалы речек, обращались студеными каплями и питали собой листья, травы, птах, зверушек и все живое, цветущее на земле.

Мы пробили головами устойчивый в распаде туман и, плывя вверх, брели по нему, будто по мягкой, податливой воде, медленно и бесшумно. Вот туман по грудь нам, по пояс, до колен, и вдруг навстречу из-за дальних увалов полоснуло ярким светом, празднично заискрилось, заиграло в лапках пихтача, на камнях, на валежинах, на упругих шляпках молодых маслят, в каждой травинке и былинке.

Над моей головой встрепенулась птичка, стряхнула горсть искорок и пропела звонким, чистым голосом, как будто она и не спала, будто все время была пачеку: «Тить-тить-ти-ти-ррри...».

— Что это, баба?

— Это зорькина песня.

— Как?

— Зорькина песня. Птичка зорька утро встречает, всех птиц об этом оповещает.

И правда, на голос зорьки — зорянки, ответило сразу несколько голосов — и пошло, и пошло! С неба, с сосен, с берез — отовсюду сыпались на нас искры и такие же яркие, неуловимые, смешавшиеся в единый хор птичьих голоса. Их было много, и один звонче другого, и все-таки

зорькина песня, песня народившегося утра, слышалась яснее других. Зорька улавливала какие-то мгновения, отыскивала почти незаметные щели и вставляла туда свою сыпкую, нехитрую, но такую свежую, каждое утро обновляющуюся песню.

— Зорька поет! Зорька поет! — закричал и запрыгал я.

— Зорька поет, значит, утро идет! — пропела благостным голосом бабушка, и мы поспешили навстречу утру и солнцу, медленно поднимающемуся из-за увалов. Нас провожали и встречали птичьи голоса; нам низко кланялись, обомлевшие от росы и притихшие от песен, сосенки, ели, рябины, березы и боярки.

В росистой траве загорались от солнца красные огоньки земляники. Я наклонился, взял пальцами чуть шершавую, еще только с одного бока опаленную ягодку и осторожно опустил ее в туесок. Руки мои запахли лесом, травой и этой яркой зарею, разметавшейся по всему небу.

А птицы все так же громко и многогласно славили утро, солнце, и зорькина песня, песня пробуждающегося дня, вливалась в мое сердце и звучала, звучала, звучала...

Да и по сей день неумолчно звучит.

ДЕРЕВЬЯ РАСТУТ ДЛЯ ВСЕХ

Во время половодья я заболел малярией, или, как ее по Сибири называют, веснухой. Бабушка шептала молитву от всех скорбей и недугов, брызгала меня святой водой, травами пользовала до того, что меня начало рвать, из города порошки привозили — не помогло. Тогда бабушка увела меня вверх по Фокинской речке, до сухой росохи, нашла там толстую осину, поклонилась ей и стала молиться, а я три раза повторил заученный от нее наговор: «Осица, осина, возьми мою дрожалку — трясину, дай мне леготу», — и перевязал осину своим пояском. Все было напрасно, болезнь меня не оставила. И тогда младшая бабушкина дочь, моя тетка Августа, бесшабашно заявила, что она безо всякой ворожбы меня вылечит, подкралась раз сзади и хлестанула мне за шиворот ковш ключевой воды, чтобы «выпугнуть» лихорадку. После этого меня не отпускало и ночью, а прежде накатывало по утрам до восхода и вечером после захода солнца.

Бабушка назвала тетку дурой и стала поить меня хиной. Я оглох и начал жить как бы сам в себе, сделался задумчивым и все чего-то искал. Со двора меня никуда не выпускали, в особенности к реке, так как трясуха эта проклятая «выходила на воду».

У каждого мальчишки есть свой тайный уголок в избе или во дворе, будь эта изба или двор хоть с ладошку величиной. Появился такой уголок и у меня. Я сыскал его там,

где раньше были кучей сложены старые телеги и сани, за сеновалом, в углу огорода. Здесь стеною стояла конопля, лебеда и крапива. Однажды потребовалось железо, и дед свез все старье к деревенской кузнице на распотрошенье.

На месте телег и саней коричневая земля с паутиной, мышинные норки да грибы поганки с тонкими шейми. А потом пошла трава ползунок. Поганки усохли, сморщились, шляпки с них упали. Норки заштопало корнями конопли и крапивы, сразу переползшей на незанятую землю. «Я косил» на меже огорода траву мокрицу обломком ножика и «метал стога», гнул сани и дуги из ивовых прутьев, запрягал в пих бабки-казанки и возил за сарай «копны». На ночь я выпрягал «жеребцов» и ставил к сену.

Так в уединении и деле я почти одолел хворь, но еще не различал звуков и все смотрел-смотрел, стараясь глазами не только увидеть, но и услышать.

Иногда в конопле появлялась маленькая птичка мухоловка. Она деловито ощищивалась, дружески глядела на меня, прыгала по конопляне, точно по огромному дереву, клевала мух и саранчу, открывала клюв и неслышно для меня чиликала. В дождь она сидела нахохленная под листом лопуха. Ей было очень одиноко без птенцов. Под листом лопуха у нее гнездышко. Там даже птенцы зашевелились было, но добралась до них кошка и сожрала всех до единого.

Мухоловка тихо дремала под лопухом. С листа катились и катились капли. Глаза птички затягивало слепой плешкой. Глядя на птичку, и я начинал зевать, меня пробирало ознобом, губы мои тряслись.

Я засыпал под тихий, неслышный дождь и думал о том, что хорошо бы посадить на «моей земле» дерево. Выросло бы оно большое-пребольшое, и птичка свила бы на нем гнездо. Я закопал бы плоды шипицы под деревом: — шипица — дерево ханское, платье на нем шаманское, цветы ангельски, когти дьявольски — попробуй сунься, кошка!

В один жаркий, солнечный день, когда болезнь моя утихла и мне даже стало тепло, я пошел за баню и нашел там росточек с коричневым стебельком и двумя блестящими листками. Я решил, что это боярка, выкопал и посадил за сараем. У меня появилась забота и работа. Ковшиком носил я воду из кадки и поливал саженец. Он держался хорошо, нашел силы отшатнуться от тени сеновала к свету.

«Куда это ты таскаешь воду?» — маячила мне бабушка.

«Не скажу! Секрет!» — маячил я ей руками, будто и она была глухая.

Часами смотрел я на свой саженец. Мне он начинал казаться большой остроуголой бояркой. Вся она была густо запорошена цветами, обвита листвою, потом на пей уголочками загорались ягоды с косточкой, крепкой, что камушек. На боярку прилетала не только мухоловка, но и щеглы, и овсянки, и зяблики, и снегири, и всякие другие птицы. Всем туг хватит места! Дерево-то будет расти и расти. Конечно, боярка высокой не бывает, до неба ей не достать. Но выше сеновала она, пожалуй, вымахает. Я вон как ее поливаю!

Однако саженец мой пошел не ввысь, а вширь, пустил еще листья, из листьев — усики. На усиках маковым семечком проступили крупинки, из них вывернулись розоватые цветочки.

К этой поре я уже стал маленько слышать, пришел к бабушке и прокричал:

— Баб, я лесину посадил, а выросло что-то...

Бабушка пошла со мной за сеновал, оглядела мое хозяйство.

— Так вот ты где скрываешься! — сказала она и склонилась над саженцем, покачала его из стороны в сторону, растерла цветочки в пальцах, понюхала и жалостно посмотрела на меня. — Ма-атушка. — Я отвернулся. Бабушка погладила меня по голове и прокричала в ухо: — Осенью посадишь...

И я понял, что это вовсе не дерево. Саженец мой, по заключению бабушки, оказался дикой гречкой. Обидно мне сделалось. Я даже ходить за сеновал бросил, да и болель моя шла на убыль, и меня уже отпускали бегать и играть на улицу с ребятами соседа нашего — дяди Левонтия.

Осенью бабушка вернулась из лесу с большой круглой корзиной. Посудина эта была по ободья завалена разной растительностью — бабушка любила повторять, что кто ест луг, того Бог избавит от вечных мук, и таскала того «лугу» домой много. Из-под травы и корней сочной рыбьей икрой краснели рыжики и на самом виду выставлен подосиновик, про который такая складная загадка есть: маленький, удаленький, сквозь землю прошел, красну шапочку нашел!

Я любил пошариться в бабушкиной корзине. Там и мята, и зверобой, и шалфей, и девятишар, и кисточки багровой, ровно бы ненароком упавшей туда брусники — лесной гостинец, и даже багровый листик с крепеньким стерженьком — ер-егорка пал в озерко, сам не потонул и воды не всколебнул, да еще эта модница осенняя, что под ярусом — ярусом висит, будто зипун с красным гарусом — розетка рябины. В корзине, как у дядюшки Якова — товару всякого, и про всякое растение есть присказка иль загадка, складная, ладная.

В корзине обнаружилось что-то, завязанное в бабушкин платок. Я осторожно развязал его концы. Высунулась лапка маленькой лиственницы. Деревце было с цыпленка величиной, охваченное желтым куржаком хвои. Казалось, оно вот-вот зачивкает и побежит.

Мы пошли за сарай, выкопали коноплю, крапиву и сделали для маленькой лиственницы большую яму. В яму я принес навозу и черной земли в старой корзине. Мы опустили лиственницу вместе с комочком в яму, закопали ее так, что остался наверху лишь желтый носок.

— Ну вот, — сказала бабушка, — глядишь, возьмется лиственка, правда, худо принимается от саженца, но мы ее осторожно посадили, корешок не потревожили...

И опять я пачал видеть в мечтах высокое-высокое дерево. И опять жило на этом дереве много птиц, и появлялась на нем зелененькая, а осенью желтая хвоя. Но все же были у меня кое-какие сомнения насчет саженца.

И как только бабушка принималась за спокойную работу, садилась прясть куделю, я приставал к ней с одними и теми же расспросами:

— Баб, а оно большое вырастет?

— Кто?

— Да дерево-то мое?

— А-а, дерево-то? А как же?! Непременно большое. Лиственницы маленькие не растут. Только деревья, батушко, растут для всех, всякая сосна в бору красна, всякая своему бору и шумит.

— И всем птичкам?

— И птичкам, и людям, и солнышку, и речке. Сейчас вот оно уснуло до весны, зато весной начнет расти быстро-быстро и перегонит тебя...

Бабушка еще и еще говорила. В руках у нее крутилось и крутилось веретено. Веки мои склеивались, был я еще слаб после болезни и все спал, спал. И мне снилась теплая весна, зеленые деревья.

А за сараем, под сугробом тихо спало маленькое деревце, и ему тоже снилась весна.

ГУСИ В ПОЛЫНЬЕ

Ледостав на Енисее наступает постепенно. Сначала появляются зеркальные забереги, по краям хрупкие и неровные. В уловах и заводях они широкие, на быстрине — узкие, в трещинах. Но после каждого морозного утра они все шире, шире, затем намерзает и плывет шуга. И тогда пустынно шуршит река, грустно, утихомиренно засыпая на ходу.

С каждым днем толще и шире забереги, уже полоса воды, гуще шуга. Теснятся там льдины, с хрустом лезут одна на другую, крепнет шуга, спаивается, и однажды, чаще всего в студеную ночь, река останавливается, и там, где река сердито громоздила по стрежи льдины, остается нагромождение торосов, острые льдины торчат так и смяк, и кривая, взъерошенная полоса кажется непокорно вздыбленной шерстью на заливке реки.

Но вот закружилась поземка, потащило ветром снег по реке, зазвезели льдины, сдерживая порывы ветра; за них набросало снегу, окрепли спайки. Скоро наступит пора прорубать зимник — выйдут мужики с пешнями, топорами, вывезут вершинник и ветки, и там, где взъерошилась река, пробьют в торосах щель, пометят дорогу вехами, и вот уж самый нетерпеливый гуляка или заботами гонимый хозяин погонит робко ступающего меж сталисто сверкающих льдин конишку, сани бросает на не обрезанных еще морозами глыбах, на не умягченной снегами полознице.

Но как бы ни была крута осень, как бы густо ни шла

шуга, она никогда не может разом и везде усмирить Енисей.

На шиверах, порогах и под быками остаются полыньи. Самая большая полынья — у Караульного быка.

Здесь все бурлит, клокочет, шуга громоздится, льдины крошатся, ломаются, свирепое течение крушит хрупкий припай. Не желает Караульный бык вмерзать в реку. Уже вся река застыла, смирилась природа с зимою, а он стоит в полной воде. Уже идут по льду первые отчаянные пешеходы, осторожно прощупывая палкой лед перед собой; появилась одинокая подвода; затем длинный, неторопливый обоз — но у быка все еще колышется пар и чернеет вода.

От пара куржавеют каменистые выступы быка, кустики, трава и сосенки, прилепившиеся к нему, обрастают толстым куржаком, и среди темных, угрюмых скал Караульный бык, разрисованный пушистыми, до рези в глазах белыми узорами, кажется сказочным чудом.

Однажды после ледостава облетела село весть, будто возле быка, в польсье, плавают гуси и не улетают. Гуси крупные, людей не боятся, должно быть, домашние.

И в самом деле, вечером, когда я катался с ребятами на санках, с другой стороны реки послышались тревожные крики. Можно было подумать, что там кто-то долго, настойчиво и нестройно наяривал на пионерском горне. Гуси боялись наступающейочи. Полынья с каждым часом становилась меньше и меньше. Мороз исподволь, незаметно округлял ее, припайвал к закрайкам пленочки льда, которые твердели и уже не ломались от вихревых струй.

На следующий день оравой мы перешли реку по свежей, еще чуть наметившейся тропинке и приблизились к быку. Один по одному забрались на выступы обледенелого камня и сверху увидели гусей.

Полынья сделалась с лесную кулижку величиной. Там, где вода выбуривала тугим змеиным клубком и кипела так, словно ее подогревали снизу громадным костром, еще оставалось темное, яростное окно. И в этом окне металась по кругу ошалевшая, усталая и голодная стайка гусей. Чуть впереди плавала дородная гусыня и время от времени тревожно вскрикивала, подплывала к хрупкому припаю, врезалась в него грудью, пытаясь выбраться на лед и вывести весь табун.

Мне и прежде доводилось видеть плывущих среди

льдин гусей: Где-то в верховьях Енисея они жили себе, жировали и делались беспечны так, что и ночевать оставались на реке. Кончалось это тем, что ночью их, сонных, оттирало от берега настывшим закрайком, подхватывало шугой, выталкивало на течение, к утру они уже оказывались невесть где и в конце концов вмерзали в лед или выползали на него и мучительно погибали на морозе.

А эти все еще боролись. Их подбрасывало на волнах, разметывало в стороны, будто белый пух, и тогда мать вскрикивала коротко, властно. И мы понимали это так: «Быть всем вместе! Держаться ближе ко мне!»

Внезапно одного голошеего гуся отделило течением от стайки, подхватило и понесло к краю полыньи. Он поворачивался навстречу струе грудью, пытался одолеть течение, но его тащило и тащило, и когда пригнало ко льду, он закричал отчаянно о помощи. Мать бросилась на крик, ударяя крыльями по воде, но молодого гуся притиснуло ко льду, свалило на бок, и, мелькнув беленькой бумажкой под припаем, словно под стеклом, он исчез навсегда.

Гусыня кричала долго и с таким, душу рвущим, горьким отчаянием, что коробило спины.

— Пропадут гуси. Все пропадут. Спасти бы их, — сказал мой двоюродный брат Кеша.

— А как?

Мы задумались. Ребятишки-ребятишки, но понимали, что с Енисеем шутить нельзя, к полынье подобраться невозможно. Обломится припай — мигнуть не успеешь, как очутишься подо льдом, и закрутит, будто того гуся — ищи-свищи.

И вдруг разом, как это бывает у ребятишек, мы заспорили. Одни настаивали — подбираться к полынье ползком. Другие — держать друг дружку за ноги и так двигаться. Третьи предлагали позвать охотников и пристрелить гусей, чтобы не мучились. Кто-то из левонтьевских парней советовал просто подождать — гуси сами выйдут на лед, выжмет их из полыньи морозом.

Мы спустились с быка и очутились на берегу возле домов известкарей. Много лет мои односельчане занимались нехитрым и тяжелым промыслом — выжигали известку из камня. Камень добывали на речке Караулке, в телегах и на тачках возили в устье речки, где образовался поселок и поныне называющийся известковым, хотя известку здесь давно уже не выжигают. Сюда, в устье Караулки, сплавливались и плоты, которые потом распиливались

на длинные поленья — бадюги. Какой-то залетный, говорливый, разбитной, гулеванистый народ обретался «на известке», какие-то уполномоченные грамотеи «опра», «торгхоза», «местпрома», «сельупра», «главнедра» грозилась всех эксплуататоров завалить самолучшей и самой дешевой известкой, жилища трудового человечества сделать белыми и чистыми. Не знаю, предпринимательством ли своим, умно ли организованным трудом, размахом ли бурной торговли, но известкари наши одолели-таки частичка, с рынка его выдавили на самый край базара, чтобы не пылило шибко. До недавних считай что дней властвовала торговая точка на красноярском базаре, сбигая из теса, на которой вызывающе большая красовалась вывеска, свидетельствующая о том, что здесь дни и ночи, кроме понедельника, в любом количестве отпускается, не продается — продает частник-шкуродер, тут предприятие — вот им-то, предприятием, не продается, а отпускается продукция Овсянского из-го з-да. Со временем, правда, вывеску так запорошило белым, что никакие слова не угадывались, но торговая точка всей нашей округе была так известна, что, коли требовалось кому чего пояснить, паши одиосельчане весь отсчет вели от своего торгового заведения, для них в городе домов и магазинов главнее не было. «А как пойдешь от нашего ларька, дак на праву руку мост через Качу...», «От нашего ларька в гору подымесся, тут тебе и почта, и нивермаг, и тиятр недалеко...»

Возле большого штабеля бревен, гулко охая, бил деревянной колотушкой Мишка Коршуков, забивая сухой березовый клин в распиленный сутунок, чтобы расколоть его на поленья — бадюги. Вообще-то он был, конечно, Михаил, вполне взрослый человек, но так уж все его звали на селе — Мишка и Мишка. Он нарядно и даже модно одевался, пил вино не пьянея, играл на любой гармошке, даже с хроматическим строем, слух шел — шибко портил девок. Как можно испортить живого человека — я узнал не сразу, думал, что Мишка их заколдовывает и они помешанные делаются, что, в общем-то, оказалось недалеко от истины — однажды этот самый Мишка на спор перешел Енисей во время ледохода, и с тех пор на него махнули рукой — отчаянная головушка!

— Что за шум, а драки нету? — спросил Мишка, опуская деревянную колотушку. В его черных глазах искрились удаль и смех, на носу и на груди блестел пот, весь он

был в пленках бересты, кучерявая цыганская башка сделалась седой от пленок, опилок и щепы.

Мы рассказали Мишке про гусей. Он радушным жестом указал нам на поленья. Когда мы расселись и сосредоточенно замолкли, Мишка снял шапку, потряс чубом, выбочивая из него древесные отходы, вынул папироску, постучал ею в ноготь — после получки дня три-четыре Мишка курил только дорогие папиросы, угощая ими всех без разбору, все остальное время стрелял курево — прижег папироску, выпустил клуб дыма, проводил его взглядом и заявил:

— Погибнут гуси. Надо им, братва, помочь.

Нам сразу стало легче. Мишка сообразит! Докурив папироску, Мишка скомандовал нам следовать за ним, и мы побежали на угор, где строился барак.

— Всем взять по длинной доске!

— Ну, конечно же, конечно! — ликовали парнишки. — Как это мы не догадались?

И вот мы бросаем доски, ползем меж торосов к припаю. Под козырьком льдин местами еще холодеют оконца воды, но мы стараемся не глядеть туда.

Мишка сзиди нас. Ему нельзя на доску — он тяжелый. Когда заканчивается тесина, он просовывает нам другую, мы кладем ее и снова ползком вперед.

— Стоп! — скомандовал Мишка. — Теперь надо одному. Кто тут полегче? — Он обмерил всех парней взглядом, и его глаза остановились на мне, вытрясенном лихорадкой. — Сымай шубенку! — я покорно расстегивал пуговицы, мне хотелось закричать, убежать, потому что уж очень страшно ползти дальше. Мишка ждал, стоя на тесине, по которой я уже прополз, и наготове держал другую, длинную, белую, гибкую. Я опустил на нее животом и сквозь рубаху почувствовал, какая она горячая, а под горячим-то трещит лед, а подо льдом: «Господи! Миленький! Спаси и помилуй люди Твоя... — Пытался я вспомнить бабушкину молитву... — Даруя... сохраняя крестом Твоим... Даруя... сохраняя... достояние...» — заклинал и молил я.

— Гусаньки, гусаньки! — звал я, глядя на сбившихся в кучу гусей. Они отплыли к противоположному от меня крайку полыньи, встревоженно погагакивая. — Гусаньки, гусаньки... — не в силах двинуться дальше — лед с тонким перезвоном оседал подо мной, под доской, белень-

кие молнии метались по нему, пронзая уши, лопнувшей струной.

— Гусаньки, гусаньки! — плакал я.

Гуси сбились в плотный табунок, вытянув шеи, глядели на меня. Вдруг что-то зашуршало возле моего бока, я обмер и, подумав, что обломился лед, уцепился за доску и собрался уже заорать, как услышал:

— Держи! Держи! — Мишка приблизился, доску мне сует.

Доска доползла до воды, чуть прогнула закраек, раскрошила его. Кончиками онемевших пальцев я держал тесину, звал, умолял, слизывая слезы с губ:

— Гусаньки, гусаньки... Господи... достоиние Твое есмь...

Мать-гусыня поглядела на меня, недоверчиво гагакая, поплыла к доске. Все семейство двинулось за ней. Возле доски мать развернулась, и я увидел, как быстро заработали ее яркие, огненные лапы.

— Ну, вылезай, вылезай! — закричали ребяташки.

— Ша! Мелочь! — гаркнул Мишка.

Гусыня, испуганная криками, отпрянула, а гусята метнулись за нею. Но скоро мать успокоилась, повернулась грудью по течению, поплыла быстро-быстро и выскочила на доску. Чуть проковыляв от края, она приказала: «Делать так же!»

— Ах ты, умница! Ах, ты умница!

Гуси стремительно разгонялись, выпрыгивали на тесину и ковыляли по ней. Я отползал назад, дальше от черной жуткой полыньи.

— Гусаньки, гусаньки!

Уже на крепком льду я схватил тяжелую гусыню на руки, зарылся носом в ее тугое, холодное перо.

Ребягга согнали гусей в табунок, подхватили кто которого и помчались в деревню.

— Не забудьте покорми-уть! — кричал вслед нам Мишка. — Да в тепло их, в тепло, намерзлись, шипуны полоротые.

Я припер домой гусыню, шумел, рассказывал, захлебываясь, махал руками. Узнавши, как я добыл гусыню, бабушка чуть было ума не решила и говорила, что это му разбойнику Мишке Коршукову задаст баню.

Гусыня орала на всю избу, клевалась и ничего не желала есть. Бабушка выгнала ее во двор, заперла в стайку. Но гусыня и там орала на всю деревню. И выорала свое. Ее отнесли в дом дяди, куда собрали к ней всех гусят.

Тогда гусыня-мать успокоилась и поела. Левонтьевские орлы как ни стерегли гусей — вывелись они. Одних собаки потравили, других сами левонтьевские приели в голодуху. С верховьев птицу больше не приносит — выше села ныне стоит плотина самой могучей, самой передовой, самой показательной, самой... в общем, самой-самой.. гидростанции.

ЗАПАХ СЕНА

По сено собираются с вечера. Дедушка и дядя Коля, или Кольча-младший, как его зовут в семье, проверяют сбрую, стучат топорищами по саням, что-то там подвязывают, подтесывают, прикрепляют. Мы с Алешкой крутимся во дворе, чего-нибудь подаем, поддерживаем, но больше находимся не у дел — глазеем. На нас цыкают, прогоняют с холода домой, но мы не уходим, потому что уходить никак нельзя. У нас одна лошадь, саней подготавливается трое. Старые сани вытащили из-под навеса. К ним пристыгла серая, летняя пыль, скоробились сыромятные завертки, порыжели полозья. Вот эти-то сани и колотят обухом, проверяют и подлаживают. Все ясно — еще две лошади запрягать. Их приведут от соседей или родственников.

Мы ждем. Вот Кольча-младший взял две оброти, закинул их на плечо, высморкался, подтянул опояску потуже, засвистел и двинулся со двора.

Мы за ним. Кольча-младший нас не прогоняет, но и не привечает. Он идет по улице, насвистывает. Концы холщовой опояски, выпущенные для форса, болтаются у него по бокам, шапка на левом ухе, чуб на правом. Хороший человек дядя Кольча-младший, он не прогонит нас домой. Кольчей-младшим его зовут оттого, что у бабушки и дедушки было много детей и всем разных имен не напридумывалось, вот и есть у нас Кольча-старший и Кольча-младший. Но все выросли, отделились, живут своими семьями, и остались в доме мы с Алешкой да Кольча-младший, не считая бабушки и дедушки. Мы оба сироты. У

меня нет матери, у Алешки отца. Алешка в нашей семье особый человек — он глухонемой. Говорят, остался он будто бы дома один — бабушку унесло куда-то. И вздумалось ему полезть на угловик, где стояли тяжелые иконы и по случаю какого-то праздника светилась лампадка. Угловик обрушился. Иконы повалились на Алешку. И ушибли они его или же испугался он нарисованных богов, но все старухи считали, мол, именно от этого греха Алешка онемел. А отчего он оглох — старухи объяснить не могли.

Алешку все жалеют, я его люблю, и мы с ним деремся. Сильный он и злой. Мы то играем, то деремся. Бабушка разнимает нас и мне дает затрещину, Алешке только пальцем грозит. Никто не трогает Алешку, кроме меня, потому что он и без того «Богом обижен», а мне-то наплевать! Поддаст мне Алешка, и я ему поддам, потому что никакой разницы между собой и им я не вижу. Мы спим вместе, едим вместе, играем вместе и вот за конями идем вместе.

Коней этих, Лысуху и Гнедого, Кольча-младший выводит со двора дяди Вани, старшего бабушкиного сына. Мы ждем у ворот, Кольча-младший дает мне Лысуху. Я подвожу ее к заплоту, взбираюсь на него и уж оттуда, сверху, падаю брюхом на выгнутую широкую спину Лысухи. Она поводит левым ухом, недовольно косит на меня глазом и норовит поймать зубами за подшигтый катанок. Я отдергиваю ногу — шалишь, кобыла, не тут-то было!

Алешка трусит впереди меня на Гнедке и хохочет, заливаясь — весело дурачку! Мы спускаемся по крутояру на Енисей. Кони скользят на облитом, заледенелом зимнике, скрежещут подковками. Алешка перестает повизгивать и хохотать, Кольча-младший маячит ему, чтоб он схватился за гриву лошади.

Кони сами идут к длинной проруби, огороженной елками и пихтами. Енисей в огромных торосах, сверкающих на морозном солнце, снежно кругом, остыло, неподвижно. Прорубь на широкой, заторошенной реке — что живой островок, к пей охотно и весело трусят кони.

Прорубь по-за огорожей толсто занесена снегом. За елками и сугробами — темная широкая щель. В ней клубится темная вода. Что-то спертое, непокорное ворочается подо льдом. Широко расставляя передние ноги, лошади осторожно подходят к проруби. Я не дышу. А ну как Лысуха ухнет в эту воду, бездонную, холодную?.. Конечно, Лысуха не пролезет в такую щель, но я-то запросто...

Лысуха пьет, и Гнедко пьет. У Алешки испуганное лицо,

он уже, как видно, и не рад, что пошел за конями. И я не рад. Кольча-младший держит обеих лошадей за оброты, протяжно, медленно посвистывает, и под этот свист Лысуха с Гнедком тянут, тянут воду. Вот подняли головы, дышат, осматриваются. На темной морде Гнедка сейчас же белым светом загораются тонкие волоски. И у Лысухи тоже стекленеет от мороза волос, торчит вразнотырку.

Постояли, подумали лошади, еще раз ткнулись мордами в прорубь и ровно бы с сожалением отвернулись от нее, стали медленно поворачиваться.

Вот теперь-то наступило самое главное! Страшная прорубь осталась позади. Кольча-младший, отломав ветку от елки, хлещет по заду Лысуху и Гнедка. Лошади берут в рысь. Нас с Алешкой закидывает, и мы с трудом удерживаемся на конях, мы скачем, испуганно ухватившись за гривы и оброты, потом уже гарцуем смело, будто балуясь. Ребятишки катаются на салазках, останавливаются, смотрят нам вслед завидно, иные парнишки бегут следом, кричат. А мы скачем, а мы скачем! Еще до дому далеко, еще только в переулочек въехали, но я кричу что есть мочи:

— Деда, открывай ворота!

Алешка тоже что-то блажит.

Дедушка распахивает ворота, машет, чтобы мы пригнулись — иначе сшибет падбровником ворот. К великому нашему удовольствию, лошади на рыси вбегают во двор, и мы получаем сполна плату за все наши радости. Гнедко остаивается, за ним Лысуха, и сначала я, затем Алешка легим подшибленными воронами через головы лошадей в снег и барахтаемся там, ослепленные, задохнувшиеся.

Дед с ухмылкой уводит лошадей в теплый двор. Кольча-младший запирает ворота и хохочет. Бабушка, выглядывая в чуть оттаявшее кухонное окно, тоже беззвучно трясет головой и ртом. И мы начинаем похохатывать, будто и нам весело, да оно и на самом деле весело, по своей уж воле и охоте мы устраиваем свалку посреди двора и являемся домой так устряпанные, что бабушка всплескивает руками: «Да не черти ли на вас молотили?!»

В конюшне раздается визг, стук — это Лысуха устраивается, лягает нашего смиренного коня с грозным именем Ястреб.

— Я те, волчица ободранный! — кричит Кольча-младший, и Лысуха умирится.

Дед еще раз обходит сани, у которых связанные перетягой оглобли целятся в небо, пинает по заверткам, бро-

сает в одни сани вилы деревянные и железные, грабли, привязывает бастрыги, а в передок других саней вставляет звонкий топор, который я недавно лизнул, будто сахар, и оставил на нем лафтак языка.

Все. Надо идти в избу. Кольча-младший обмечает голиком катанки, еще раз сморкается на сторону, и дед делает то же, мы уж следом все повторяем.

Ужинают сегодня рано и спать ложатся тоже рано. Нам спать еще не хочется, но мы послушно лезем на печь.

— Не забудешь, дедушка? — в который раз напоминаю я.

— Не-е, — гудит он снизу.

Дед самый надежный в этом доме человек. Он-то уж не обманет. Раз обещал взять по сено, значит, возьмет. Тихо в доме. Слышно, как ворочается на скрипучей деревянной кровати бабушка, которую ночами допимают «худые немочи». В горнице покуривает да покашливает Кольча-младший, не привыкший рано ложиться, потому что по вечерам бегаёт на пару с Мишкой Коршуковым и домой является с петухами.

— Баб!

Бабушка не откликается, но я-то чувую, что она не спит.

— Баб!

— Ну какого тебе дьявола?

— Ты катанки сушить положила в печку?

— Положила, положила, спи!

— И Алешкины тоже?

— И Алешкины. Спи!

Опять тишина. Окна закрыты ставнями, темнота в избе, точно в подполье. Шуршат тараканы на печи, щекочут поги. Я запихал их обе в голенище чьего-то валенка, задирал его, бухаю в стену.

— Баб!

Никакого ответа.

— Ба-аб!

— Я вот встану, я вот подымуся!

— А ты варезки зашила?

— Угресь зашью. Спи!

Алешка не дышит, вникает в разговор, и хоть ничего услышать не может, все же догадывается, что я беспокоюсь о завтрашней поездке по сено. Он обнимает меня и давит мою шею крепко-крепко — благодарит меня за все тревоги и хлопоты. И я не отталкиваю его. Если бы у него был язык, он сказал бы, а так обнимает, жмет, и все тоже

понятно. Но вот Алешка глубоко вздохнул, руки его раз-
пялись, ослабели. Уснул Алешка. Намаялся, набегался и
уснул. Я еще ворочаюсь, шуршу лучиной, подкладываю
под подушку старые дедовы катанки, чтобы выше было,
удобнее, и бабушка снова приглушенным шепотом гро-
зится:

— Ты будешь спать, окаянный?

Я затихаю, думаю о Лысухе, о которой бабушка пло-
хого мнения. Будто продал ее дяде Ване человек из вер-
ховского, Курганского, селения с худым глазом, прода-
вая, выдрал из Лысухи клочок шерсти, бросил ее за печь,
она там сохнет, а кобыла мается, корм ей не корм — и
пока ту шерсть не найдешь — не вестись на дворе скоти-
не, и ведь велела, велела она вывести коня через задний
двор — от глаза — да посмотреть потихоньку, куда шерсть
хозяин схоронил — так зубоскалили только, просмеивали
мать. И что получилось?

Передо мной появляется человек, на Кощя Бессмер-
тного похожий, ведет он на поводу хромуя лошадь и сам
хромает, а впереди дорога меж торосов виляет, елки, пих-
ты, вересинки коридорчиком стоят, кони трусят, пофыр-
кивают — это мы уже едем по сено, и сани скрипят мер-
злыми завертками, полозья повизгивают, а Кольча-млад-
ший напевает себе под нос что-то. И все бежит, бежит
зимник по Енисею, потом по лесу с горы на гору, с горы
на гору.

По сено у нас ездят далеко. Покосов возле села нет.
Наше село среди увалов и скал стоит. Покосы на Фокин-
ской речке, на Малой и Большой Слизневке. А наш покос
на Манской речке. Манская речка впадает в реку Ману,
Мана в Енисей. Мы летом были с Алешкой на покосе,
ловили хариусов в речке, гребли сено, купались. Зимой
мы на покосе никогда не были. Далеко и морозно. Какой
он, покос, зимою? Кто там живет? Зайцы живут, лисы
живут. И медведи живут. Они караулят наше сено и не
пускают к нему диких коз. Если козы съедят зарод, что
тогда останется корове? Но медведь их не пускает к зароду.
Да и увезем мы сено. Сложим на сани в большой-
большой воз, до цеба, и увезем. Я буду сидеть на самом
высоком возу, и Алешка тоже. А дедушка и Кольча-млад-
ший будут идти сзади, курить, на лошадей покрикивать.

Мы едем по сено. Едем, едем, едем...

— Бр-р-рам! — повалился я с воза, подскочил, во что-

то головой торнул, аж искры из глаз брызнули. Но надо мной должно быть небо, как же так?

Я поднял голову, — а вместо неба — щелястый потолок, вместо саней — горячая русская печка, и никакого воза, никакого сена. Бабушка в кути уронила пустую подойницу, я с перепугу треснулся башкой об потолок. Бабушка клянет кошку — всегда у нее кошка во всем виновата.

Я с печки долой, заглянул в горницу — кровать Кольчи-младшего закинута одеялом. Я на полати — деда нету. Глянул на вешалку —дох нету. И попял все. И запел. Бабушка занималась своими делами, гремела кринками, не слышала.

Я поддал громче — никакого толку. Тогда я кинулся на печку, ткнул сердито Алешку кулаком. Он с минуты пялился на меня.

— Ме-ме-ме! — показал я ему язык и еще свистнул, мол, наших нету, уехали.

И Алешка тоже ударился в голос. Ревел он протяжно, басовито: «Бу-бу-бу-у!»

— Ий-я вот вам поору! — наконец не выдержала бабушка. — Ишь чего удумали! По сено ехать! Сопли-то к полозьям приморозите, кто отдирать будет?

— А зачем тогда сулили-и-и?

Алешка поддерживает меня, тянет: «Бу-у-у!» Бабушка снова не обращает на нас внимания, а тут и слезы на исходе. Алешкино «бу-у-у» звучит уже едва слышно. Пузырь, правда, выдулся из ноздрей у него сильный, да бабушка не видела пузыря.

Я высунулся из-за косяка средней:

— Зачем тогда сулили-и-и?

— Ты чего на бабушку, на родну, зубы выставляеш, а?

— Ничего-о-о-о!

— Ступай стайку чистить и ори там.

— Не пойду-у!

— Как это не пойдешь?

— Не пойду-у!

— Я вот тебе не пойду! — Бабушка вытянула меня полотенцем по спине, и не больно нисколько, но обидно. Я залез обратно на печку, завернулся в старый полушубок и сказал себе, что не слезу с нее, пока не помру.

— Трескать идите, обозники! — позвала бабушка.

Я не отзывался, Алешка тряс меня за плечо, я отбросил его руку. Пропадите все вы со своей едой!

— Я кому сказала — жрать ступайте! — повысила голос бабушка. — У меня делов по завязку, а опе тут распелись! А ну, слазьте с печки! — И она бесцеремонно стянула с печки Алешку, затем меня и еще тычка мне дала, несильного, правда.

Мы пехотя усаживаемся за длинный, как нары, кухонный стол. Сегодня мужиков дома нет и потому в средней пе накрывают.

— А умываться кто будет? — поинтересовалась бабушка. — Ну, вы у меня достукаетесь, вы у меня достукаетесь! — пообещала она. — Эк ведь они, кровопивцы, урос завели! Шагом марш к рукомойнику.

Согнали сонную вялость ледяной водой, веселее сделалось. Ели картошки в мундирах, парным молоком запивали, и нас еще нет-нет да встряхивало угасающими всхлипами. Бабушка, пригорюнившись, глядела на нас.

— Дурачки вы, дурачки! Еще наробитесь, еще наездитесь. Какие ваши годы! Вот подрастете — и по сено, и по солому, и в извоз...

— На будущий год, да?

— На будущий год уж обязательно. На будущий год вы уж во какие большие будете!

Я показываю Алешке палец и толкую, что в будущем году нас уже точно возьмут по сено, и он кивает головой. Рад Алешка, и я тоже рад. Мы весело метнулись на улицу, убирали навоз из стайки, пехалом выталкивали снег со двора, разметали дорогу перед воротами, чтобы легче с возами въезжать. Мы готовились встречать деда и Кольчу-младшего с сеном. Мы станем карабкаться на воз, таскать и утапгивать сено.

То-то потеха будет!

Бабушка отстряпалась, сунула нам по пирогу с капустой, загнала нас на печку, вымыла пол, вытрясла половики, в доме стало свежо и светло.

Целый день бабушка была в хлопотах, будто перед праздником. И только после того, как второй раз подоила корову, процедила молоко и на минуту присела возле окна, буднично сказала:

— Господи-батюшко, умаялась-то как! — тут же она озабоченно поглядела в окно: — Ой, чё же мужиков-то долго пегу? Уж ладно ли у них? — Она выбежала на ули-

цу, поглядела, поглядела и вернулась: — Нету! Ох, чует мое сердце нехорошее. Может, конь ногу повредил? И эта Лысуха, эта ведьма с гривой! Говорила не покупать ее, дак не послушались, приобрели одра ошептанного! Теперь вот надсажаются небось...

Так бабушка ворчала, строила догадки, кляла каких-то, нечистых на руку, людей и то и дело выбегала на улицу. Потом у нее возникли новые дела, и она заставила нас встречать подводы. Когда же совсем за вечерело, бабушка сделала окончательный вывод:

— Так я и знала! Так я и знала! Эта Лысуха хорошо везет, да часто копыто отряхивает! Покуль ее лупишь, потуль и везет. У её и глаз-то чисто у Тришихи-колдуньи! Ох, тошно мне, тошнехонько! Ладно, если на Усть-Мане заночуют, а что, как в лесу, в этакую-то стужу! Робятишки, вы какого дьявола задницы на пече жарите?! А ну ступайте на Енисей, поглядите. И сидят, и сидят! То домой не загонишь, а тут сидят...

Мы побежали на Енисей. Увидели обоз, тихий, мирный, усталый. Он поднимался по взвозу, к дому заезжих. А наших нет. Спросили обозников, не видели ли они дедушку и Кольчу-младшего? Но обозники верховские. Они ехали по другой стороне Енисея, по городскому зимнику, и против села переехали реку.

Бабушка встретила нас еще в сенках:

— Ну?

— Нету. Не видать.

— Ой, горе, горе! Да что же это такое! — Она посеменила в горницу, крестясь на ходу, под образами пала на колени: — Мать Пресвятая Богородица! Спаси и сохрани рабов Божьих, пособи им сено довести, не изувечь, не изурочь. И Лысуху, Лысуху усмири!

В доме наступило отчаяние. Полное. Бабушка всплакнула в фартук. Мы было взялись поддержать ее, но она прикрикнула на нас:

— А вы-то чё запели? Может, еще и ничего такого худого и нету. Может, просто задержались, воз завалили либо что? И нечего накаркивать беду!..

Когда мы все изнемогли, устали ждать и зажгли лампу, утешаясь только тем, что наши заночевали на Усть-Мане, бабушка глянула в окно и порхнула оттуда к вешалке:

— Робятишки! Вы какова лешака смотрели? Мужики-то уж выпрягают!..

Нас как ветром сдуло с печки. Надернули валенки на босу ногу, шапчонки на головы, что под руку попало — на себя и выкатились во двор. А во дворе теснотища. Три воза сена загромождали его, ворота настезь. Я с ходу к дедушке, ткнулся носом в его холодную, мохнатую собачью доху с одной стороны, Алешка — с другой. Бабушка ворота запирала и как ни в чем не бывало спрашивала:

— Чего долго-то?

— Дорога в замётах. В Манской речке версты две целик протапгывали, — ответил Кольча-младший тоже буднично. Он выпрягал Лысуху и покрикивал на нее. Дедушка молча потрепал нас по шапкам и отстранил.

— Деда, а деда, сено сегодня будем метать или завтра?

— Сегодня, сегодня, — ответил за него Кольча-младший, и мы от восторга завизжали и скорее, скорее унесли под навес дути, сбрую. Мы лезли везде и всюду, на нас ворчали мужики и даже легонько хлопали связанными вожжами. Кольча-младший вилами один раз замахнулся. Но мы не боимся вил — это острая орудья, ею ребят не бьют, ею только замахиваются. И мы дурели, не слушались, карабкались на возы, скатывались кубарем в снег.

— Вы дождетесь, вы дождетесь! — обещали нам то бабушка, то Кольча-младший. Дед помалкивал.

Коней закинули попонами и увели в конпошню. Оглобли саней связали. Сыромятные завертки, растянутые возами, отходили, потрескивали. На санях белый-белый лесной снег. Все видно хорошо, потому что в небе, студеная, оцепенела луна, множество ярких звезд, снег повсюду мигал искрами.

Пришли дядя Иван и его сыновья, сродные братья нам, Ваня и Миша, да еще тетка Апронья. И началась шумная работа. Отвязали бастриг на первом возу. Он спружинил, подскочил и уцепился в луну, будто пушка. Воз темным потоком хлынул на снег и занял половину двора. Второй воз свален, третий свален. Сена — гора! Откуда-то взялась корова. Ест напропалую. Отгонят с одного места, она из другого хватает — у нее тоже праздник. Собака забралась на сено. Ее вилами огрели. Нельзя собаке на сене лежать — корова сено есть не станет. Собака горестно взлаяла и убралась под навес. А мы уже на сеновале, и бабушка с нами. Нам дали самую главную работу — утаптывать сено. Мы топтали, падали, барахтались. Мужики бросали огромные навильники в темный сеновал и ровно

бы пенароком заваливали нас. Глухо, душно станет, когда ухнет на тебя навильник. Рванешься, словно из воды, па-верх и поплывешь, поплывешь, но еще не успеешь отпле-ваться от сенного крошева, забившего рот, — снова ух на тебя шумный навильник. Держись, ребята, не тоши!

— Ребятишки, вы живые там?

— Живы!

— Упрели небось?

— Не-е!

Но я уже весь мокрый и Алешка мокрый. Мы топчем сено, плаваем в нем, барахтаемся и дуреем от густого, урёмного запаха.

Перекур.

В изнеможении упали на сено, провалились в нем по маковку. Мужики курят во дворе, тихо говорят о чем-то. Бабушка стряхивает платок.

— Баб! — окликнул я ее. — Ты можешь траву узнать или цветок?

Бабушка у нас многие травы и цветки целебные знает, собирает их на зиму. И знает их не только по названиям, но и по запахам, и по цвету, и какую траву от какой бо-лезни пользуют, доктора у нас на селе нету, так ходят к бабушке лечиться от живота, от простуды, от сердца. Вот только самой ей некогда болезни свои лечить.

— Ну где же я в потемках-то? — ответила бабушка, но таким тоном, что нам совершенно ясно — это она малый кураж напускает. Пошарив подле себя рукой, бабушка подозвала нас и показала при лунном свете, падающем в проем дверей: — Вот это осока. Легко отличается — жест-тка, с шипом, почти не теряет цвету. По Манской речке ее много. А вот эта, — отделяет она от горсти несколько былинков, — метличка. Ну, ее тоже хорошо знатко. Мете-лочка па концах. А это вот, видите, ровно спичка сгоре-лая на кончике. Это купальница-цветок.

— Жарок, да?

— По-нашему — жарок. Завял он, засох, краса вся его наземь обсыпалась. И люди вот так же, пока цветут, кра-сивые, потом усохнут, сморщатся, что грибы червивые. Недолг век цветка, да ярко, а человечья жизнь навроде бы и долгая, да цвету в ней не лишка...

Девятишар, орляк, кошачья лапка, ромашка, тимофе-евка, овсяница, чина и много-много пырея переселилось из леса на наш сеновал. А я вот еще и земляничку нащу-

пал, потом другую, третью. Свою я съел вместе со стебельком — ничего не случится. Ту, что бабушке отдал, она лишь понюхала и протянула Алешке. Алешка съел две ягодки, заулыбался.

А я вот помню, как летом проснулся на этом вот сеновале. Было душно, глухо и темно.

Во тьме польхали молнии, но грома и дождя еще не было. Вдруг грохнуло над самой головой. Я подскочил и полез в глубь сеновала. Внизу, в стайке, с насеста сшибло кур, они закудахтали. Крышу осторожно, словно слепой человек голой подошвой ноги, пощупал дождь и, удостоверившись, что крыша на месте и я под нею, заходил, зашуршал по тесу, обросшему мхом по щелям и желобкам.

Меня отпустило. Курицы успокоились. Молнии сверкали, свет на мгновение вспыхивал, и все означалось: сено, грабли, старые веники на шесте, отчетливо выхватывало ласточек в гнезде, спокойно спящих. И снова ка-ак дало! И снова я подскочил с постеленки, пытался зарыться в сено, снова сшибло с насеста кур, и они разом заорали, забазарили — «ка-апру-ту-ту-какака». Одна курица, слышно было, летала по стайке, билась в стены и в углы, желала угодить на насест, но подруги ее, тесно сжавшиеся с вечера, сидели теперь вольно, какая к окошку головой и задом к открытой двери, какая наоборот — задом к окошку и головой к двери. Как застал слепой, вяжущий сон, так и сморились птицы. Та курица, что летала и «тпру-ту-ту» говорила, должно быть, уселась на пол.

К грому, к молниям все притерпелись, да и удалялись громы и молнии за горы. Постращали всех: есть, мол, еще, есть небесные силы, и, если не будете старших слушаться, в первую голову бабушку, так они тут же явятся и покажут «кузькину мать».

Дождь размохнатился, загустел, будто шубой накрыл крышу и меня вместе с нею. Попадая на сучок, на шляпку гвоздя, на ощепину ли, редкие капли выбивались из все заполнившего шептания, трогали струну, натянутую над головой. Дышать стало легко. Ближе и свежее сделался запах веников, сухой травы. Село, подворье наше, и я вместе с ними, согласно и доверчиво погружались в глубину ночи, наполненную черным пухом, может, дряблой водой, запаренной вениками. Корова в стайке, во время грозы переставшая валять жвачку во рту, переступила,

вздохнула, пробно скрипнула жвачкою, еще раз вздохнула и зажевала, зажевала...

Какой спокойный, какой глубокий сон наступил всюду...

Мне хотелось еще в сене пошарить, еще землянику сыскать, но в это время проем дверей заткнули навильником, сделалось темно, и снова пошла работа до седьмого пота.

Тесней и тесней становилось на сеновале. Утрамбованное, затиснутое в углу и к задней стене сено набухало ввысь и уже задевало веники, свешанные попарно на слезги и жерди. Крыша чем дальше, тем уже, и мы сшибали не раз шапки о поперечины, шарили в темноте, отыскивая их.

На самом верху, там, где тес крыши сходилась торцами, по стропилам лепились гнезда ласточек и по соседству с ними осиные пузыри. Я залез горячей рукой в луночку ласточкиного гнезда и почувствовал в ней снежок, под ним мокрые перышки. Где сейчас говоруньи ласточки? Тоскуют небось по своему дому, по этому вот сараю, по нашему селу.

Я забылся на минуту и услышал, как внизу, под нами, хрупают сено вымотавшиеся за дорогу кони. Хрупают, отфыркиваются, переступают тяжелыми копытами.

Внизу, во дворе, начался разговор:

— Ну, Иван, лошадку ты отхватил! Одной рукой ее лупи, другой крестися...

— Недаром говорят... лошадь за рекой купи.

— А я ее где купил-то, шорта? За рекой, за горой, почти у кыргызов.

— Нет, робяга, — вмешалась в разговор бабушка, — деньгами коня не купишь, токо удачей...

На этом и утешились, про коней говорить перестали, на сено перешли. Кольча-младший сказал:

— Сена лесные, едкие, хватило бы до весны. А ну, как прикупать придется?

— Купило притупило! — снова вмешалась в разговор бабушка. — Соломы с займки подвезем и обойдемся. Сено стравить — коров не доить...

— На соломе да на пойле не лишка надоишь.

— Нет, пойло не бракуйте. Пойло всему голова. Токо руками его ладить надо, теплое чтобы, с отрубями. Если оплосками поить, тогда, конечно...

Завязался разговор, значит, работе конец. Да и полон

сеновал. Мы у самой створки топчемся. Под ноги нам швыряют клоки сена, из которых торчат вилы, — подскребают с сапей. И хорошо это, славно, а то уж дух вон из пас с Алешкой.

И вот сани заведены под навес, корова водворена на место. Бабушка граблями подобрала раскрошенное по двору сено, кинула его лошади. Мужики составили вилы, грабли, забрали дохи и, постукивая о ступеньки катанками, вошли в избу. Катанки мерзло повизгивали, скользя на крашеном крыльце.

Вместе с мужиками в дом ввалилось облако холода и ударилось в темные углы. Изба полна чужого запаха от собачьих дох. Но все эти запахи забивал сквозной, всюду проникающий запах сена. Дедушка обламывал сосульки с усов, с бороды и кидал их под рукомойник. Бабушка сбросила ему с печи старые, пыльные катанки. Тетка Апроня хлопотала у стола, и пока переодевались и переобувались дедушка и Кольча-младший, на столе уже накрыто. Кольча-младший полез было за кисетом, да бабушка заворчала:

— Хватит табачище-то жрать натошак. За стол ступайте, потом и жгите зелье клятое сколь влезет!

Мы уже за столом, в переднем углу оставили место деду. Это место свято — никто не имел права его занимать. Кольча-младший глянул на нас, рассмеялся:

— Видали, работнички-то уж начеку!

Все со смехом усаживались, гремели табуретками и скамьями. Исчез только дед. Он возился на кухне, и нетерпение наше возрастало с каждой минутой. Ох уж медлительный у пас дед! И говорит он пять или десять слов на день. Все остальное за него обязана говорить бабушка, так уж у них повелось.

Вот и дедушка. В руках у него холщовый мешочек. Он медленно запустил в него руку. Мы с Алешкой подались вперед, не дышим. Наконец дедушка достал обломок белого калача и с улыбкой положил перед нами.

— Это вам от зайца.

Я показал Алешке пальцами уши над головой, и он расплылся в улыбке: понял — это от зайца. Мы схватили калач. Он мерзлый, что камень. По очереди пытались откусить от него хоть крошечку.

— А это от лисы, — подал дедушка наливную зарыжевую шаньгу.

Кажется, наступила вершина наших чувств и востор-

гов, но это еще не все. Дедушка еще глубже залез рукою в мешочек и долго-долго не вынимал подарок, тихо улыбаясь в бороду, он хитровато поглядывал на нас.

А мы уж и без того готовы. У меня сердчишко сперва остановилось, потом затрепыхалось, потом опять остановилось, в глазах рябило от напряжения. А дед томил. Ох, томил! «Ну, дедушка! — хотелось крикнуть. — Да что же у тебя там еще, что?» Дед медленно выудил из мешочка кусок вареного, стылого мяса, облепленного крошками, и торжественно протянул его:

— А это от самого Мишки. Он там сено наше караулил.

— От медведя? — вскочил я. — Алешка, это от медведя! Бу-бу-бу! — показал я ему и надул щеки, насупил брови. Алешка понял меня, захолопал в ладоши — у нас с ним одинаковое представление о медведе.

Ломаем зубы, грызем мерзлый калач, шаньгу, мясо, отгаиваем лесные подарки языком, ртом, дыханием. Все дружелюбно поглядывают на нас, подшучивают и вспоминают свое детство. И только бабушка несердито выговаривает деду:

— Потеху потом бы отдал. Останутся без ужина.

Да, мы так и не поели — некогда было и не хотелось вроде бы. С замусоленным огрызком калача и плиточкой шаньги залезли мы на полати. На печке сегодня спит дедушка — он с холода. Я держал в руке холодный, постепенно раскисающий кусочек калача, Алешка — кружок шаньги. Мы смеялись, толкали друг дружку, пугая один другого лесом, медведем. Полати под нами прогибались, тесины ходуном ходили, но никто на нас не кричал — все утомились, на морозе напеклись и крепко спали.

Уснули и мы с братаном в обнимку. Снились нам в ту зимнюю, тихую ночь дивно-дивные сны.

КОНЬ С РОЗОВОЙ ГРИВОЙ

Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что левонтьевские ребята собираются на увал по землянику, и велела сходить с ними.

— Наберешь туесок. Я повезу свои ягоды в город, твои тоже продам и куплю тебе пряник.

— Конем, баба?

— Конем, конем.

Пряник конем! Это ж мечта всех деревенских малышей. Он белый-белый, этот конь. А грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые.

Бабушка никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пряник — совсем другое дело. Пряник можно сунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь лягает копытами в голый живот. Холодея от ужаса — потерял, — хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться — тут он, тут конь-огонь!

С таким конем сразу почету сколько, внимания! Ребята левонтьевские к тебе так и этак ластятся, и в чижа первому бить дают, и из рогатки стрельнуть, чтоб только им позволили потом откусить от коня либо лизнуть его. Когда даешь левонтьевскому Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по которое откусить положено, и держать крепко, иначе Танька или Санька так цапнут, что останется от коня хвост да грива.

Левонтий, сосед наш, работал на бадогах вместе с Мишкой Коршуковым. Левонтий заготавливал лес на бадоги, пилил его, колол и сдавал на известковый завод, что

был супротив села, по другую сторону Енисея. Один раз в десять дней, а может, и в пятнадцать — я точно не помню, — Левонтий получал деньги, и тогда в соседнем доме, где были одни ребятишки и ничего больше, начинался пир горой.

Какая-то беспокойность, лихорадка, что ли, охватывала не только левонтьевский дом, но и всех соседей. Ранним еще утром к бабушке забегала тетка Васеня — жена дяди Левонтия, запыхавшаяся, загнанная, с зажатými в горсти рублями.

— Кума! — испуганно-радостным голосом восклицала она. — Долг-от я принесла! — И тут же кидалась прочь из избы, взметнув юбкою вихрь.

— Да стой ты, чумовая! — окликала ее бабушка. — Сосчитать ведь надо.

Тетка Васеня покорно возвращалась, и, пока бабушка считала деньги, она перебирала босыми ногами, ровно горячий конь, готовый рвануть, как только приотпустят вожжи.

Бабушка считала обстоятельно и долго, разглаживая каждый рубль. Сколько я помню, больше семи или десяти рублей из «запасу» на черный день бабушка никогда Левонтьихе не давала, потому как весь этот «запас» состоял, кажется, из десятки. Но и при такой малой сумме заполошная Васеня умудрялась обсчитаться на рубль, когда и на целый трояк.

— Ты как же с деньгами-то обращаешься, чучело безглазое! — напускалась бабушка на соседку. — Мне рупь, другому рупь! Что же это получится?

Но Васеня опять взметывала юбкой вихрь и укатывалась.

— Передала ведь!

Бабушка еще долго поносила Левонтьиху, самого Левонтия, который, по ее убеждению, хлеба не стоил, а вино жрал, била себя руками по бедрам, плевалась, я подсаживался к окну и с тоской глядел на соседский дом.

Стоял он сам собою, на просторе, и ничего-то ему не мешало смотреть на свет белый кое-как застекленными окнами — ни забор, ни ворота, ни наличники, ни ставни. Даже бани у дяди Левонтия не было, и они, левонтьевские, мылись по соседям, чаще всего у нас, натаскав воды и подводу дров с известкового завода переправив.

В один благой день, может быть, и вечер дядя Левонтий качал зыбку и, забывшись, затянул песню морских

скитальцев, слышанную в плаваниях, — он когда-то был моряком.

Приплыл по акянгу
Из Африки матрос.
Малютку облизяну
Он в ящике привез...

Семейство утихло, внимая голосу родителя, впитывая очень складную и жалостную песню. Село наше, кроме улиц, посадов и переулков, скроено и сложено еще и по песенно — у всякой семьи, у фамилии была «своя», коронная песня, которая глубже и полнее выражала чувства именно этой и никакой другой родни. Я и поныне, как вспомню песню «Монах красотку полюбил», — так и вижу Бобровский переулок и всех бобровских, и мураши у меня по коже разбегаются от потрясенности. Дрожит, сжимается сердце от песни «шахматовского колена»: «Я у окошечка сидела, Боже мой, а дождик капал на меня». И как забыть фокинскую, душу, рвущую: «Понапрасну ломал я решеточку, понапрасну бежал из тюрьмы, моя милая, родная женушка у другого лежит на груди», или дяди моего любимую: «Однажды в комнате уютной», или в память о маме-покойнице, поющуюся до сих пор: «Ты скажи-ка мне, сестра...» Да где же все и всех-то упомнишь? Деревня большая была, народ голосистый, удалой, и родня в коленах глубокая и широкая.

Но все наши песни скользом пролетали над крышей поселенца дяди Левонтия — ни одна из них не могла тревожить закаменелую душу боевого семейства, и вот на тебе, дрогнули левонтьевские орлы, должно быть, капля-другая моряцкой, бродяжьей крови путалась в жилах детей, и она-то размыла их стойкость, и когда дети были сыты, не дрались и ничего не истребляли, можно было слышать, как в разбитые окна, в распахнутые двери выплескивается дружный хор:

Сидит она, тоскует
Все ночи напролет
И песенку такую
О родине поет:
«На теплом-теплом юге,
На родине моей,
Живут, растут подруги
И нет совсем людей...»

Дядя Левонтий подбуровливал песню басом, добавляя в нее рокогу, и оттого и песня, и ребята, и сам он как бы менялись обликом, красивше и сплоченней делались, и текла тогда река жизни в этом доме покойным, ровным руслом. Тетка Васеня, непереносимой чувствительности человек, оросив лицо и грудь слезьми, подвывая в старый прожженный фартук, высказывалась насчет безответственности человеческой — сгрёб вот какой-то пьяный охломон облизьянку, уташшыл ее с родины невесть зачем и на че? А она вот, бедная, сидит и тоскует все ночи напролет... И, вскинувшись, вдруг впивалась мокрыми глазами в супруга — да уж не он ли, странствуя по белу свету, уговорил это черно дело?! Не он ли свистнул облизьянку? Он ведь пьяный не ведает, чего творит!

Дядя Левонтий, покаянно принимающий все грехи, какие только возможно навесить на пьяного человека, морщил лоб, тужась понять: когда и зачем он увез из Африки обезьяну? И, коли увез, умыкнул животную, то куда она впоследствии делась?

Весною левонтьевское семейство ковыряло маленько землю вокруг дома, возводило изгородь из жердей, хворостиц, старых досок. Но зимой все это постепенно исчезало в угробе русской печи, раскорячившейся посреди избы.

Танька левонтьевская так говаривала, шумя беззубым ртом, обо всем ихнем заведении:

— Зато как тятка шурунет нас — бегишь и не заппнешша.

Сам дядя Левонтий в теплые вечера выходил на улицу в штанах, державшихся на единственной медной пуговице с двумя орлами, в бязевой рубахе, вовсе без пуговиц. Садился на истюканный топором чурбак, изображавший крыльцо, курил, смотрел, и если моя бабушка корила его в окно за безделье, перечисляла работу, которую он должен был, по ее разумению, сделать в доме и вокруг дома, дядя Левонтий благодушно почесывался.

— Я, Петровна, свободу люблю! — и обводил рукою вокруг себя: — Хорошо! Как на море! Ништо глаз не утчетат!

Дядя Левонтий любил море, а я любил его. Главная цель моей жизни была прорваться в дом Левонтия после его полочки, послушать песню про малютку обезьяну и, если потребуется, подтянуть могучему хору. Улизнуть не так-то просто. Бабушка знает все мои повадки наперед.

— Нечего куски выглядывать, — гремела она. — Нечего этих пролетарьев объедать, у них самих в кармане — вошь на аркане.

Но если мне удавалось ушмыгнуть из дома и попасть к Левонтьевским, тут уж все, тут уж я окружен бывал редкостным вниманием, тут мне полный праздник.

— Выдь отсюда! — строго приказывал пьяненький дядя Левонтий кому-нибудь из своих парнишек. И пока кто-либо из них неохотно вылезал из-за стола, пояснял детям свое строгое действие уже обмякшим голосом: — Он сирота, а вы всешки при родителях! — И, жалостно глянув на меня, взревывал: — Мать-то ты хоть помнишь ли? — Я утвердительно кивал. Дядя Левонтий горестно облакачивался на руку, кулачищем растирал по лицу слезы, вспоминая: — Бадоги с ней по один год кололи-и-и! — И совсем уж разрыдавшись: — Когда ни придешь... ночь-ночь... пропа... пропащая ты голова, Левонтий, скажет и... опохмелит...

Тетка Васеня, ребятишки дяди Левонтия и я вместе с ними ударялись в рев, и до того становилось жалостно в избе, и такая доброта охватывала людей, что все-все высыпалось и вываливалось на стол и все наперебой угощали меня, и сами ели уже через силу, потом затягивали песню, и слезы лились рекой, и горемычная обезьяна после этого мне снилась долго.

Поздно вечером либо совсем уже ночью дядя Левонтий задавал один и тот же вопрос: «Что такое жисть?!» После чего я хватал пряники, конфеты, ребятишки Левонтьевские тоже хватали что попадало под руки и разбегались кто куда. Последней ходу задавала Васеня, и бабушка моя привечала ее до утра. Левонтий бил остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал.

На следующее утро он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол и, полный мрака и раскаяния, отпраивался на работу. Тетка Васеня дня через три-четыре снова ходила по соседям и уже не взмечивала юбкою вихрь, снова занимала до получки денег, муки, картошек — чего придется.

Вот с орлами-то дяди Левонтия и отпраивался я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. Ребятишки несли бокалы с отбитыми краями, старые, наполовину изодранные на растопку, берестяные туески, кринки, обвязанные по горлу бечевками, у кого ковшики без ручек были. Парнишки вольничали, боролись, бросали друг в

друга посудой, ставили подножки, раза два принимались драться, плакали, дразнились. По пути они заскочили в чей-то огород, и, поскольку там еще ничего не поспело, напластали беремья луку-батуна, наелись до зеленой слюны, остатки побросали. Оставили несколько перышек на свистульки. В обкусанные перья они пищали, приплясывали, под музыку шагалось нам весело, и мы скоро пришли на каменистый увал. Тут все перестали баловаться, рассыпались по лесу и начали брать землянику, только-только еще поспевающую, белобокую, редкую и потому особенно радостную и дорогую.

Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького туеска стакана на два-три. Бабушка говорила: главное в ягодах — закрыть дно посуды. Вдохнул я с облегчением и стал собирать землянику скорее, да и попало ее выше по увалу больше и больше.

Левонтьевские ребятишки сначала ходили тихо. Лишь позвякивала крышка, привязанная к медному чайнику. Чайник этот был у старшего парнишки, и побрякивал он, чтобы мы слышали, что старшой тут, поблизости, и бояться нам печего и незачем.

Вдруг крышка чайника забренчала нервно, послышалась возня.

— Ешь, да? Ешь, да? А домой чё? А домой чё? — спрашивал старшой и давал кому-то тумака после каждого вопроса.

— А-га-га-гааа! — запела Танька. — Шанька шажрал, дак ничо-о-о...

Попало и Саньке. Он рассердился, бросил посудину и свалился в траву. Старшой брал, брал ягоды да и задумался: он для дома старается, а те вон, дармоеды, жрут ягоды либо вовсе на траве валяются. Подскочил старшой и пнул Саньку еще раз. Санька взвыл, кинулся на старшого. Зазвенел чайник, брызнули из него ягоды. Бьются братья богатырские, катаются по земле, всю землянику раздавили.

После драки и у старшого опустились руки. Принялся он собирать просыпанные, давленные ягоды — и в рот их, в рот.

— Значит, вам можно, а мне, значит, нельзя! Вам можно, а мне, значит, нельзя? — зловец спрашивал он, пока не съел все, что удалось собрать.

Вскоре братья как-то незаметно помирились, переста-

ли обзывать и решили спуститься к Фокинской речке, побрызгаться.

Мне тоже хотелось к речке, тоже бы побрызгаться, но я не решался уйти с увала, потому что еще не набрал полную посудину.

— Бабушки Петровны испугался! Эх ты! — закричался Санька и назвал меня поганым словом. Он много знал таких слов. Я тоже знал, научился говорить их у левонтьевских ребят, но боялся, может, стеснялся употребить поганство и несмело заявил:

— Зато мне бабушка пряник конем купит!

— Может, кобылой? — усмехнулся Санька, плюнул себе под ноги и тут же что-то смекнул: — Скажи уж лучше — боишься ее и еще жадный!

— Я?

— Ты!

— Жадный?

— Жадный!

— А хочешь, все ягоды съем? — сказал я это и сразу покаялся, понял, что попался на уду. Исцарапанный, с шишками на голове от драк и разных других причин, с цыпками на руках и погах, с красными окровавленными глазами, Санька был вреднее и злее всех левонтьевских ребят.

— Слабо! — сказал он.

— Мне слабо! — хорохорился я, искоса глядя в тесок. Там было ягод уже выше середины. — Мне слабо?! — повторял я гаснущим голосом и, чтобы не спасовать, не струсить, не опозориться, решительно вытряхнул ягоды на траву: — Вот! Ешьте вместе со мной!

Навалилась левонтьевская орда, ягоды вмиг исчезли. Мне досталось всего несколько малюсеньких, гнутых ягодок с прозеленью. Жалко ягод. Грустно. Тоска на сердце — предчувствует оно встречу с бабушкой, отчет и расчет. Но я напустил на себя отчанность, махнул на все рукой — теперь уже все равно. Я мчался вместе с левонтьевскими ребятами под гору, к речке, и хвастался:

— Я еще у бабушки калач украду!

Парни поощряли меня, действуй, мол, и не один калач носи, шанег еще прихвати либо пирог — ничего лишнее не будет.

— Ладно!

Бегали мы по мелкой речке, брызгались студеной водой, опрокидывали плиты и руками ловили подкаменщи-

ка — пищуженца. Санька ухватил эту мерзкую на вид рыбицу, сравнил ее со срамом, и мы растерзали пищуженца на берегу за некрасивый вид. Потом пуляли камни в пролетающих птичек, подшибли белобрюшку. Мы отпавали ласточку водой, но она пускала в речку кровь, воды проглотить не могла и умерла, уронив головку. Мы похоронили беленькую, на цветочек похожую птичку на берегу, в гальке и скоро забыли о ней, потому что занялись захватывающим, жутким делом: забежали в устье холодной пещеры, где жила (это в селе доподлинно знали) нечистая сила. Дальше всех в пещеру забежал Санька — его и нечистая сила не брала!

— Это еще чё! — хвалился Санька, воротившись из пещеры. — Я бы дальше побег, в глыбь побег ба, да босый я, там змеев гибель.

— Жмеев?! — Танька отступила от устья пещеры и на всякий случай подтянула спадающие штанишки.

— Домовнику с домовым видел, — продолжал рассказывать Санька.

— Хлопуша! Домовые на чердаке живут да под печкой! — срезал Саньку старшой.

Санька смешался было, однако тут же оспорил старшого:

— Дак тама ка́кой домовой-то? Домашний. А тут пещернай. В мохе весь, серай, дрожмя дрожит — студено ему. А домовника худа-худа, глядит жалобливо и стонет. Да меня не подманишь, подойди только — схватит и слоцает. Я ей камнем в глаз залимонил!..

Может, Санька и врал про домовых, но все равно страшно было слушать, чудилось — вот совсем близко в пещере кто-то все стонет, стонет. Первой дернула от худого места Танька, следом за нею и остальные ребята с горы посыпались. Санька свистнул, заорал дурноматом, поддавая нам жару.

Так интересно и весело мы провели весь день, и я совсем уже забыл про ягоды, но наступила пора возвращаться домой. Мы разобрали посуду, спрятанную под деревом.

— Задаст тебе Катерина Петровна! Задаст! — заржал Санька. — Ягоды-то мы съели! Ха-ха! Нарошно съели! Ха-ха! Нам-то ништяк! Ха-ха! А тебе-то хо-хо!..

Я и сам знал, что им-то, левонтьевским, «ха-ха!», а мне «хо-хо!». Бабушка моя, Катерина Петровна, не тетка Ва-

сеня, от нее враньем, слезами и разными отговорками не отделаешься.

Тихо плелся я за левонтьевскими ребятами из лесу. Они бежали впереди меня гурьбой, гнали по дороге ковшик без ручки. Ковшик звякал, подпрыгивал на камнях, от него отскакивали остатки эмалировки.

— Знаешь чё? — проговорив с братанами, вернулся ко мне Санька. — Ты в туес травы натолкай, сверху ягод — и готово дело! Ой, дитятко мое! — принялся с точностью передразнивать мою бабушку Сапьяка. — Пособил тебе воспо-одь, сиротинке, пособи-ил. — И подмигнул мне бес Санька, и помчался дальше, впиз с увала, домой.

А я остался.

Утихли голоса ребятни под увалом, за огородами, жутко сделалось. Правда, село здесь слышно, а все же тайга, пещера недалеко, в ней домовниха с домовым, змеи кишмя кишат.

Повздыхал я, повздыхал, чуть было не всплакнул, но надо было слушать лес, траву, домовые из пещеры не подбираются ли. Тут хныкать некогда. Тут ухо остро держи. Я рвал горстью траву, а сам озирался по сторонам. Набил травую туго туесок, на бычке, чтоб к свету ближе и дома видать, собрал несколько горсток ягодок, заложил ими траву — получилось земляники даже с копной.

— Дитятко ты мое! — запричитала бабушка, когда я, замирая от страха, передал ей посудину. — Восподь тебе пособил, воспо-дь! Уж куплю я тебе пряник, самый большущий. И пересыпать ягодки твои не стану к своим, прямо в этом туеске увезу...

Отлегло маленько.

Я думал, сейчас бабушка обнаружит мое мошенничество, даст мне что полагается, и уже приготовился к каре за содеянное злодейство. Но обошлось. Все обошлось. Бабушка унесла туесок в подвал, еще раз похвалила меня, дала есть, и я подумал, что бояться мне пока печего и жизнь не так уж худа.

Я поел, отправился на улицу играть, и там дернуло меня сообщить обо все Саньке.

— А я расскажу Петровне! А я расскажу!..

— Не надо, Санька!

— Принеси калач, тогда не расскажу.

Я пробрался тайком в кладовку, вынул из ларя калач и принес его Саньке, под рубахой. Потом еще принес, потом еще, пока Санька не нажрался.

«Бабушку надул. Калачи украл! Что только будет?» — терзался я ночью, ворочаясь на полатах. Сон не брал меня, покой «андельский» не спускался на мою жиганью, на мою варначью душу, хотя бабушка, перекрестив на ночь, желала мне не какого-нибудь, а самого что ни на есть «андельского», тихого сна.

— Ты чего там елозишь? — хрипло спросила из темноты бабушка. — В речке небось опять бродил? Ноги опять болят?

— Не-е, — откликнулся я. — Сон приснился...

— Спи с Богом! Спи, не бойся. Жизнь страшнее снов, батюшко...

«А что, если слезть с полатей, забраться к бабушке под одеяло и все-все рассказать?»

Я прислушался. Снизу доносилось трудное дыхание старого человека. Жалко будить, устала бабушка. Ей рано вставать. Нет уж, лучше я не буду спать до утра, скараулю бабушку, расскажу обо всем: и про туесок, и про домовнику с домовым, и про калачи, и про все, про все...

От этого решения мне стало легче, и я не заметил, как закрылись глаза. Возникла Санькина немытая рожа, потом замелькал лес, трава, земляника, завалила она и Саньку, и все, что виделось мне днем.

На полатах запахло сосняком, холодной таинственной пещерой, речка прожурчала у самых ног и смолкла...

Дедушка был на заимке, километрах в пяти от села, в устье реки Маны. Там у нас посеяна полоска ржи, полоска овса и гречи да большой загон посажен картошек.

О колхозах тогда еще только начинались разговоры, и селяне наши жили пока единолично. У дедушки на заимке я любил бывать. Спокойно у него там, обстоятельно, никакого угнетения и надзора, бегай хоть до самой ночи. Дедушка никогда и ни на кого не шумел, работал негоплоиво, но очень уемисто и податливо.

Ах, если бы заимка была ближе! Я бы ушел, скрылся. Но пять километров для меня были тогда непреодолимым расстоянием. И Алешки нет, чтобы с ним вместе умотать. Недавно приезжала тетка Августа и забрала Алешку с собой на лесоучасток, куда она поступила работать.

Слонялся я, слонялся по пустой избе и ничего другого не мог придумать, как податься к левонтьевским.

— Уплыла Петровна! — ухмыльнулся Санька и цыркнул слюной в дырку меж передних зубов. У него в этой дырке мог поместиться еще один зуб, и мы были без ума от этой Санькиной дырки. Как он в нее цыркал слюной!

Санька собирался на рыбалку, распутывал леску. Малые его братья и сестры толкались подле, бродили вокруг скамеек, ползали, ковыляли на кривых ногах. Санька раздавал затрешины направо и налево — малые лезли под руку, путали леску.

— Крючка нету, — сердито буркнул он, — проглотил, должно, который-то.

— Помрет?

— Ништя-ак! — успокоил меня Санька. — Переварят. У тебя много крючков, дай. Я тебя с собой возьму.

— Идет.

Я помчался домой, схватил удочки, хлеба в карман сунул, и мы подались к каменным бычкам, за поскотину, спускающуюся прямо в Енисей по-за логом.

Старшего дома не было. Его взял с собой «на бадюги» отец, и Санька командовал напрапалую. Поскольку был он сегодня старшим и чувствовал большую ответственность, то уж не задирался зря и, мало того, усмирлял «народ», если тот начинал свалку.

У бычков Санька поставил удочки, наживил червячков, поллевал на них и «с руки» закинул лески, чтобы дальше закинулось, — всем известно: чем дальше и глубже, тем больше рыбы и крупней она.

— Ша! — вытаращил глаза Санька, и мы покорно замерли.

Долго не клевало. Мы устали ждать, начали толкаться, хихикать, дразниться. Санька терпел, терпел и прогнал нас искать щавель, береговой чеснок, дикую редьку, иначе, мол, он за себя не ручается, иначе он всем нам нащелкает.

Левонтьевские ребята умели пропитаться «от земли», ели все, что Бог пошлет, ничем не брезговали и оттого были краснорожие, сильные, ловкие, особенно за столом.

Без нас у Саньки в самом деле заклевало. Пока мы собирали пригодную для жратвы зелень, он вытаращил двух ершей, пескаря и белоглазого ельчика. Развели огонь на берегу. Санька вздел на палочки рыб, приспособил их жарить, ребяташки окружили костерок и не спускали глаз с жарева. «Са-ань! — заныли они скоро. — Уж изварилось! Са-ань!..»

— Н-ну, прорвы! Н-ну, прорвы! Ужели не видите, что ерш жабрами зевает? Токо бы слопать поскорейча. А ну как брюхо схватит, понос ешли?..

— Понос у Витьки Катерининоного бывает. У нас не-эг.

— Я чё сказал?!

Смокли орлы боевые. С Санькой не больно турусы разведешь, он, чуть чего, и навтыкает. Терпят малые, швыркают носами; норовят огонь пожарче сладить. Однако терпенья хватает ненадолго.

— Ну, Са-ань, вон уж прямо уголь...

— Подавитесь!

Ребята сцапали палочки с жареной рыбой, разорвали на лету и на лету же, постанывая от горячего, съели их почти сырыми, без соли и хлеба, съели и в недоумении огляделись: уже?! Столько ждали, столько терпели и только облизнулись. Хлеб мой ребяташки тоже незаметно смолотили и занялись кто чем: вытаскивали из норок береговушек, «блинали» каменными плиточками по воде, пробовали купаться, но вода была еще холодная, быстро выскочили из реки — отогреться у костра. Отогрелись и упали в еще низкую траву, чтоб не видать, как Санька жарит рыбу, теперь уже себе, теперь его черед, и тут уж проси не проси — могила. Не даст, потому как сам жарить любит пуще всех.

День был ясный, легний. Сверху пекло. Возле поскотины клонились к земле рябенькие кукушкины башмачки. На длинных хрустких стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики, и, наверное, только пчелы слышали, как они звенели. Возле муравейника на обогретой земле лежали полосатые цветки-граммофончики, и в голубые их рупоры совали головы шмели. Они надолго замирали, выставив мохнатые зады, должно быть, заслушивались музыкой. Березовые листья блестели, осипник сомлел от жары, сосняк по увалам был весь в синем куреве. Над Ениссем солнечно мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла известковых печей, полыхающих по ту сторону реки. Тени скал лежали недвижно на воде, и светом их размыкало, рвало в клочья, будто старое тряпье. Железнодорожный мост в городе, видимый из нашего села в ясную погоду, колыбался тонким кружевцем, и, если долго смотреть на него, — кружевце истоньшалось и рвалось.

Оттуда, из-за моста, должна приплыть бабушка. Что только будет! И зачем я так сделал? Зачем послушался

левоигтвевских? Вон как хорошо было жить. Ходи, бегай, играй и ни о чем не думай. А теперь что? Надеяться теперь не на что. Разве что на нечаянное какое избавление. Может, лодка опрокинется и бабушка утонет? Нет уж, лучше пусть не опрокидывается. Мама утонула. Чего хорошего? Я нынче сирота. Несчастный человек. И пожалеть меня некому. Левонтий только пьяный жалеет да еще дедушка — и все, бабушка только кричит, еще пет-пет да поддаст — у нее не задержится. Главное, дедушки нет. На займке дедушка. Он бы не дал меня в обиду. Бабушка и на него кричит: «Потатчик! Своим всю жизнь потачил, теперь этого!..»

«Дедушка ты дедушка, хоть бы ты в баню мыться приехал, хоть бы просто так приехал и взял бы меня с собою!»

— Ты чего нюнишь? — наклонился ко мне Санька с озабоченным видом.

— Ничего-о-о! — голосом я давал понять, что это он, Санька, довел меня до такой жизни.

— Ништя-ак! — утешил меня Санька. — Не ходи домой, и все! Заройся в сено и притаись. Петровна видела у твоей матери глаз приоткрытый, когда ее хоронили. Боятся — ты тоже утонешь. Вот она как запричигает: «Утону-у-ул мой дитятко, спокинул меня, сиротиночка», — ты тут и вылезешь!..

— Не буду так делать! — запротестовал я. — И слушаться тебя не буду!..

— Ну и лешак с тобой! Об тебе же стараются. Во! Клонуло! У тебя клонуло!

Я свалился с яра, переполошив береговушек в дырках, и рванул удочку. Попался окунь. Потом ерш. Подошла рыба, начался клев. Мы наживляли червяков, закидывали.

— Не перешагивай через удилице! — суеверно орал Санька на совсем ошалевших от восторга малышей и таскал, таскал рыбешек. Парнишонки надевали их на ивовый прут, опускали в воду и кричали друг на дружку: «Кому говорено — не пересыкай удочку?!»

Вдруг за ближним каменным бычком защелкали по дну кованые шести, из-за мыса показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шести. Сверкнув отшлифованными наконечниками, шести разом падали в

воду, и лодка, зарывшись по обводы в реку, рвалась вперед, откидывая на стороны волны. Взмах шестов, перекидка рук, толчок — лодка вспрыгнула носом, ходко подалась вперед. Она ближе, ближе. Вот уж кормовой давнул шестом, и лодка кивнула в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на бсседке еще одного человека. Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки и крест-накрест завязаны на спине. Под полушалком крашенная в бордовый цвет кофта. Вынималась эта кофта из сундука по большим праздникам и по случаю поездки в город.

Я рванул от удочек к яру, подпрыгнул, ухватился за траву, засунув большой палец ноги в норку. Подлетела береговушка, тюкнула меня по голове, я с перепугу упал на комья глины, подскочил и бежать по берегу, прочь от лодки.

— Ты куда! Стой! Стой, говорю! — кричала бабушка. Я мчался во весь дух.

— Я-а-авишша, я-авишша домой, мошенник!

Мужики поддали жару.

— Держи его! — крикнули из лодки, и я не заметил, как оказался на верхнем конце села, куда и одышка, всегда меня мучающая, девалась! Я долго отдыхивался и скоро обнаружил — подступает вечер — волей-неволей надо возвращаться домой. Но я не хотел домой и на всякий случай подался к двоюродному братишке Кеше, дяди Ванину сыну, жившему здесь, на верхнем краю села.

Мне повезло. Возле дяди Ванино дома играли в лапту. Я ввязался в игру и пробежал до темноты. Появилась тетья Феня, Кешкина мать, и спросила меня:

— Ты почему домой не идешь? Бабушка потеряет тебя.

— Не-е, — ответил я как можно беспечнее. — Она в город уплыла. Может, почувет там.

Тетья Феня предложила мне поесть, и я с радостью смолотил все, что она мне дала, топкошей Кеша попил вареного молока, и мать ему сказала с укором:

— Все на молочке да на молочке. Гляди вон, как ест парнишка, оттого и крепок, как гриб боровик. — Мне поглянулась тети Фенина похвала, и я уже тихо надеяться стал, что она меня и ночевать оставит.

Но тетья Феня порасспрашивала, порасспрашивала меня обо всем, после чего взяла за руку и отвела домой.

В нашей избе уже не было свету. Тетья Феня постучала в окно. «Не заперто!» — крикнула бабушка. Мы вошли в

темный и тихий дом, где только и слышалось многокры-
лое постукивание бабочек да жужжание бьющихся о стекло
мух.

Тетя Феня отгеснила меня в сени, втокнула в при-
строенную к сеним кладовку. Там была палажена постель
из половиков и старого седла в головах — на случай, если
днем кого-то сморит жара и ему захочется отдохнуть в
холодке.

Я зарылся в половики, притих, слушая.

Тетя Феня и бабушка о чем-то разговаривали в избе,
но о чем — не разобрать. В кладовке пахло отрубями,
пылью и сухой травой, натканной во все щели и под
потолком. Трава эта все чего-то пощелкивала да потрес-
кивала. Тоскливо было в кладовке. Темень была густа,
шероховата, заполненная запахами и тайной жизнью. Под
полом одиноко и робко скреблась мышь, голодающая из-
за кота. И все потрескивали сухие травы да цветы под
потолком, открывали коробочки, сорили во тьму семечки,
два или три запутались в моих волосах, но я их не вытас-
кивал, страшась шевельнуться.

На селе утверждалась тишина, прохлада и почная
жизнь. Убитые дневною жарою собаки приходили в себя,
вылазили из-под сеней, крылец, из конур и пробовали
голоса. У моста, что положен через Фокинскую речку,
пиликала гармошка. На мосту у нас собирается молодежь,
пляшет там, поет, пугает припозднившихся ребятишек и
стеснительных девчонок.

У дяди Левонтия спешно рубили дрова. Должно быть,
хозяин принес чего-то на вареву. У кого-то левонтьевские
«сбодали» жердь? Скорей всего у нас. Есть им время про-
мышлять в такую пору дрова далеко...

Ушла тетя Феня, плотно прикрыла дверь в сепках. Во-
ровато прошмыгнул по крыльцу кот. Под полом стихла
мышь. Стало совсем темно и одиноко. В избе не скрипели
половицы, не ходила бабушка. Устала. Не ближний путь в
город-то! Восемнадцать верст, да с котомкой. Мне каза-
лось, что, если я буду жалеть бабушку, думать про нее
хорошо, она об этом догадается и все мне простит. При-
дет и простит. Ну разок и щелкнет, так что за беда! За
такое дело и не разок можно...

Однако бабушка не приходила. Мне сделалось холод-
но. Я свернулся калачиком и дышал себе на грудь, думая
про бабушку и про все жалостное.

Когда утонула мама, бабушка не уходила с берега, ни

увести, ни уговорить ее всем миром не могли. Она все кликала и звала маму, бросала в реку крошки хлебushка, серебряшки, лоскутки, вырывала из головы волосы, завязывала их вокруг пальца и пускала по течению, надеясь задобрить реку, умиловать Господа.

Лишь на шестые сутки бабушку, распустившуюся телом, почти волоком утащили домой. Она, словно пьяная, бредово что-то бормотала, руки и голова ее почти доставали землю, волосы на голове расплетались, висели над лицом, цеплялись за все и оставались клочьями на бурьяне, на жердях и на заплотах.

Бабушка упала среди избы на голый пол, раскинув руки, и так вот спала, не раздетая, в скоробленных опорках, словно плыла куда-то, не издавая ни шороха, ни звука, и доплыть не могла. В доме говорили шепотом, ходили на цыпочках, боязно наклонялись над бабушкой, думая, что она умерла. Но из глубины бабушкиного нутра, через стиснутые зубы шел непрерывный стон, словно бы придавило что-то или кого-то там, в бабушке, и оно мучилось от неотпускающей, жгучей боли.

Очнулась бабушка ото сна сразу, огляделась, будто после обморока, и стала подбирать волосы, сплестать их в косу, держа тряпочку для завязки косы в зубах.

Деловито и просто не сказала, а выдохнула она из себя: «Нет, не дозваться мне Лиденьку, не дозваться. Не отдает ее река. Ближе где-то, совсем близко держит, но не отдает и не показывает...»

А мама и была близко. Ее затянуло под славную бону против избы Вассы Вахрамеевны, она зацепилась косой за перевязь бон и моталась, моталась там до тех пор, пока не отопрели волосы и не оторвало косу. Так они и мучились: мама в воде, бабушка на берегу, мучились страшной мукой неизвестно за чьи тяжкие грехи...

Бабушка узнала и рассказала мне, когда я подрост, что в маленькую долбленную лодку набилось восемь человек отчаянных овсянских баб и один мужик на корме — наш Кольча-младший. Бабы все с торгом, в основном с ягодой — земляничкой, и, когда лодка опрокинулась, по воде, ширясь, понеслась красная яркая полоса, и сплавщики с катера, спасавшие людей, закричали: «Кровь! Кровь! Разбило о бону кого-то...»

Но по реке плыла земляника. У мамы тоже была кринка земляники, и алой струйкой слилась она с красной полосой. Может, и мамина кровь от удара головой о бону

была там, текла и вилась вместе с земляникой по воде, да кто ж узнает, кто отличит в панике, в суете и криках красное от красного?

Проснулся я от солнечного луча, просочившегося в мутное окошко кладовки и ткнувшего мне в глаза. В луче мошкой мельтешила пыль. Откуда-то напосило заимкой, пашнею. Я огляделся, и сердце мое радостно подпрыгнуло: па меня был накинута дедушкин старепький полушубок. Дедушка приехал ночью. Красота!

На кухне бабушка кому-то обстоятельно рассказывала:

— ...Культурная дамочка, в шляпке. «Я эти вот ягодки все куплю». Пожалуйста, милости прошу. Ягодки-то, говорю, сиротинка горемышный собирал...

Тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог и не желал разбирать, что говорила она дальше, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы скорее помереть. Но сделалось жарко, глухо, стало нечем дышать, и я открылся.

— Своих вечно потачил! — гремела бабушка. — Теперь этого! А он уж мошенничат! Чё потом из него будет? Жиган будет! Вечный арестант! Я вот еще левонтьевских, пятнай их, в оборот возьму! Это ихняя грамота!..

Убрался дед во двор, от греха подальше, чего-то тюкает под навесом. Бабушка долго одна не может, ей надо кому-то рассказывать о происшествии либо разносить вдребезги мошенника, стало быть, меня, и она тихонько прошла по сеням, приоткрыла дверь в кладовку. Я едва успел крепко-накрепко сомкнуть глаза.

— Не спишь ведь, не спишь! Все-о вижу!

Но я не сдавался. Забежала в дом тетка Авдотья, спросила, как «тета» сплавала в город. Бабушка сказала, что «сплавала, слава Тебе, Господи, ягоденки продала сходно», и тут же принялась повествовать:

— Мой-то! Малой-то! Чего утворил!.. Послушай-ко, послушай-ко, девка!

В это утро к нам приходило много людей, и всех бабушка задерживала, чтоб поведать: «А мой-то! Малой-то!» И это ей нисколько не мешало исполнять домашние дела — она носилась взад-вперед, доила корову, выгоняла ее к пастуху, вытряхивала половики, делала разные свои дела и всякий раз, пробегая мимо дверей кладовки, не забывала папомнить:

— Не спишь ведь, не спишь! Я все-о вижу!

Но я твердо верил: управится по дому и уйдет. Не вытерпит, чтобы не поделиться новостями, почерпнутыми в городе, и узнать те новости, которые свершились без нее на селе. И каждому встречному и поперечному бабушка с большой охотой будет твердить: «А мой-то! Малой-то!»

В кладовку завернул дедушка, вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул: «Ничего, дескать, терпи и не робей!», да еще и по голове меня погладил. Я заширкал носом, и так долго копившиеся слезы ягодой, крупной земляникой, пятнай ее, сыпанули из моих глаз, и не было им никакого удержу.

— Ну, што ты, што ты? — успокаивал меня дед, обирая большой рукой слезы с моего лица. — Чево голодной-то лежишь? Попроси прощенья... Ступай, ступай, — легонько подтолкнул меня дед в спину.

Придерживая одной рукой штаны, прижав другую локтем к глазам, я ступил в избу и завел:

— Я больше... Я больше... Я больше... — и ничего не мог дальше сказать.

— Ладно уж, умывайся да садись трескаться! — все еще непримиримо, но уже без грозы, без громов оборвала меня бабушка. Я покорно умылся, долго возил по лицу сырым ручотерником и вспомнил, что ленивые люди, по заверению бабушки, всегда сырым утираются, потому что всех позднее встают. Надо было двигаться к столу, садиться, глядеть на людей. Ах ты Господи! Да чтобы я еще хоть раз сплутовал! Да я...

Содрогаясь от все еще не прошедших всхлипов, я прилепился к столу. Дед возился на кухне, сматывал на руку старую, совсем, понимал я, ненужную ему веревку, чего-то доставал с полатей, вынул из-под курятника топор, попробовал пальцем острие. Он ищет и находит заделье, чтоб только не оставлять горемычного влука один на один с «генералом» — так он в сердцах или в насмешку называет бабушку.

Чувствуя незримую, но надежную поддержку деда, я взял со стола краюху и стал есть ее всухомятку. Бабушка одним махом плеснула молоко, со стуком поставила посудину передо мной и подбоченилась:

— Брюхо болит, на краюху глядит! Эшь ведь какой смирененькай! Эшь ведь какой тихонькай! И молочка не попросит!..

Дед мне подморгнул — терпи. Я и без него знал: Боже упаси сейчас перечить бабушке, сделать чего не по ее ус-

могрению. Она должна разрядиться и должна высказать все, что у нее на сердце накопилось, душу отвести и успокоить должна.

И срамила же меня бабушка! И обличала же! Только теперь, поняв до конца, в какую бездонную пропасть ввергло меня плутовство и на какую «кривую дорожку» оно меня еще уведет, коли я так рано взялся шаромыжничать, коли за лихим людом потянулся на разбой, я уж заревел, не просто раскаяваясь, а испугавшись, что пропал, что ни прощенья, ни возврата нету...

Даже дед не выдержал бабушкиных речей и моего полного раскаянья. Ушел. Ушел, скрылся, задымив сигаркой, дескать, мне тут ни помочь, ни совладать, Бог пособляй тебе, внучек...

Бабушка устала, выдохлась, а может, и почуяла, что уж того она, лишковато все ж меня громила.

Было покойно в избе, однако все еще тяжело. Не зная, что делать, как дальше жить, я разглаживал заплатку на штанах, вытягивал из нее потки. А когда поднял голову, увидел перед собой...

Я зажмурился и снова открыл глаза. Еще раз зажмурился, еще раз открыл. По скобленому кухонному столу, будто по огромной земле, с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах, скакал белый конь с розовой гривой.

— Бери, бери, чё смотришь? Глядишь, зато еще когда омманешь баушку...

Сколько лет с тех пор прошло! Сколько событий минуло. Нет в живых дедушки, нет и бабушки, да и моя жизнь клонится к закату, а я все не могу забыть бабушкиного пряника — того дивного коня с розовой гривой.

МОНАХ В НОВЫХ ШТАНАХ

Мне велено перебирать картошки. Бабушка определила норму, или упряг, как назвала она задание. Упряг этот отмечен двумя брюквами, лежащими по ту и по другую сторону продолговатого сусека, и до брюкв тех все равно что до другого берега Енисея. Когда я доберусь до брюкв, одному Богу известно. Может, меня и в живых к той поре не будет!

В подвале земляная, могильная тишина, по стенам плесень, на потолке сахаристый куржак. Так и хочется взять его на язык. Время от времени он ни с того ни с сего осыпается сверху, попадает за воротник, липнет к телу и тает. Тоже хорошего мало. В самой яме, где сусеки с овощами и кадки с капустой, огурцами и рыжиками, куржак висит на нитках паутины, и когда я гляжу вверх, мне кажется, что нахожусь я в сказочном царстве, в тридевятом государстве, а когда я гляжу вниз, сердце мое кровью обливается и берет меня большая-большая тоска.

Кругом здесь картошки. И перебирать их надо, картошки-то. Гнилую полагаются кидать в плетеный короб, крупную — в мешки, помельче — швырять в угол этого огромного, словно двор, сусека, в котором я сижу, может, целый месяц и помру скоро, и тогда узнают все, как здесь оставлять ребенка одного, да еще сироту к тому же.

Конечно, я уже не ребенок и работаю не зазря. Картошки, что покрупнее, отбираются для продажи в город. Бабушка посулилась на вырученные деньги купить мануфактуры и сшить мне новые штаны с карманом.

Я вижу себя явственно в этих штанах, нарядного, красивого. Рука моя в кармане, и я хожу по селу и не вынимаю руку, если что надо положить — битую-бабку либо деньги, — я кладу только в карман, из кармана уж никакая ценность не выпадет и не утерется.

Штанов с карманом, да еще новых, у меня никогда не бывало. Мне все перешивают старое. Мешок покрасят и перешьют, бабью юбку, вышедшую из носки, или еще чего-нибудь. Один раз полушалок употребили даже. Покрасили его и сшили, он полинял потом и сделалось видно клетки. Засмеяли меня всего левонтьевские ребята. Им что, дай позубоскалить!

Интересно знать мне, какие они будут, штаны, синие или черные? И карман у них будет какой — наружный или внутренний? Наружный, конечно. Станет бабушка возиться с внутренним! Ей некогда все. Родню надо обойти. Указать всем. Генерал!

Вот умчалась куда-то опять, а я тут сиди, трудись!

Сначала мне страшно было в этом глубоком и немом подвале. Все казалось, будто в сумрачных прелых углах кто-то спрятался, и я боялся пошевелиться и кашлянуть боялся. Потом осмелел, взял маленькую лампешку без стекла, оставленную бабушкой, и посветил в углах. Ничего там не было, кроме зеленовато-белой плесени, лоскутьями залепившей бревна, и земли, нарытой мышами, да брюкв, которые издали мне казались отрубленными человеческими головами. Я трахнул одной брюквой по отпелому деревянному срубу с прожилками куржака в пазах, и сруб угробно откликнулся: «У-у-а-ах!»

— Ага! — сказал я. — То-то, брат! Не больно у меня!..

Еще я набрал с собой мелких свеколок, морковок и время от времени бросал ими в угол, в стенки и отпугивал всех, кто мог там быть из нечистой силы, из домовых и прочей шантрапы.

Слово «шантрапа» в нашем селе завозное, и чего оно обозначает — я не знаю. Но оно мне нравится. «Шантрапа! Шантрапа!» Все нехорошие слова, по убеждению бабушки, в наше село затащены Верехтиными, и не будь их у нас, даже и ругаться не умели бы.

Я уже съел три морковки, потер их о голяшку катапка и съел. Потом запустил под деревянные кружки руки, выскреб холодной, упругой капусты горсть и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел. И грибов еще поел из низкой, как ушат, кадушки. Сейчас у меня в брюхе урчит

и ворочается. Это моркови, огурец, капуста и грибы ссорятся меж собой. Тесно им в одном брюхе, ем, горя пем, хоть бы живот расслабило. Дыра во рту насквозь просверлена, негде и нечему болеть. Может, ноги судорогой сведет? Я выпрямил ногу, хрустит в ней, пощелкивает, но ничего не больно. Ведь когда не надо, так болят. Прикинуться, что ли? А штаны? Кто и за что купит мне штаны? Штаны с карманом, новые и уже без лямок, и даже с ремешком!

Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку: крупную — в зевасто открытый мешок, мелкую — в угол, гнилую — в короб. Трах-бах! Тарабах!

— Крути, верти, навертывай! — подбадриваю я сам себя, и поскольку лишь поп да петух не жравши поют, а я налопался, потянуло меня на песню.

Судили девицу одну,
Она дитя была года-амп-и-и-и...

Орал я с подтрясом. Песня эта новая, нездешняя.

Ее, по всем видам, тоже Верхтгины завезли в село. Я запомнил из нее только эти слова, и они мне очень по душе пришлись. Ну, а после того, как у нас появилась новая невестка — Нюра, удалая песельница, я навострил ухо, по-бабушкиному — науставрил, и запомнил всю городскую песню. Дальше там в песне сказывается, за что судили девицу. Полюбила она человека. Мушшину, надеясь, что человек он путный, но он оказался изменшк. Ну, терпела, терпела девица изменшество, взяла с окошка нож вострый «и белу грудь ему промзила».

Сколько можно терпеть, в самом-то деле?!

Бабушка, слушая меня, поднимала фартук к глазам:

— Страсти-то, страсти-то какие! Куды это мы, Витька, идем?

Я толковал бабушке, что песня есть песня и никуды мы не идем.

— Не-эт, парень, ко краю идем, вот что. Раз уж баба с ножиком на мужика, это уж все, это уж, парень, полный переворот, последний, стало быть, предел наступил. Остается только молиться о спасении. Вот у меня сам-то черта самого самовитее, и поругаемся когда, но чтоб с топором, с ножиком на мужа?.. Да Боже сохрани нас и помилуй. Не-эт, товаришшы дорогие, крушенье укладу, нарушение Богом указанного порядку.

У нас на селе судят не только девицу. А уж девицам-то

достается будь здоров! Летом бабушка с другими старухами выйдет на завалипку, и вот они судят, вот они судят: и дядю Левонтия, и тетку Васеню, и Авдотьину девицу Агашку, которая принесла дорогой маме подарочек в подоле!

Только в толк я не возьму: отчего трясут старухи головами, плюются и сморкаются? Подарочек — что ли, плохо? Подарочек — это хорошо! Вот мне бабушка подарочек привезет. Штаны!

— Крути, верти, наверхывай!

Судили девицу одну,

Она дитя была года-а-ами-и-и-и...

Картошка так и разлетается в разные стороны, так и подпрыгивает, все идет как надо, по бабушкиной опять же присказке: «Кто ест скоро, тот и работает скоро!» Ух, скоро! Одна гнилая в добрую картошку попала. Убрать ее! Нельзя падувать покупателя. С земляничкой вон падул — чего хорошего получилось? Срам и стыд! Попадись вот гнилая картошка — он, покупатель, сбрындит. Не возьмет картошку, значит, ни денег, ни товару, и штанов, стало быть, не получишь. А без штанов кто я? Без штанов я шагтрапа. Без штанов пойдя, так все равно как левонтьевских рбят всяк поровит шлепнуть по голому заду — такое уж у него назначение, раз голо — не удержишься, шлепнешь.

Голос мой гремит под сводами подвала и никуда не улзгает. Тесно ему в подвале. Пламя лампы качается, вот-вот погаснет, куржак от сотрясения так и сыплется. Но ничего я не боюсь, никакой шантрапы!

Шан-тра-па-а, шан-тра-апа-а-а-а...

Распахнув створку, я смотрю на ступеньки подвала. Их двадцать восемь штук. Я уж сосчитал давно. Бабушка выучила меня считать до ста, и считал я все, что подавалось счету. Верхняя дверца в подвал чуть приоткрыта, чтоб мне не так боязно здесь было. Хороший все же человек — бабушка! Генерал, конечно, однако раз она такой уродилась — уж не переделаешь.

Над дверцей, к которой ведет белый от куржака топнель, завешанный нитками бахромы, я замечаю сосульку. Махонькую сосульку, с мышиный хвостик, но на сердце у меня сразу что-то стонулось, шевельнулось мягким котенком.

Весна скоро. Будет тепло. Первый май будет! Все ста-

нут праздновать, гулять, песни петь. А мне исполнится восемь лет, меня станут гладить по голове, жалеть, угощать сладким. И штаны мне бабушка к Первомаю сошьет. Разобьется в лепешку, но сошьет — такой она человек!

Шантрапа-а-а, шантрапа-а-а!..

Сошьют штаны с карманом в Первый май!..

Попробуй тогда меня поймай!..

Батюшки, брюквы-то — вон они! Упряг-то я одолел! Раза два я, правда, передвигал брюквы поближе к себе и сократил таким образом расстояние, отмеренное бабушкой. Но где они прежде лежали, эти брюквы, я, конечно, не помню, и вспоминать не хочу. Да если на то пошло, я могу вовсе брюквы унести, выкинуть их вон и перебрать всю картошку, и свеклу, и морковку — все мне нипочем!

Судили девицу одну-у-у...

— Ну, как ты тут, чудечко на блюдечке?

Я аж вздрогнул и выронил картошки из рук. Бабушка пришла. Явилась, старая!

— Ничего-о-о! Будь здоров, работник. Могу всю овощь перешерстить — картошку, морковку, свеклу, — все могу!

— Ты уж, батюшко, тише на поворотах! Эк тебя запит!

— Пускай заносит!

— Да ты никак запынял от гнилого-то духу?!

— Запынял! — подтверждаю я. — В дрезину... Судили девицу одну-у-у...

— Матушки мои! А устряпался-то весь, как поросенок! — Бабушка выдавила в передник мой нос, потеряла щеки. — Напасись вот на тебя мыла! — И подтолкнула в спину: — Иди обедать. Ешь с дедом щи капустные, будет шея бсла, кудревата голова!..

— Еще только обед?

— Тебе небось показалось, неделю тут робил?

— Ага!

Я поскакал через ступеньку вверх. Поцелкивали во мне суставы, ноги хрустели, а навстречу мне плыл свежий студесный воздух, такой сладкий после гнилого, застойного подвального духа.

— Вот ведь мошенник! — слышится внизу, в подвале. — Вот ведь плут! И в кого только поцел? У нас в родове вроде таких пегу... — Бабушка обнаружила передвинутые брюквы.

Я надал ходу и вышмырнул из подвала на свежий воздух, на чистый, светлый день и как-то разом отчетливо заметил, что на дворе все наполнено предчувствием весны. Оно и в небе, которое сделалось просторней, выше, голубей в разводах, оно и на отпотевших досках крыши с того края, где солнце, оно и в чирикание воробьев, схватившихся врукопашную середь двора, и в той еще пегустой дымке, что возникла над дальними перевалами и начала спускаться по склонам к селу, окутывая синей дремой леса, распадки, устья речек. Скоро, совсем скоро вспухнут горные речки зеленовато-желтой наледью, которая звонкими утренниками настывает рыхлой и сладкой на вид коркой, будто сахарная та корка, и куличи скоро печь пачнут, краснотал по речкам побагровеет, заблестит, вербы шишечкой покроются, ребятишки будут ломать вербы к родительскому дню, иные упадут в речку, наплюхаются, потом лед разъест на речках, останется он лишь на Еписее, меж широких заберег, и, кинутый всеми зимник, печально роняя выгаивающие вехи, будет покорно ждать, когда его сломает на куски и унесет. Но еще до ледохода появятся подснежники на увалах, прыснет травка по теплым косогорам и наступит Первый май. У нас часто бывают вместе и ледоход, и Первый май, а в Первый май...

Нет, уж лучше не травить душу и не думать о том, что будет в Первый май!

Материю, или мануфактуру, так называется швейный товар, бабушка купила, еще когда по сапному пути сздила в город с торговлишкой. Материя была синего цвета, рубчиком, хорошо шуршала и потрескивала, если по ней провести пальцем. Она называлась треко. Сколько я потом на свете ни жил, сколько штанов ни износил, материи с таким названием мне не встречалось. Очевидно, было то трико. Но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом не встречалось больше и не повторялось, к сожалению.

Кусочек мануфактуры лежал в глубине сундука, на самом дне, лежал под как бы нечаянно выброшенным на него малоценным барахлом — под клубками из тряпочек, которые для тканья половиков заготавливаются, под вышедшими из носки платьями, лоскутками, чулками, корбочками со «шматъем». Доберется лихой человек до сун-

дука, глянет в него, плюнет с досады и уйдет. Чего и ломился? Надеялся на поживу? Никаких ценностей в доме и в сундуке нету!

Вот какая хитрая бабушка! И кабы одна она такая хитрая. Все бабы себе на уме. Появится в доме какой подозрительный постоялец, либо «сам», то есть хозяин, допьется до того, что пательный крест пропить готов, тогда в тайном узелке, тайными лазами и ходами переправляется к соседям, ко всяким надежным людям — кусочек с войны хранившегося сукна; швейная машинка; серебро — две-три ложки и вилки, по наследству от кого-то доставшиеся, либо выменянные у ссыльных на хлеб и молоко; «золото» — нательный крестик с католической ниткой в три цвета, должно быть, с этапов, от поляков еще, какими-то путями в наше село угодивший; заколка дворянского, может, и «питинбургского» происхождения; крышка от пудреницы или табакерки; тусклая медная пуговица, которую кто-то подсуропил вместо золотой, за золотую и сходящая; сапоги хромовые и ботинки, приобретенные на «рыбе», значит, ездил когда-то хозяин на северные путины, на дикую «деньгу», накупил добра, оно и хранится до праздников и до свадеб дегей, до «выхода на люди», да вот наступила лихая минута — спасайся кто может, и спасай что можешь.

Сам добытчик с побелелыми от самогона глазами и одичалым лицом во мхе, бегаёт по двору с топором, норвы изрубить все в щепки, за дробовик хватается — стало быть, не запомнят, баба, и патронташ унести, захоронить в надежное место охотничий припас...

В «надежные руки», частенько в бабушкины, волокось «добро», и не только из дома дяди Левонтия находили здесь приют женщины. Топгались в отдалении, шептались по углам: «Дак смотри, кума, на горе нашем не навивись...» — «Да што ты, што ты? У меня перебывало... Место не пролежит...» — «Куда деваться, не к Болтухиным же, не к Вершкову нести?»

Весь вечер, когда и ночь, взад-вперед, взад-вперед шастают с чужого подворья парнишки. Пригорюнившаяся мать с подбитым глазом, рассеченной губой, прикрыв малых детей шалью, жмет их к своему телу в чужом доме, на чужих людях, вестей положительных ждет.

Парнишка явится из разведки — голова вниз: «Не уснул ишшо. Скамейки крушит. Осердился, што патронов нет, бердану об печку ломат...» — «И когда он подавится?»

Когда шары свои бесстыжие зальет? Зима на носу, дров ни полена, сено не вывезено, берданку порешит, в тайгу с чем белковать пойдет? Берданка что по зверю, что по птице. Семьдесят семь рублей за нее, и вот... Сколько мне мама говорила, не лезь в юшковскую, меченную каторгой, родовой, не лезь, намаешься. Дак рази мы родительское слово слушаем? Брови у его соколиные, чуб огневой, голос — за рекой слышать. Вот и запели, завеселились... — И вдруг с ходу, круто на «разведчика»: — В папашу, весь в папашу своего золотого растешь! Чуть что — «тятяку не тронь!». Вот и не тронь! Вот по чужим углам и шляемся, добрым людям спать не даем. О-хо-хо-хо-пошки, да детоньки вы мои несчастные, да при отце-то вы без отца растете. Тонул он пять раз — не утонул, горел он в лесном пожаре — не сгорел, блудил в тайге — не заблудился... Ни черти, ни лесной, ни вода, ни земля не принимают его. Покинул бы, дак лучше бы пам без него, злодея, было... Сиротами бы росли да зато на спокойе, голодно, да не холодно...»

Из девчонок кто-нибудь матери подвоет, глядишь, и все ребятишки в голос.

«Да будет вам, будет. Уймется же когда-то, не железный жа, не каменной...» — успокаивает горемычных постояльцев бабушка.

«Разведчик» опять шапку в охапку и в поиск. Раз по пяти, по десяти за ночь-то сбегает, пока явится с радостной вестью: «Все! Свалился посереде избы...»

И обычная, привычная молитва: «Слава Тебе, Господи! Слава Те... Прости нас, бабушка Катерина, падоедам...» — «Да чё там? Каки штоты? Ступайте с Богом. А я ему, супостату, завтра баню с предбанником устрою. Напарю, ох, напарю, до новых веников поминать будет!..»

И напарит! Будет стоять перед нею дрожащий, заросший волосом мужичонка и ловить штаны, спадающие с запавшего, к спине за время пьянки приросшего брюха.

— Дак чего делать-то, бабушка Катерина? Она домой не пускает, сдохни, говорит, пропади, пьяница! Ты поговори с ей...

— Об чем?

— Ну, об этом. Прошшение, мол, просит, больше, значит, не повторится.

— Чего не повторится-то? Ты говори, говори. Ишь, и слов у него нету. Вчера вон какой речистый да храбрый

Был! На бабу свою, жану богоданную, с топором да и ружьишком. Воип! Мятежник!..

— Ну, дурак, дак чё? Пьяный дурак.

— И спросу с пьяного нету?

— Да какой спрос?

— А об стенку головой-го чего не бился? Пошто из ружьишка не в себя, в бабу целил? Пошто? Говори!

— О-о-ой, бабушка Катерина! Да штоб я таку безобразию допустил ишшо раз! Да исказни ты меня, исказни гада такова!..

Бабушка «ходит в сундук» — торжество души и праздник. Вон зачем-то открыла, шепчется сама с собой, оглянувшись на стороны, дверь плотнее прикрыв, выкладывает добро павверх, мануфактуру мою, на штаны предназначенную, совсем отдельно от всякого добра отложила, кусочек старого, такого старого ситчика, что бабушка на свет его смотрит, зубом пробует, ну и по мелочи кое-чего, шкагулка, баночки из-под чая чем-то звенящие, праздничные вилки и ложки, в тряпицы завязанные, церковные книжки и кое-что из церковного припрятанное — бабушка верит, что церковь не насовсем закрыта и в ней служить еще будут.

С припасом бабушкина семья живет. Все, как у добрых людей. И на черный день кой-чего прибережено, можно спокойно смотреть в будущее, и помрет, так есть во что обрядить и чем помянуть.

Во дворе звякнула щеколда. Бабушка насторожилась. По шагам угадала — чужой человек, и раз-раз все добро рассовала, барахлишком и разной непотребностью прикрыла его, подумала повернуть ключ, да не стала. И на себя бабушка напустила вид убогий, почти скорбящий — припадая на обе ноги, охая, побрела навстречу гостю иль какому другому, ветром занесенному человеку. И ничего не оставалось тому человеку, как думать: живут здесь разбедным-то бедные, большие и убогие люди, коим и остается одно только спасение — по миру идти.

Всякий раз, когда бабушка открывала сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут как тут. Я стоял у ободверины на пороге горницы и глядел в сундук. Бабушка отыскивала нужную ей вещь в огромном, точно баржа, сундуке и совершенно меня не замечала. Я шевелился, барабанил пальцами по косяку — она не замечала. Я кашлял, сначала один раз — она не замечала. Я кашлял много раз, будто вся грудь моя насквозь простудилась, — она

все равно не замечала. Тогда я подвигался ближе к сундуку и принимался вертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала по моей руке — и все равно меня не замечала... Тогда я начинал поглаживать пальцами синопную мануфактуру — треко. Тут бабушка не выдерживала и, глядя на важных, красивых генералов с бородами и усами, которыми изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них:

— Что мне с этим дитем делать? — Генералы не отвечали. Я гладил мануфактуру. Бабушка откидывала мою руку под тем предлогом, что она может оказаться немойтой и запачкает треко. — Оно же видит, это дите, — кручусь я как белка в колесе! Оно же знает — сошью я к именинам штаны, будь они кляты! Так нет: оно, пятнай его, так и лезет, так и лезет!.. — Бабушка хватала меня за ухо и отводила от сундука. Я утыкался лбом в степку, и такой, должно быть, у меня был несчастный вид, что через какое-то время раздавался звон замка потоньше, помузыкальней, и все во мне замирало от блаженных предчувствий. Ма-ахопским ключиком бабушка открывала китайскую шкатулку, сделанную из жести, вроде домика без окон. На домике нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные китайки в новых голубых штанах, только не из трека, а из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, но гораздо меньше, чем моя мануфактура.

Я ждал. И не зря. Дело в том, что в китайской шкатулке хранятся наценнейшие бабушкины ценности, в том числе и леденцы, которые в магазине назывались монпансье, а у нас попроче — дампасье или лампасейки. Нет ничего в мире слаще и красивее лампасеек! Их у нас на куличи прилепляли, и на сладкие пироги, и просто так сосали эти сладчайшие лампасейки, у кого они, конечно, велись.

У бабушки все есть! И все надежно укрыто. Шиша два найдешь! Снова раздавалась тонкая нежная музыка. Шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинал громче шмыгать носом и думал, не подпустить ли голоса. Но тут раздавалось:

— На уж, окаянная твоя душа! — И в руку мне, давно уже ожидаательно опущенную, бабушка совала шершавенькие лампасейки. Рот мой переполнен томительной слюной, но я проглатывал ее и отгалкивал бабушкину руку.

— Не-е-е...

— А чего же тебе? Ремня?

— Штаны-ы-ы...

Бабушка сокрушенно хлопала себя по бедрам и обращалась уже не к генералам, а к моей спине:

— Эт-го што жа он, кровопивец, слов не понимает? Я ему русским языком толкую — сошью! А он нате-ка! Уро-сит! А? Возьмешь конфетки или запру?

— Сама ешь!

— Сама? — Бабушка на время теряет дар речи, не находит слов. — Сама? Я т-те дам, сама! Я т-те покажу — сама!

Поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадет, и я вел снизу вверх:

— Э-э-э-э...

— Поори у меня, поори! — взрывалась бабушка, по я перекрывал ее своим ревом, и она постепенно сдавалась, прижималась меня умасливать. — Сошью, скоро сошью! Уж, батюшко, не плачь уж. На вот конфетки-то, помусли. Сла-а-аденькие лампасечки. Скоро уж, скоро в новых штанах станешь ходить, нарядный, да красивый, да пригожий...

Поговаривая елейно, по-церковному, бабушка окончательно сламывала мое сопротивление, всовывала мне в ладонь лампасейки, штук пять — уж не обсчитается! Вытирала передником мне нос, щеки и выпроваживала из горницы, утешенного и довольного.

Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к Первому мая штаны сшиты не были. В самую ростепель бабушка слегла. Она всегда всякую мелкую боль вынашивала на ногах и если уж свалилась, то надолго.

Ее переселили в горницу, на чистую, мягкую постель, убрали половики с полу, занавесили окно, засветили лампадку у иконостаса, и в горнице сделалось как в чужом доме — полутемно, прохладно, пахло там елейным маслом, больницей, люди ходили по избе на цыпочках и разговаривали шепотом. В эти дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки и как много людей, и не родных, тоже приходят пожалеть ее и посочувствовать ей. И только теперь, хотя и смутно, я почувствовал, что бабушка моя, казавшаяся мне всегда обыкновенной бабушкой, — очень уважаемый на селе человек, а я

вот не слушался ее, ссорился с нею, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня.

Бабушка громко, хрипло дышала, полусидя в подушках, и все спрашивала:

— Покор... покормили ли ребенка-то?.. Там простокиша... калачи... в кладовке все... в ларе.

Старухи, дочери, племянницы и разный другой народ, хозяйничающий в доме, успокаивали ее, накормлен, мол, напоен твой ненаглядный ребенок, беспокоиться ни о чем не надо и, как доказательство, подводили меня самого к кровати, показывали бабушке. Она с трудом отделяла руку от постели, дотрагивалась до моей головы и жалостливо говорила:

— Помрет вот бабушка, чё делать-то станешь? С кем жить-то? С кем грешить-то? О Господи, Господи! — Она косила глаза на лампадку: — Дай силы ради сиротинки горемышной. Гуска! — звала она тетку Августу. — Корову доить будешь, дак вымя-то теплой водой... Она... балованная у меня... А то ведь вам не скажи...

И снова бабушку успокаивали, требовали, чтобы она поменьше говорила и не волновалась бы, но она все равно все время говорила, беспокоилась, волновалась, потому что иначе жить не умела.

Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штатов. Я уж сам ее утешал, разговаривал с ней про болезнь, про штаны старался и не поминать. Бабушка к этой поре маленько оправилась, и разговаривать с нею можно было сколько угодно.

— Чё же за болезнь такая у тебя, бабушка? — как будто в первый раз любопытствовал я, сидя рядом с нею на постели. Худая, костистая, с тряпочками в посекавшихся косицах, со старым гасником, свесившимся под белую рубашу, бабушка неторопливо, в расчете на длинный разговор, начинала повествовать о себе:

— Надсаженная я, батюшко, изработанная. Вся надсаженная. С малых лет в работе, в труде все. У тяти и у мамы я самая была да своих десятину подняла... Это легко только сказать. А вырастить?!

Но о жалостном она говорила лишь сначала, как бы для запева, потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходило по ее рассказам так, что радостей в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей и легкой жизни. Дети родились — радость. Болели дети,

но она их травками да кореньями спасала, и ни один не помер — тоже радость. Обновка себе или детям — радость. Урожай на хлеб хороший — радость. Рыбалка была добычливой — радость. Руку однажды выставила себе на пашне, сама же и вправила, страда как раз была, хлеб убирали, одной рукой жала и косоручкой не сделалась — это ли не радость?

Я глядел на мою бабушку, дивился тому, что у нее тоже были тятя и мама, глядел на ее большие, рабочие руки в жилках, на морщинистое, с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее зеленоватые, темнеющие со дня, на эти косицы ее, торчащие, будто у девчонки, в разные стороны, — и такая волна любви к родному и до стоноты близкому человеку накатывала на меня, что я тыкался лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую, бабушкой пахнущую рубанку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась, что мы оба есть на свете и все-все вокруг нас живое и доброе.

— Видишь вот, и не сшила я тебе штаны к празднику, — гладила меня по голове и каялась бабушка. — Обнадежила и не сшила...

— Сошьешь еще, куда спешить-то?

— Да уж дай только Бог подняться...

И она сдержала свое слово. Только начала ходить, сразу же кроить мне штаны взялась. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку, измеряла меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывало, и она прикладывала руку к голове:

— О Господи прости, что это со мною? Чисто с угару!

Но все-таки мерила хорошо, чертила по материи мелом, прикидывала на меня раскрасенный кусочек трека, раза два поддала уж, чтоб я не вертелся лишку, отчего мне сделалось веселей, — ведь это же первый признак возвращения бабушки к прежней жизни, полного ее выздоровления.

Кроила штаны бабушка почти целый день, шить их принялась назавтра. Надо ли говорить, как я плохо спал ночь и поднялся до свегу. Кряхтя и ругаясь, бабушка тоже поднялась, стала хлопотать на кухне. Она то и дело останавливалась, словно бы вслушивалась в себя, но с этого дня больше в горнице не ложилась, перешла на свою походную постель, поближе к кухне и к русской печи.

Днем мы с бабушкой вдвоем подняли с полу швейную машинку и водворили ее на стол. Машинка была старая,

со сработанными на корпусе цветками. Проступали от цветков отдельные лишь завитушки, напоминая гремучих огненных змеев. Бабушка называла машинку «Зигнер», уверяла, что ей цены нету, и всякий раз подробно, с удовольствием рассказывала любопытным, что еще ее мать, царство ей небесное, сходно выменяла эту машинку у ссыльных на городской пристани за годовалую петель, три мешка муки и кринку топленого масла. Кринку ту, совсем почти целую, ссыльные так и не вернули. Ну да какой с них спрос — ссыльные и есть ссыльные — варпачье да черлолапотники, а то еще и чернокнижники какие-то перед переворотом валом валили.

Стрекочет машинка «Зигнер». Крутит ручку бабушка. Осторожно крутит, будто с духом собирается, обмысливает дальнейшие действия, вдруг разгонит колесо и отпустит, аж ручки не видно делается — так крутится. Кажется мне, сейчас машинка все штаны мигом сошьет. Но бабушка руку на блестящее колесо приложит, остепенит машинку, укротит ее стрекот, когда машинка остановится, на грудь прикинет материю, внимательно посмотрит — так ли пробирает игла материю, не кривой ли шов получился.

Бабушка и разговаривала со мной про хорошее, про штаны:

— Комиссару без штанов никак нельзя, — перекусывая питку и глядя в шитье на свет, рассуждала она. — Маленький комиссар да с пуговкой и лямка через плечо. Нагап подвесить — и форменный ты комиссар Вершков будешь, а может, и сам Шшэтинкин!..

В тот день я не отходил от бабушки, потому что надо было примерять штаны. С каждым заходом штаны обретали все большие основы и глянулись мне так, что я уж ни говорить, ни смеяться от восторга не мог. На вопросы бабушки: не давит ли тут, не жмет ли вот здесь, мотал головой и задушенно издавал:

— Н-не-е-е!

— Ты только не ври, потом поздно будет поправлять.

— Правда-правда, — подтверждал я поскорее, чтоб только бабушка пороть штаны не принялась, не отложила бы работу.

Особенно сосредоточена и пристальна была бабушка, когда дело дошло до прорехи — все ее смутил какой-то клин. Если его, этот клин, неправильно поставить — штаны до срока сопреют, и «петушок» на улицу выглядывать

станет. Я не хотел, чтобы так получилось, и терпеливо переносил примерку за примеркой. Бабушка очень внимательно ощупывала в районе «петушка», и мне было так щекотно, что я с визгом взлягивал. Бабушка поддавала мне по загровку.

Так без обеда мы с нею проработали до самых сумерек — это я упросил бабушку не прерываться из-за такого пустяка, как еда. Когда солнце ушло за реку и коснулось верхних хребтов, бабушка заторопилась — вот-вот коров пригонят, а она все копается, и миг закончила работу. Она приладила в виде лопушка карман на штаны, и хотя мне был бы желательней карман внутренний, я возражать не решился. Вот и последние штрихи навела бабушка машинкою, выдернула нитку, свернула штаны, огладила на животе рукою.

— Ну, слава Богу. Пуговицы уж после отпорю от чего-нибудь да пришью.

В это время на улице забренчали ботала, требовательно и сыто заблажили коровы. Бабушка бросила штаны на машинку, сорвалась с места и помчалась, на ходу наказывая, чтоб я не вздумал крутить машинку, ничего бы не трогал, не вредил.

Я был терпелив. Да и сил во мне никаких к той поре не осталось. Уже лампы засветились по всему селу и люди отужинали, а я все сидел возле машинки «Зигнер», с которой свисали мои синие штаны. Сидел без обеда, без ужина и хотел спать.

Как бабушка перетасила меня в постель, обессиленного и сморенного, не помню, но я никогда не забуду того счастливого утра, в которое проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати, аккуратно сложенные, висели новые синие штаны, на них стираемая беленькая рубашка в полоску, рядом с кроватью распространяли запах горелой березы почиленные сапожником Жеребцовым сапоги, намазанные дегтем, с желтыми, совершенно новыми союзками.

Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня, как маленького. Я безвольно подчинялся ей, и смеялся безудержно, и о чем-то говорил, и чего-то спрашивал, и перебивал сам себя.

— Ну вот, — сказала бабушка, когда я предстал перед нею во всей красе, во всем параде. Голос ее дрогнул, губы повело на сторону, и она уж за платок взялась: — Видела бы мать-то твоя, покойница...

Я хмуро потупился.

Бабушка прекратила причитания, прижала меня к себе и перекрестила.

— Ешь и ступай к дедушке на займку.

— Один, баба?

— Конечно, один. Ты уж воп у меня какой большой! Мужик!

— Ой, бабонька! — От полноты чувств я обнял ее за шею и пободал головою.

— Ладно уж, ладно, — легонько отстригла меня бабушка. — Ишь, лиса патрикеевна, всегда бы такой был ласковый да хороший...

Разряженный в пух и прах, с узелком, в котором были свежие постряпушки для деда, я вышел со двора, когда солнце стояло уже высоко и все село жило своей обыденной, несходкой жизнью. Перво-наперво я завернул к соседям и поверг своим видом левонтьевское семейство в такое смятение, что в содомной избе вдруг наступила небывалая тишина, и он сделался, этот дом, сам на себя непохож. Тетка Васеня всплеснула руками, уронила клюку. Клюка эта попала по голове кому-то из малых. Он запел здоровым басом. Тетка Васеня подхватила пострадавшего на руки, затутыщкала, а сама не сводила с меня глаз.

Танька рядом со мной оказалась, все ребята окружили меня, щупали материю, восхищались, Танька залезла в мой карман, обнаружила там чистый платок и сраженно притихла. Только глаза ее выражали все чувства, и по ним я мог угадать, какой я сейчас красивый, как она мною любит и на какую недостижимую высоту вознесся я.

Затискали меня, затормошили, и я вынужден был вырваться и следить, чтоб не выпачкали, не смяли бы чего и не съели бы под шумок шаньги — гостинец дедушке. Тут ведь только зевни.

Одним словом, я заторопился прощаться, сославшись на то, что спешу, и спросил, не надо ли чего передать Саньке. Санька левонтьевский на нашей займке — помогал дедушке в пащеных делах. На лето левонтьевских ребят рассовывали по людям, и они там кормились, росли и работали. Дедушка уже по два лета брал с собою Саньку. Бабушка моя, Катерина Петровна, предсказывала, что каторжанец этот сведет старого с ума, пути из него не будет, произойдет полное крушение в работе, потом удив-

лялась, как это дед с Санькой ужились и довольны друг другом.

Тетка Васеня сказала, что передавать Саньке нечего, кроме наказа, чтобы слушался дедушку Илью и не утонул бы в Мане, если вздумает купаться.

К огорчению моему, в этот полуденный час парод на улице был редок, деревенский люд еще не окончил всеобщую страду. Мужики все уехали на Ману — промышлять маралов — пацты у них сейчас в ценной поре, а уже надвигался сенокос, и все были заняты делом. Но все же кое-где играли ребятишки, шли в потребиловку женщины и, конечно же, обращали внимание на меня, иной раз довольно пристальное. Вот встречу семенит тетка Авдотья, бабушкина свояченица. Я иду, пасвистываю. Мимо иду, не замечаю тетку Авдотью. Она свернула на сторону, и я увидел ее изумление, увидел, как она развела руками, услышал слова, которые лучше всякой музыки.

— Тошно мне! Да это уж не Витька ли Катеринин?

«Конечно, я! Конечно, я!» — хотелось надоумить мне тетку Авдотью, но я сдержал порыв и только замедлил шаги. Тетка Авдотья ударила себя по юбке, в три прыжка настигла меня, принялась оцупывать, оглаживать и говорить всякие хорошие слова. В домах распахивались окна, выглядывали бабы и старухи, все меня хвалили, все говорили про бабушку и про паших хвалебное, вот, мол, без матери парень растет, а водит его бабушка так, что дай Бог иным родителям водить своих детей, и чтоб бабушку я почитал, слушался и, коли вырасту, так не забывал бы ее добра.

Большое наше село, длинное. Утомился я, умаялся, пока прошел его из конца в конец и припал на себя всю дасть восхищения мною и моим парядом и еще тем, что один я, сам иду на заимку к деду. Весь уже в поту был я, когда вышел за околицу.

Сбежал к реке, попил из ладошек студеной енисейской водицы. От радости, бурлившей во мне, бросил камень в воду, потом другой, увлекся было этим занятием, да вовремя вспомнил, куда я иду, зачем и в каком виде! Да и путь неблизок — пять верст! Пошагал я, даже сначала побежал, но смотреть же под ноги надо, чтобы не сбить о корни желтые союзки. Перешел на размеренный шаг, несуетливый, крестьянский, каким всегда ходил дедушка.

От займища начинался большой лес. Доцветающие боярки, подсоченные сосенки, березы, доля которым выпала расти по соседству с селом и потому обломанные за зиму на голики, остались позади. Ровный осинник с полным уже, чуть буроватым листом густо взнимался по косягу. Ввысь вилась дорога с вымытым камешником. Серые большие плиты, исцарапанные подковами, были выворочены вешними потоками. Слева от дороги темпел распадок, в нем плотно стоял ельник, в гуще его глухо шумел засыпающий до осени поток. В ельнике пересвистывались рябчики, понапрасну сзывая самок. Те уже сели на яйца и не отзывались кавалерам-петушкам. Только что на дороге завозился, захопал и с трудом взлетел старый глухарь. Он линять начал, но вот выполз на дорогу — камешков поклевать, теплой пылью выбить из себя вошей и блошек. Баня ему тут! Сидел бы смиренно в чаще, на свету сожрет его, старого дурака, рысь, да и лиса не подавится.

У меня сбилось дыхание — громко бухал крыльями глухарь. Но страху большого нет, потому как солнечно кругом, светло, и все в лесу занято своим делом. Да и дорогу эту я хорошо знал — много раз ездил по ней верхом и на телеге с дедушкой, с бабушкой, с Кольчей-младшим и с разными другими людьми.

И все же видел и слышал я будто заново, должно быть, оттого, что первый раз путешествовал один на займку через горы и тайгу. Дальше в гору лес был реже, могучей, лиственницы возвышались над всей тайгой и вроде бы задевали облака. Вспомнилось, как на этом длинном и медленном подъеме Кольча-младший запевал всегда одну и ту же песню, копь замедлял шаги, осторожно ставил копыта, чтоб не мешать человеку петь. И сам пащ конь — Ястреб на исходе горы, вверху встревал в песню, пускал по горам и перевалам свое «и-го-го-о-о-о», но тут же скопфуженно делал хвостом отмахку, дескать, знаю, что не очень у меня с песнями, однако выдержать не мог, очень уж все тут славно и седоки вы приятные — не хлещете меня, песни поете.

Затянул и я песню Кольчи-младшего про природного пахаря, по распадку мячиком катился, подпрыгивал на камнях и осыпях мой голос, смешно повторяя: «Ха-халь!»

Так, с песнею, я одолел гору. Сделалось светлее. Солнце все прибавлялось и прибавлялось. Лес редел, и камней на дороге попадалось больше, крупнее они были, и пото-

му вся дорога извивалась в объезд булыжин. Трава в лесу сделалась реже, но цветов было больше, и когда я вышел на окраину леса, вся опушка палом горела, захлестнутая жарками.

Наверху, по горам, начались наши деревенские поля. Сначала они были рыжевато-черны, лишь кое-где мышасто серели на них всходы картошек да поблескивал на солнце выпаханый камешник. Но дальше все было залито разноцветной волнистой зеленью густеющих хлебов, и только межи, оставленные людьми, не умеющими ломить землю, отделяли поля друг от друга, и, как берега рек, не давали им слиться вместе, сделаться морем.

Дорога здесь покрыта травой — гусиной лапкой, совсем неужнетенно цветущей, хотя по ней ездили и ходили. Подорожник набирался сил, чтобы засвежить свою серенькую свечку, всякая былка тут зеленела, тянулась, плелась по бороздам от колес, по копытным ямкам, не задыхаясь дорожной пылью. Обочь дороги, в чищенках, куда сваливали камни с полей, колодник и срубленный кустарник, все росло как попало, крупно, буйно. Кушеры и морковники силились пойти в дудку, жарки тут, на солщепеке, уже сорили по ветру отгаром лепестков, сморенно повисли водосборы-колокольчики в предчувствии летней, губельной для них жары. На смену этим цветкам из чащобника взнялись саранки, и красоднев стоял уже в продолговатых бугончиках, подернутых шерсткой, будто инесм, ждал своего часа, чтобы развесить по окраинам полей желтые граммофоны.

Вот и Королев лог. В нем стояла грязная лужа. Я вознамерился промчаться по ней так, чтобы брызнуло во все стороны, но тут же опамятовался, снял сапоги, засучил штаны и осторожно перебрел ленивую, усмиренную осоккой колдобину, истолченную копытами скота, разрисованную лапками птиц, лапками зверушек.

Из лога вылетел я на рысях и пока обувался, все смотрел на поле, открывшееся передо мной, и силился вспомнить, где я еще его видел? Поле, ровно уходящее к горизонту, а середь поля одинокие большие деревья. Прямо в поле, в хлеба, уныривает дорога, быстро иссякая в нем, а над дорогой летит себе, чиликаст ласточка...

А-а, вспомнил! Я видел такое же поле, только с желтыми хлебами, на картине в доме школьного учителя, к которому водила меня бабушка записывать на зиму учиться. Я пялился на ту картину, прямо впился в нее глазами,

и учитель спросил: «Нравится?». Я потряс головой, и учитель сказал, что нарисовал ее знаменитый русский художник Шишкин, и я подумал, что ой, поди-ка, много кедровых шишек съел. А говорить не мог от чудосотворения — пашня, земля, на пашу похожа, вот она, в рамке, но как живая!

Я остановился под самой толстой лиственницей, задрал голову. Мне показалось, что дерево, на котором где густо, где реденько бусила зеленоватая хвоя, плыло по небу, и сокол, приладившийся к вершине дерева, меж черных, словно обгорелых, прошлогодних шишек, дремал, убаюканный этим медленным и покойным плаванием. На дереве было ястребиное гнездо, свитое в развилке меж толстым сукон и стволон. Санька как-то полез разорять гнездо, долез до него, собрался уже широкозевых ястребят выкинуть, но тут ястребиха как закричала, как начала хлопать крыльями, долбит злодея клювом, рвать когтями — не удержался Санька, отпустился. Был бы разорителю карачун, да наделся он рубахой на сук и ладно, швы у холщовой рубахи крепкие оказались. Сняли мужики Саньку с дерева, наподдавали, конечно. У Саньки с тех пор красные глаза, говорят, кровь палилась.

Дерево — это целый мир! В стволе его дырки, продолбленные дятлами, в каждой дырке кто-нибудь живет, трещает: то жук какой, то птичка, то ящерица, а выше — и летучие мыши. В травке, в сплетении корней позапрыганы гнезда. Мышиные, сусликовые норки уходят под дерево. Муравейник привален к стволу. Есть тут шишица колючая, заморенная елочка, круглая зеленая полянка возле лиственницы есть. Видно по обнаженным, соскобленным корням, как полянку хотели свести, запластать, но корни дерева сопротивлялись плугу, не отдали полянку на растерзание. Сама лиственница внутри полая. Кто-то давным-давно развел под небо огонь, и ствол выгорел. Не будь дерево такое большое, оно давно б уже умерло, а это еще жило, трудно, с маетою, но жило, добывая опуханными корнями пропитание из земли и при этом еще давало приют муравьям, мышкам, птицам, жукам, метлякам и всякой другой живности.

Я залез в угольное нутро лиственницы, сел на твердый, как камень, гриб-губу, выперший из прелого ствола. В дереве трубно гудит, поскрипывает. Чудится — жалуется оно мне деревянным, нескончаемо длинным плечем, идущим по корням из земли. Я полез из черного дупла и

притронулся к стволу дерева, покрытого кремнистой корой, наплывами серы, шрамами и надрубам, зажившими и незаживающими, теми, которые залечить у поврежденного дерева нет уже сил и соков.

«Ой, сажал! Ну и растяпал!» Но гарь выветрилась, и дупло не марается, чуть только па локте одном да на штанине припачкано черным. Я поплевал на ладошку, стер пятно со пгганов и медленно побрел к дороге.

Долго еще звучал во мне деревянный стон, слышный только в душе лиственницы. Теперь я знаю, дерево тоже умеет стонать и плакать нутряным, безутешным голосом.

От горелой лиственницы до спуска к устью Маны совсем недалеко. Я надал шаг, и вот уже дорога пошла под уклон между двумя горами. Но я свернул с дороги и осторожно начал пробираться к обрывистому срезу горы, спускавшейся каменистым углом в Енисей и ребристым склоном к Мале. С этого отвесного склона видны наши пашши, займка наша. Я давно собирался посмотреть на все это с высоты, но не получалось, потому что ездил с другими людьми, и они то спешили на работу, то домой с работы. На гриве Манской горы сосняк был низкорослый, с закрученными ветром лапами. Будто руки старых людей, были эти лапы в шишках и хрупких суставах. Боярка здесь росла люто острая. И все кустарники были сухи, ершисты и зацеписты. Но здесь же случались ровные березнички, чистые осинники, тонкие, наперегонки идущие в рост после пожара, о котором напоминали еще черные валежины и выворотни. Пенья и валежины обметало всходами сладкой, в налив идущей клубники; костяника белела и наливалась соком, под соснами хрустел мелколистный, крепкий брусничник, а по склону пластал ромашечник — любимое его тут место — сирневый, желтый, почти фиолетовый, местами — белый, целым венником, будто выплеснутая в осыпи кринка сметаны. Бабушка не обходит этот разлив ромашки, всегда нарывает «мигушка» на лекарство. Я пластал цветы под самый корень, набрал их столько, что едва в беремя поместились, и вот иду, а запах вокруг меня, словно в аптеке или в кладовке, где сушит бабушка травы, густо пылит и пахнет ромашка, особенно желтая, того и гляди, расчихаешься, как от лютого ледова самосада.

Над обрывом, где уже не было деревьев, только шишица, таволга, акация, колочки и выводки горной репы пятнали каменя. Я остановился и стоял до тех пор, пока не

устали ноги, потом сел, забыв о том, что здесь водятся змеи — змей я боялся больше всего на свете. Какое-то время я и не дышал вовсе, только смотрел и смотрел, сердце мое билось в груди гулко и часто.

Впервые видел я сверху слияние двух больших рек — Маны и Енисея. Они долго-долго спешили навстречу друг дружке, а встретившись, текут по отдельности, делают вид, что и не интересуются одна другой. Мана побыстрее Енисея и посветлее, хотя и Енисей светел тоже. Белесым швом, словно волнорезом, все шире растекающимся, определена граница двух вод. Енисей поплескивает, подталкивает Ману в бок, заигрывает и незаметно прижимает ее в угол Манского быка, так наши деревенские парни прижимают девок к забору, когда балуются. Мана вскипает, на скалу выплескивается, ревет, по поздно — бык отвесен и высок, Енисей напорист — у него не забалуешься.

Еще одна река покореена. Сыто заурчав под быком, Енисей бежит к морю-океану, бунтующий, неукротимый, все на пути сметающий. И что ему Мана! Он еще и не такие реки подхватит и умчит с собою в студеные, полуночные края, куда и меня занесет потом судьбина, и доведется потом мне посмотреть родную реку совсем иную, разливисто-пойменную, утомленную долгой дорожкой. А пока я смотрю и смотрю на реки, на горы, на леса. Стрелка на стыке Маны с Енисеем скалиста, обрывиста. Коренная вода еще не спала. Бечевка осыпистого бережка еще затоплена. Скалы на той стороне в воде стоят, где начинается скала, где ее отражение — отсюда не разберешь. Под скалами полосы. Теревит, скручивает воду рыльями камней-опрадышей.

Но зато сколько простора наверху, над Маной-рекой! На стрелке каменное темечко, дальше вразброс кучатся останцы, еще дальше — порядок начинается: увалисто, волнами уходят горы ввысь от бестолочи ущелий, шумных речек, ключей. Там, вверху — остановившиеся волны тайги, чуть просвегленые на гривах, затаенно-густые во впадинах. На самом горбистом всплеске тайги заблудившимся парусом сверкает белый утес. Загадочно, недостижимо сияют далекие перевалы, о которых и думать-то жутко. Меж них цетляет, ревет и гремит на порогах Мана-река — кормилица-поилица: пашни паша здесь, промысел надежный тоже на этой реке. Много на Мана зверя, дичи, рыбы. Много порогов, росох, гор, речек с завлекательными названиями: Каракуш, Нагалка, Бежать,

Миля, Капдынка, Тыхты, Негнет. И как разумно поступила дикая река: перед устьем взяла да круто свалилась влево, к скалистой стрелке, и оставила пологий угол наносной земли. Здесь пашни, избушки, заимки на берегу Маны, поля здесь. Они упираются в горы самыми дальними околками, межами и чищенками. Внизу подо мной Манская речка, ровно бы очертила границу дозволенного и гору не пускает через себя. Дальше от заимок, туда, к изгибу Маны, за которым белеет утес, уже холмисто, там лес, тайга, на приволье растет много больших берез. Люди теснят этот лес, вырубают леторосные всходы, оставляют только те деревья, с которыми не могут совладать. Каждый год то на один, то на другой бугор выкидывают селяне наши зеленый плат крестьянской пашни, потеснили тайгу до Соломенного плеса.

Упорные люди работали на этой земле!

Я отыскал взглядом наши заимку. Найти ее нетрудно. Она — дальняя. Каждая заимка — повторение того двора, того дома, который содержит хозяин в селс. Так же срублен дом, так же загорожен двор, тот же навес, те же сени, даже наличники на доме такие же, по все: и дом, и двор, и окна, и печь внутри — меньших размеров. И еще нет во дворе зимних стоек, амбаров и бань, а есть один широкий летний загон, крытый хворостом, по хворосту соломой.

За нашей заимкой змеится тропинка по каменному бычку, всегда мокрому от плесени. Из бычка в щель выбуривает ключ, над ключом растут кривая лиственница без вершины и две ольхи. Корни дерев прищемило бычком, и они растут кривые, с листом по одному боку. Над нашей заимкой пушится дымок. Дедушка с Санькой варят чего-то. Мне разом захотелось есть. Но я никак не могу уйти, никак не могу оторвать взгляда от двух рек, от гор этих, мерцающих вдали, не могу пока еще постигнуть своим детским умом необъятность мира.

Я встряхнулся, передернул плечами, заорал громче, чтобы отпугнуть павалившуюся на меня вяжущую, непопятную боязнь, почти кубарем скатился с горы, за мною с обвальным лязгом потек серый плитняк, крошка. Обгоняя поток, подскакивали круглые булыжники, которые впереди, которые вместе со мною ухнули в Манскую речку.

Поплыло беремя духовитых ромашек, узелок с постригушками поплыл, на меня напала резвость — я бежал

по холодной речке с хохотом, ловил узелок, цветы и внезапно остаповился.

— Сапоги-то!

Я еще стоял и смотрел, как выше моих сапог бежит, завихряется речка, как мелькают в воде живыми рыбками желто-красные союзки.

«Растяпа! Недоумок! Сапоги спортил! Штаны замочил! Новые штаны!»

Я побрел на берег, разулся, вылил воду из сапог, разгладил руками штаны и стал ждать, когда наряд мой высохнет и снова обретет праздничный лоск.

Долог, утомителен был путь из села. Мгновенно и совершенно незаметно уснул я под шум Манской речки. Спал, должно быть, совсем немного, потому что, когда проснулся, в сапогах было еще сыро, зато союзки сделались желтее и красивше — смыло с них деготь. Штаны высушило солнцем. Они сморщились, потеряли форс. Я поплевал на ладони, разгладил штаны, надел, еще разгладил, обулся, побежал по дороге легко и быстро, так что пыль взрывалась следом за мною.

Деда в избе не было, Саньки тоже не было. Что-то постукивало за избой во дворе. Я положил узелок и цветы на стол, отправился во двор. Дед стоял на коленях под дощатым козырьком и рубил в корытце папухи табаку. Старенькая, латанная на локтях рубаха была выпущена у него из штанов, вздрагивала на спине. Шея дедушки засмолена солнцем. Сероватые от старости волосы спускались висюльками на шею в коричневых трещинах. На крыльцах рубаху оттопыривали большие, как у коня, лопатки.

Я загладил ладошкой волосы набок, подтянул шелковый с кисточками пояс на животе и враз осипшим голосом позвал:

— Деда!

Дед перестал тюкать, отложил топор, обернулся, какое-то время смотрел на меня, стоя на коленях, затем поднялся, вытер руки о подол рубахи, прижал меня к себе. Липкою от листового табаку рукою он провел по моей голове. Был он высок, не сутулился еще, и лицо мое доставало только до живота его, до рубахи, так пропитанной табаком, что дышать было трудно, свербило в носу и

хотелось чихать. Но я не шевелился, не чихал, притих, будто котенок под ладошкой.

Приехал Санька верхом на коне, загорелый, подстриженный дедушкой, в заштопанных штанах и рубаше, как я догадался по размашистой стезжке — тоже починенных дедушкой. Санька ест Сапьяка! Только загнал копы, еще и здравствуй не сказал, но уж огорошил меня:

— Монах в новых штанах! — Он и еще добавить чего-то хотел, да придержал язык, дедушки постеснялся. Но он скажет ехидное, потом скажет, когда деда не будет. Завидно потому что Саньке — сам-то сроду не нашивал новых штанов, а сапоги да еще с новыми союзками — и во сне ему не спились.

Оказалось, я поспел к самому обеду. Ели драчёну — мятую картошку, запеченную с молоком и маслом, ели харьозов и жареных сорожек — Санька вечером надергал, после пили чай, заваренный шипичным корнем, с бабушкиными подмоченными постряпушками.

— Плавал на шапках-то? — полюбопытствовал Санька.

Дед ничего не спрашивал.

— Плавал! — отшил я Саньку.

После обеда я спустился к ключику, вымыл посуду и попутно принес воды. В старую кринку с отбитым краем я поставил ромашки, были они уже сникшие, но скоро поднялись, закучерявились густой зеленью, пасорили желтой пылью и лепестков на стол.

— Хы! Как ровно девчонка! — снова взялся ехидничать Сапьяка. Но дед, укладывавшийся после обеда отдохнуть на печке, окоротил его:

— Не цепляй парня. Раз у него душа к цветку лежит, значит, такая его душа. Значит, ему в этом свой смысл есть, значение свое, нам непонятное. Вот.

Всю недельную норму слов дед высказал и отвернулся. Сапьяка сразу примолк. То-то, брат! Это тебе не с теткой Васеней зубатиться, либо с бабушкой моей. Дед сказал, и точка. Не поворачиваясь от стены, дед еще добавил:

— Овод схлынет, пасти погоним. Сапоги-то и штаны сыми.

Мы вышли во двор, и я спросил:

— Чё это дед сегодня такой разговорчивый?

— Не зигаю, — пожал плечами Санька. — Обрадел, должно, при таком расфуфыренном внуке. — Санька поковырял ногтем в зубах и, глядя красными, сорожьими

глазами на меня, спросил: — Чё будем делать, мошак в новых штанах?

— Додразнишься — уйду.

— Ладно, ладно, обидчивый какой! Понарошке ведь.

Мы побежали в поле. Санька показывал мне, где он боронил, сказал, что дедушка Илья учил его пахать, и еще добавил, что школу он бросит, как поднагореет пахать, станет зарабатывать деньги, купит себе штаны не трековые, а суконные — так и бросит.

Эти слова окончательно убедили меня — заело Сашку. Но что дальше последует — не догадывался, потому что простофилей был и остался.

За полосой густо идущего в рост овса, возле дороги была продолговатая бочажина. В ней почти не оставалось воды. По краям гладкая и черная, будто вар, грязища покрылась паутиной трещин. В середине, возле лужицы с ладошку величиной, сидела большая лягуха в скорбном молчании и думала, куда ей теперь деваться. В Мане и Манской речке вода быстрая — опрокинет кверху брюхом и унесет. Болото есть, но оно далеко — пропадешь, пока допрыгаешь. Лягушка вдруг сиганула в сторону, шлепнулась у моих ног — это Санька промчался по бочажине, да так резво, что я и ахнуть не успел. Он сел по ту сторону бочажины и об лопух вытер ноги.

— А тебе слабо!

— Мне-е? Слабо-о? — запетушился я, но тут же вспомнил, что не раз попадался на Сашкину уду, и не перечить, сколько имел через это неприятностей, бед со всякими последствиями. «Не-е, брат, не такой уж я маленький, чтоб ты меня падувал, как рапыше!»

— Цветочки только рвать! — зудил Санька.

«Цветочки! Ну и что! Что ли это худо? Вон дед-то говорил как...» Но тут я вспомнил, как на селе презрительно относятся к людям, которые рвут цветочки и всякой такой ерундой зажимаются. На селе охотников-зверобоев поразвелось — пропасть. На пашне старики, бабы да ребятнишки управляют. Мужики все на Мане из ружей палят да рыбачат, еще кедровые орехи добывают, продают в городе добычу. Цветочки в подарок женам привозят с базара, из стружек цветочки, синие, красные, белые — шуршат. Базарные цветочки бабы почтительно ставят на угловики и на иконы цепляют. А чтобы жарков, стародубов или сарапок парвать — этого мужики никогда не делают и детей своих сызмальства приучают дразнить и

презирать людей вроде Васи-поляка, сапожника Жеребцова, печника Махунцова и всяких других самоходов, падких на развлечения, но непригодных для охотничьего промысла.

И Санька туда же! Он-то уж не будет цветочками заниматься. Он пахарь уже, сеятель, рабо-о-отник! А я, значит, так себе! Придурок, значит? Размазня? Так я себя распалил, так разозлился, что с храбрым гиком ринулся поперек бочажины.

В середине ямины, там, где сидела задумчивая лягуха, я разом, с отчетливой ясностью понял — снова оказался на уде. Я еще попытался дернуться раз-другой, но увидел Санькины разлапистые следы от лужицы в стороне — дрожь по мне пошла. Съедая взглядом округлую Санькину рожу с этими красными, будто у пьянчужки глазами, сказал:

— Гад!

Сказал и перестал бороться.

Санька бесновался вверху падо мной. Он бегал вокруг бочажины, прыгал, становился на руки:

— Аа-а, вляпался! А-га-га-а,дохвастался! А-га-га-а, монах в новых штанах! Штаны-то ха-ха-ха! Сапоги-то хо-хо-хо!

Я сжимал кулаки и кусал губы, чтобы не заплакать. Знал я — Санька только того и ждет, чтоб я расклеился, расхныкался, и он совсем меня растерзал бы, беспомощного, попавшего в ловушку. Ногам холодно. Меня засасывало все дальше и дальше, но я не просил, чтоб Санька вытаскивал меня, и не плакал. Санька еще поизмывался надо мною, да скоро уж прискучило ему это занятие, насытился он удовольствием.

— Скажи: «Миленький, хорошенький Санечка, помоги мне ради Христа!» Я, может, и выволоку тебя!

— Нет!

— Ах, нет?! Сиди тоды да завтрева.

Я стиснул зубы и поискал глазами камень или чурку. Ничего не было. Лягуха опять выползла из травы и глядела на меня с досадою, дескать, последнее пристанище отбили, злыдни.

— Уйди с глаз моих! Уйди, гад, лучше! Уйди! — закричал я и пачал швырять в Саньку горстями грязи.

Санька ушел. Я вытер руки об рубаху. Над бочажинной, па меже шевельнулись листья белены — Санька в них спрягался. Из ямины мне видно только белену эту,

репейника вершинку да еще часть дороги видно, ту, что поднимается в Манскую гору. По этой дороге я еще совсем недавно шел счастливый, любовался местностью и никакой бочажины не знал, никакого горя не ведал. А теперь вот в грязи завяз и жду. Чего жду?

Санька вылез из бурьяна, видно, осы его выгнали, может, и терпенья не хватило. Жрет какую-то траву. Пучку, должно быть. Он всегда жует чего-нибудь — живоглот пузатый!

— Так и будем сидеть?

— Нет, скоро упаду. Ноги уже остомели.

Санька перестал жевать пучку, с лица его слетела беспечность, понимать, должно быть, начинает, к чему дело клонится.

— Но ты, папина! — крикнул он, стягивая с себя штаны. — Упади только!

Стараюсь держаться на ногах, а они так отерпли ниже колен, что я их едва чувствую. Всего меня трясет от холода, качает от усталости.

— Безголовая кляча! — лез в грязь и ругался Санька. — Сколько я его надувал, он все одно надувается! — Санька пробовал подобраться ко мне с одной, с другой стороны — не получалось. Вязко. Наконец приблизился, зарорал: — Руку давай! Давай! Уйду ведь! Взаправду уйду. Пропадешь тут вместе с поваыми штанами!..

Я не дал ему руку. Он сгрел меня за шиворот, потянул, но сам колом пошел в жидкую глубь ямы. Он бросил меня, ринулся на берег, с трудом высвобождая ноги. Следы его тут же затягивало черпой жижей, пузыри возникали в следах, с шипом и бульканьем лопааясь.

Санька на берегу. Глядел на меня испуганно, молча, что-то пытаюсь сообразить. Я глядел мимо него. Ноги мои совсем подламывались, грязь мне казалась уже мягкой постелью. Хотелось опуститься в нее. Но я еще живой до пояса и маленько соображаю — опущусь и запросто могу захлебнуться.

— Эй, ты, чё молчишь?

Я ничего на это не ответил погубителю Саньке.

— Иди за дедушкой, гадина! Упаду ведь сейчас.

Санька завыл, заругался, будто пьяный мужик, матерно и бросился выдергивать меня из грязи. Он едва не стащил с меня рубаху, за руку стал дергать так, что я взревел от боли и принялся тыкать кулаком Саньке в морду, раз-другой достал. Дальше меня не засасывало, я, должно

быть, достиг ногами твердого грунта, может, и мерзлой земли. Вытащить меня у Саньки ни силенок, ни сообразительности не хватило. Он совсем растерялся и не знал, что делать, как быть.

— Иди за дедушкой, гад!

Стуча зубами, натягивал Санька штаны прямо на грязные ноги.

— Миленький, не падай! — сначала шептал, потом закричал не своим голосом Санька и помчался к заимке. — Не па-а-да-а-ай, миленький... Не па-а-ада-ай!..

Слова у него с лаем вырывались, с гавканьем. Заревел Санька с испуга. «Так тебе, змею, и надо!»

От злости во мне прибавилось сил. Я поднял голову, увидел: с Манской горы спускаются двое. Кто-то кого-то ведет за руку. Вот они исчезли за тальниками, в Манской речке. Пьют, должно быть, или умываются. Такая уж речка — журчистая, быстрая. Никто мимо нее пройти не в силах.

А может, отдыхать сели? Тогда пропащее дело.

Но из-за бугра появилась голова в белом платке, даже сначала один только белый платок, потом лоб, потом лицо, потом уж и другого человека видно сделалось — это девчонка. Кто же идет-то? Кто? Да идите же вы скорее! Переставляют ноги ровно пеживые!

Я не сводил взгляда с двух людей, размеренно идущих по дороге. По походке ли, по платку ли, по жесту ли руки, указывающей девчонке прямо на меня, скорее всего — на поле за бочажинной, узнал я бабушку.

— Ба-а-абонька! Ми-иленька-а!.. Ой, ба-абонька-а-а! — заревел я и повалился в грязь. Передо мной остались замытые водой скаты этой проклятой ямы. Даже белены не видно, даже лягуха упрыгала куда-то.

— Ба-а-аба-а-а! Ба-а-абопья-а-а! Тону я! Ой, тону-у-у!

— Тошно мне, тошнехонько! Ой, чуяло мое сердце! Как тебя, аспида, занесло туда? — услышал я над собой крик бабушки. — Ой, не зря сосало под ложечкой!.. Да кто же это тебя надоумил-то? Ой, скорее!

И еще дошли до меня слова, задумчиво и осудительно сказанные левопытьевской Тапшкой:

— Ущ не лешаки ли тебя туда заташшили?!

Шлепнула доска, другая, я почувствовал, как меня подхватили и, ровно бы ржавый гвоздь из бревна, медленно потянули, слышал, как с меня снимались сапоги, хотел

крикнуть, да не успел. Дед выдернул меня из сапог, из грязи. С трудом вытягивая ноги, он пятился к берегу.

— Обутки-то! Сапоги-то! — показала бабушка в яму, где колыхалась взбаламученная грязь, вся в пузырьках и плесневелой зелени. Безнадежно махнув рукой, дед поднялся на межу и лопухами стал вытирать ноги. Бабушка дрожащими руками обирала с моих новых штанов пригоршнями грязь и торжествуяюще, ровно бы доказывая кому-то, высказывалась:

— Не-ет, сердце мое не оманешь! Токо кровопивец этот за порог, оно так и заныло, так и заныло. А ты, старый, куды смотрел? Где ты был? Если бы загинул ребенок?

— Не загинул жа...

Я лежал, уткнувшись носом в траву, и плакал от жалости к себе, от обиды. Бабушка взялась растирать мне ладонями ноги. Танька шарила по моему носу лопушком, ругалась вперевод с бабушкой:

— Ох, каторжанец Шанька! Я тятке впо-о рашпкажу, — и грозила пальцем вдаль: — Тятька, шур-шур-шур! — Разве у Татьки поймешь чего? Шуршит, как оса в меду.

Я глянул, куда она грозила, и заметил клубящуюся пыль вдали. Санька чесал во все лопатки от займки к реке, чтоб укрыться в уремах до лучших времен. Теперь он будет жить воистину как беглый лесной разбойник.

Четвертый день лежу я на печке. Ноги мои укутаны в старое одеяло. Бабушка натирала их по три раза за день настоем ветреницы, муравьиным маслом и еще чем-то едучим и вонючим, отпаивала меня ромашкой и зверобоем. Ноги мои жгло и щипало так, что впору завывать, но бабушка уверяла, что так оно и быть должно, значит, вылечиваются ноги-то, раз жжение и боль чувюг, и рассказывала о том, как и кого в свое время вылечила она и какие ей за это благодарствия были.

Саньку бабушка изловить не могла. Как я догадывался, дед выводил Саньку из-под намеченного возмездия. Он то паряжал Саньку в почное — пасти скотину, то отсылал в лес с задельем. Бабушка выпуждена была поносить дедушку и меня, но мы люди к этому привычные, дед только кряхтел да пуще дымил cigarкою, я похихикивал в подушку да перемигивался с дедом.

Штаны мои бабушка выстирала, сапоги так и остались

в бочажине. Жалко сапоги. Штаны тоже не те, что были. Материя не блестит, сишь слиняла, штаны разом поблекли, увяли, будто цветы, сорванные с земли. «Эх, Санька, Санька!» — вздыхал я — мне жалко Саньку сделалось.

— Опять рематизня донимат? — поднялась на приступок печки бабушка, услышав мое кряхтенье.

— Жарко тут.

— Жар кости не ломит. Пожилось дураку — по три чирья на боку. Терпи. А то обезножеешь — а сама к окну, приложила руку, выглядывает. — И куда он этого супостата спровадил! Поглядите-ка, люди добрые! Говорила самому: ни от камня плода, ни от плута добра! Она на меня союзом!.. Сам-от веку разбойнику дает, от меня спасат.

Тут — беда к беде — дед курицу проворонил. Курица эта пестрая вот уже лета по три норвила произвести цыплят. Но бабушка считала, что для этого дела есть более подходящие курицы, купала пеструшку в холодной воде, хлестала веником, принуждая нести яйца. Хохлатка же проявила прямо-таки солдатскую стойкость: где-то втихую нанесла яиц и, не глядя на бабушкин запрет, схоронилась и высиживала потомство.

Вечером засветилось в окне, замелькало, затрещало — это за ключом, на берегу реки запластал шалаш, сделанный по весне охотниками. Из шалаша с кудахтаньем выпорхнула паша хохлатка, не задевая земли, взлетела на избу, вся взъерошенная, клохчущая, дергала поврежденно зобом и головой.

Началось дознание, и выяснилось: Санька унес табачку из корыта деда, покуривал в шалаше и заронил искру.

— Он так и займку спалит, не моргнет! — шумела бабушка, но шумела уж как-то негрозио, на исходе, должно быть, из-за курицы смягчилось ее сердце, может, и пререкипела гневом внутри себя. Словом, она сказала деду, чтоб Санька не прятался больше, ночевал бы дома, и унеслась в село — дел у нее там много накопилось.

Дел у нее, конечно, всегда по горло, однако же главная забота — что без нее в селе, как без командира на войне — разброд, смятение, неразбериха, все сбилось с шагу, и надо направлять скорее строй и дисциплину.

От тишины ли, от того ли, что бабушка наладила замещение с Санькой, я уснул и проснулся на закате дня, весь светлый и облегченный, свалился с печи вниз и чуть не вскрикнул. В той самой кринке с отбитым краем полыхал

огромный букет алых горных саранок с загнутыми лепестками.

Лето! Совсем уж полное лето пришло!

У притолоки стоял Санька, на пол слюной циркал в дырку меж зубов. Он жевал серу, и слюны накопилось у него много.

— Откусить серы?

— Откуси.

Санька откусил шматок лиственничной серы. Я тоже припаялся жевать ее с прищелком.

— Лиственницу со сплава к берегу прибило, и я наколупал. — Санька циркнул слюной от печки и аж до окна. Я тоже циркнул, но мне на грудь угодило.

— Болят ноги-то?

— Совсем чуточку. Я уж завтра побегу.

— Харюз хорошо стал брать па пауга и на таракана.

Скоро на кобылку пойдет.

— Возьмешь меня?

— Так и отпустила тебя Катерина Петровна!

— Ее ж негу!

— Припрется!

— Я отпрошусь.

— Ну, если отпросишься... — Санька обернулся ко двору, ровно бы принюхался, затем подлез к моему уху: — Курить будешь? Вот! Я у дедушки стибрил. — Он показал горсть табаку, бумаги клочок и обломок от спичечного коробка. — Курить мирово! Слышал, как я вчерась салаш-то? Курица оттеда турманом летела! Умора! Катерина Петровна крестится: «Восподь спаси! Христос спаси!» Умора!

— Ох, Санька, Санька! — совсем уж все прощая ему, повторил я бабушкины слова. — Не сносить тебе удалой головы!..

— Ништя-аак! — с облегчением отмахнулся Санька и вынул из пятки занозу. Брусничкой выкатилась капля крови. Санька плюнул на ладонь и затер пятку.

Я смотрел на нежно алеющие кольца саранок, па тычишки их вроде молоточков, высунувшиеся из цветков, слушал, как па чердаке возились, наговаривали меж собой хлопотливые ласточки. Одна ласточка недовольна чем-то, говорит-говорит и вскрикнет, будто тетка Авдотья на девок своих, когда те с гулянья домой являются; или на мужа — Терентия, когда тот из плаванья придет.

Во дворе дедушка потюкивал топором да покашливал.

За частоколом палисадника голубой лоскут реки виден. Я надел свои, теперь уже обжитые, привычные штаны, в которых где угодно и на что угодно можно садиться.

— Куда ты? — погрозил пальцем Санька. — Нельзя! Бабушка Катерина не велела!

Ничего я не ответил ему, подошел к столу и дотронулся рукой до раскаленных, но не обжигающих руку саранок.

— Смотри, бабушка заругается. Ишь, поднялся! Храбёр! — бормотал Санька, отвлекал меня, зубы заговаривал. — Потом опеть издыхать примешься...

— Какой дедушка добрый, саранок мне нарвал, — помог я выкрутиться Саньке из трудного положения. Он помаленечку, полегонечку выпятился из избы, довольный таким исходом дела. Я медленно выбрался на улицу, на солнце. Голову мою кружило, ноги еще дрожали и пощелкивали. Дедушка под навесом, отложив топор, которым обтесывал литовище, смотрел на меня, как только он и мог смотреть — все так понятно говоря взглядом. Санька скребком чистил нашего Ястреба, а тому, видать, щекотно, и он дрожал кожей, дрыгал ногой.

— Н-н-но-о, ты, попляши у меня! — прикрикнул на мерина Санька. А что кричать на конягу, которой нет выносливей и терпеливей в селе, которую даже бабушка балует, иногда хлебцем-корочкой, и говорит с пасмешкой, что наш конь жил у семи попов, по семи годов, а все ему семь лет от роду...

Старенький, старешький Ястреб! Ну и что? И дед старешький, да лучше его нет на свете человека. Цена не по легам, а по делам...

Как тепло вокруг, зелено, шумно, весело! Стрижи над речкой кружатся, падают встречь своей тени на воду. Плишки почикивают, осы гудят, бревна вперегонки по воде мчатся. Скоро можно будет купаться — Лидии-купальницы наступят. Может, и мне позволят купаться. Лихорадка-то не возвернулась, чуть только голову обносит да ноги в суставах ломит. Ну а не разрешат, так я и сам потихоньку выкупаюсь. С Санькой умогаю на реку и выкупаюсь.

Мы с Санькой, держась с двух сторон за оброть, повели Ястреба к реке. Он спускался по каменистому бычку, опасливо расставлял передние ноги скамейкой, тормозил себя изпошенными, продырявленными гвоздем копытами. В воду забрел, остановился, тронул дряблыми губами

отражение в воде, будто поцеловался с таким же старым пегим конем.

Мы брызгали на него водой. Конь передернулся кожей на спине и, громко бухая копытами по камням, удало мотая бородатой головой, побрел вглубь, мы за ним, охая, держась за гриву и за хвост, тащились. Выбрел Ястреб на галечный мысок, остановился по брюхо в воде и отдался на волю течения.

Мы скребли голиком прогнутую, трудовыми мозолями покрытую спину, шею, грудь. Ястреб подрагивал кожей в радостной истоме, переступал ногами и даже пробовал играть, хватал нас отвислой губой за воротники.

— Н-не балуй! — громко кричали мы. Но Ястреб не слушался, да мы и не ждали, чтоб он слушался, орали просто так, по привычке, на конягу.

На спину коню норовили сеть плишки, чтобы склевать роющихся на потергостях конской кожи мух либо слепня-кровососа сцапать, припаявшегося к крупу лошади.

На бычке стоял дед в выпущенной рубахе, босой. Ветерок трепал его волосы, шевелил бороду, полоскал растегнутую рубаху на выпуклой, раздвоенной груди. И напоминал дед российского богатыря во времена похода, сделавшего передышку, — остановился богатырь озреть родную землю, подышать ее целительным воздухом.

Хорошо-то как! Ястреб купается. Дед на каменном бычке стоит, забылся, леги в шуме, суете, в нескучных хлопотах подкатило. Каждая пичуга, каждая мошка, блошка, муравьишко заняты делом. Ягоды вот-вот пойдут, грибы. Огурцы скоро нальются, картошки подкапывать начнут, там и другая огородина поспеет на стол, там и хлеб зашуршит спелым колосом — страда подойдет. Можно жить на этом свете! И шут с ним, со штанами и с сапогами тоже. Наживу еще. Заработаю.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

В тридцать третьем году наше село придавило голодом. Замолкли песни, заглохли свадьбы и гулянки, притихли собаки, не стало голубей. Шумные ватаги ребятишек не сыпались на санках с яра, скотина во дворах ревели под ножом, кони начали падать среди улиц. Сразу захмурили и вроде бы состарились дома. Углы у них были, как челюсти у голодных людей, сухи и костлявы.

Кто как, кто чем добывал в эту пору пропитание. Охотники мяли снега в тайге, отыскивали диких коз, сохатых, маралов, медвежьи берлоги. Но снега в ту зиму были глубокие. Кроме того, есть поверье, будто людская беда чуется и зверьем, якобы отходит зверь дальше в тайгу, в неприступные горы, словом, голод гонит и волка из колка.

Удачливый человек Александр Ярославцев все же добыл медведя. Братья Верехтины и Саламатин-старик привезли коз. Поделались охотники с соседями чем могли, но у каждого своя семья, родни и друзей не перечесть.

Город всегда был бедой и выручкой нашего села. Он потреблял сельскую продукцию: дрова, молоко, мясо, рыбу, овощи, ягоды. Он одевал и спаивал. Он был гостеприимен, пока получал из деревни что ему надо было. С пустыми руками и с порожними подводами город встречал мужиков неохотно. Он и сам был голоден, этот большой и теперь неприветливый город.

В тот год, именно в тот год, безлошадный и голодный, появились на зимнике мужики и бабы с котомками, по-

несли барахло и золотишко, у кого оно было, на мену, в «Торгсин».

Наша семья, ведомая бабушкой, изворотливой в хозяйстве, предприимчивой в делах, не раз голодавшей и бедовавшей за свою жизнь, мало-мало перебивалась. Бабушка усохла. Кость на ней выступила, характер ее, крутой и шумный, заметно смягчился.

— Ничего, мужики, ничего. До веспы дотянем, а там...

Мужики — дедушка, Кольча-младший и я — слушали бабушку и понимали, что с нею не пропадем, лишь бы не сдала она, не свалилась. Снова пришел к нам жить еще один «мужик» — Алешка. Тетка Августа перешла с лесозаготовок на Усть-Манский сплавной участок. Заимки на Мане перестали существовать, на полях пошла работа другого порядка: катали и возили по ним лес, громоздили штабеля там, где росли картошка, рожь и пшеница. Дед без пашни потерялся, не знал, куда себя девать и где сеять хлеб.

— Чего сделаеш, мужики? — толковала бабушка на счет Алешки. — Куда его денешь? Гуске паек давать на сплаву будут...

Она словно бы оправдывалась за Алешку. Но в нашей семье и раньше не принято было обсуждать бабушкины действия, теперь и подавно.

Августа по воскресеньям приходила с Усть-Маны, приносила муки, крупы. Один раз консерву принесла — «поросенок в желе». Желе это самое, по-нашему студень, в банке было, но поросенка мы там не пашли. От него в банку запечатали шкурку с косточкой.

На Августин паек надеяться нечего, поняли мы после «поросенка в желе».

Бабушка затолкала в котомку вязаные праздничные скатерти, отнесла их в город и променяла на хлеб. Потом дедушкин новый полушубок отнесла, потом свою, бережно, по деревенской традиции хранимую — для смертного часа — одежду: платье, чулки, платок, чувяки и нижнюю бязевую юбку.

Есть надо было каждый день, а барахло на рышке все падало и падало в цене. Да и сколько барахла в крестьянской семье, которая никогда не жила в больших достатках?

Бабушка несколько раз спимала самодельный фанерный чехол с машины «Зигнер», оглаживала рукой ее изношенное тело так, будто та была живая и теплая. Но

машинка была так стара, так некорыстна с виду, что за нее ничего бы и не дали. Кроме того, работала машинка только потому, что бабушка до тонкостей знала ее характер. Зауросит, бывало, машинка — нитки рвать станет или вовсе шить откажется — бабушка поднимет ее корпус, обнажит с исподу сложные механизмы, поглядит, поговорит с машинкой, пальцем ткнет в одно, в другое место, где из масленки помажет, где сметаной, дунет, плюнет — и, глядишь, застрочила машинка пулемстом, ожила на радость нашего и всех ближних домов. Машинка хотя и была бабушкина, но в то же время как бы принадлежала и многим другим людям. Бабушка обшивала на ней почти полсела. И хотя в голодный год шить никто ничего не приносил, бабы все же с беспокойством заглядывали в нашу горницу — здесь ли машинка? Всем им да и бабушке тоже верилось — пока есть машинка, стоит на своем месте — живы и надежды на то, что минуют беды, что поработает еще она, будут люди шить обновы. Бабушка и не прочь бы «оторвать от сердца машинку», да чтоб только не увозить ее из села, здесь бы кому променять и после либо выкупить ее обратно, либо знать, что тут она, поблизости, всегда на нее посмотреть можно, даже пошить, и, таким образом, машинка как бы не совсем уйдет из бабушкиной жизни.

Но никто в деревне машинку не выменивал, а когда отказался от нее и заезжий ямщик, сказавши, что пока он ее довезет, так она и рассыплется, бабушка успокоилась.

— Да я лучше пересолю и выхлебаю, чем машины решусь...

Но пересаливать и хлебать совсем сделалось нечего. Начали и мы есть картофельные очистки, неободранное просо пополам с мякиной, всякую дрянь стали есть.

Я всегда был в семье на особом положении. И мне всегда отделялся самый лучший, самый сладкий кусок. И никто против этого не возражал — так должно быть, так положено. А после того как я переболел лихорадкой, да еще ревматизм меня донимал постоянно, все наши особенно заботились обо мне и отказывали себе во всем, только чтоб я был сыт, одет и не хворал.

Ослабел я скорее всех. Начал опухать. И ноги, худые мои ноги перестали меня слушаться, ходил я, шатаюсь, голова у меня кружилась.

Тягостно и угрюмо сделалось в нашем доме.

Стойко державшаяся бабушка хоть и наставляла нас,

носи платъе, не складывай, терпи горе, не сказывай, но сама все чаще и чаще смахивала с лица слезы, тревожный ее, иссушенный бедою взгляд все дольше задерживался на мне.

Однажды паелись мы мерзлых картошек. С молоком ели картошки, с солью, и вроде бы все довольны остались, но меня начало мутить и полоскало так, что бабушка еле отводилась со мною.

— Мужики! Надо что-то делать, мужики... — взревела она. — Пропадет парнишка. А он пропадет — и я не жилец на этом свете. Я и дня не переживу...

Мужики тягостно молчали, думали. Дед и прежде-то говорил только в крайней необходимости, теперь, лишившись займки, вовсе замолк, вздыхал только так, что тайга качалась — по заключению бабушки. Добиться от него разговора сделалось совсем невозможно. Бабушка глядела на Кольчу-младшего, тоже осунувшегося, поссревшего. А был он всегда румян, весел и деловит.

Мне показалось, бабушка смотрела на Кольчу-младшего не просто так, со скрытым смыслом смотрела, ровно бы ждала от него какого-то решения или совета.

— Что ж, мама, — заговорил медленно Кольча-младший и опустил глаза. — Тут уж считаться не приходится... Тут уж из двух одно: или потерять парнишку, или...

Бабушка не дослушала его, уронила голову на стол. Не голосила она, не причитала, как обычно, плакала, надсадно, загибно всхрапывая. Кости на ее большой плоской спине ходуном ходили, в то время как руки, выкинутые на стол, лежали мертво. Крупные, изношенные в работе руки, с крапинками веснушек, с замытыми переломанными ногтями, поконились как бы отдельно от бабушки.

Кольча-младший достал кисет, начал лепить сигарку, но отвернулся, ровно бы поперхнувшись, закашлял и с недоделанной сигаркой, с кисетом в руке быстро ушел из избы, бухая половицами. Дед крякнул скрипуче, длинно и вышел следом за Кольчей-младшим.

Состоялся какой-то важный и тягостный совет. Какой, я не знал, но смутно догадывался — касается он меня. Мне в голову взбрело, будто хотят меня куда-то отправить, может, к тетке Марии и к ее мужу Зырянову, у которых я уже гостил в год смерти мамы, но жить у бездетных и скопидомных людей мне не поглянулось, и я выпросился поскорее к бабушке.

— Бабушка, не отправляйте меня к Зырянову, — тихо

сказал я. — Не отправляйте. Я хоть чего есть стану. И картошки голые научусь... Санька сказывал — сначала только с картошек лихотит, потом ничего...

Бабушка резко подняла голову, взглянула на меня размытыми, глубоко ввалившимися глазами:

— Это кто же тебе про Зыряновых-то брякнул?

— Никто. Сам подумал.

Бабушка подобрала волосы, вытерла глаза ушком платка и прижала меня к себе:

— Чё ж тебя, как худу траву с поля, выживают? Удумал, нечего сказать! Дурачок ты мой, дурачок!

Она отстригла меня и ушла в горницу. Там запел, зазвенел замок старинного сундука, почти пустого, и я не поспешил на этот приманчивый звон — никаких лампасек, никаких лакомств больше в сундуке бабушки не хранилось.

Бабушки не было долго. Я заглянул в горницу и увидел ее на коленях перед открытым сундуком. Она не молилась, не плакала, стояла неподвижно, ровно бы в забыты. В руке ее было что-то зажато.

— Вот! — встряхнулась бабушка и разжала пальцы. — Вот, — повторила она, протягивая мне руку.

В глубине морщинистой темной ладони бабушки цветом чистотела горели золотые сережки.

— Матери твоей покойницы, — пошевелила спекшимися губами бабушка. — Все, што и осталось. Сама она их заработала, к свадьбе. На известковом бадоги с Левонтием зиму-зимскую ворочала. По праздникам падевала только. Она бережлива, уважительна была...

Бабушка смолкла, забылась, рука ее все так же была протянута ко мне, и в морщинах, в трещинах ладони все так же радостно, солнечно поигрывали золотом сережки. Я потрогал сережки пальцем, они катнулись на ладони, затишькали чуть слышно. Бабушка мгновенно зажала руку.

— Тебе сберегчи хотела. Память о матери. Да наступил черный день...

Губы бабушки мелко-мелко задрожали, но она не позволила себе ослабиться еще раз, не расплакалась, захлопнула крышку сундука, пошла в куть. Там бабушка завернула сережки в чистый носовой платок, затянула концы его зубами и велела позвать Кольчу-младшего.

— Собирайся в город, — молвила бабушка и отвернулась к окну. — Я не могу...

Кольча-младший надел старый полушубок, подпоясал-

ся, убрал сверток за пазуху. Все он делал медленно и молча, прятал глаза при этом. Кольча-младший плыл в лодке вместе с моей мамой, был кормовым, мама на лопашнях. Еще в той лодке была тетка Апроня и с ними семеро или восьмеро людей, но утонула моя мама. Когда лодка налетела на головку славной боны и опрокинулась, маму затянуло течением коренной воды под бону, она зацепилась косою за перевязь. Ее искали девять дней. Под боной поискать никому в голову не приходило, и пока не отпрела коса, не выдернулись волосы, болтало, мыло молодую женщину, потом оторвало бревнами, попесло и приоткнуло далеко уже от села, возле Шалунина быка. Там ее зацепил багром сплавщик, и ничего уж, видно, святого за душой бродяги не было — отрезал у нее палец с обручальным кольцом.

Горе было так велико, так оно всех раздавило, что наша родня не пожаловалась на пикетчиков в сельсовет, лишь горестно, недоумеюно качала головой бабушка:

— Зачем же над мертвой-то галились? Покарат Господь за падругательство. А я бы и так отдала кольцо, все бы отдала, что есть у меня...

Мамы пет больше года, по Кольча-младший не находит себе места, все старается лаской, добротой загладить какую-то вину, хотя он ни в чем не виноват — смерть причину найдет. Каково-то идти ему в город, сдавать в «Торгсин» мамини сережки?

— Ну, с Богом! — перекрестила бабушка Кольчу-младшего. — Хорошеньче смотри за платком-то. Жуликов да мазуриков в городе развелось тучи.

Ничего на это не сказал Кольча-младший. Закурил на дорожку, поднял воротник полушубка, надел собачьи лохмашки и с цигаркой в зубах вышел из избы.

— Ты тоже шел бы на улку, к дедушке, — отвернувшись, молвила бабушка пустым голосом, и я отправился к дедушке, под навес, где он вязал метлы, смолил табак, заглушая голодную, сосущую нудь в животе.

Бабушке хотелось остаться одной. Всегда ее тянуло к людям, всегда она была среди них, всегда в гуще всех событий и в курсе всех деревенских дел, но сегодня ей хотелось быть одной.

Мы с дедом не тревожили ее. Осторожно, словно воры, пробрались в избу. В доме тихо, сумрачно. Лампу мы в этот вечер не зажигали. Керосин у нас кончился, и ужина не просили. «Ехали весь день до вечера, хватились —

ужинать нечего», — пошутила бы бабушка в другое время. Но она даже не подала голоса и головы не подняла. Пластом лежала бабушка на кровати и не шевелилась, не ругалась, не творила молитв, лишь глаза ее светились во тьме недвижным, лампадным светом.

Кольча-младший принес из города пуд муки, бутылку конопляного масла и горсть сладких маковух — мне и Алешке гостинец. И еще немножко денег принес. Все это ему выдали в заведении под загадочным названием «Торгсина», которое произносилось в селе с почтительностью и некоторым даже трепетом.

Бабушка завела квашню, намешала в муку мерзлых картошек, мякины, чтобы получилось побольше хлеба, и когда отстряпалась, половину плоских караваев, не вытронувшихся из-за примеси, засунула в котомку. Туда же бросила она узелок с солью, горсть луковиц, и Кольча-младший снова отправился в дорогу. С обозом он отбыл в верховские, богатые села. Верховскими у нас назывались села, расположенные в Ужурском, Новоселовском, Краснотуранском, Минусинском районах и прихакасских степях, потому как все это паходилось в верховьях Енисея. И люди тамошние, и обозы, идущие оттуда, большие, длинные обозы с кладью, тоже звались верховскими.

Кольча-младший уехал наниматься на молотьбу. Он умел обращаться с молотилкой и, как утверждала бабушка, равных ему по ловкости и сноровке возле барабана не могло сыскаться. Что это за барабан такой, я не знал. Мне был известен лишь один барабан, в который колотят палками. Но на барабане Кольча-младший намеревался заработать хлеба, и мы стали его ждать.

Дедушка панялся пилить дрова в сельсовет, и в большом нашем доме, где когда-то дополна было народу, сделалось тихо, пустынно, дверь в горницу заколотили, чтобы не жечь липние дрова.

Мука из «Торгсина», как ее ни растягивала бабушка, вся до пылинки истряпалась, надо было что-то снова есть. Дедушка испилил и сложил в поленницы дрова подле сельсовета, получил деньги. Получил он их немного, всего на булку хлеба, как определила бабушка. Она отправилась в город с деньгами, заработанными на дровах ослабевшим от голода дедушкой.

Возвратилась бабушка вечером, с черемуховым бато-

гом в руке. Первый раз взяла она тогда батожок и до смерти с ним уж не расставалась в дальнем походе. В котомке бабушка принесла серый, в банный таз величиною, каравай.

— Отрежь скорее парнишке кусочек, — слабо сказала бабушка деду. — Замер вовсе парпишка. И себе отрежь.

Она сидела на скамейке не раздевшись, положив обе руки на черемуховую палку. И очень заметно бросилось мне в глаза, какая она стала старая и как согнулась в спине. Дед вынул каравай из котомки, взвесил его на руке и оглядел. Заросшее и без того хмурое его лицо запасмурнело совсем.

— Чего ж не поела-то? Дорогой свалилась бы. Лучше, шго ль?

— Да я отколупнула корочку, пососала и дотанцилась вот, слава Богу. Я что? — Я — ломовой конь. Режь, режь! Ждет ребенок. Алешка-то где?

Я сказал, что Алешка ушел к матери на Усть-Ману, там столовку открыли и кормят сплавщиков казенной пицей. Августа Алешку возле себя теперь прокормит. Они теперь без горя проживут.

— И ладно. И ладно. Ты чего, отец? Умер ли, чё ли? Прямо беда с тобой...

Дед стоял с ножом в руке над разрезанным караваем и не поворачивался к нам. Спина его, плечи, руки обвисали все ниже, ниже, будто сделался он весь тряпичный, будто и кости смолотились в нем сразу, и стал он меньше ростом.

— Ты чего? — тревожно повторила бабушка.

— Омманули тебя на базаре, — глухо вымолвил дед и воткнул ножик за настенную дощечку, за которой торчали вилки, ложки.

— К-как омманули? — Рот бабушки вдруг начал беззвучно шевелиться, сделался черным. Я закричал и прикрыл глаза руками.

Дедушка схватил меня и понес к рукомойнику.

— Ат жись! Ат чё деется! — бубнил он, на шаривая уголек за козырьком рукомойника, чтоб умыть меня с уголька — от испуга и урочества. Уголек куда-то запропастился, дед набрал воды в глубокую ладонь. Всего деда трясло, он все бубнил, бубнил чего-то, и я, не слышавший от него больше трех или пяти слов за день, совсем испугался, попросил посадить меня на печь.

Каравай оказался с начинкой, туфтой, как на блатном

языке говорилось. Он только сверху каравай, в середину же запечена мякина.

Бабушка проклинала себя: где были у нее глаза?! — спрашивала. Лучше бы ей помереть. Счастьем бы она посчитала, если б не дожила до этих дней, не видела бы такого злодейства и жульничества.

Голосила и причитала бабушка долго. Причитая, она успела, между прочим, рассказать, как обрадовалась, когда узрела этот большой каравай, как ее насторожила спервоначала сходная цена, как она боялась, чтоб каравай не перехватили, оттого и не разломила его, полоумная, как выглядели продавцы — пристойно, на ее взгляд, выглядели, одеты в городское. Рассказала и о том, будто скоро все наладится, будто городским хлеб по карточкам начали выдавать и драк больших на базаре уж негу из-за продуктов.

По мере того как выговаривалась бабушка, легче становилось у меня на душе и дома не так уж страшно. Вот когда рот бабушки беззвучно шевелился и когда сидела она на скамье неподвижно, как каменная, тогда страшно. А так ничего. Так все наладится. Сейчас бабушка поголосит, облежится и чего-нибудь сообразит.

И в самом деле бабушка скоро позвала меня в куть.

— Гложи корочку-то. Корочка у каравай, будь он пеладен, хлебна. Мякину-то выковыривай и гложи. Всякой хлеб не без мякины. Отец, ты тоже поешь маленько. Чё сделаешь? Им, супостатам, отольются наши слезы. Кто бедного обижат, тот гибель себе накликают. А гляди-ко чего я припесла-а-а! — пропела бабушка, полезла за пазуху, и вынула черненький, мохнатый комочек. Он сразу запищал, начал тыкаться носом в бабушкину ладонь. — Тоже жрать хочет, пятнай его! — через силу улыбнулась бабушка и с непривычной, какой-то детской беспомощностью поглядела на меня, на деда. И было в этом взгляде: «Ну, дура я, старая дура! Можете судить меня, казнить, мне уж все едино. Только хотела я как лучше...»

Никто ее судить и казнить не собирался.

— Где это тебе такую чуду Бог послал? — мирно прогудел дедушка. Он взял за загривок щенка двумя пальцами и поднял в воздух. Щенок разом замолк и только дрыгнул задними лапками, отыскивая опору.

— Породистый, видать, холера! Не орег, — заключил дедушка.

Дед сроду охотником не был, в собаках ничего не по-

нимал, однако мы согласились с ним — щенок породистый, уж очень он лохмат и уши у него большие, вислые.

— Тащусь это я у домов отдыха, — рассказывала бабушка, уже привычным, папевным голосом, — а он, горюшко, копошится в снегу, еле уж слышно скулит. Выбросили его на мороз — околевать. До собак ли? Остановилась это я, смотрю на горюна и плачу, про Витьку нашего думаю. Не будь нас, так же околевать бы его выбросили... — Бабушка вытерла платком уж летучие, жалостливые слезы и начала раздеваться. — Счас я, счас, мужики. Из коровенки вытяну молочка. Не падо бы доить ее. Теленок замрет во чреве. Ну да последний раз. А вы пока гложите корку-то, гложите. А щененку-то, Витька, палец дай. Он и уймется. Не омапнешь — не проживешь, так выходит, — заключила бабушка и сердито покосилась на раскроенный каравай. — Я скоро. — Она схватила подойницу с полатей и поспешила во двор, мы с дедом стали выдергивать из каравая, из корочек мякину. Самую большую, выпуклую, будго крышка черепа, корку мы отложили бабушке.

Щенок чмокал, шибко прижимая мой палец к ребристому нёбу, постанывал и дрожал от голодной истомы.

Вернулась бабушка, принесла на дне подойницы молока и первым делом плеснула щенку. Затем она вынула чугунок из печи, налила всем кипятку и забелила его молоком.

Мы макали корки в чай. Ел дедушка, ела бабушка, ел я, ел лохматый щенок. Он побрякивал банкой и захлебывался.

— Ишь ведь, язва, жрет, жре-от! Жить хочет! — сказала бабушка, глядя на щенка, и туг вздохнула: — Каждой Божьей твари жить падобно. Ничего, мужики, ничего, крута гора, да забывчива, лиха беда, но избывчива. Выкарабкаемся. Коровенка, Бог даст, скоро отелится. Кольча хлеба заробит. Нам бы до весны, до травочки дотянуть... Наелся, место ишпэт. — Щенок дохлопал молоко язычишком, ходил кругами по кути на расползающихся ногах. — Ты его с собой на печь возьми, заколел он, за всю жизнь не отогреется.

И я забрал щенка с собой на печку. Он заполз мне под мышку, угнезвился там и заснул, грея меня своим, еле ощутимым дыханием. А я гладил его по кудрявой шерстке и размягченно думал о том, что «супостатам» отольются

бабушкины слезы и что щенок вырастет, собакой делается.

— Баб, а баб, а как мы его звать будем?

— Щененка-то? Да так и будем звать — Шариком. Он ведь ровно шарик. Так и будем. Дрыхнет?

— Спи-ит. Под мышку забрался и спит. Щекотно мне от него.

— Пусть спит. И человека, и животину жалеть надо, батюшко, потому как у животной тоже душа есть. Памятливая душа. Добро животная пуще человека помнит. Мы вот Шарика отогрели, покормили. Мпожко ли ему падо-то? А в дому сразу легче сделалось. И помяни ты мое слово... — Бабушка прервалась, прислушалась к чему-то в темноте настороженно и разом снялась с кровати: — Ой, больше, Кольча-младший приехал! Отец, ты ничего не слышал?

— Да навроде бы ворота скрипели.

— Кольча это, Кольча! — уверенным уже голосом подтвердила бабушка и зашуршала юбкой. — А я еще вечер подумала... Вот! Вот он, Шарик-то! Знамение это мне вышло, в образе его ангел-спаситель явился...

Когда мы вышли с дедом на улицу, бабушка уже успела расцеловаться с Кольчей-младшим, что-то говорила ему, плакала, помогала снять котомку.

— Витенька! Живой!.. — шагнул ко мне Кольча-младший, поднял на руки, прижал к небритой щеке. — Вот и ладно! Вот и ладно! А я тебе гостинец привез!..

Хотя беда приходит пудами, но уходит золотниками, до весны, до травки мы все-таки дотянули, однако с машинкой «Зигнер» пришлось разлучиться. Променяли ее за мешок картошек — садить было печего. Первый раз в том году садили наши селяне разрезанную на две, где и на четыре половинки картофелину и шибко сомневались в будущем урожае. В том году вообще много чего происходило и делалось в первый раз. Когда выносили машинку, бабушка ушла из дому и голосила будто по покойнику.

От травки до свежего хлеба и овощей было еще далеко — и как далеко — ведь каждый голодный месяц, да что там мссяц, день — вечность, но все же легче сделалось жить.

Кольча-младший вступил в колхоз и женился другорядь. В нашем доме появилась песельница и хохотунья Нюра, беловолосая, легкая нравом, быстрая на ногу. Она

пришлась мне по душе, и мы с нею сделались друзьями. Но с бабушкой у них не ладилось. Бабушка самолично сосватала Кольче-младшему невесту, степенную, смиренную, тслом дебелиую. Я и потом не раз замечал, что люди генеральского склада души не чают в тех, у кого характер ангельски-тихий. Но времена, когда женили, а не женились, к великому огорчению бабушки, прошли. Как-никак город от нашего села находился всего в восемнадцати верстах, и хотя отгораживали его от нас утесы, скалы да перевалы, все равно вольный, безбожный его дух долетал к нам и переворачивал все вверх дном.

Бабушка кляла городское поветрие, сулила глад и мор, стращала людей тем, что будут по небу летать железные птицы и огненные змии, что льдом и холодом покроется земля, как сказано в каком-то Писании, которого она не читала и читать не могла, потому как грамоты совсем не знала.

Глад наступил. Мор, хоть и небольшой, тоже был, железные птицы — аэропланы, летали над горами. Все сбывалось по бабушкиному Писанию. Напуганный жуткими предсказаниями, я забивался под крыльцо или на печку, когда аэропланы пролетали над селом. Однако боялись железных птиц старухи, я да еще кое-какие ребятишки, послабей пупком. Орлы дяди Левонтия ничего не боялись, и когда аэроплан гудел над селом, они, голозадые, высыпали на улицу, кричали в небо:

Ироплан, ироплан!
Посади меня в карман!
А в кармане пуста,
Выросла капуста!..

Корова благополучно отелилась. Кольча-младший и Нюра работали на посевной, им выдавали понемпожку жита. Августа на сплавом участке вышла в ударники, ей надбавили паек. Теперь она подсобляла и нам маленько — через день отправляла порцию каши из столовки.

Вместе с Августой работал на сплаве дядя Валя. За харчем к нему бегал Кеша. Через гору бегал, через ту самую, которую одолел я когда-то в новых штанах, там он тоже попутно кашу доставлял.

Ни один уважающий себя чалдон, будь он хоть какого возраста, если есть рядом река и несет она бревна — пешком не пойдет, твердо зная, что вверх везет беда, вниз несет вода.

В летнюю пору все наши селяне плавали на саликах — двух, трех или четырех бревнах, сколоченных скобами либо связанными проволокой. Чаще на двух. Четыре — это уж роскошь. Приезжие люди зажмурились от страха, узрев человека на двух бревнах посреди бешеной реки. Иной раз спасать выплывали и возвращались обруганные, сконфуженные, разводили руками.

Получив на сплавном участке пайку отца и Августы, Кеша связывал или сколачивал два бревна, пристраивал на них кастрюлю с ухой, в кастрюлю — чашку с кашей, в кашу — горбушку хлеба. Затем выбирал доску, какая полегче, и с таким «веслом» отбивал к селу, где я, бабушка и Шарик ждали его. Поскольку за харчем бегал не один Кеша и плавать все любили, то скобы со сплавного участка все перетаскали, добрую проволоку извели.

Раз Кеша связал два толстых бревна заваливающим концом веревки и сначала плыл ладно, песню пел: «Налеко в стране Иркутской». Салик шел ходко, бухал в боны, в бревна. Но вот поволокло салик к Манскому быку. Бык этот выступал в реку, вода была в его каменный угол. Здесь, как у Караульного быка, имелся унырыш, только еще глубже, провальней. Клокочет, бурлит вода в унырыше и, взлохмаченная, мягкая, кругами выбрасывается оттуда, мчится под нависшим брюхом ржавого утеса.

Кеша под Манским быком проплывал много раз, ничего не боялся, еще громче песню орал, чтоб эхо под скалой эхало. Но беда настигла его в самый неподходящий момент. Лопнуло весло. Обломком доски Кеша не урулил салик, его затащило под бык, стукнуло — и бревна разошлись — лопнула веревка. Кеша не о себе и не о салике хлопотал в ту гиблущую минуту, о кастрюле с пайкой. Кастрюлю он сграбастал, не дал ей утонуть. Меж тем ушла от него половина салика. Остался Кеша на одном бревне и, чтобы не сверзиться в воду, сел на бревно верхом, спустил ноги в реку — и понесло его, завертело, как хотело, потому что рулить совсем нечем, в руках кастрюля, ноги бревно удерживают.

Сидим мы на бережку: я, бабушка и Шарик, пайку ждем. Я камни в воду бросаю, бабушка о чем-то думает. Шарик умильно смотрит на нее, хвостиком по гальке колотит, шебаршит, рассыпается галька.

Вдали показался человек вроде бы на салике, но почему-то без весла. Таскает человека, кружит, поворачивает то передом, то задом, о боны стучает, но он не гребется и

никаких признаков жизни не подает. Бабушка смотрела, смотрела, давай ругаться:

— Опеть какой-то сорванец на лесине катится! Опеть балуется! Ну жиганы! Ну сорвиголовы! Тонут, гинут — все пейметесь!..

У меня глаз поострее, вижу — Кеша это паш в аварию попал, как сказать бабушке, не придумаю. Между прочим, шумела бабушка для вида и порядка. Сама тоже на салике плавает. Положит котомку на бревна, перекрестится на известковый завод, на солнце-восход, усядется на салик и скажет:

— Отталкивай, батюшко! Восподи, баслови! — И я оттолкну ее, и она поплывет себе к городу, веселком погребая. Как увидит катер или пароход, закрестится, веслом машет: «Ходу! Ходу сбавляй!» — чтоб не смыло ее с бревен.

Все суровой смотрит на реку бабушка, все ближе братан подплывает.

— Тошно мне! — охнула бабушка, и ноги у нее подломились. — Да это, больше, Кешка наш? Что это, каторжалец, плаващ на одном бревне?..

— Вож-ж-жа-а-а ло-о-опнула-а-а! — заревел Кеша. — Ловите меня-а, а то пайку утоплю-у-у-у!

Столкнули мы с берега чью-то лодку, поймали Кешу ниже села. Еле пальцы его разжали — так он крепко держал кастрюлю за дужки. Бабушка и ругалась, и смеялась, и крестилась, Кеша носом хлопал, сидя на нашей печке. Бабушка лечила его и, передавая внука «шорту» — дяде Ване, наказывала, чтоб он в кузне наковал скоб и сам бы делал Кеше салик, не то жиган этот пайку утопит, не ровен час, и сам решится.

Спала коренная вода на Енисее. Жалица, щавель, дикая редька, медуница, петушки и много чего выросло на лугах. Хлеб наподобие кирпичей стали печь в церкви, приспособленной под пекарню, и выдавать понемногу на каждого едока. Бабушка причитала и ругалась: изничтожение-де не только храма Божьего, но и женской половины началось. От печки баб устранили, стало быть, их на мыло переделывать надо. Зачем они? Хлеб, кирпичом который, она ши за что есть не станет, потому как он машиной вопьет да и на хлеб вовсе не похож.

— Не блажи-ко ты, не блажи, — урезонил ее дедушка, — давно ли корке были рады?

Бабушка сразу на него, конечно, безбожником, «ком-

мунистом» и аспидом называла, корила, что крестится он для блезире — перед едой, чтобы не подавиться, да перед севом и сепокосом, чтоб удача была, потому и хлеб казенный есть ему можно, ей же не пристало «скоромиться».

— Ну, не ешь! — бубнил дедушка в бороду. — Сердилась старуха три года на мир, а мир того не заметил.

Бабушка сделала вид, будто не расслышала дедушкиного ехидства, скоро, однако, и хлеб, кирпичом который, потихоньку да полегоньку пощипывать стала и незаметно к нему привыкла, оправдываясь:

— Люба пицца от Бога, а этот хлебушек в святом месте к тому же испеченный, стальть, вовсе пицца Божья...

Шарик, которого бабушка звала насмешливо ангелом-хранителем, внимательно ее слушал и со всем, как есть со всем, что она говорила, соглашался и, как бы подводя итог, стучал хвостиком: «Совершенная истина! Ну, из совершенных совершенная!..» Между Шариком и бабушкой шла постоянная, затяжная борьба, в которой победы чаще одерживал Шарик. Главная цель в жизни Шарика — пробраться в избу, вылакать у кошки молоко и помочиться на велик под рукомойником.

Когда Шарик рос, его все как попало обзывали, тискали, чесали ему пузо. Он опрокидывался вверх лапами перед каждым встречным-поперечным, и никто не мог пройти мимо Шарика, лобой и каждый чесал его сытое, пыльное пузо.

— Чтоб ты слох! — говорили Шарикe. — Экая ты падла! Экая балованная тварь!

Шарик жмурился, высовывал кончик красного языка от блаженства, потешно дрыгал задней лапой. Не думаю, чтоб Шарик понимал, что ему говорили, но одно он усвоил твердо: чем глупей, чем придурковатей себя вести, тем выгодней и лучше прожить на нынешнем свете можно.

Однако в таком селе, как наше, одной придурью не обойдешься. Нужна еще и осторожность. Она пришла к Шарикe не сразу. Тот не охотник, тот не хозяин считался у нас, кто не держал свору собак. И каких собак! Во время голода поредела банда наших псов, но как только полегчало с едой, снова во дворах забрехали собаки, снова начали они шляться по селу. Собак у нас держали только лаек, на людей лайки не бросаются, зато меж собой грызутся постоянно.

Шарика отсталые сельские псы принимали за дико-

винную зверушку и постоянно дежурили у наших ворот, чтоб скараулить эту зверушку и разорвать. В подворотне все время торчали три-четыре собачьих носа. Псы втягивали воздух, рычали, скалились. Шарик, миролюбиво подергивая хвостиком, подползал на брюхе к воротам, чтобы поиметь знакомство и войти в собачью семью добрым другом и товарищем.

Добром это кончиться не могло. Однажды за нашими воротами поднялся страшный вой, визг, лай.

— Тошно мне! — закричала бабушка и помчалась из дому. — Шарика вертят! Шарика вертят!.. Цыть! Язвило бы вас! Цыть! Волки ободранные!..

Принесли Шарика из-за ворот на руках, почти бездыханного, слабо постанывающего. Бабушка облепила бедолагу опарой, листьями подорожника, завернула его в старую шубу. Несколько дней Шарик лежал на печи, больной и тихий.

— Я ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала? — выговаривала бабушка Шарикю. — Не лезь за ворота, не лезь! Так-то ты меня послушал? Так-то ты моему наказу внял?

Шарик слабенько колотил хвостом, что, дескать, поделаешь, промашка вышла. Хотел по-доброму в коллектив войти, вон люди и те в колхоз объединяются...

Вот тогда-то, во время болезни, донельзя изнеженный Шарик повадился есть у кошки молоко и ходить на веник. Уж как ни стерегла, как ни караулила бабушка Шарика, он все равно улавливал свой момент.

— Я те удозорю! Все едино удозорю и носом натычу! — грозилась бабушка, и, надо сказать, настойчива она была в достижении цели.

Вот Шарик вылез из-под кухонного стола, потянулся — бабушка лук-батун в окрошку режет и на пса никакого внимания. Шарик ткнулся в кошачью посудину — нет там молока, он его уж подчистил. Шарик побренчал банкой и подался к рукомойнику. Бабушка лук режет, но вся она настороже. Попохав веник, Шарик отошел от рукомойника, подумал, подумал и плюхнулся на брюхо среди кути, полежал, полежал, поднялся и снова к венику. Бабушка резко обернулась. На лице ее гнев и торжество. Шарик нюхал веник с невинной мордой. Повернувшись к бабушке, он подрыгал хвостиком: что тут такого особенного? Уж и веник не попохай!

— Ну не бес ли? Не выжига?! — бессильно упала на скамейку бабушка.

Шарик смело протянул бабушке лапу.

— А подь ты к лешему? — оттолкнула она баловня. — Ловок ты, ловок! Да и я, брат, не лопоуха! Я все едино тебя удозорю и натычу, натычу!..

Шарик полон внимания. Он слушал и в то же время поглядывал на жестяную банку — плеснула бы, дескать, молочишка, чем попусту болтать.

— Да на уж, облизень!

Через какое-то время дверь избы распахнулась настезь — это Шарик, разбежавшись, навалился на нее и был таков!

— Напрудил ведь! Напрудил! — простонала бабушка, глянув под ракумойку. И начинался поиск — под навесом, в амбаре, в стайке, под крыльцом. У бабушки в руке хворостина. Бабушка переполнена возмущением через край, но, смиряя себя, звала нежно, воркующе:

— Шаря, Шаря! Иди-ко, миленький, иди-ко, я те молочка дам, молочка-а-а-а!

Шарик ни мур-мур. Шарик сквозь землю провалился.

— Тьфу! — плюнула бабушка и отбросила хворостину. — Лучше домой не являйся, нечистый дух!

Шарик объявлялся в ту пору, когда бабушка уж поостынет и гнев ее пойдет на убыль. Шарик вежливо скребется лапой в дверь, попискивает:

— Не пуцу я тебя, супостата, в избу! Не пуцу! — Шарик затих, успокоился. Ему главное сейчас — слышать голос, почуять, до какой степени еще раскален человек.

Управившись с делами, бабушка брала батог — для обороны и следовала по селу, проведать своих многочисленных родичей, нужно где чего указать, где в дела вмешаться, кого похвалить, кого побранить. В одном доме промолчат, в другом огрызнутся, в третьем, глядишь, и отпущат бабушку, генералом обзовут. Часто прибывала она с причитаниями домой, клялась, что ноги ее не будет до скончания века в таком-то и таком-то дому, у таких-то и таких-то дочерей и зятьев.

— Отгостевала! — бурчал дедушка.

Следом за бабушкой из дома в дом таскался Шарик. Следом за ним крались деревенские псы, храпели издали, пугая Шарика. Но бабушка не давала своего ангела-хранителя в обиду. Если какой отчаянный пес и выкатывался

из подворотни и, невзирая на батог, сшибал Шарика на землю, бабушка хватала его в беремья.

Были живы и не затухли в Шарике охотничьи страсти. Он все время пытался подобраться к курицам и, хотя не изловил ни одной, поползповения свои не оставлял. Когда появились во дворе цыплята, у бабушки возник новый участок борьбы.

Длинный легкий вечер. Двери избы распахнуты, окна в горнице открыты. Дед, как всегда, что-то мастерил под навесом. Бабушка молилась, стоя на коленях перед иконостасом в горнице. Я видел сквозь листья герани и завесы красных сережек, как голова ее то возникала за цветками, то опускалась ниже окна.

— Мира Заступница, Мати всенежная, я пред Тобою, грешница, мраком одетая. Ты меня благодатью покрой, если постигнет скорбь и страдание... — Все чаще и чаще мелькала бабушкина голова в окне, слышно было, как она бухалась лбом об пол и голос ее уже на слезе. Мне казалось, бабушка знала, что дед слышал ее, и потому она прибавляла прыти в молитве, чтоб пронять его, доказать, какая она усердная в веровании, а он — грешник, но она по доброте своей и его грехи замолит. — Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющимся на тя. Да не погибнем мы, да избавимся от бед, ты бо еси спасение... Ша-а-рик, падиша такая! Я вот тебс! — Забрэнчала бабушка в раму. Продолжая молиться, она торопливо бормотала, часто в замешательстве крестилась: — Сбил ведь, сбил, нечистый дух! — Бабушка шевелила губами, вспоминая молитву, и вот громко, обрадованно повела дальше, перескакивая с пятого на десятое, толкуя молитвы на свой лад, приспособливая их к своей нужде. — И рече ему Пресвятая Богородица: Сыне Мой и Бог Мой. Человеку, который аще похощет от чистого сердца... избавлю его вечные муки огня неугасимого, червня неусыпающего, ада преисподнего. Еще человек в дому своем в чистоте содержит, то в том дому будет рабам здравие, скоту прибыток, к тому дому не прикоснется ни огонь, ни тать...

Бабушка чем дальше, тем самозабвенней колотилась лбом об пол. При этом она одним глазом смотрела слезно на Мати Божию, другим сурово следила за Шариком, который полз меж срубом подвала и заплотом к цыпушкам, укрывшимся в жалице вместе с курицей-паруньей. Как только Шарик приближался, курица топоричилась, клох-

тала, дергаясь головой, и, взъерошенная, с индюшку почти сделавшаяся, налетала на Шарика, и он задавал стрекача.

Шарик устраивал спектакль, — не давал бабушке молиться. Он не мог долго быть без нее, выманивал бабушку на улицу. Не выдержав испытания, бабушка выскакивала на крыльцо, воздевала руки к небу, ругала подлую псину распоследними словами, топала ногою, плевалась. Шарик полз к ней на брюхе, колотил хвостом по земле: виноват, виноват, но ничего с собой поделатъ не могу...

И если эта история, так горько и печально начавшаяся, заканчивается по-другому, в том повинен тоже Шарик — лукавая, глупая и преданная собака.

МАЛЬЧИК В БЕЛОЙ РУБАХЕ

В том же тридцать третьем году случилась в нашей родне страшная и непоправимая беда.

Второе подряд лето выдалось засушливое. Рано вызорились, начали переспевать и осыпаться хлеба. Население села почти поголовно переселилось на заимки — убирать не везде убитую зноем рожь, поджаристую, низкорослую пшеницу с остистым колосом, уцелевшую в логах и низинах.

Улицы села обезлюдели. По ним беспризорно бродили мослатые телята, сипло блажили ссохшимися глотками плохо продоенные детишками и старухами коровы, которые шибко маялись тем летом и мало давали молока. В жару разводится много ос, тварь эту коровы сжевывают вместе с травой, и которую не дожуют, та шибко кусает кишки и брюшину, пока не сдохнет, корова дичает, дергается, перестает есть, теряет молоко. Бабушка стругала в пойло луковки борца, кормила корову с заслонки, чтоб «заслонить» от худого глаза и хворей. Вяло пурхались в пыли несколько куриц возле нашего двора. Шарик вырос и стал себя вести беспокойно, ночами за околицей выли одичавшие собаки, он подвывал им, порой переходя на горькое рыдание, — сердце рвало, вот как он рыдал, накликаая, по мнению бабушки, неминуемую беду.

И пакликал.

Верстах в шести от села, на Фокинском улусе, страдала тетка Апроня, оставив дома ребятишек: Саньку, Ванюху и Петеньку. Саньке весною пошел седьмой год, у

Ванюхи на исходе шестой, Петеньке и четырех еще не минуло.

Вот эта-то компания, задичавшая без взрослого призора и стосковавшаяся по родителям, решила податься на пашню к матери. У мужчин такого возраста колебаний, как известно, не бывает, и коли они что замыслили, то уж непременно и осуществят.

Каким образом шла тройца парней, где сил набралась и бесстрашия — объяснить трудно. Может, и впрямь Всевышний ей пособил добраться до места, но скорее всего — смекалка деревенских детей, сызмальства привыкших жить своим трудом и догадливостью.

На пути мальчишки преодолели горную речку, пусть и мелкую, но с завалами; затем — таежную седловину с камешными останцами и горбатынами, пока скатились по обвальному спуску в ущелье, где нет воды, но допона раскаленного острого камешника, принесенного потоками во время вешневодья, миновали раскаленное ущелье, уморившее в камнях траву и все живое, кроме змей и ящерок. Ниточка дороги, разматываясь, привела их на убранные покосы, затем — в пыльные, проплешисто желтевшие овсы.

Долго еще оборачивались ребятишки назад, на тайгу, на ущелье, радуясь тому, что выбрались они на свет, и хотя их мучил зной, идти сделалось веселей. И они добрались-таки до займки, попили студеной водицы, заботливо охлопали пыль с головы и с рубахи младшего братишки, присели отдышаться в холодке, под навесом, крытым чапыжником и соломой, да и задремали.

Очень устали Санька и Ванюха — поочередно несли в гору Петеньку на закукорках. А он такой тяжелый — долго грудь тянул, вот и набузовался пузан молочком-то мамкиным. Ближе к займке, когда Петенька начал садиться в пыль и хныкать, отказываясь следовать дальше, мальчишки увлекали его разными штуковинами, виднеющимися впереди: то суслика показывали, попилом стоявшего у норы, то пустельгу, парящую над сухо шелестящим лугом, то дымящуюся в скалистом провале чистоводную Ману, в которой сколько хочешь холодной-прехолодной, сладкой-пресладкой воды, и надо только ноги быстрее переставлять, как сей же момент окажешься на берегу, попьешь и побрызгаешься.

Но настала пора, когда ребенок совсем выбился из сил и никакие уговоры и заманивания на него не дей-

ствовали. Он плюхнулся на дорогу решительно и молча. И тогда смекалистые парнишки употребили последнее средство: они показывали ему на желто скатывающуюся с крутого косолюбка полосу, где виднелись работающие люди: «Мама там. Она теплою шанежку и шкалик молочка Петеньке припасла».

Петенька сразу этому поверил, слотнул слюну, подпоясавшись, дал братьям руки и, с трудом переставляя разбитые ноги, двинулся к Фокинскому улусу.

Забыли братья обманную уловку, а Петенька помнил и про маму, и про шанежку, и про шкалик с молоком, и, когда братья сморенно заснули под навесом, он вышел за ворота заимки, подрубив ладошкой ослепляющий свет закатывающегося к вечеру солнца, высмотрел желтую полосу и потащился туда. Там и на самом деле жала рожь и вязала снопы его мать.

Не ведала, не знала она, что явились самовольно на заимку ее сыповья-разбойники и младшенький к ней потопал. И притопал бы, да попал он в водомоину, что тяпулась вдоль дороги. В рытвине той было мягко ногам — песок в ней и мелкая галька. Чем выше поднималась водомоина, тем уже и глубже делалась она, и по подмыгтому ли, обвалившемуся закрайку, по вешнему ли желобку, пробитому снеговицей к придорожной канаве, Петенька убрел от дороги.

Не угодил он на расплеснувшуюся по горному склону полосу жита, где до звона в голове пропсценная солнцем, оглохшая от усталости хруско резала серпом ржаные стебли его мать, в узелке под кустиком хранилась припасенная Петеньке картовная шанежка и кринка пахучей лесной клубники, утром по росе набранной.

Скорей бы упряг одолеть, скорей бы солнце закатилось — и жница с поля напрямки побежит в село через гору — гостинец ребятишкам принесет. То-то радости будет! Как-то они там, соловьи-разбойники? Не подожгли бы чего. В реке не утонули бы...

Обычные крестьянские думы и тревоги, укорачивающие знойный день, гасящие время, скрашивающие нудь однообразного нелегкого труда. Нет, не предсказывало материнское сердце беды. Глохнут, притупляются чувства и предчувствия у тяжело уставшего человека. Лишь праздным людям спялятся диковишные сны и мучают их сладкие, загадочные или тревожные предчувствия.

Она связала свою норму снопов, составила их в сусло-

ны и выпрямилась, растирая задубевшую поясницу, думая о том, что в дороге, глядишь, разомнется, как к речке спустится, лицо и ноги ополоснет — совсем от одури очнется...

И тут она увидела Санькину кудлатую голову в недожатках, за Санькой и Ванюха вперевалку тащился. Рубаха у него будто выкушена на брюхе, даже криво завязанный пупок видать. Старшенького Мухой кличут — легкий он, жужливый, непоседливый. Ванюха воловат, добр, песни петь любит, но как разозлится — почернеет весь, ногами топает, руку себе кусает. Быком его дразнят. У младшенького нет пока ни характера, ни прозвища. У него еще и хрящик-то не везде окостенился. Он и грудь-то материнскую вот только-только перед страдой мусолить перестал...

— Парни-то мои идут! Ножонками чапают! Муха-то моя жужжит, ягоду медову ищет. Бычок мычит — молочка хочет! — запела мать, встречая сыновей и на ходу выдавливая им носы, смахивала пыль со щек, рубашонки застегивала, узелок свой разобрала: шанежку разломала, по кусочку ребятам сугула, ягод в потные ладошки сыпанула — ешьте, милые, питайтесь, славные. Как там малый-то наш, несмышлениш-то, без матери живет-поживает?

— А он к тебе ушел...

Много дней кружила мать вокруг полей, кричала, пока не обезголосила и не свалилась без сил наземь. Колхозная бригада рыскала по всем окрестным лесам. После всем селом искали Петеньку, но и лоскутка от рубахи мальчика не нашли, капельку крови пигде не увидели.

— Взял его, невинного и светлого, к себе во слуги-ангелы Господь Бог, — заверяли падкие на суеверия и жуткую небылицу старухи.

Тетка моя, потрясенная горем, заподозрила в худом соседей, якобы имевших на нее «зуб», вышел-де песмышлениш-парнишопка на покос, там собаки соседские, и бросился он от них бежать. А от охотничьих собак бегать нельзя. Разорвали они мальчика. Вот соседи-то шито-крыто и сделали; под зарод, который метали в те поры, ребенка положили, зимою, когда сено вывезли, в снег его перепрятали, и там уж его зверушки доточили.

Но мужики прежде, задолго до жатвы, к Ильину дню, ставили сена на место, и не могли соседи быть в лугах, да и лайки сибирские — разумные собаки, пикогда на лю-

дей, тем более на детей, не бросаются, разве что бешеные.

Внуков вынянчила моя тетка от Саньки и Ванюхи: много повидала она за свою нелегкую жизнь, близких людей сколько теряла и хоронила — не счесть; двух мужей, отца, мать, сестер, братьев и малых детей приходилось провожать на тот свет. Однако поминает она их редко, оплачет, как положено, в родительский день на кладбище и успокоится. Оплаканы, преданы земле люди — значит, душа их успокоена, на своем вечном она месте.

Но где же, в каких лесах, в каких неведомых пространствах беспризорно бродит неприютная детская душа?..

Сорок с лишним лет минуло, но все слышит мать ночами легкие босые шажки, протягивает руки, зовет, зовет и не может дозваться маленького сына, и сон ее кончается всегда одинаково: ввысь, по горной дороге, меж замерших хлебов, осиянный солнечным светом, уходит от нее маленький мальчик в белой рубахе...

ОСЕННИЕ ГРУСТИ И РАДОСТИ

На исходе осени, когда голы уже леса, а горы по ту и другую сторону Енисея кажутся выше, громадней, и сам Енисей, в сентябре еще высветлившийся до донного камешника, со дна же возьмется сонною водой, и по пустым огородам проступит изморозь, в нашем селе наступают короткая, но бурная пора, пора рубки капусты.

Заготовка капусты на долгую сибирскую зиму, на большие чалдонские семьи — дело основательное, требующее ежегодной подготовки, потому и рассказ о рубке капусты поведу я основательно, издавелека.

Картошка на огородах выкопана, обсушена и ссыпана на еду — в подполье, на семена и продажу — в подвал. Морковь, брюква, свекла тоже вырезаны, даже редьки, тупыми рылами прорывшие обочины гряд, выдернуты, и пегие, дородные их тела покоятся в сумерках подвала поверх всякой другой овощи. Про овощ эту говорят в народе все как-то с насмешкой: «Чем бес не шутит, ныне и редька в торгу! В пост — редьки хвост!» Но вот обойтись без нее не могут, особенно после гулянок и при болезнях, когда требуется крепить дух и силу.

Хлеб убран, овощи при месте, ботва свалена в кучи, семя намято, путанные плети гороха и сизые кусты бобов с черными, ровно обуглившимися стручками брошены возле крыльца — для обтирки ног.

Возишь по свитым нитям гороха обувкой и невольно прощупываешь глазами желтый, в мочалку превращенный ворох, вдруг узрешь стручок, сморщенный, белый, с

затвердевшими горошинами, и дрогнет, сожмется сердце. Вытрешь стручок о штаны, разберешь его и с грустью высыплешь ядрышки в рот и, пока их жуешь, вспоминаешь, как совсем недавно пасся в огороде на горохе, подпертом палками, и как вместе с тобою пчелы и шмели обследовали часто развешанные по стеблям сиреневые и белые цветочки, и как Шарик, всеядная собака, шнырял в гороховых зарослях, зубами откусывал и, смачно чавкая, уминал сахаристые гороховые плюшки.

Теперь Шарика на грязный, заброшенный огород и калачом не заманишь. Одна капуста на огороде осталась, развалила по грядкам зеленую свою одежду. В пазухи вилок, меж листьев налило дождя и росы, а капуста уж так опилась, такие вилки закрутила, что больше ей ничего не хочется. В светлых брызгах, в лености и довольстве, не страшась малых заморозков, ждет она своего часа, ради которого люди из двух синеватых листочков рассады выхолили се, отпоили водою.

Среди огорода стоит корова и не то дремлет, не то длинно думает, тужась понять, почему люди так изменчивы в обращении с нею. Совсем еще недавно, стоило ей попасть в огород, они, как врага-чужеземца, гнали ее вон и лупили чем попало по хребту, ныне распахнули ворота — ходи сколько хочешь, питайся.

Она сперва ходила, бегала даже, задравши хвост, ободрала два вилка капусты, съела зеленую траву под черемухой, пожевала вехотку в предбаннике, затем остановилась и не знает, что дальше делать. От тоски, от озадаченности ли корова вдруг заушает, заблажит, и со всех огородов, из-за конопляных и крапивных меж ей откликнутся такие же, разведенные с коллективом, недоумевающие коровы.

Куры тоже днем с амбара в огород слетают, ходят по бороздам, лениво клюют и ворошат давно выполотую траву, но больше сидят, растолпорщившись, с досадою взирают на молодых петушков, которые пыжата, привстают на цыпочки, пробуют голоса, да получается-то у них срамота, но не милая куриному сердцу, атаманская песня задиры петуха.

В такую вот унылую, осеннюю пору пробудился я утром от гуда, грома, шипения и поначалу ничего разобрать и увидеть не мог — по избе клубился пар, в кути, будто черти в преисподней, с раскаленными камнями метались человеки.

Поначалу мне даже и жутко сделалось. Я за трубу спросонья полез. Но тут же вспомнил, что на дворе поздняя осень и настало время бочки и кадушки выбучивать. Капусту солить скоро будут! Красота!

Скатился с печки и в куть.

— Баб, а баб... — гонялся за угорелой, потной бабушкой. — Баб, а баб?..

— Отвяжись! Видишь — не до тебя! И каку ты язву по мокрому полу шлендаешь? Опеть издыхать начнешь? Марш на печку!..

— Я только спросить хотел, когда убирать вилки. Ладно уж, жалко уж...

Я взобрался на печь. Под потолком душно и парко. Лицо обволакивало сыростью — дышать трудно. Бабушка мимоходом сунула мне на печь ломоть хлеба, кружку молока.

— Ешь и выметайся, — скомандовала она. — Капусту завтра убирать, благословесь, начнем.

В два жевка съел горбушку, в три глотка молоко выпил, сапожишки на ноги, шапчонку на голову, пальтишко в беремя и долой из дому. По куте пробирался ощупью. Везде тут кадки, бочонки, ушаты, накрытые половиками. В них отдаленно, рокотно гремит и бурлит. Горячие камни брошены в воду, запертые стихии бушуют в бочках. Тянет из них смородинником, вереском, травую мятой и баннным жаром.

— Кто там дверь расхабарил? — крикнула бабушка от печки.

В устье печки пошевеливалось, ворочалось пламя, бросая на лицо бабушки багровые отблески.

На улице я аж захлебнулся воздухом. Стоя на крыльце, отпыхиваясь, рубаху тряс, чтоб холодком потную спину обдало. Под навесом дедушка в старых бахилах стоял у точила и одной рукой крутил колесо, другой острил топор. Неловко так — крутить и точить. Это ж первейшая мальчишеская обязанность — крутить точило!

Я поспешил под навес, дед без разговоров передал мне железную кривую ручку. Сначала крутил я бойко, аж брызгала из-под камня точила рыжая вода. Но скоро пыл мой ослабел, все чаще менял я руку и с неудовольствием замечал — точить сегодня много есть чего: штук пять железных сечек да еще ножи для резки капусты, и, конечно, дед не упустит случая и непременно подправит все топоры. Я уж каялся, что высунулся крутить точило, и надеял-

ся тайно на аварию с точилом или какое другое избавление от этой изнурительной работы.

Когда сил моих осталось совсем мало и пар от меня начал идти, и не я уж точило крутил, точило меня крутило, звякнула щеколда об железный зуб и во дворе появилась Санька. Ну прямо как Бог или бес этот Санька! Всегда появляется в тот миг, когда нужно меня выручить или погубить.

Насколько возможно, я бодро улыбался и ждал, чтоб он поскорее попросил ручку точила. Но Санька ж великая язва! Он сначала поздоровался с дедом, потолковал с ним о том о сем, как с ровней, и только после того как дед кивнул в мою сторону и буркнул: «Подмени работника», Санька небрежно перехватил у меня ручку, играючи, завертел ее, закрутилось, завертелось, зашипело точило, начало выхлестывать воду из корытца, дед приподнял топор:

— Полегче, полегче! Жало вывожу.

Я сидел на чурбаке. Мне все это немножко обидно было видеть и слышать.

— А мы скоро капусту рубить будем.

— Знаю. Катерина Петровна и наши бочки вышаривает. Мы помогать званы.

Да, конечно, Саньку ничем не удивишь. Санька в курсе всех наших хозяйственных дел и готов трудиться где угодно, с кем угодно, только чтоб в школу не ходить. Ему неуды за поведение ставят и записки учитель домой пишет. Прочитавши записку, тетка Васеня беспомощно хлопала глазами, потом гонялась с железной клюкой за Санькой. Дядя Левонтий, если трезвый, показывал сыну руки в очугунелых мозолях, пытался своим жизненным примером убедить сына, как тяжело приходится добывать хлеб малограмотному человеку. Пьяный же дядя Левонтий неизменно спрашивал таблицу умножения у Саньки:

— Матрос! Братишка! — поднимал он палец, настраиваясь лицом на серьезное учительское выражение. — Сколько будет пятью пять? — и тут же сам себе с нескрываемым удовольствием отвечал: — Тридцать пять!

И бесполезно доказывать дяде Левонтию, что не прав он, что пятью пять совсем не тридцать пять. Дядя Левонтий обижался на какие-либо поправки, принимался убеждать, что он человек положительный, трудовой, моряком был, в разные земли хаживал и захудал маленько сейчас вот только. Но прежде с ним капитан парохода за ручку

здоровался, и какой-то большой человек часы ему со звоном на премию выдал, за исправную службу. Правда, потом с парохода его списали, и часы он с горя пропил, но все равно не переставал гордиться собою.

Санька меж тем потихоньку уматывал из дому. Дядя Левонтий с претензиями к тетке Васене повертывался — неправильно воспитывает детей, нет порядку на корабле! Васеня ж с претензией обратной; и пока шумели друг на дружку муж с женою, то уж окончательно забывали, с чего все возмущение вышло, и воспитание Саньки на этом заканчивалось.

Кого почитал и побаивался Санька в селе, так это моего дедушку, без которого он и дня прожить не мог. Санька всякую работу исполнял так, чтобы дедушка одобрительно кивнул или хоть взглянул на него, тогда он гору мог своротить, чтоб только деду моему потрафить.

И когда мы начали убирать капусту, Санька такие мешки на себе таскал, что дед не выдержал, укорил бабушку: — Ровно на коня валишь! Робенок все же!

Слово «робенок» по отношению к Саньке звучало убедительно как-то, бабушка, конечно же, дала деду ответ в том духе, что своих детей он сроду не жалел, чужие всегда ему были милее, и что каторжанца этого и жигана, Саньку, он балует больше, чем родного внука — меня, значит, — но вилок в мешок бросала поменьше. Санька потребовал добавить ношу, бабушка покосилась в сторону деда:

— Надсадишься! Робенок все же...

— Ништя-а-ак! Наваливай, не разговаривай! — Нетерпеливо перебирая ногами, Санька жевал с крепким хрустом белую кочерыжку. Бабушка добавила ему вилок-другой и подтолкнула в спину:

— Ступай, ступай! Будет.

Санька игогокнул, взглянул и помчался с огорода во двор. На крыльцо он взлетел рысачком и, раскатившись в сенках, с грохотом вывалил вилки. Я мчался следом за ним с двумя вилками под мышками, и мне тоже было весело. Шарик катился за нами следом, гавкал, хватал за штаны зубами, курицы с кудахтаньем разлетались по сторонам.

Последние вилки вырубали уже за полдень и бросали их в предбанник. Бабушка убежала собирать на стол, мужики присели на травянистую завалинку бани отдохнуть и услышали в небе гусиный переклик. Все разом подняли

головой и молча проводили глазами ниточку, наискось прошившую небо над Енисеем. Гуси летели высоко над горами, и мне почему-то чудилось, что вижу я их во сне, и, как будто во сне же, все невнятной, все мягче становился отдаляющийся гусиный клик, ниточка тоньшала, пока вовсе не истлела в красной, ветреную погоду предвещавшей заре.

От прощального ли клика гусей, оттого ли, что с огорода была убрана последняя овощь, от ранних ли огней, затлевших в окнах близких изб, от коровьего ли мыка, сделалось печально на душе. Санька с дедом тоже погрустнели. Дед докурил сигарку, смял ее бахилом, вздохнул виновато, как будто прощался не с отслужившим службу огородом, а покидал живого приболевшего друга: огород весь был зябкий, взъерошенный, в лоскутках капустного листа, с редкими кучами картофельной ботвы, с обнаженными, растрепанными кустами осота и ястребинника, с прозористыми, смятыми межами, с сиротски чернеющей черемухой.

— Ну вот, скоро и зима, — тихо сказал дед, когда мы вышли из огорода, пустынно темнеющего среди прясел. Он плотно закрыл створку ворот и замотал на деревянном штыре веревку. Забылся дед — нам ведь еще из предбанника вилки капусты брать, пускать корову пасти на объедках, она часами будет стоять недвижно среди захлавленной земли и время от времени орать на всю деревню — тоскуя по зеленым лугам, по крепко сбитому рогатому табуну.

Утром я убежал в школу, с трудом дождался конца уроков и помчался домой. Я знал, что в нашем доме сейчас делается, что полна горница вольной вольницы, мне там быть позарез необходимо.

Еще с улицы услышал я стук сечек, звон пестика о чугунную ступу и песню собравшихся на помощь женщин:

Злые люди, ненавистные
Да хочут с милым
ра-а-азлучи-ить...

Ведет голос тонкий, звонкий — аж в ушах сверлит. И вдруг словно обвал с горы:

Э-эх, из-за денег, из-за ревности
Брошу милова-а-а любви-и-ить...

Никакая помощь без выпивки не бывает. Оттого и поют

так слаженно и громко женщины — дернули по маленькой, чтобы радостней трудилось и пелось.

В два прыжка вымахнул я на крыльцо, распахнул дверь в куть. Батюшки-светы, что тут делается! Народу полна изба! Стукоток стоит невообразимый! Бабушка и женщины постарее мнут капусту руками на длинном кухонном столе. Скрипит капуста, будто перемерзлый снег под сапогами. Руки у этих женщин до локтей в капустном крошеве, в красном свекольном соку. На столе горкой лежат тугие белые пласты, здесь же морковка, нарезанная тонкими кружочками, и свекла палочками. Под столом, под лавками, возле печи навалом капуста. На полу столько кочерыжек и листа, что и половиц не видно: возле дверей уже стоит высокая капустная кадка, прикрытая кружком, задавленная огромными камнями, из-под кружка выступил мутный свекольный сок. В нем плавают семечки аниса и укропа — бабушка чуть-чуть добавляет того и другого — для запаха.

Вязко сделалось во рту.

Я вознамерился хватануть щепотку капусты из кадки, да увидел меня Санька, поманил к себе. Он находился не среди ребятни, которая, я знаю, ходит сейчас на головах в средней и в горнице. Он среди женщин. Взгляд Саньки солов. Видать, подали Саньке маленькую женщины, или он возбуждился от общего веселья. Колотит Санька пестиком так, что ступа колоколом звенит на весь дом, разлетаются из нее камешки соли.

Вигька-титька — королек,
Съел у бабушки пирог!
Бабушка ругается,
Вигька отпирается!.. —

подыгрывая себе пестиком, грянул Санька.

Я так спешил домой, так возгорелся заранее той радостью, которая, я знал, была сегодня в нашей избе, а тут меня окатили песней этой насчет пирога, который я и в самом деле как-то унес и с этим же Санькой-живоглотом разделил. Но когда это было! Я уж давно раскаялся в содеянном, искупил вину. Но нет мне покоя от песни клятой ни зимой, ни летом. Хотел я повернуться и уйти, но бабушка вытерла руки о передник, погрозила Саньке пальцем, тетка Васеня смазала Саньку по ершистой макушке — и все обошлось.

Бабушка провела меня в среднюю, сдвинула на угол

стола пустые тарелки, рюмки, дала поесть, затем вынула из-под лавки бутылку с вином, на ходу начала наливать в рюмку и протяжно, певуче приговаривать:

— А ну, бабоньки, а ну, подруженьки! Людям чтоб тыш да помеха, нам чтоб смех да потеха!

Одна сечка перестала стучать, другая, третья.

— Штабы кисла, не перекисла, штабы на зубе хрустела!

— Штабы капуста была не пуста, штабы, как эта рюмочка, сама летела в уста!

— Мужикику моему она штабы костью в горле застревала, а у меня завсегда живьем катилась!.. — ухарски крикнула тетка Апроня, опрокинула рюмку и утерлась рукавом.

Бабы грохнули, и каждая из них, выпив рюмочку, сказала про своего мужика такое, чего в другой раз не только сказать, но и помыслить не посмела б.

Мужикам в эту избу доступа сегодня не было и быть не могло. Проник было дядя Левонтий под тем видом, что не может найти нужную позарез вещь в своем доме, но женщины так зашумели, с таким удалством поперли на него, замахиваясь сечками и ножиками, что он быстренько, с криком: «Сдурели, стервы!» — выкатился вон. Однако бабушка моя, необыкновенно добрая в этот день, вынесла ему рюмашку водки на улицу, и он со двора крикнул треснутым басом:

— Э-эй, пал-лундр-ра! Пущай капуста такая же скусная будет.

Я наскоро пообедал и тоже включился в работу. Орудовал деревянной толкушкой, утрамбовывал в бочонке парубленную капусту, обдирал зеленые листья с вилок, толок соль в ступе попеременно с Санькой, скользил на мокрых листьях, подпевал хору. Не удержав порыву, сам затянул выученную в школе песню:

Распустила Дуня косы,
А за нею все матросы!
Эх, Дуня, Дуня, Дуня, я,
Дуля — ягодка моя!

— Тошно мне! — всплеснула бабушка руками. — Работник-то у меня чё выучил, а? Ну грамотей, ну грамотей! Я от похвалы возликовал и горланил громче прежнего:

Нам свобода ниночем!
Мы в окошко кирпичом!

Эх, Дуня, Дуня, Дуня, я,
Дуня — ягодка моя!..

Меж тем в избе легко, как будто даже и шутейно, шла работа. Женщины, сидя в ряд, рубили капусту в длинных корытах, и, выбившись из лада, секанув по деревянному борту, та или иная из рубщиц заявляла с громким, наигранным ужасом:

— Тошно мне! Вот так уработалась! Ты больше не подавай мне, тетка Катерина!

— И мне хватит! А то я на листья свалюсь!

— И мне!

— Много ль нам надо, бабам, битым, топтаным да изработанным...

— Эй, подружки, на печаль не сворачивай! — вмешивалась бабушка в разговор. — Печали наши до гроба с нами дойдут, от могилы в сторону увильнут и ко другим бабам прилипнут. Давайте еще споем. Пуцдай не слышно будет, как воем, а слышно, как поем. Гуска, заводи!

И снова вонзился в сырое, пропитанное рассолом и запахом вина, избытое пространство звонкий голос тетки Августы, и все бабы с какой-то забубенностью, отчаянием, со слезливой растроганностью подхватывали протяжные песни.

Вместе со всеми пела и бабушка, и в то же время обмакивала плотно спрессовавшиеся половинки вилок в соленую воду, укладывала их в бочку — толково, с расчетливостью, затем наваливала слой мятого, отпотевшего крошева капусты — эту работу она делала всегда сама, никому ее не передоверяла, и, приходя потом пробовать к нам капусту, женщины восхищались бабушкиным мастерством:

— А будь ты неладна! Слово како знаешь, Петровна? Ну чисто сахар!..

Взволнованная похвалой, бабушка отвечала на это с оттенком скромной гордости:

— В любом деле не слово, а руки всему голова. Рук жалеть не надо. Руки, они всему вкус и вид делают. Болят ночами рученьки мои, потому как не жалела я их никогда...

К вечеру работа затихала. Один по одному вылезали из горницы и из средней ребятишки. Объевшиеся сладких кочерыжек, они сплошь мучились животами, хныкали, просились домой. Досадливо собираясь, женщины хло-

пали их и желали, чтоб поскорее они вовсе попропадали, что нет от них, окаянных, ни житья, ни покоя, и с сожалением покидали дом, где царили весь, такой редкий в их жизни день, где труд был не в труд, в удовольствие и праздник.

— Благодарствуем, Катерина Петровна, за угощение, за приятну беседу. Просим к нам бывать! — кланялись женщины. Бабушка, в свою очередь, благодарила подружек за помощь и обещала быть, где и когда потребуется делу.

В сумерках выгребли из кухни лист, кочерыжки, капустные отходы. На скорую руку тетки мыли полы в избе, бросали половики и, только работа завершилась, с заимки, где еще оставался наш покос, вернулись дедушка и Кольча-младший. Они там тоже все убрали и подготовили к зиме.

Бабушка собрала на стол, налила дедушке и Кольче-младшему по рюмочке водки, как бы ненароком оставшейся в бутылке.

Все ужинали молча, устало.

Мужики интересовались, как с капустой? Управились ли? Бабушка отвечала, что, слава Тебе, Господи, управились, что капуста ноне уродилась соковитая, все как будто хорошо, но вот только соль ей не глянется, серая какая-то, несокая и кабы она все дело не испортила. Ее успокаивали, вспоминая, что в девятнадцатом или в двадцатом году соль уж вовсе никудышной была, однако ж капуста все равно удалась и шибко выручила тогда семью.

После ужина дед и Кольча-младший курили. Бабушка толковала им насчет погреба, в котором надо подремонтировать сусеки. Утомленно, до слез зевая, наказывала она Кольче-младшему, чтобы он долго на вечерке не был, не шлялся бы до петухов со своей Нюрой-гуленой, потому как работы во дворе невпроворот, и не выспится он опять. И, конечно же, добавляла еще кой-чего про Нюрку, которая то у нас жила, то убегала ко своим, не выдержав бабушкиного угнетения и надзора.

Кольча-младший согласно слушал ее, однако ж и он, и бабушка доподлинно знали, что слова эти напрасны и не вонмет им никто.

Кольча-младший уходил из избы и еще на крыльце запевал что-то беззаботное, отстраненное, ровно на пороге отряхнул с себя, как дерево осенние листья, все бабушкины наказы.

— Эй, Мишка! Ты скоро там? — звал он за воротами. Безродный Мишка Коршуков, призретеный теткой Авдотьей и определившийся на временное жительство в ее доме, озоровато бросал: «Шшас! Гармошку починю, надиколонюсь, тетке Авдотье дров наколю, девок ее ремнем напорю, Тришихе окна перебыю...»

Мишка Коршуков с Кольчей-младшим дерзко кричали под деревенскими окнами солоноватую частушку. Вслед парням, в украдкой раздвинутые занавески, смотрели завистливым оком тетки Авдотьины девки, которых она хотя и строго держит, однако часто удержать не может — сбегают они на мост, на вечерки. Тогда тетка Авдотья стремительно мчит по деревенским улицам, выглядывает их в укромных углах и тащит за волосы домой, срамя на весь белый свет, обзывая своих гулен распоследними словами.

Бабушка хукнула в стекло лампы и в темноте шептала, слушая тайно свершающуюся за окошком жизнь:

— Вот ведь сикухи! Вот ведь волосотряски! Нискоко мать не слушают! Не-е, мои девки ране... — Но не все, видать, и у ее девок было в ладу, таскала и она их за волосы, сколь мне известно. Перевернувшись на другой бок, бабушка и рассуждения распочинала с другого бока: — Парни раздерутся опять! И эта, ни жена, ни невеста советская! Нет штабы дома посидеть, починяться, — на вечерку прибежит! Хоть бы Кольчу не подкололи. Народец-то ноне... Господи, оборони.

Ворочается, вздыхает, бормочет, молится бабушка, и мне приходит в голову — она ведь не об одном Кольче-младшем так вот беспокоилась. Те дядья мои и тетки, которые определились и живут самостоятельно, так же гуляли когда-то ночами, и так же вот ворочалась, думала о них и молилась бабушка. Какое же должно быть здоровое, какое большое сердце, коли обо всех оно, и обо мне тоже, болело, болит...

— Ах, рученьки мои, рученьки! — тихо причитала бабушка. — И куда же мне вас положить? И чем же мне вас натереть?

— Баб, а баб? Давай нашатырным спиртом? — Я терпеть не могу нашатырный спирт — он щиплет глаза, дерет в носу, но ради бабушки готов стерпеть все.

— Ты еще не угомонился? Спи давай. Без соплей мокро. Фершал нашелся!..

Ставни сделали избу глухой, отгородили ее от мира и

света. Из кути тянет закисающей капустой, слышно, как она там начинает пузыриться, как с кряхтением оседают кружки, придавленные гнетом.

Тикали ходики. Бабушка умолкла, перестала метаться на кровати, нашла место ноющим рукам, уложила их хорошо.

С первым утренним проблеском в щелях ставней она снова на ногах, управляетя по дому, затем спешит на помочь, и теперь уже в другой избе разгорается сыр-бор, стучат сечки, взвиваются песни, за другие сараи бегают ребятишки, обьевшиися капусты и кочерыжек. Целую неделю, иногда и две по всему селу рассыпался стукоток сечек, шмыгали из потребиловки женщины, пряча под полущалками шкалики, мужики, вытесненные из изб, толклись у гумна или подле покинутой мангазины, курили свежий табак, зачерпнув щепотку друг у дружки из кисетов, солидно толковали о молотье, о промысле белки, о санной дороге, что вот-вот должна наступить, какие виды и слухи насчет базара и базарных цен в городе.

Зима совершенно незаметно приходила в село под стук сечек, под дружные и протяжные женские песни. Пока женщины и ребятишки переходили из избы в избу, пока рубили капусту, намерзали на Енисее забереги; в огородные борозды крупы и снежку насыпало: на реке густела шута; у Караульного быка появлялся белый подбой, ниже которого темнела полынья. К этой поре и запоздалые косяки гусей пролетали наши скалистые, непригодные для гнездовий и отсидок места.

И однажды ночью неслышно выпадал снег, первый раз давали корове навильник пахучего сена, она припадала к нему, зарываясь до рогов в шуршащую охалку. Шарик катался по снегу, прыгал, гавкал, будто рехнулся.

Днем мужики выкатывали из кути бочонки и кадки с капустой, по гладким доскам спускали их в подвал. Сразу в кути делалось просторно, бабушка подтирала пол и приносила в эмалированной чашке розоватый, мокрый пласт капусты. Она разрезала его ножиком на слоистые куски, доставала вилки, хлеб.

Но мужики пробовали капусту без хлеба.

Кольча-младший хрустко жевал минуту-другую. Я жевал. Дедушка жевал. Бабушка напряженно стояла в отдалении, терпеливо ожидала приговору.

— Ельник, березник — чем не дрова? Хрен да капуста — чем не еда? Закуска — я те дам! — заключал

Кольча-младший и, крякнув, цепляя на вилку кус побольше и хрустел вкусно, с удовольствием.

Дед говорил просто:

— Ничего. Ести можно.

Я пока еще не имел права изображать из себя хозяина и просто показывал большой палец, мол, капуста на ять.

Бабушка облегченно бросала крестики на грудь, шептала: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи! Теперь прозимует. Картошек накопили дивно — и себе, и на продажу хватит. Кольче катанки справим, самому полушубчишко бы надо. Витьке тоже чего-нито из одежки бы прикупить. Дерег, язвило бы его, пластат все...»

Весь день бабушка резво, будто молодая, сутилась по избе, наговаривала с собою, покрикивала на меня, на Шарика, даже топала ногой. Но ни Шарик, ни я даже не собирались бояться ее в такой день, легкий, славный — бабушка сердилась на нас понарошке, пугала для виду.

Долгая, стойкая зима-прибериха снегами и морозами заклинивала деревенскую жизнь. Большею частью под крышами изб, во дворах шла эта жизнь, в амбарах, стайках, и если хозяева-старатели запаслись овощью, ягодами, капустой — одолевали зиму без нужды и горя, пощелкивая кедровые орехи, говорили вечерами сказки, с крещенских трескучих морозов принимались гулять, справлять свадьбы, именины и все праздники подряд.

И в каждой избе в центре стола, как главный фрукт, красовалась в тарелке, в чашке или в глиняной латке сельская беда и выручка — квашеная капуста, то выгибаясь горбом розового пласта, то растопорщившись сочным и мокрым листом, то накрошенная сечками.

И какая уж такая сила была в той капусте — знать мне не дано, однако смолачивали ее за зиму с картошкой, во щах, пареную, жареную и просто так целые бочонки, были здоровы, зубов и бодрости не теряли до старости, работали до самой могилы за двоих, пили под капусту за троих.

ФОТОГРАФИЯ, НА КОТОРОЙ МЕНЯ НЕТ

Глухой зимою, во времена тихие, сонные нашу школу взбудоражило неслыханно важное событие.

Из города на подводе приехал фотограф!

И не просто так приехал, по делу — приехал фотографировать.

И фотографировать не стариков и старух, не деревенский люд, алчущий быть увековеченным, а нас, учащихся овсянской школы.

Фотограф прибыл за полдень, и по этому случаю занятия в школе были прерваны. Учитель и учительница — муж с женою — стали думать, где поместить фотографа на ночевку.

Сами они жили в одной половине дряхленького домишка, оставшегося от выселенцев, и был у них маленький парнишка-ревун. Бабушка моя, тайком от родителей, по слезной просьбе тетки Авдотьи, домовничавшей у наших учителей, три раза заговаривала пупок дитенку, но он все равно орал ночи напролет и, как утверждали сведущие люди, наревел пуп в луковицу величиной.

Во второй половине дома размещалась контора сплавного участка, где висел пузатый телефон, и днем в него было не докричатся, а ночью он звонил так, что труба на крыше рассыпалась, и по телефону этому можно было разговаривать. Сплавное начальство и всякий народ, спяну или просто так забредающий в контору, кричал и выражался в трубку телефона.

Такую персону, как фотограф, неподходяще было учи-

телям оставить у себя. Решили поместить его в заезжий дом, но вмещалась тетка Авдотья. Она отозвала учителя в куть и с напором, правда, конфузливый, взялась его убеждать:

— Им тама нельзя. Ямщиков пабьется полна изба. Пить начнут, луку, капусты да картошек напрутся и ночью себя некультурно вести станут. — Тетка Авдотья посчитала все эти доводы неубедительными и прибавила: — Вшней напустют...

— Что же делать?

— Я чичас! Я мигом! — Тетка Авдотья накинула полушалок и выкатилась на улицу. Фотограф был пристроен на ночь у десятника сплавконторы. Жил в нашем селе грамотный, деловой, всеми уважаемый человек Илья Иванович Чехов. Происходил он из ссыльных. Ссылными были не то его дед, не то отец. Сам он давно женился на нашей деревенской молодежи, был всем кумом, другом и советчиком по части подрядов на сплаве, лесозаготовках и выжиге извести. Фотографу, конечно же, в доме Чехова — самое подходящее место. Там его и разговором умным займут, и водочкой городской, если потребуется, угостят, и книжку почитать из шкафа достанут.

Вдохнул облегченно учитель. Ученики вздохнули. Село вздохнуло — все переживали. Всем хотелось угодить фотографу, чтобы оценил он заботу о нем и снимал бы ребят как полагается, хорошо снимал.

Весь длинный зимний вечер школьники гужом ходили по селу, гадали, кто где сядет, кто во что оденется и какие будут распорядки. Решение вопроса о распорядках выходило не в нашу с Санькой пользу. Прилежные ученики сядут впереди, средние — в середине, плохие — назад — так было порешено. Ни в ту зиму, ни во все последующие мы с Санькой не удивляли мир прилежанием и поведением, нам и на середину рассчитывать было трудно. Быть нам сзади, где и не разберешь, кто заснят? Ты или не ты? Мы полезли в драку, чтоб боем доказать, что мы — люди пропащие... Но ребята прогнали нас из своей компании, даже драться с нами не связались. Тогда пошли мы с Санькой на увал и стали кататься с такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда не катался. Ухарски гикая, ругаясь, мчались мы не просто так, в погибель мчались, поразбивали о камень головки санок, коленки носили, вывалялись, начерпали полные катанки снегу.

Бабушка уж затемно сыскала нас с Санькой на увале, обоих настегала прутом.

Ночью наступила распата за отчаянный разгул — у меня заболели ноги. Они всегда ныли от «рематизни», как называла бабушка болезнь, якобы доставшуюся мне по наследству от покойной мамы. Но стоило мне застудить ноги, начерпать в катанки снегу — тотчас нудь в ногах переходила в невыносимую боль.

Я долго терпел, чтобы не завывать, очень долго. Раскидал одежонку, прижал ноги, ровно бы вывернутые в суставах, к горячим кирпичам русской печи, потом растирал ладонями сухо, как лучина, хрустящие суставы, засовывал ноги в теплый рукав полушубка — ничего не помогало.

И я завыл. Сначала тихонько, по-щенячьи, затем и в полный голос.

— Так я и знала! Так я и знала! — проснулась и заворчала бабушка. — Я ли тебе, язвило бы тебя в душу и в печенки, не говорила: «Не студи́ся, не студи́ся!» — повысила она голос. — Так он ведь умнее всех! Он бабушку послушат? Он добрым словом воньмет? Загибат теперь! Загибат, худа немочь! Мольчи лучше! Мольчи! — Бабушка поднялась с кровати, присела, схватившись за поясницу. Собственная боль действует на нее умирительно. — И меня загибат...

Она зажгла лампу, унесла ее с собой в куть и там зазвенела посудой, флакончиками, баночками, скляночками — ищет подходящее лекарство. Припугнутый ее голосом и отвлеченный ожиданиями, я впал в усталую дрему.

— Где ты тутока?

— Зде-е-е-ся, — по возможности жалобно откликнулся я и перестал шевелиться.

— Зде-е-е-ся! — передразнила бабушка и, нашарив меня в темноте, перво-наперво дала затрещину. Потом долго натирала мои ноги нашатырным спиртом. Спирт она втирала осповательно, досуха, и все шумела: — Я ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала? — И одной рукой натирала, а другой мне поддавала да поддавала: — Эк его умучило! Эк его крючком скрючило? Посинел, будто на леде, а не на пече сидел...

Я уж ни гугу, не огрызался, не перечил бабушке — лечит она меня.

Выдохлась, умолкла докторша, заткнула граненый длинный флакон, прислонила его к печной трубе, укутала мои

ноги старой пуховой шалью, будто теплой опарой облепила, да еще сверху полушубок накинула и вытерла слезы с моего лица щипучей от спирта ладонью.

— Спи, пташка малая, Господь с тобой и ангелы во изголовье.

Заодно бабушка свою поясницу и свои руки-ноги натерла вошочим спиртом, опустила на скрипучую деревянную кровать, забормотала молитву Пресвятой Богородице, охраняющей сон, покой и благоденствие в доме. На половине молитвы она прервалась, вслушивается, как я засыпаю, и где-то уже сквозь склеивающийся слух слышно:

— И чего к робенку привязалась? Обутки у него починеты, догляд людской...

Не уснул я в ту ночь. Ни молитва бабушкина, ни нашатырный спирт, ни привычная шаль, особенно ласковая и целебная оттого, что мамина, не принесли облегчения. Я бился и кричал на весь дом. Бабушка уж не колотила меня, а перепробовавши все свои лекарства, заплакала и шапустилась на деда:

— Дрыхнешь, старый одер!.. А тут хоть пропади!

— Да не сплю я, не сплю. Чё делать-то?

— Баню затопляй!

— Середь ночи?

— Середь ночи. Экой барин! Робенок-то! — Бабушка закрылась руками: — Да откуда напасть такая, да за что же она сиротиночку ломат, как тонку тали-и-инку... Ты долго кряхтеть будешь, толстодум? Чё ишшэш? Вчерашний день ишшэш? Вон твои рукавицы. Вон твоя шапка!..

Утром бабушка унесла меня в баню — сам я идти уже не мог. Долго растирала бабушка мои ноги запаренным березовым веником, грела их над паром от каленых камней, парила сквозь тряпку всего меня, макая веник в хлебный квас, и в заключение опять же натерла нашатырным спиртом. Дома мне дали ложку противной водки, настоящей на борце, чтоб внутренность прогреть, и моченой брусники. После всего этого напоили молоком, кипяченым с маковыми головками. Больше я ни сидеть, ни стоять не в состоянии был, меня сшибло с ног, и я проспал до полудня.

Разбудился от голосов. Санька препирался или ругался с бабушкой в кути.

— Не может он, не может... Я те русским языком толкую! — говорила бабушка. — Я ему и рубашечку приго-

товила, и пальтишко высушила, упочинила все, худо, бедно ли, изладила. А он слег...

— Бабушка Катерина, машину, аппарат наставили. Меня учитель послал. Бабушка Катерина!.. — настаивал Санька.

— Не может, говорю.. Постой-ко, это ведь ты, жиган, сманил его на увал-то! — осенило бабушку. — Сманил, а теперича?..

— Бабушка Катерина...

Я скатился с печки с намерением показать бабушке, что все могу, что нет для меня преград, но подломились худые ноги, будто не мои они были. Плюхнулся я возле лавки на пол. Бабушка и Санька тут как тут.

— Все равно пойду! — кричал я на бабушку. — Давай рубаху! Штаны давай! Все равно пойду!

— Да куда пойдешь-то? С печки на полати, — покачала головой бабушка и незаметно сделала рукой отмашку, чтоб Санька убирался.

— Санька, стой! Не уходи-и-и! — завопил я и попытался шагать. Бабушка поддерживала меня и уже робко, жалостливо уговаривала:

— Ну, куда пойдешь-то? Куда?

— Пойду-у-у! Давай рубаху! Шапку давай!..

Вид мой поверг и Саньку в удручение. Он помялся, помялся, потоптался, потоптался и скинул с себя новую коричневую телогрейку, выданную ему дядей Левонтием по случаю фотографирования.

— Ладно! — решительно сказал Санька. — Ладно! — еще решительней повторил он. — Раз так, я тоже не пойду! Все! — И под одобрительным взглядом бабушки Катерины Петровны проследовал в среднюю. — Не последний день на свете живем! — солидно заявил Санька. И мне почудилось: не столько уж меня, сколько себя убеждал Санька. — Еще наснимаемся! Ништя-а-ак! Поедем в город и на коне, может, и на ахтомобиле заснимемся. Правда, бабушка Катерина? — закинул Санька удочку.

— Правда, Санька, правда. Я, сама, не сойти мне с этого места, сама отвезу вас в город, и к Волкову, к Волкову. Знаешь Волкова-то?

Санька Волкова не знал. И я тоже не знал.

— Самолучший это в городе фотограф! Он хочь на портрет, хочь на пачпорт, хочь на коне, хочь на ероплане, хочь на чем заснимет!

— А школа? Школу он заснимет?

— Школу-то? Школу? У него машина, ну, аппарат-то не перевозной. К полу привинченный, — приуныла бабушка.

— Вот! А ты...

— Чего я? Чего я? Зато Волков в рамку сразу вставит.

— В ра-амку! Зачем мне твоя рамка?! Я без рамки хочу!

— Без рамки! Хочешь? Да! Да! На! Отваливай! Коли свалишься с ходуль своих, домой не являйся! — Бабушка покидала в меня одежку: рубаху, пальтишко, шапку, рукавицы, катанки — все покидала. — Ступай, ступай! Баушка худа тебе хочет! Баушка — враг тебе! Она коло него, аспида, выюном вьется, а он, видали, какие благодарствия баушке!..

Тут я заполз обратно на печку и заревел от горького бессилия. Куда я мог идти, если ноги не ходят?

В школу я не ходил больше недели. Бабушка меня лечила и баловала, давала варенья, брусницы, настряпала отварных сушек, которые я очень любил. Целыми днями сидел я на лавке, глядел на улицу, куда мне ходу пока не было, от безделья принимался плевать на стекла, и бабушка страдала меня, мол, зубы заболят. Но ничего зубам не сделалось, а вот ноги, плюй не плюй, все болят, все болят.

Деревенское окно, заделанное на зиму, — своего рода произведение искусства. По окну, еще не заходя в дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка, что у нее за характер и каков обиход в избе.

Бабушка рамы вставляла в зиму с толком и неброской красотой. В горнице меж рам валиком клала вату и на белое сверху кидала три-четыре розетки рябины с листиками — и все. Никаких излишеств. В средней же и в кути бабушка меж рам накладывала мох вперемежку с брусничником. На мох несколько березовых углей, меж углей ворохом рябину — и уже без листьев.

Бабушка объяснила причуду эту так:

— Мох сырость засасывает. Уголек обмерзнуть стеклам не дает, а рябина от угару. Тут печка, с кути чад.

Бабушка иной раз подсмеивалась надо мною, выдумывала разные штуковины, но много лет спустя, у писателя Александра Яшина, прочел о том же: рябина от угара —

первое средство. Народные приметы не знают границ и расстояний.

Бабушкины окна и соседские окна изучил я буквально-досконально, по выражению предсельсовета Митрохи.

У дяди Левонтия нечего изучать. Промеж рам у них ничего не лежит, и стекла в рамах не все целы — где фанерка прибита, где тряпками заткнуто, в одной створке красным пузом выперла подушка.

В доме наискосок, у тетки Авдотьи, меж рам навалено всего: и ваты, и моху, и рябины, и калины, но главное там украшение — цветочки. Они, эти бумажные цветочки, синие, красные, белые, отслужили свой век на иконах, на угловике и теперь попали украшением меж рам. И еще у тетки Авдотьи за рамами красуется одноногая кукла, безногая собака-копилка, развешаны побрякушки без ручек и конь стоит без хвоста и гривы, с расковыренными ноздрями. Все эти городские подарки привозил деткам муж Авдотьи, Терентий, который где ныне находится — она и знать не знает. Года два и даже три может не появляться Терентий. Потом его словно коробейники из мешка вытряхнут, нарядного, пьяного, с гостинцами и подарками. Пойдет тогда шумная жизнь в доме тетки Авдотьи. Сама тетка Авдотья, вся жизнью издерганная, худая, бурная, бегучая, все в ней навалом — и легкомыслие, и доброта, и бабья сварливость.

Дальше тетки Авдотьиного дома ничего не видать. Какие там окна, что в них — не знаю. Раньше не обращал внимания — некогда было, теперь вот сижу да поглядываю, да бабушкину воркотню слушаю.

Какая тоска!

Оторвал листок у мятного цветка, помял в руках — воняет цветок, будто нашатырный спирт. Бабушка листья мятного цветка в чай заваривает, пьет с вареным молоком. Еще на окне алой остался, да в горнице два фикуса. Фикусы бабушка стережет пуще глаза, но все равно прошлой зимой ударили такие морозы, что потемнели листья у фикусов, склизкие, как обмылки, сделались и опали. Однако вовсе не погибли — корень у фикуса живучий, и новые стрелки из ствола проклюнулись. Ожили фикусы. Люблю я смотреть на оживающие цветы. Все почти горшки с цветами — геранями, срезками, колючей розочкой, луковицами — находятся в подполье. Горшки или вовсе пустые, или торчат из них серые пеньки.

Но как только на калине под окном ударит синица по

первой сосульке и послышится тонкий звон на улице, бабушка вышет из подполья старый чугунок с дыркою на дне и поставит его на теплое окно в куты.

Через три-четыре дня из темной нежилой земли проткнутся бледно-зеленые острые побеги — и пойдут, пойдут они торопливо вверх, на ходу накапливая в себе темную зелень, разворачиваясь в длинные листья, и однажды возникает в пазухе этих листьев круглая палка, проворно двинется та зеленая палка в рост, опережая листья, породившие ее, набухнет щепотью на конце и вдруг замрет перед тем, как сотворить чудо.

Я всегда караулил то мгновение, тот миг свершающегося таинства — расцветания, и ни разу скараулить не мог. Ночью или на рассвете, скрыто от людского урочливого глаза, зацветала луковка.

Встанешь, бывало, утром, побежишь еще сонный до ветру, а бабушкин голос остановит:

— Гляди-ко, живунчик какой у нас родился!

На окне, в старом чугунке, возле замерзшего стекла над черной землею висел и улыбался яркогубый цветок с бело мерцающей сердцевинкой и как бы говорил младенчески-радостным ртом: «Ну вот и я! Дождались?»

К красному граммофончику осторожная тянулась рука, чтоб дотронуться до цветка, чтоб поверить в недалекую теперь весну, и боязно было спугнуть среди зимы впорхнувшего к нам предвестника тепла, солнца, зеленой земли.

После того как загоралась на окне луковица, заметней прибывал день, плавилась толсто обмерзшие окна, бабушка доставала из подполья остальные цветы, и они тоже возникали из тьмы, тянулись к свету, к теплу, обрызгивали окна и наш дом цветами. Луковица меж тем, указав путь весне и цветению, сворачивала граммофончики, съезживалась, роняла на окно сохлые лепестки и оставалась с одними лишь гибко падающими, подернутыми хромовым блеском ремнями стеблей, забывая всеми, снисходительно и терпеливо дожидалась весны, чтоб вновь пробудиться цветами и порадовать людей надеждами на близкое лето.

Во дворе залился Шарик.

Бабушка перестала починяться, прислушалась. В дверь постучали. А так как в деревнях нет привычки стучать и спрашивать, можно ли войти, то бабушка всполошилась, побежала в куть.

— Какой это там лешак ломится?.. Милости просим! Милости просим! — совсем другим, церковным голоском запела бабушка. Я понял: к нам нагрянул важный гость, поскорее спрятался на печку и с высоты увидел школьного учителя, который обметал веником котапки и прицеливался, куда бы повесить шапку. Бабушка приняла шапку, пальто, бегом умчала одежду гостя в горницу, потому как считала, что в кути учительской одежде висеть неприлично, пригласила учителя проходить.

Я притаился на печи. Учитель прошел в среднюю, еще раз поздоровался и справился обо мне.

— Поправляется, поправляется, — ответила за меня бабушка и, конечно же, не удержалась, чтоб не поддеть меня: — На еду уж здоров, вот на работу хил покуда.

Учитель улыбнулся, поискал меня глазами. Бабушка потребовала, чтоб я слезал с печки.

Боязливо и нехотя я спустился с печи, присел на припечек. Учитель сидел возле окошка на стуле, принесенном бабушкой из горницы, и приветливо смотрел на меня.

Лицо учителя, хотя и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по сравнению с деревенскими, калеными ветром, грубо тесанными лицами. Прическа под «политику» — волосы зачесаны назад. А так ничего больше особенного не было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза, да уши торчали, как у Саньки Левонтьевского. Было ему лет двадцать пять, но он мне казался пожилым и очень солидным человеком.

— Я принес тебе фотографию, — сказал учитель и поискал глазами портфель.

Бабушка всплеснула руками, метнулась в куть — портфель остался там.

И вот она, фотография — на столе.

Я смотрю. Бабушка смотрит. Учитель смотрит. Ребят и девчонок на фотографии, что семечек в подсолнухе! И лица величиной с подсолнечные семечки, но узнать всех можно. Я бегаю глазами по фотографии: вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька-хохол, вот Ванька Сидоров, вот Нинка Шахматовская, ее брат Саня...

В гуще ребят, в самой середине — учитель и учительница. Он в шапке и в пальто, она в полушалке. Чему-то улыбаются едва заметно учитель и учительница. Ребята чего-нибудь сморозили смешное. Им что? У них ноги не болят.

Санька из-за меня на фотографию не попал. И чего

приперся? То измывается надо мной, вред мне наносит, а тут восчувствовал. Вот и не видно его на фотографии. И меня не видно. Еще и еще перебегаю с лица на лицо. Нет, не видно. Да и откуда я там возьмусь, коли на печке лежал и загибала меня «худа немочь».

— Ничего, ничего! — успокоил меня учитель. — Фотограф, может быть, еще придет.

— А я что ему толкую? Я то же и толкую...

Я отвернулся, моргая на русскую печку, высунувшую толстый беленый зад в среднюю, губы мои дрожат. Что мне толковать? Зачем толковать? На этой фотографии меня нет. И не будет!

Бабушка настраивала самовар и занимала учителя разговорами.

— Как царнишечка? Грызть-то не унялася?

— Спасибо, Екатерина Петровна. Сыну лучше. Последние ночи спокойней.

— И слава Богу. И слава Богу. Они, робятишки, пока вырастут, ой сколько натерпишься с имя! Вон у меня их сколько, субчиков-то было, а ниче, выросли. И ваш вырастет...

Самовар запел в кути протяжную тонкую песню. Разговор шел о том о сем. Бабушка про мои успехи в школе не спрашивала. Учитель про них тоже не говорил, поинтересовался насчет деда.

— Сам-от? Сам уехал в город с дровами. Продаст, деньжонками разживемся. Каки наши достатки? Огородом, коровенкой да дровами живем.

— Знаете, Екатерина Петровна, какой случай вышел?

— Какой жа?

— Вчера утром обнаружил у своего порога воз дров. Сухих, швырковых. И не могу дознаться, кто их свалил.

— А чего дознаваться-то? Нечего и дознаваться. Топите — и все дела.

— Да как-то неудобно.

— Чего неудобного. Дров-то нету? Нету. Ждать, когда преподобный Митроха распорядится? А и привезут сельсоветские — сырье сырьем, тоже радости мало.

Бабушка, конечно, знает, кто свалил учителю дрова. И всему селу это известно. Один учитель не знает и никогда не узнает.

Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее, молчаливое. Учителей уважают за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных,

ни богатых, ни ссыльных, ни самоходов. Еще уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно прийти и попросить написать нужную бумагу. Пожаловаться на кого угодно: на сельсовет, на разбойника мужа, на свекровку. Дядя Левонтий — лиходея из лиходеев, когда пьяный, всю посуду приберет, Васене фонарь привесит, ребятишек поразгонит. А как побеседовал с ним учитель — исправился дядя Левонтий. Неизвестно, о чем говорил с ним учитель, только дядя Левонтий каждому встречному и поперечному радостно толковал:

— Ну чисто рукой дурь снял! И вежливо все, вежливо. Вы, говорит, вы... Да ежели со мной по-людски, да я что, дурак, что ли? Да я любому и каждому башку сверну, если такого человека пообидят!

Тишком, бочком просочатся деревенские бабы в избу учителя и забудут там кринку молока либо сметанки, творогу, брусники туесок. Ребеночка доглядят, полечат, если надо, учительницу необидно отругают за неумелость в обиходе с дитем. Когда на сносях была учительница, не позволяли бабы ей воду таскать. Один раз пришел учитель в школу в подшитых через край катанках. Умыкнули бабы катанки — и к сапожнику Жеребцову спесли. Шкалик поставили, чтоб с учителя, ни Боже мой, копейки не взял Жеребцов и чтоб к утру, к школе все было готово. Сапожник Жеребцов — человек пьющий, ненадежный. Жена его, Тома, спрягала шкалик и не отдавала до тех пор, пока катанки не были подшиты.

Учителя были заводилами в деревенском клубе. Играм и танцам учили, ставили смешные пьесы и не гнушались представлять в них попов и буржуев; на свадьбах бывали почетными гостями, но блюли себя и приучили несговорчивый в гулянке народ выпивкой их не певолить.

А в какой школе начали работу наши учителя!

В деревенском доме с угарными печами. Парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь первый класс и один красный карандаш. Принесли ребята из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя, затем он давал нам аккуратно заточенный красный карандаш, и мы, пристроившись на подоконнике, поочередно писали палочки. Счету учились на спичках и палочках, собственноручно выструганных из лучины.

Кстати говоря, дом, приспособленный под школу, был рублен моим прадедом, Яковом Максимовичем, и начи-

нал я учиться в родном доме прадеда и деда Павла. Родился я, правда, не в доме, а в бане. Для этого тайного дела места в нем не нашлось. Но из бани-то меня принесли в узелке сюда, в этот дом. Как и что в нем было — не помню. Помню лишь отголоски той жизни: дым, шум, многолюдье и руки, руки, поднимающие и подбрасывающие меня к потолку. Ружье на стене, как будто к коврику прибитое. Оно внушало почтительный страх. Белая тряпка на лице деда Павла. Осколок малахитового камня, сверкающего на изломе, будто весенняя льдина. Возле зеркала фарфоровая пудреница, бритва в коробочке, папин флакон с одеколоном, мамина гребенка. Санки помню, подаренные старшим братом бабушки Марьи, которая была одних лет с моей мамой, хотя и приходилась ей свекровью. Замечательные, круто выгнутые санки с отводинами — полное подобие настоящим конских саней. На тех санках мне не разрешалось кататься из-за малости лет с горы, но мне хотелось кататься, и кто-нибудь из взрослых, чаще всего прадед или кто посвободней, садили меня в санки и волочили по полу сенок или по двору.

Папа мой отселился в зимовье, крытое занозистой, неровной дранью, отчего крыша при больших дождях протекала. Знаю по рассказам бабушки и, кажется, помню, как радовалась мама отделению от семьи свекра и обретению хозяйственной самостоятельности, пусть и в тесном, но в «своем углу». Она все зимовье прибрала, перемыла, бесцелно белила и подбеливала печку. Папа грозился сделать в зимовье перегородку и вместо козырька-навеса сотворить настоящие сенки, но так и не исполнил своего намерения.

Когда выселили из дома деда Павла с семьей — не знаю, но как выселяли других, точнее, выгоняли семьи на улицу из собственных домов — помню я, помнят все старые люди.

Раскулаченных и подкулачников выкинули вон глухой осенью, стало быть, в самую подходящую для гибели пору. И будь тогдашние времена похожими на нынешние, все семьи тут же и примерли бы. Но родство и землячество тогда большой силой были, родственники дальние, близкие, соседи, кумовья и сватовья, страшась угроз и наветов, все же подобрали детей, в первую голову грудных, затем из бабь, стаяк, амбаров и чердаков собрали матерей, беременных женщин, стариков, больных людей, за ними «незаметно» и всех остальных разобрали по домам.

Днем «бывшие» обретались по тем же баням и пристройкам, на ночь проникали в избы, спали на разбросанных пополах, на половиках, под шубами, старыми одеялишками и на всякой бросовой рямнине. Спали вповалку, не раздеваясь, все время готовые на вызов и выселение.

Прошел месяц, другой. Пришла глухая зима, «ликвидаторы», радуясь классово́й победе, гуляли, веселились и как будто забыли об обездоленных людях. Тем надо было жить, мыться, рожать, лечиться, кормиться. Они прилепились к пригревшим их семьям либо прорубили окна в стайках, утеплили и отремонтировали давно заброшенные зимовья иль времянки, срубленные для летней кухни.

Картошка, овощ, соленая капуста, огурцы, бочки с грибами оставались в подвалах покинутых подворий. Их нещадно и безнаказанно зорили лихие людишки, шпана разная, не ценящая чужого добра и труда, оставляя открытыми крышки погребов и подвалов. Выселенные женщины, ночной порой ходившие в погреба, причитали о погибшем добре, молили Бога о спасении одних и наказании других. Но в те годы Бог был занят чем-то другим, более важным, и от русской деревни отвернулся.

Часть кулацких пустующих домов — нижний конец села весь почти пустовал, тогда как верхний жил справнее, но «задалили, запоили» верховские активистов — шел шепот по деревне, а я думаю, что активистам-ликвидаторам просто ловчее было зорить тех, кто поближе, чтоб далеко не ходить, верхний конец села держать «в резерве». Словом, живучий элемент начал занимать свои пустующие избы или жильё пролетарьев и активистов, переселившихся в покинутые дома, занимали и быстро приводили их в божеский вид. Крытые как попало и чем попало низовские окраинные избышки преобразились, ожили, засверкали чистыми окнами.

Многие дома в нашем селе строены на две половины, и не всегда во второй половине жили родственники, случалось, просто союзники по паю. Неделю, месяц, другой они могли еще терпеть многолюдство, тесноту, но потом начинались раздоры, чаще всего возле печи, меж бабами-стряпухами. Случалось, семья выселенцев снова оказывалась на улице, искала приюту. Однако большинство семейств все же ужились между собой. Бабы посылали парнишек в свои заброшенные дома за припрятанным скарбом, за овощью в подвал. Сами хозяйки иной раз

проникали домой. За столом сидели, спали на кровати, на давно не беленной печи, управлялись по дому, крушили мебелишку новожители.

«Здравствуйте», — остановившись возле порога, еле слышно произносила бывшая хозяйка дома. Чаще всего ей не отвечали, кто от занятости и хамства, кто от презрения и классовой ненависти.

У Болтухиных, сменивших и загадивших уже несколько домов, насмехались, ерничали: «Проходите, хвастайте, чего забыли?..» — «Да вот сковороду бы взять, чигунку, клюку, ухват — варить...» — «Дак чё? Бери, как свое...» — Баба вызволяла инвентарь, норовя, помимо названного, прихватить и еще чего-нибудь: половичишки, одежонку какую-никакую, припрятанный в ей лишь известном месте кусок полотна или холста.

Заселившие «справный» дом новожители, прежде всего бабы, сгдыясь вторжения в чужой угол, опустив долу очи, пережидали, когда уйдет «сама». Болтухины же следили за «контрой», за педавними своими собутыльниками, подругами и благодетельми — не вынесет ли, откудова золотишко «бывшая», не потянут ли из захоронки ценную вещь: шубу, валенки, платок. Как уличат пойманного злоумышленника, сразу в крик: «А-а, ворущешь? В тюрьму захотела?...» — «Да как же ворую... это же мое, наше...» — «Было ваше, стало наше! Поволоку вот в сельсовет...»

Попускались добром горемыки. «Подавитесь!» — говорили. Катька Болтухина металась по селу, меняла отнятую вещь на выпивку, никого не боясь, ничего не стесняясь. Случалось, тут же предлагала отнятое самой хозяйке. Бабушка моя, Катерина Петровна, все деньжонки, скопленные на черный день, убухала, не одну вещь «выкупила» у Болтухиных и вернула в описанные семьи.

К весне в пустующих избах были перебиты окна, сорваны двери, истрепаны половики, сожжена мебель. За зиму часть села выгорела. Молодняк иногда протапливал печи в домнинской или какой другой просторной избе и устраивал там вечерки. Не глядя на классовые расслоения, парни щупали по углам девок.

Ребятишки как играли, так и продолжали играть вместе. Плотники, бондари, столяры и сапожники из раскулаченных потихоньку прилаживались к делу, смекали зарабатывать на кусок хлеба. Но и работали, и жили в своих, чужих ли домах, пугливо озираясь, ничего капитально не ремонтируя, прочно, надолго не налаживая, жили, как в

ночевальной заезжей избе. Этим семьям предстояло вторичное выселение, еще более тягостное, при котором произошла единственная за время раскулачивания трагедия в нашем селе.

Немой Кирила, когда первый раз Платоновских выбрасывали на улицу, был на заимке, и ему как-то сумели втолковать после, что изгнание из избы произошло вынужденное, временное. Однако Кирила насторожился и, живя скрытником на заимке со спрятанным конем, перетганным со двора в колхоз по причине дутого брюха и хромой ноги, нет-нет и наведывался в деревню верхом.

Кто-то из колхозников или мимоезжих людей и сказал на заимке Кириле, что дома у них неладно, что снова Платоновских выселяют. Кирила примчался к распахнутым воротам в тот момент, когда уже вся семья стояла покорно во дворе, окружив выкинутое барахлишко. Любопытные толпились в проулке, наблюдая, как самое Платошиху нездешние люди с наганами пытаются тащить из избы. Платошиха хваталась за двери, за косяки, кричала зарезанно. Вроде уж совсем ее выгнать, но только отпустят, она сорвапными, кровящими ногтями вновь находит, за что уцепиться.

Хозяин, чернявый по природе, от горя сделавшийся совсем черным, увещевал жену: «Да будет тебе, Парасковья! Чего уж теперь? Пойдем к добрым людям...»

Ребятишки, их много было во дворе Платоновских, уже и тележку, давно приготовленную, загрузили, вещи, кои дозволено было взять, сложили, в оглобли тележки впряглись. «Пойдем, мама. Пойдем...» — умоляли они Платошиху, утираясь рукавами.

Ликвидаторам удалось-таки оторвать от косяка Платошиху. Они столкнули ее с крыльца, но, полежав со скомканно задравшимся подолом на настиле, она снова поползла по двору, воя и протягивая руки к распахнутой двери. И снова оказалась на крыльце. Тогда городской уполномоченный с наганом на боку пхнул женщину подошвой сапога в лицо. Платошиха опрокинулась с крыльца, зашарила руками по настилу, что-то отыскивая. «Парасковья! Парасковья! Что ты? Что ты?..»

Тут и раздался утробный бычий крик: «М-м-мауууу!..» Кирила выхватил из чурки ржавый колун, метнулся к уполномоченному. Зпавший только угрюмую рабскую покорность, к сопротивлению не готовый, уполномоченный не успел даже и о кобуре вспомнить. Кирила всмятку разнес

его голову, мозги и кровь выплеснулись на крыльцо, обрызгали стену. Дети закрылись руками, бабы завопили, народ начал разбегаться в разные стороны. Через забор хватанул второй уполномоченный, стриганули со двора понятия и активисты. Разъяренный Кирила бегал по селу с колуном, зарубил свинью, попавшуюся на пути, напал на сплавщицкий катер и чуть не порешил матроса, нашего же, деревенского.

На катере Кирилу окатили водой из ведра, связали и выдали властям.

Гибель уполномоченного и бесчинство Кирилы ускорили выселение раскулаченных семей. Платоновских на катере уплавили в город, и никто, никогда, ничего о них больше не слышал.

Прадед был выслан в Игарку и умер там в первую же зиму, а о деде Павле речь впереди.

Перегородки в родной моей избе разобрали, сделав большой общий класс, потому я почти ничего не узнавал и заодно с ребятишками что-то в доме дорубал, доламывал и сокрушал.

Дом этот и угодил на фотографию, где меня нет. Дома тоже давным-давно на свете нет.

После школы было в нем правление колхоза. Когда колхоз развалился, жили в нем Болтухины, опиливая и дожигая сени, терраску. Потом дом долго пустовал, дряхлел и, наконец пришло указание разобрать заброшенное жилище, сплавить к Гремячей речке, откуда его перевезут в Емельяново и поставят.

Быстро разобрали овсянские мужики наш дом, еще быстрее сплывили куда велено, ждали, ждали, когда приедут из Емельянова, и не дождались. Сговорившись потихоньку с береговыми жителями, сплавщики дом продали на дрова и денежки потихоньку пропили.

Ни в Емельянове, ни в каком другом месте о доме никто так и не вспомнил.

Учитель как-то уехал в город и вернулся с тремя подводами. На одной из них были весы, на двух других ящики со всевозможным добром. На школьном дворе из плах соорудили временный ларек «Утильсырьё». Вверх дном перевернули школьники деревню. Чердаки, сараи, амбары очистили от веками скапливаемого добра — старых самоваров, плутов, костей, тряпья.

В школе появились карандаши, тетради, краски вроде пуговиц, приклеенные к картонкам, переводные картинки. Мы попробовали сладких пегушков на палочках, женщины разжились иголками, нитками, пуговицами.

Учитель еще и еще ездил в город на сельсоветской кляче, выхлопотал и привез учебники, один учебник на пятерых. Потом еще полегчение было — один учебник на двоих. Деревенские семьи большие, стало быть, в каждом доме появился учебник.

Столы и скамейки сделали деревенские мужики и плату за них не взяли, обошлись магарычом, который, как я теперь догадываюсь, выставил им учитель на свою зарплату.

Учитель вот фотографа сговорил к нам приехать, и тот заснял ребят и школу. Это ли не радость! Это ли не достижение!

Учитель пил с бабушкой чай. И я первый раз в жизни сидел за одним столом с учителем и изо всей мочи старался не обляпаться, не пролить из блюда чай. Бабушка застелила стол праздничной скатертью и понаставила-а-а-а... И варенье, и брусница, и сушки, и лампасейки, и пряники городские, и молоко в нарядном сливочнике. Я очень рад и доволен, что учитель пьет у нас чай, безо всяких церемоний разговаривает с бабушкой, и все у нас есть, и стыдиться перед таким редким гостем за угощение не приходится.

Учитель выпил два стакана чаю. Бабушка упрашивала выпить еще, извиняясь, по деревенской привычке, за бедное угощение, но учитель благодарил ее, говорил, что всем он премного доволен, и желал бабушке доброго здоровья.

Когда учитель уходил из дома, я все же не удержался и полюбопытствовал насчет фотографа: «Скоро ли он опять приедет?»

— А, штабы тебя приподняло да шлепнуло! — бабушка употребила самое вежливое ругательство в присутствии учителя.

— Думаю, скоро, — ответил учитель. — Выздоровлявай и приходи в школу, а то отстанешь. — Он поклонился дому, бабушке, она засемила следом, провожая его до ворот с наказом, чтоб кланялся жене, будто та была не через два посада от нас, а невесть в каких дальних краях.

Брякнула щеколда ворот. Я поспешил к окну. Учитель со стареньким портфелем прошел мимо нашего палисадника, обернулся и махнул мне рукой, дескать, приходи

скорее в школу, — и улыбнулся при этом так, как только он умел улыбаться, — вроде бы грустно и в то же время ласково и приветно. Я проводил его взглядом до конца нашего переулка и еще долго смотрел на улицу, и было у меня на душе отчего-то щемливо, хотелось заплакать.

Бабушка, ахая, убирала со стола богатую снедь и не переставала удивляться:

— И не поел-то ничего. И чаю два стакана токо выпил. Вот какой культурный человек! Вот чё грамота делат! — И увещевала меня: — Учись, Витька, хорошеньче! В учителя, может, выйдешь або в десятники...

Не шумела в этот день бабушка ни на кого, даже со мной и с Шариком толковала мирным голосом, а хвасталась, а хвасталась! Всем, кто заходил к нам, подряд хвасталась, что был у нас учитель, пил чай, разговаривал с нею про разное. И так разговаривал, так разговаривал! Школьную фотокарточку показывала, сокрушалась, что не попал я на нее, и сулилась заключить ее в рамку, которую она купит у китайцев на базаре.

Рамку она и в самом деле купила, фотографию на стену повесила, но в город меня не везла, потому как болел я в ту зиму часто, пропускал много уроков.

К весне тетрадки, выменянные на утильсырье, исписались, краски искрасились, карандаши исстрогались, и учитель стал водить нас по лесу и рассказывать про деревья, про цветки, про травы, про речки и про небо.

Как он много знал! И что кольца у дерева — это годы его жизни, и что сера сосновая идет на канифоль, и что хвоей лечатся от нервов, и что из березы делают фанеру; из хвойных пород — он так и сказал, — не из лесниц, а из пород! — изготавливают бумагу, что леса сохраняют влагу в почве, стало быть, и жизнь речек.

Но и мы тоже знали лес, пусть по-своему, по-деревенски, но знали то, чего учитель не знал, и он слушал нас внимательно, хвалил, благодарил даже. Мы научили его копать и есть корни саранок, жевать листовничную серу, различать по голосам птичек, зверьков и, если он заблудится в лесу, как выбраться оттуда, в особенности как спастись от лесного пожара, как выйти из страшного таежного огня.

Однажды мы пошли на Лысую гору за цветами и сажечцами для школьного двора. Поднялись до середины горы, присели на камень отдохнуть и поглядеть сверху на Еписей, как вдруг кто-то из ребят закричал:

— Ой, змея, змея!..

И все увидели змею. Она обвивалась вокруг пучка кремневых подснежников и, разевая зубастую пасть, злобно шипела.

Еще и подумать никто ничего не успел, как учитель оттолкнул нас, схватил палку и принялся молотить по змее, по подснежникам. Вверх полетели обломки палки, лепестки прострелов. Змея кипела ключом, подбрасывалась на хвосте.

— Не бейте через плечо! Не бейте через плечо! — кричали ребята, но учитель ничего не слышал. Он бил и бил змею, пока та не перестала шевелиться. Потом он пригнул концом палки голову змеи в камнях и обернулся. Руки его дрожали. Ноздри и глаза его расширились, весь он был белый, «политика» его рассыпалась, и волосы крыльями висели на оттопыренных ушах.

Мы отыскиали в камнях, отряхнули и подали ему кепку.

— Пойдемте, ребята, отсюда.

Мы посыпались с горы, учитель шел за нами следом и все оглядывался, готовый оборонять нас снова, если змея оживет и погонится.

Под горою учитель забрел в речку — Малую Слизневку, попил из ладоней воды, побрызгал на лицо, утерся платком и спросил:

— Почему кричали, чтоб не бить гадюку через плечо?

— Закинуть же на себя змею можно. Она, зараза, обовьется вокруг палки!.. — объясняли ребята учителю. — Да вы раньше-то хоть видели змей? — догадался кто-то спросить учителя.

— Нет, — виновато улыбнулся учитель. — Там, где я рос, никаких гадов не водится. Там нет таких гор, и тайги нет.

Вот тебе и па! Нам надо было учителя-то оборонять, а мы?!

Прошли годы, много, ох много их минуло. А я таким вот и помню деревенского учителя — с чуть виповатой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Уже работая над этой книгой, я узнал, что звали наших учителей Евгений Николаевич и Евгения Николаевна. Мои земляки уверяют, что не только имеем-отчеством, но и лицом они походили друг на друга. «Чисто брат с сестрой!..» Тут, я думаю, сработала благодарная человеческая память, сбли-

зив и сроднив дорогих людей, а вот фамилии учителя с учительницей никто в Овсянке вспомнить не может. Но фамилию учителя можно и забыть, важно, чтоб осталось слово «учитель»! И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть доживет до такой почести, как наши учителя, чтоб раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили, чтоб сделаться частицей его и навечно остаться в сердце даже таких перадивых и непослушных людей, как я и Санька.

Школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по углам. Но всех ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну. Всему миру известно прославленное имя — сибиряк.

Как суетились бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки, все равно бедновато, шибко бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано каракулисто: «Овсянская нач. школа 1-й ступени». На фоне деревенского дома с белыми ставнями — ребятишки: кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит, кто стоит, кто на снегу лежит.

Смотрю, иногда улыбнусь, вспоминая, а смеяться и тем паче насмеяться над деревенскими фотографиями не могу, как бы они порой нелепы ни были. Пусть напыщенный солдат или унтер снят у кокетливой тумбочки, в ремнях, в начищенных сапогах — всего больше их и красуется на стенах русских изб, потому как в солдатах только и можно было раньше «сняться» на карточку; пусть мои тетки и дядя красуются в фанерном автомобиле, одна тетка в шляпе вроде вороньего гнезда, дядя в кожаном шлеме, севшем на глаза; пусть казак, точнее, мой братишка Кеша, высунувший голову в дыру на материи, изображает казака с газырями и кинжалом; пусть люди с гармошками, балалайками, гитарами, с часами, высунутыми шапоказ из-под рукава, и другими предметами, демонстрирующими достаток в доме, таращатся с фотографий.

Я все равно не смеюсь.

Деревенская фотография — своеобразная летопись нашего народа, настенная его история, а еще не смешно и оттого, что фото сделано на фоне родового, разорешного гнезда.

БАБУШКИН ПРАЗДНИК

Вскоре после Ильина дня, как только заканчивался сенокос, в наш дом собиралась вся многочисленная родня — гостевать, точнее, праздновать день бабушкиного рождения. Случалось это раз в два-три года. Чаще-то накладно. Никто не сговаривал бабушкиных сыновей, дочерей, внуков и других родичей съезжаться в этом именно году, об эту пору, но они сами по какому-то наитию знали, когда им надо быть в родном доме, у матери и отца.

Бабушка и дедушка тоже как-то догадывались, что нынче нагрянут ребята, и заранее начинали готовиться к тому, чтобы принять и устроить уйму людей. Само собой, ребята приезжали не с пустыми руками, но все же главная тяжесть расходов ложилась на бабушку с дедушкой, и в доме нашем загодя, еще с зимы начинался великий пост и всевозможный прижим по части расходов харчей и денег — коли пировать, так и мудровать.

После отела коровы брали под особое наблюдение телку или бычка — на закол. На базайскую механическую мельницу по санной дороге увозили и мололи зерно на крупчатку, с весны копили яйца, сбивали сметану на масло — и все это убиралось в подвал, в кладовку, рассовывалось по каким-то никому, кроме бабушки, неведомым тайникам. Лишь мне она уделяла колотое яичко, снятого молока, кривой, ожелтевший огурец или завялящую постряпушку.

Чем ближе подходил бабушкин праздник, тем напря-

женней шла жизнь в нашем доме. Бабушка все чаще роняла что-нибудь из рук или проливала и кричала неизвестно кому: «Сдохнуть бы мне сегодня же! Легче бы мне было!» И все же она входила в предпраздничную линию раньше и прочнее, чем дедушка и Кольча-младший. Тех сламывала напряженность, они «закусывали удила», и тогда уж сладить с ними было непросто.

Чаще всего бабушка сама же и доводила мужиков до булга, взбаламутив и без того неспокойное течение жизни в доме наскаками, подозрениями, излишним подчеркиванием собственных стараний в хлопотах и в труде.

Перед тем праздником, который мне запомнился оттого, что был я уже в памятных годах, дедушка взорвался в самый неподходящий момент. И довела его до крайности снова бабушка, из-за усталости не почувывая той черты, за которой наступает предел дедушкиного терпения.

Бобылю Ксенофонту надоедало сидеть одному в старой, наполовину засевшей в земле хибарке, и он вечером, после дневного труда и забот приходил на нашу завалинку. Сидели два брата, курили табак, передавая друг дружке кисеты. Иной раз просидят так вот весь вечер, единого слова не скажут и разойдутся, друг другом довольные. А иногда курят-курят молча и молча же куда-то улизнут. И не ищи их тогда — не найдешь. Дед явится поздно, выпивший, отяжелевший, тихий. Бабушка кинет ему подушку, и он успокоится, определившись на высоком курятнике в кути.

В тот злосчастный вечер, как обычно, пришел на завалинку Ксенофонт, выполз за ворота дедушка. Сидели дед и Ксенофонт, смолили табак и думали. Бабушку, издерганную, усталую, зудила неприязнь: таких вот двое мужичищев табак переводят, а она, забегавшаяся, крутится, крутится и дел своих никак не переделает. Ругалась во дворе бабушка, пиула Шарика, поймала курицу, усевшую спать в жалище, зашвырнула ее на сеновал, хватила об пол пустое ведро, подвернувшееся на пути, и ведро укатилось к воротам, бухнуло в створку.

Дед даже и ухом не повел.

На беду дед с Ксенофонтом с завалинки ушли, как потом выяснилось, выдернуть лодку повыше на берег, потому что начала в Енисее прибывать вода — от летнего жара потекли беляки в горах, и лодку Ксенофонта, страшного рыболова, могло унести. Бабушке же втемяши-

лось в голову, что они отправились выпивать, и она закипела пуще прежнего, ждала деда, чтобы обрушиться на него. Надо заметить — бабушка не трогала деда сразу после выпивки.

Никогда деда вдрызг пьяным не видели, и определить, сколько он выпил и в какой пропорции находится, никто не мог. На всякий случай надо было подождать, когда он проспится. Что и делала бабушка, блюдя осторожность и выдержку.

Но тут на нее пашло. Сначала она разорялась в избе, потом во дворе, потом на улице и, наконец, понеслась к тетке Авдотье, чтобы перебить у нее все окна, если дед там обнаружится.

Тетка Авдотья, та самая, что жила от нас наискосок, младшая сестра дедушки — особая статья в нашей родове. Жизнь ее растрепана, как льняной сноп на неисправной мялке. Муж ее Терентий жил с нею набегами. И после каждого набега оставлял тетку Авдотью в тягостях. Родились у нее только девки. По причине первности тетки Авдотьи, неустойчивого достатка и обихода девки мерли одна за другой, но трое выжили, на беду и радость матери. Девоч она растила по-чудному: то милует их, бантики из тряпочек в волосья приделывает, в баню чуть не каждый день таскает, в доме половики настелет, все поберег, выскоблит. То забросит и дом, и девочек, не кормит их, не поит, лупцует ухватом, обзывается. Попав в буйную полосу жизни, немытая, пьяная, орала тетка Авдотья матерщинные частушки под нашими окнами, да еще и приплясывала.

Девки подросли, и старшая — Агашка — пригуляла ребеночка. Тетка Авдотья прогнала дочь из дому «с в...ком», а сама побежала в Енисей бросаться, и бросилась, доплыла по-собачьи до сплавной боны, вылезла на нее мокрая, жалкая и выла среди реки протяжно, одиноко и жутко.

После этого тетка Авдотья вернула Агашку домой и стала жить смирно-тихо. И стариться начала быстро, обвисла, ссутулилась, поседела. Дом она содержала теперь обиходно, даже форточку в раме проделала, чтоб вольный дух помогал расти дитенку. Наряжалась тетка Авдотья мыть и белить избы, копать огороды, нянчилась за плату с ребенком учителей и разную всякую работу делала, волоча за собой везде и всюду любимого внука Костеньку. Потихоньку приторговывала тетка Авдотья вином и самогонкой. С деда и Ксенофонта платы за вино не

брала, и не по родственным соображениям, а потому, что они доглядывали ее хозяйство — привозили дров, починяли домишко, ремонтировали печку.

Совсем наладилась жизнь тетки Авдотьи, как вдруг снова объявился Терентий. Он приплыл с севера, откуда-то из-под Гольчихи, в резиновых сапогах, еще невиданных в нашей деревне, с длинными голенищами, в шляпе, при часах, и привез бочонок соленого омуля.

Терентий открыл створку ворот и в качестве «сюрприза» катнул во двор пузатенький, ловконький такой бочонок, густо затянутый окислившимися в долгом пути обручами, под крышку забитый отборным омулем. Терентий, подбоченясь, победно оглядел деревню — знай наших, поминай своих! Рот его раскрылся, сморщился от самодовольной, блаженпенькой улыбки. Зубов во рту Терентия не было, съело их цингой и водкой. Лишь один какой-то обломочек или корешок, может, и вновь просекшийся молочный зуб весело сверкал на дитячьих деснах, знаменуя собой радость обновления жизни, снова и снова наступающего первотворения, возобновления обеспеченной, семейной жизни под родной крышей.

Предчувствием счастливой встречи и бесконечной радости переполнено сердце вечного скитальца, еще одного беспечного и беспутного овсянского гробовоза.

Поскольку настил во дворе был внаклон и все хозяйство — дом, заплот, ворота — внаклон, и жизнь тетки Авдотьи внаклон, на солнце, на восход, то бочонок с омулем, постукивая по настилу, вспрыгивая на сучках и выбоинах, резво набирал ход и, не будь закрыта калитка в огород, прокатился бы по грядам, смял бы прясло, своротил бы весь нижний сельский посад, брыкнулся бы с яра в Еписей, и рыба в бочонке, пусть и соленая, пусть в бессознательном состоянии, поплыла бы в обратный путь, к родному устью, где была изловлена, лишена не только жизни, но и свободы, тесными рядками запечатанная в тугой бездушный бочонок.

Тетка Авдотья, хоть и встречу уклону, хоть и в гору, бочонок, торкнувшийся в огородную калитку, чуть было с петьель ее не сорвавший, погой катнула в обратную сторону, к воротам. Где и сила взялась? Видно, бабья неистовость сильнее всяких сил! Перекувыркнула бочонок, что поросенка с тугими боками через подворотню, поставила его на попа, прилепнула ладонью по сырому торцу, будто поставила печать на замаркированные доски.

После этого тетка Авдотья молча двинулась навстречу лучезарно лыбящемуся мужу, раскинувшему руки для объятий, молча же сорвала шляпу с его головы, кучерявящейся младенческим пушком, шляпу шлепнула оземь и принялась месить ее голыми ногами, втоптывать в пыль, будто гремучую змею. Топтала, топтала, сорвалась на визг. Без слов, без ругани был тот визг. Все в нем спеклось, в этом страшном визге — боль, ненависть, звериная тоска полужены-полувдовы, нужда, одиночество, борьба с девками, перемогание хворей и насмешек деревенских сплетников и блудников, пользующихся услугами мелкой спекулянтки, багтрачки, вздорной бабы, позорной, дикой пьянчужки — все-все втоптывала в пыль, в грязь тетка Авдотья.

Натоптавшись до бессилия, навизжавшись до белой слюны, тетка Авдотья молча подняла с дороги шляпу, измызанную, похожую на недосохшую коровью лепеху или гриб-бздех, вялым движением, как бы по обязанности, доводя свою роль до конца, раз-другой хлопнула шляпой по морде мужа, напяливая ее на голову его до ушей, пристукнула кулаком сверху и удалилась во двор.

Весь нижний конец села упивался этой картиной. Задохнувшийся пылью, оглушенный налетом, Терентий долго отплевывался, утирался рукавом, растерянно наблюдая, как Авдотья запирала ворота, как пнула подвернувшегося на пути его любимого пса Мистера, как резко задернула занавески на окнах, даже веревочку порвала у одной занавески, как расшуровала из дому всех, даже девок, выдворила заспавшегося кота, не пощадила и курицу-парунию, сидевшую в сите на куделе, вместе с яйцами хряснула с крыльца и, матерясь, искала еще чего бы сокрушить и выкинуть.

— Во, штурела, курва, во штурела!.. — трусовато, чтоб народ слышал, а баба, впавшая в неистовство, не слышала, частил однозубым ртом Терентий.

Когда тетка Авдотья выдохлась, поутихла, влезла на полати, как всегда, влезла надолго в привычное убежище, дети и внуки, спрятавшиеся в старом амбаре и не смеющие до темноты показываться в избе, наблюдали в щели амбара, как их папа Терентий сидел среди улицы на бочонке с омулем, бил себя кулаками по голове и со слезами взывал в пространство:

— Куда я денуся теперь, сирота несчастная? Где найду дом-пристань свою?

— А вот не бродяжничай, не бродяжничай! Эт-то что же ты за моду взял: наскочишь, бабу обрюхатишь и как вихорь унесешься? — корила Терентия бабушка Катерина Петровна, которой до всего и до всех дело. — Ты подумал бы башкой своей удалой, — бабушка согнутым перстом стучала по покаянной голове Терентия, будго по тыкве, — как твои детки тута? Пить-есть чего у них имеется? Как жена твоя родная, жива или мертва? Загуляла или блодет себя?.. Или тебе гори все огнем-полымем?

— О-о-ой! — мотал головой доведенный до полного отчаяния Терентий. — Убить меня мало, подлеца такого, тетка Катерина!

Кончилось все это тем, что Терентий и бочонок с омулем оказались у нас. Через день сломленная жалостью бабушка за руку, словно школьницу, привела тетку Авдотью, и в присутствии дедушки, Ксенофонта и бабушки Терентий ползал на коленях перед женою, клялся на образ, что покончит с «прошлым», будет как «андел» — тише воды, ниже травы, вина в рот не возьмет и никуда больше не уедет, потому как «осознал ошибку своей жизни».

Ничего Терентий не осознал. Недели через две он начал куролесить по селу, пропил часы, сапоги и шляпу, бил тетку Авдотью, и она его била, и однажды, будго печной угар, улечучился из дому и села Терентий, снова подался бродяжничать, «длинные, фартовые» рубли искать. Тетка Авдотья опять «палаживалась» и хорошо, что на этот раз Терентий не оставил ей девку на память, да и внуков надо было кормить и растить. Девкам поправилось делать и сплавлять внуков бесхарактерной матери.

После того, как снова и надолго исчезал Терентий, дом тетки Авдотьи являл собой подобие осеннего, полуубранного огорода или реку после ледохода: все перевернуто и опрокинуто, всюду валялись битые черепки, поленья, ломаные скамейки и табуретки, горшки с замертво выпавшими из них цветками, рванье всякое, распушенная подушка, по столу валялись и сохли ложки, чашки, с печи ссыпалась связка луковиц, из переполненной лохани текла зловонная жижка. Кошка куда-то сбежала, во дворе, возле разваленной поленницы, причитал всеми забытый кобелишка по имени Мистер. Совершенно он сбит с толку превратностями жизни. Совсем недавно его от пуза кормили всевозможными яствами — мясом, мозговыми костями, жирными щами, остатками пирогов. Терентий

даже пельменей выносил, один раз насильно засунул в рот конфетку. Испытывая отвращение, Мистер через силу счавкал конфетку вместе с бумажкой. Терентий поцеловал его в морду, пазвал «вумницей» — и вот на тебе, морт живую душу голодом, не только не кормят, но и не поят, даже с цепочки не спускают, чтоб промыслить чего-нибудь по селу. Более того, распинав всякое битое и дра-ное имущество, если подвернутся, и детей с внучатами распинав, тетка Авдотья, хоть легом, хоть зимой, босая, косматая, выскочив на крыльцо, орет:

— Сдохни! Околей! — и хватается за что попало. Тут уж прячься живей, влезай в какую-нибудь щель — зашибет!

Давно заведенная квашня оплыла по краям, нашлепались на стол серые ошметки. Тесто засыхало само по себе, и в нем, судорожно дергаясь, затихали налившие мухи и тараканы. Квашня эта, кислый ее запах не давали тетке Авдотье покоя, хлебный дух тревожил ее и звал к печи. Спустившись с полатей, нащупывая ногой обутки, проклиная жизнь и все на свете, тетка Авдотья с трудом растопляла давно остывшую и оттого дымящую печь. Двигалась она словно бы во сне, расходилась словно после болезни, начиная творить привычную бабью работу, распинывая и рассовывая по углам стекла, ломь всякую, тряпье, но, видя, что хлам и сор никуда не деваются, бралась за веник, потом и за тряпку, скребла, мыла, все еще ругаясь, всхлипывая, высказываясь.

Утром в болес или менее прибранном доме пахло хлебом, на столе остывали плоские караваи из перекишшего горького теста.

— Жрите! — коротко бросала девкам и внукам, все еще опасливо выглядывающим из-за косяков дверей, из углов, тетка Авдотья: — Да собачонке не забудьте дать.

День, другой, третий, иногда и неделю налаживалась и входила в берега разлаженная, выбитая из колеи жизнь в доме тетки Авдотьи. Потихоньку, помаленьку девки, их дети, затем и сама тетка Авдотья начинали выходить за ворота, являлись селу и людям.

— Сошла луна с ущербу, — понарошке крестилась бабушка. — Чё не заходишь-то?

Тетка Авдотья, пробурчав: «Мы бедны, вы богаты», — отвернувшись, проходила мимо. Одевалась она в эту пору во все драное, старое, заношенное, чтоб треснутые пятки

из обуток было видно, чтоб все понимали, какая она несчастная, отверженная, всеми брошенная.

Но вот в прибранном, угоенном доме, во время рукоделия или при починке изорванной одежды, теребления ли пера, а то и у прялки, тетка Авдотья тоненько, без слов принималась чего-то в забывчивости напевать, потом и на слова переходила. Ну, дети уж тут как тут, не отстанут от родимой матушки, радостно подхватят, поведут — заслушаешься. И дойдет у них дело до самой жалостной, самой близкой их сердцу песни про коварную и изменчивую любовь. Хотя и есть в песне предупреждение: «Не любите моряка, моряки омманут», — все равно не устоять слабому девичьему сердцу под напором страстей, и дело заканчивается известно чем: «Месяц светит за окном, дождь идет уныло, а в руках она несет матросенка сына».

И как разольются по селу, отзвонят отчаянные голоса тетки Авдотьиных девок, долго еще смотрит в окно, в пространство слепыми от слез глазами сама тетка Авдотья. И чего она там видит, об чем думает и страдает? Спихватится, встряхнется и с протяжным вздохом молвит тетка Авдотья, ловя рукой иголку или веретено:

— Ох, девки, девки! Блядишшы вы блядишшы, я пропаду, и вы пропадете.

Не встречал я людей на свете, кроме бабушки и тетки Авдотьи, которые бы так люто «считались», как у нас называют бабью перебранку, и все же так прочно дружили бы, жалели одна другую и подсобляли в трудные дни.

Вот к тетке-то Авдотье и подалась бабушка с намерением перебить у нее все окна, битые не раз уже и не два разными другими людьми. А пока она бегала, выясняла обстановку, дед вернулся с реки, забрался на свой курятник и спокойно уснул.

Неизрасходованный заряд сжигал бабушку, и утром она выпалила его в деда. Тот выслушал бабушку сдержанно, лишь поскорбел лицом, и борода его, под Пугачева стриженная, раза два прошла вверх-вниз, чего бабушка, к несчастью, не заметила и вовремя не застопорила. Не дослушав до конца бабушку — завелась она надолго, — дед пошел во двор, вывел коня Ястреба, вынул заворину из ворот, забросил ее в гущу крапивы, и, смекнувши, к чему клонится дело, я ринулся в избу:

— Баб, а баб! Дедушка уезжает!..

— И понеси лешак! — с прежним накалом в голосе крикнула бабушка.

Бунт деда дошел до такого накала, что он и не запер ворота, оставил их распахнутыми и, более того, не поднял доску в подворотне, разнес ее телегою в щепье.

— И не запирай! И не запирай! — кричала бабушка с крыльца. — И я не запру! И я не запру! Стыдобушки-то! Сраму-то! Смотрите, люди добрые, как у нас ворота расхабарены! Дивуйтесь! Поло! Кругом поло! У тебя поло-то! У тебя!..

Так кричала бабушка, а сама поднималась на цыпочки, вытягивала шею, надеясь, что дедушка погром учинил сгоряча и одумается еще, воротится. Но за кладбищем телега загромыкала по камешнику Фокинской речки, с бряком, звяком пропеслась в гору и исчезла в сосняке. Ястреб, перепуганный тем, что смиренный и молчаливый хозяин, стоя во весь рост в телеге, рычал, хлестал его вожжами, мчался в гору прытче племешного жеребца, по направлению к заимке, где оставалась еще наша избушка, не занятая сплавщиками, потому как стояла далеко от запани.

Кольча-младший заменил на сенокосе дедушку, чтобы высвободить его в помощь бабушке. А помощник-то, вон он, был и нету!

— Ха-рашшо-о-о! Харр-ра-шо-о-о! Очень даже славно! — подбоченилась бабушка, когда звук телеги умолк в лесу. — Съедутся детки родимые, где тятя — спросят. Внуки, деточки малые — где наш дедушка родимый? А я скажу имя: милые мои деточки, ударила ему моча в голову, и умчался ваш Илья-пророк ко всем лешакам, токо телега загремела! И поймите вы, мои родимые, скажу я имя, какая моя жизнь была с таким человеком! Ведь он на лес глянет — и лес повянет! Сколько же мук приняла я, горемышна-а-а...

Попусту причитать и высказываться бабушке недосуг, она говорила, бранилась и напевала, управляясь по хозяйству, но ворота не закрывала и мне закрывать не веле-ла. С уязвленностью и тайной болью она все повторяла: пусть люди посмотрят, пусть полюбуются и рассудят, какова ее жизнь и какие она страдания перенесла на своем веку.

До самой ночи ворота были полыми, но когда стемне-ло, пришлось нам их все же закрывать. Надежд на возвращение дедушки больше не оставалось. Пока нашли мы

в жалице заворину, пообстрекались оба с бабушкой. Она примачивала мои волдырями взявшиеся руки и уже вяло, на последнем накале грозилась:

— Посидишь вот голодом-то, посидишь!.. Ишь, сбрындил! Че и сказала-то! Ну, не выпивал, дак не выпивал. Я тоже нервная, тоже могу лишнее брякнуть!.. Конишку-то, конишку забьет! В ем, в крехтуне, зла этого!.. Ой, забьет!..

Почти весь следующий день бабушка крепилась, сохраняя твердость, все разговаривала так, будто дед — вот он, рядом, но потом сдалась, наладила заплечный мешок с харчами, снарядила меня на заимку.

— Кольчу мне жалко, Кольчу, — толковала мне бабушка. — Сам-от хоть седни, хоть завтра с голоду окочурься — не охпу. И не единой слезы не уроню. Ни единой!.. — Бабушка притопнула и кулаком в сторону заимки погрозила. Но за воротами начала переминаясь, поправлять на мне мешок и конфузливо просить: — Созови дедушку-то, созови. Бычка колоть надо. Делов полон двор!.. Созови. Он идравный, но тебя послушат!.. Созови, батюшко!..

Легко сказать — созови, а как созову? Затруднительно! Малейшая оплошность могла обернуться еще большим отчуждением дедушки от дома.

Дед встретил меня на заимке хмуро, и перво-наперво надо было ликвидировать его мрачное настроение. Как ни в чем не бывало включился я в дела, схватил ведро, зазвенел им и побежал к ключу. Затем развел огонь, намыл картошек, заорал:

Распроклятая картошка,
Что ж ты долго не кинишь?
Гости все исцеловались.
Ты холодная стоишь!..

Эть, клонуло! Дедушка потянул воздух широкой ноздрей и ухмыльнулся в бороду.

— Где соль, деда?

Он воззрился на меня с досадою: даже тут, вдалеке от постылого дома, ему покоя нет, даже тут, в тайге дремучей, не дают ему побыть в гордой уединенности, что ж ему — в землю закапываться?

— Где же ей быть? В избе!..

Еще клонуло! Выдавил из деда слово — это не так уж мало! Еще Кольча-младший скорее бы с покоса вернулся,

тогда мы совсем быстро деда одолеем. Кольче-младшему не с руки поститься вместе с дедом, в деревню ему охота, по вечеркам шляться.

Соль соленая-ядренная,
Тра-га-га-га...

орал я громче прежнего и бухнул в картошку одну горсть соли, прицелился другую бухнуть, но тут:

— Соль-то покупная...

Ага-а-а, дедушка-соседушка, все же о добре-то печешься! Не наплевать, значит, тебе на хозяйство. Думаешь, стало быть, заботишься. Пока еще меня ни о чем не спрашиваешь, пока еще делаешь вид: мол, пусть все горит-попыхает — и не охну, и не загорюю, освободился от оков...

Картошки сварились. Я отлил воду, поставил чугунок на стол. Хлеб парезал, шаньги картофельные из мешка вынул, простокваши две кринки выставил. Дед ни малейшего внимания, курит табак, ничего больше не делает. Сидит на чурбаке, смотрит вдаль, за Ману, полный презрения к хозяйству и труду, и от него дым, как от парохода.

— Позвать Кольчу-то?

— Зови. Мне што?

Я мчался в поле, издали махал рукой, кричал:

— Дя-а-а-а Коля-а-а! Дя-а-а-а Ко-о-оля-а-а-а!

Кольча-младший огораживал стог сена, вязал прутьями колья, зарубал жерди. Рубаха у него навывпуск, в волнистом чубе запутались сухие травинки и щепочки. Я упал в тенистое укрытие стога. Кольча-младший быстрее доделывал огорожу, расспрашивал про бабушку, про дом и как у нас дела идут. В пути от зарода до заимки мы договорились с ним о дальнейших действиях. Под видом неотложных дел он уберется после обеда с заимки. Дед, надо полагать, долго не выдержит одиночества и тоже, глядишь, соберется домой, в село.

— Только ничем ему тут не досаждай и не серди, — наказывал дядя. — Смотри, не сделай промашку!

Сполоснувшись в реке, Кольча-младший сел за стол и крикнул в открытую дверь:

— Тятя, ты чего ись-то не идешь! Ждем ведь!

— Бу-бу-бу.

Дед бубнит в бороду, чего бубнит — разбери попробуй! Наконец появился, строго и печально перекрестился на деревянную икону. Мы с Кольчей-младшим чистили

картошки, стараясь не глядеть на него. Сначала нехотя, замедленно ел дед, выбирая из чугуна кособокие, маленькие, поврежденные картохи, долго, с кряхтением чистил, круто их солил. Сплошная скорбь наш дедушка. Кольча-младший отворачивался к окну, будто на коней смотрел, я держался из последних сил, чтобы не прыснуть. Все тогда пропало.

Постепенно дед разошелся в еде, и мы прикончили весь харч, привезенный из дому, — бабушка послала еды в обрез, чтобы раздражить мужиков домашней снедью и выманить их с заимки. Кругом тонкая политика.

После обеда я забрался на полаты, Кольча-младший, как и договорено было, смотрелся с заимки в село. Дед ходил по двору, бубнил, постукивал топором.

Переломный сейчас момент. Дед может одолеть обиду, а может и окончательно раздумать возвращаться в село. Очень он характерный у нас. Но вот звякнули удила оброти, дед перестал колесить по двору. Ушел за конем.

Сломался дед!

Вскоре по деревянному настилу застучали копыта. Слышно было, как дед заводил в оглобли и пятил к телеге неповоротливого Ястреба, затем собирал шмотки, шарился в сенках, отыскивал замок и ключ.

— Спать, што ли, сюда явился? — недовольно, в пространство обронил он.

Я нехотя спустился с полатей, потянулся, зевнул, будто разоспался.

В телеге свежее сено. Я плюхнулся на него брюхом и тронул со двора заимки. Дед закрывал ворота, я ждал. Долго закрывал ворота дед. Не раздумал бы. Нет. Сморкается, закуривает основательно — на дорогу.

Всю дорогу я видел непоколебимую дедушкину спину. Он не разговаривал со мной и не понукал Ястреба, ехал домой словно бы по повинности. На полпути, не оборачиваясь, мрачно полюбопытствовал:

— Сама послала?

Я прикинул — Королев лог проехали, скоро спуск к селу начнется и возвращаться на заимку никакого резона нет.

— Сама.

— А-а-а!.. То-то!

Из этих звуков, выдавленных дедом в бороду, я сделал заключение: дед наслаждался мстостью и торжествует. «А-а-а» — значит, достукались, довели человека до крайности

— и что получилось? «То-то!» — значит, какой бы я ни был «толстодум» и «крехтун», но без меня не обойтись, потому как хозяином я в доме был и хозяином останусь. Сколько бы вы там ни фордыбачили. И праздник без меня не праздник, да и в будни я еще пригожуся..

— Н-но, Ястреб! Н-но, Ястребушко! — шевелил вожжами дед и к дому подкатил на рысях.

Бабушка ворота открывала. Ястреба под узду брала, по двору не ходила она, а прямо летала, на меня смотрела благодарно, на деда — заискивающе, и все разговаривала, разговаривала. Дед никакого пока ей ответа не давал.

— Может, с устатку выпьешь? — за ужином предложила бабушка и примчала из горницы шкалик водки.

Дед вылил водку в фарфоровый бокал, опрокинул ее, крикнул одобрительно и принял за щц.

В доме пашем наступил мир.

Гости съезжались по-разному. Кольча-старший приехал из города с женой своей Натальей на сплавщицкой моторке. В город они смотались во время коллективизации и жили там крестьянским хозяйством. Жили по-чуждому: работали день и ночь, торговали на базаре, рядились за каждую копейку, потом все накопленные деньги бесшабашно, весело прогуливали и начинали снова копить.

Дядя Вася с тетей Любой пришли из Базаихи пешком, через горы. Люди они очень похожие друг на друга — аккуратные, добрые, — бабушка души в них не чаяла. Оба работали в Лалетинском опытном саду, тетя Люба — садовницей, дядя Вася — рабочим. Они принесли с собой красных яблочек, еще терпких и горьковатых. Поскольку большинство ребят, в том числе и я, никогда не видели яблук, то страшно обрадовались такому гостинцу и горькие, вяжущие эти яблоки съели за милую душу.

Маня — тетка — белая лебедка, как ее дразнили в семье, с мужем Зыряновым приплыли на лодке от Манского шивера, приплавляли стерлядей и таймененка и, вручая бабушке, говорили, мол, красна изба углами, а сибирский праздник — рыбными пирогами. Зырянов работал бакенщиком, и у него была грыжа, которую он подвязывал красным ремнем. Детей у тети Мани и Зырянова не было, поэтому жили они прижимисто, богатынько. Бабушка недолюбливала Зырянова, звала его только по фамилии, тетку Марию жалела, но в жизнь их не вмешивалась. «Муж да жена — одна сатана» — скромно повторяла она, но

касались эти слова лишь тети Мани и Зырянова, остальных детей бабушка и в супружестве тревожила своими решительными действиями.

Объявились, как всегда, новые родственники, и, как всегда, прибыл гость в пеленках — сын которой-то бабушкиной племянницы. Бабушка немедленно распеленала его, как бы между прочим осмотрела: пеленки чисты ли и не в рубцах ли. Провела рукой по грудке и по пузцу кривоногого мужика. В ответ на это действие молодой сибиряк блаженно потянулся, зажмурился, выдал крепкий звук, отчего все захохотали.

— Вот еще новожитель! — ворковала бабушка. — Нашего полку прибыло! Пупок узелком, ноги кругляшком, дух хлебнай — па-а-ахарь будет, па-а-ахарь! — И человечко заулыбался вдруг, молодая мама, наслышанная о том, что за характер у бабушки Катерины и каково ей потрафить, стоявшая до этого ни жива ни мертва, заткнула рот и нос платком. Бабушка, и сквозь землю зрящая, прикрикнула:

— Расклеви парня-то!

Во дворе кружатся мужики, вспоминают, что и как тут было прежде, радуются тому, что мало чего изменилось и, перешибая один другого, вспоминают: то как он, Вася, свалился с крыши в загон и сел верхом на корову, отчего бабушка, доившая корову, едва умом не тронулась; то как они с Иваном лазили за огурцами к Тимше Верехтину и как он палил по ним из восьмикалиберного дробовика, заряженного дресвой; то как укусил Васю уросливый Карька, Вася обозлился и сам Карьку укусил, так после этого Карька лишь Васю к себе и подпускал, больше никого за людей не считал; то как купались в Енисее с утра до ночи, иной раз в заберегах еще начинали; то как зорили птичьи гнезда (дураки же были, сй-Богу!); то как на заимке работали и мать прибежит, бывало, на пашню, распушит и девок и парней за нерадивость, возьмется показывать трудовой пример — свяжет снопик-другой натуго и тут же мчится в село либо на соседнюю пашню, где тоже надо командовать, давать указания, но некому этим ответственным делом заниматься.

— А помнишь?

— А помнишь? — слышалось со всех сторон.

И седые мои дядья, теткы смеялись и молодели лицом. Были они почти все рыжеваты, конопаты и скуласты. Самые рыжие — Кольча-старший и дядя Ваня, дальше,

как утверждали дядья и тетки, краски на всех не хватило и пошел цвет пожиже. Кольча-младший вовсе рус, и конопатин на его долю досталось всего ничего — щепотка.

Ворота почти не затворяются, щеколда бренчит праздничным набатом — родня прибывает и прибывает. То и дело слышится присказка: «Скок на крылечко, бряк во колечко — дома ли хозяева?» Соседи, друзья дядей и теток, давно не видевшиеся, заходят поздороваться, перемолвиться словом. Их не очень настойчиво приглашают завтра быть гостями. Праздник семейный, и всяк в селе знает, что в таком празднике чужим быть незачем.

Жители нашего села состояли в основном из четырех колен родственников, и четыре фамилии главенствовали в нем. Самая распространенная фамилия — Фокины, затем — Шахматовы, затем наша — Потылицыны, а затем уже негустая, но отчаянная фамилия — Верехтины. Когда гуляла какая-нибудь из этих фамилий, ее никто не тревожил, хотя заведено у нас было гулять, перебираясь из дома в дом. Бывало, если человек слабоват, пока из одного конца села до другого доберется, то уж у него отпуск просрочен и ему зеленые чертики являются. Тогда тащили его в баню, отмывали, отпаривали, брызгали с помела водою — чтобы чертей отогнать, — и таким образом возвращали семье и труду.

Драк в общих гулянках случалось шибко много, так много, что огороды, выходявшие на улицу, за зиму бывали разгорожены до основания, жерди и колья потрачены в битвах, как первейшее сподручное орудие.

Но в семейных праздниках гуляли осповательно, спокойно и редко кто срывался, если и срывался тот или иной родственник, вспоминая какую-либо давнюю обиду, его или уговаривали, или дружно связывали, не давали войти в распал.

Пожалуй, только Верехтины отличались неумным буйством. Они почти все жили в одном переулке, гуляли обычно в Троицу, и можно было слышать из верехтинского переулка хруст ломаемого дерева, крики: «Караул!», «Мама!», «Пусты меня!» Затем грохал восьмикалиберный дробовик, следом за ним слышался голос кривоногого Тимши Верехтина, самого старшего в родове:

— Пер-ры-стреляю-у-у! Всех уложу-у-у-у!..

Никто в верехтинский переулок в эту пору не совался, хотя узнать хотелось, что и как там? И когда являлся из переулка немой Кирила, родственник Верехтиных, его

облепляли женщины и тормозили расспросами. Кирила плакал, и по его носатому, большому лицу на вышитую плисовую рубаху катились слезы. Очень жалели все люди трудягу мужика, угодившего в такую неподходящую для него родню.

— Па-па — пу-у-ух! — изображал Кирила, как из дробовика палил Тимша. — Мама — ой-ой-ой!.. Я — у-у-у!

И он показывал, как растаскивал братьев, но они порвали па себе рубахи, побили в избе посуду и на нем хотели порвать рубаху, да он ушел, устал потому что, и глаза его не глядели бы на такую жизнь. Пожалуй, пойдет он сейчас и утопится. Кирила отправлялся дальше, неся утробный, протяжный звук, бабенки, что побойчее, приближались к верехтинскому переулку:

— Вот, достукались! Кирила топиться пошел!..

Из-за верехтинского заплота посылали всех подальше. Собирая на груди изодранную кофту, с вечным сипяком под глазом, выскакивала из ворот «сама» — Платошиха, спрашивала, в какую сторону ушел Кирила, отбегала на безопасное расстояние и кричала:

— Всех он вас, бандитов, обрабливает! Вы его мизинцу не стойте! Чтобы вы сегодня же поиздыхали! Чтобы вы все по тюрьмам поизгнивали!..

Улица сочувственно расступалась перед женщиной, наша бабушка, вечно недовольная дедом, мною, детьми, не удержалась и как-то изрекла признание:

— Нет, не скажу худого про своих ребят и про мужа свово. Синяка единого не нашивала. А эт-то чё жа, матушки вы мои, родну мать чуть чего — и в кулаки! Да распоследнее это дело! В сельсовет надо жаловаться. В сельсовете-ет.

— Ага, поди пожалуйста, — поддакивали ей. — Митроха-то чьего корня отросток? То-то и оно-то!

Бабушка не раз говаривала, что ребят своих держала строго, даже излишне строго, зато имеет результат. Она и посеичас още напускала на себя суровость, чтоб сыны ее и дочери — ишые из них уже и сами деды! — не забывали, кто она и что она. «Робяты» охотно доставляли ей удовольствие властвовать над ними и гнету не испытывали, попавши под эту, как бы уж и невзаправдашнюю, кратковременную власть.

В сбившемся на ухо платке, бабушка выпорхнула во двор, прервала праздное времяпрепровождение.

— Робята! Мужики! Вы какво же дьявола сидите, табак переводите?

— А чё нам делать-то?

— Как это чё? В ночь поельцовали бы. Я бы вам такое жарево спроворила!..

— Да сети-то где ж?

— Сеги? У мамы все есть! Мама все сбережет! — ударила бабушка себя в грудь кулаком, и мужики полезли на сарай, повторяя громко, чтоб бабушка слышала: «Ну, мама! Ну до чего бережлива! Ну радость нам!..»

Слышно, как бренчали кибасья сетей на сарае, как там довольно и возбужденно переговаривались мужики, женщины с безнадежностью требовали:

— Рубахи-то чистые хоть бы поскидывали! А тебя уж подхватит! — пелили они бабушке сердито. — Перетонут ишшо...

Бабушка вознамерилась вступить в спор, но тут раздался звонкий, бесшабашный голос тетки Августы:

— Много вас, не надо ль нас?

— Я-ави-ила-ась, голубушка, я-а-ави-ила-ась! — обрушилась на нее бабушка. — Отчего же не завтра, прямо к столу бы...

Тетка Августа больше всех Потылицыных обижена судьбой. Мужа убили, сын немой, дома своего нет — мается по чужим углам. Она помогала бабушке в будни и в праздники. Бабушка без тетки Августы жить не может, но бранит ее постоянно. Вот уж сколько дней от окна к окну бегала — не случилось ли чего с Августой на сплаве, но стоило ей появиться — бабушка в претензию.

— Я ж на производстве, мама, на сплаву. Не свое — не бросишь, — уронила с горечью Августа, всем как-то неловко сделалось, и бабушка не знала, что дальше сказать. Но Августа сама же все и поправила:

— Тошно мне, Любанька! — протянула она руки, обняла и расцеловала Васину жену, ко всем одинаково ласковую, всеми нежно любимую. Затем тетка Августа обнялась с тетей Талей, с дядей Колей, что-то там сказала, засмеялась — и снова стало весело, дружно в доме.

Минут через десять Августа мчалась уже с подойницей под навес, потом сеяла муку и вся ушла в работу.

Ребятня толкалась на крыльце. Алешка, явившийся к бабушке еще вечером, показывал и толковал мне, как рвет водою цинки на сплаве, какой дают сладкий кисель в сто-

ловке. Я переводил нашей малой и старой родне Алешкины разговоры. Люди дивовались.

— Ат смышленыш! Ат тебе и безъязыкай! Другому и с языком очки вставит!

— Он еще в шахматы играть научился! — после долгих Алешкиных разъяснений вдруг понял я и заорал об этом на весь двор. Бабушка возникла тут же, перепуганная.

— Чего-о-о?

— Алешка в шахматы играет!

— Вот горе-то! Проиграт с себя и с Гуски все!..

Дядя Вася пояснил бабушке, что такое шахматы. Не карты, мол, это, не очко.

— А-а, — успокоилась бабушка. — Все же не играл бы лучше. Мало ли чего.

Дяди Васина и тети Любина дочка Катенька, девочка с бантом, в матроске при якорях, скособочившись, почертила сапдалией землю:

— Я штишок жнаю.

— Да ну?! — удивилась бабушка и присела перед ба-ловаиной девчушкой на корточки, сделала умильное лицо: — Ну-ко, ну-ко, милушка, скажи баушке стишок. — И платок с уха сдвинула бабушка, чтоб все расслышать, ничего не пропустить.

Катенька взобралась на крыльцо, будто на сцену. Дядя Вася потребовал тишины, тетя Люба вся напряглась и покраснела от переживания. Она не спускала глаз с дочки, шевелила губами следом за нею.

Ты, шорока-белобока,
Науси меня летать,
Недалеко, невысоко,
Штабы бабушку видать!

Подхалимский стишок произвел такое впечатление на всех собравшихся и особенно на бабушку, что я не могу этого и описать. Бабушка тут же исчезла с глаз долой, примчала полную горсть лампасеек. Со щедрой отчаянностью она высыпала все до единой конфетки в карманчик Катенькиной матроски, всю ее исцеловала, а дядя и тетки так хвалили Катеньку, такие о ней хорошие слова говорили, что чуть было и меня не пропяли. Я тоже хотел взобраться на крыльцо и громко, с выражением прочесть выученный в школе стих:

В бою схватились двое:
Чужой солдат и наш...

Но бабушка пустит слезу: «Послушала бы да поглядела мать-то, покойница...», и посмотрит на дядьев и теток, чтоб они тоже мне посочувствовали, заодно и ее пожалели. У Кольчи-младшего и у крестной моей — тетки Апроши, которые были вместе с матерью в лодке, но спаслись, лица закаменеют, весь праздник они будут молчать. Женщины дальнего роду станут расспрашивать бабушку, и она примется рассказывать с подробностями, как и что было, как искали в реке мою мать и как нашли уж такую, что она только и узнала ее, да как потом ее хоронили, во что обрядили. Половина гостей загорюет, иные отправятся на кладбище реветь...

А я не хотел слез, потому как слезы еще впереди. Нет плаксивей народа, чем сибиряки в гулянке. Вот почему я не стал декламировать про чужого и нашего солдата, но ребятишкам, братанам своим двоюродным и троюродным, которых шибко много набралось, я все же пробормотал стих, и они очень этим остались довольны. Они тоже терпеть не могли, чтобы девчонки держали в чем-нибудь верх и пуще них глянулись бабушке.

Под вечер мужики с громким говором, возбужденные предчувствием рыбалки, требующей ловкости, сметки и быстроты, отправились на реку и отбыли в двух лодках к острову, чтобы от приверхи его сделать первый замет сетей. Никого из ребят мужики с собой не взяли, и это было мне сильно огорчительно. Любил я участвовать в азартной и хитрой рыбалке плавными сетями.

Но горевал я недолго. Народу наезжего было много, бабушка меня домой не требовала, и мы играли до темноты во всякие игры: и в городки, и в догонялки, и в прятки, и в чехарду. Играли до тех пор, пока не изнемогли. Бабушка вместе с Августой, Апроней и теткой Марией уже затопили печь, выкатывали на столе печенюшки, защищывали пироги, вязали калачи, резали орешки из теста и много чего они мастерили. Нас кормила тетя Люба и все потихоньку выспрашивала:

— Дядя Вася не выпивший поплыл? Не утонут они?

— Любанька! — крикнула из кути бабушка. — Ты гвардии-то в горнице стели. Всем в лежку — не перепутаются. Да сама-то, сама поспи, голубушка. Мы-то ведь привычные, а ты нежная, из хорошего дому...

— Да что вы, мама! Я тоже с вами буду. Как же я лягу? Вот постелю детям и присоединюсь.

— Нет уж, нет уж, Любанька, не перечь! Тут мой устав! Худой ли, какой ли, а мой! Штабы без разговору! И што это за дрожжи такие пошли? Раньше, бывало, на опаре заведешь, эва какие мягкие подымутся! Нонче и на дрожжах чисто рахитные, разъязвило бы их! Может, и удаль не та? Глаз и рука, может, сдали?

Тетки заверяли бабушку, что все нормально, что ни о чем не надо убиваться, и рассказывали друг дружке о том, как жили и живут они, кого встречали за это время, чем хворали они и дети, какая зароботка на сплаве и скоро ли Зырянову грыжу вырежут?

Вот всегда бы, вечно так согласно и жили бы люди, дружно. Так нет ведь, бабы и в первую голову старухи, а от них и молодухи отставать не хотят — все чепляют, чепляют друг дружку, в особенности мужика. Ровно бы мужик — это враг кровный и всегда поперек ее дороги лежит.

Вечер, покой благодный в дому, а она, баба, побрякивает да позвякивает посудой, пошвыривает да побрасывает поленья. В постель идет, в горницу, и одежду с себя не сымает — рвет. «Подвинься! — рычит на мужа. — Разлежся, как боров!»

По всем статьям мужик, если он истинный гробовоз, должен бабу шугануть, столкнуть ее с кровати, но он послушно подвигается, пускает жену под одеяло да еще и подтыкает под спину, чтоб теплее и мягче жене было. И она сразу усмиряется, притихает, старики поскорее уносят лампу в куть. На кровати вроде бы даже и баловаться начнут, шалить, что дети, смешки, шепотки, мир, лад, согласие...

И уяснил я еще в детстве, пусть не буквально-досконально, пусть не до самого дна, но уяснил, что днем, на свету, на народе люди и живут для народа, для других людей то есть, и к народу они оборачиваются угодным тому обликом, отстраненным, сердитым, готовым к отпору, чтобы с отпором не опоздать, первые и набрасываются на всех, в особенности на тех, кто под рукой, кто поближе, но, оставшись наедине друг с другом, люди становятся сами собой и живут друг для друга, пусть и недолго, ночью лишь, но живут, как велит им сердце, сердце, на то оно и живое сердце, чтоб ему худа не было, оно спокой любит и чтоб хорошо было, злом сердце быстро

изнашивается, рвется, словно на гвоздях, стирается, будто колесо о худую дорогу, оно и воистину не камень, хотя и камень поточи, подолби, так рассыплется.

Где-то в середине ночи ударило по избе ароматом стряпни, первыми печенюшками, вынутыми из печи, и тут же в горнице появилась бабушка.

— Робятишки, вы не спите? — шепотом спросила.

— Не-э.

— А чтоб вам пусто было! Нате вот первешьких! Да легче, легче, горячие! Малых-то поразбудите. Любанька, отведай и ты, милая моя!

— Спасибо, мама! Ох, какая горячая!

— Ешь, ешь! — Бабушка присела на минутку к тете Любе. — Как живете-то с Васильем? Ладно ли?

— Ничего живем, не скандалим.

— И слава Богу, и слава Богу! Он ведь хороший, шибко хороший. Из всех парней разумница... — Бабушка замолкла, потянула носом: — Тошно мне! Заговорила! Девки, пятнай их, недосмотрят, завернут башку-то!.. — Бабушка выпорхнула из горницы и прикрыла обе створки дверей.

Когда приплыли мужики, мы не слышали. И тетя Люба тоже проспала, отчего утром конфузилась, дядя Вася поддразнивал ее, страдая: в следующий раз с ельцовкой ухнет до города и такую там стерлядь заловит!..

— Будет болтать-то, будет! — крикнула из кладовки бабушка и протяжно, с подвывом зевнула. — Чего зарыбачили? Два тайменя: один с вошь, другой помене? — Она вышла из кладовой, где поспала часок или два на рассвете, глянула на корзину, полную ельцов, удивилась: — Гляди-ко, попалось!

— На твоего ангела закидывали, мама!

— Ничего ангел-то, рыбистай! — согласилась бабушка и приказала дяде Васе: — Не мылся коло Любы-то, не мылся, ступай с мужиками на сеновал, поспи. Ночь-то пробулькались и с первой рюмки под стол уйдете — с родней видеться... Тебе, Любанька, наказ: всю гвардию накормить и удозорить, чтоб ни один в реку не упал и никуда не десья! Гуска, Апронька, Марья! Хватит дрыхнуть! Вставайте! Экие кобылицы! Солнце на обед.

— Вот ведь печистый дух! — заворчала в кладовке тетка Мария. — Поднимется ни свет ни заря и никому спать не дает.

— Ей чё! Ей дай покомандовать! — поддакнула Апроня.

— Генерал! — вставила Августа.

Одна за другой тетки выходят во двор, потягиваются, зевают, бренчат рукомыльником, и через короткое время они уже снова в ходу, в работе, вялость слетает с них, мягкие лица разглаживаются.

К полудню в горнице накрыты столы. Тетки и бабушка, исчезнувшие на время, явились неммыслимо нарядные, важные. Правда, важничает бабушка да еще тетка Мария. Апроня же и Августа — просмешницы, зубоскалки, хватают их серьезности ненадолго.

Дед распахнул одну створку дверей, бабушка другую и напевно, с плохо скрытым волнением стали приглашать гостей:

— Милости прошу, гостеньки дорогие! Милости прошу отведать угощения нашего небогатого. Уж не обесудьте, чего Бог послал.

А дед сам себе в бороду:

— Проходите, будьте ласковы, проходите!..

Церемонность его угнетала, не по сердцу она ему, но не раз уж корепный бабушкой за то, что и людей-то он приветить не умеет, и слова па них жалеет, дед выполнял обременительную обязанность до конца. Сыны проходили мимо деда, подмигивали ему, ободряли и даже предлагали бросить пост, отправляться за стол. Но бабушка бдила — и дед усмыгнуть к столу не решался.

После шуточной возни, короткой, шумной междоусобицы, стараясь не уронить чего и не облить наряд себе или соседу, расселось большое семейство — взрослые за двумя столами, дети за третьим. К столам еще приделаны подставки, и они совсем как в сплавщицкой столовой — от стены до стены. В конце того стола, который торцом упирался под божницу, два свободных места — дедушки и бабушки.

Стол накрыт по сибирскому закону: все, что есть в печи, в погребе, в кладовке, все, что скоплено за долгий срок, теперь должно оказаться на столе. И чем больше, тем лучше. Поэтому все на столах крупно, нарядно, все ядрено, все зажарено и запечено с красотою, большим старанием и умением.

Студень — гордость стряпух, чуть только жирком подернутый сверху, колыхнулся при появлении гостей в горнице и дрожью дрожит. Прозрачен студень, легок на

вид, но резать его ножом надо. Капуста в пластах, капуста крошевом. Соленые огурцы ломтиками. Петух отварной из чашки лапы выпростал. Рыжики с луком по всему столу на мелких тарелочках радужно улыбаются пестрыми губами. Рыжик у нас не моют перед засолкой, протирают тряпками каждый по отдельности, и от этого грибы не вянут, не темнеют и на зубу хрустят свежо. На двух больших чугунных сковородах зажаренные в русской печи ельцы. Они не пересохишие, но подрумяненные так, что есть их можно с головой — только похрумкивают. Перцу в них, листа лаврового в пору, жиров к ним не добавляют — что за елец, если он своего соку не даст. Тут уж или елец плох, или стряпка никудышняя. Рыбный пирог из таймененка, привезенного Зыряновым. У нас пироги делают по величине рыбы — какая рыба, такой и пирог, лишь бы в печку влез. На сей раз пирог получился невелик, но запашист. Нет лучше пирога, чем из тайменя. Как и к ельцу, в пирог, кроме перца и лаврового листа, ничего не добавляют. Он сам даст сок, жир и аромат.

Шаньги, печенюшки, мясо так, мясо этак. Малосольная стерлядь, верещага-яичница, сладкие пироги, вазы с брусникой, еще прошлогодней, вазы с вареньем черничным, еще позапрошлогодним, хворост, печенье, сушки, орешки, из теста нажаренные!..

Все горой, всего много, все со стола валится.

Сейчас бы есть и пить, да не тут-то было. В последний момент бабушка исчезла, и все сидели, томительно ждали. Дед потоптался, потоптался, буркнул что-то и определился под божницу, на свое место.

— Вечно выламывается!

Поднялись Кольча-старший и дядя Ваня. Они бережно ввели бабушку под локти. В горнице они подморгнули Августе и Апроне, чтоб те не прыснули и не нарушили бы церемониал. Дальним путем, мимо ребятишек, провели бабушку старшие сыновья в передний угол, отодвинули стул:

— Мама, тебе почет и место!

Бабушка знала, как трудно даются речи этим пятидесятилетним ребятам, и на большее не рассчитывала. Скромно так, застенчиво она опустила глаза и дрогнула губами.

— Спасибо, дети мои, спасибо за уважение.

Мимходом она сразила деда взглядом за то, что нару-

шает он ритуал и цену себе не знает. Дед досадливо отвернулся, и борода его заходила вверх-вниз, вверх-вниз.

Это еще не все, далеко не все. Бабушка повернулась к божнице, однако позицию выбрала такую, чтобы все застолье охватить взглядом можно было. И начала креститься. Все задвигали стульями, скамейками, уронили вилку со звоном, зашикали друг на дружку, взрослые перекрестились на образа, малыши и я вместе с ними, к неудовольствию бабушки, остались сидеть. Она ничего нам не сказала, поскольку тут все больше школьники.

Бабушка на месте. Ждет. В роль вступил дед. Из-под стола он выудил четверть с водкой и молча разлил ее по стаканам, тетя Люба наливала в рюмочки, которые мы охотно и наперебой подставляли, брусничной настойки. Четверти хватило лишь на один разлив. Дед поднял граненый стакан, негромко, стеснительно призвал:

— Ну, робята, со свиданьем, за здоровье старухи!

Он первым ударил стаканом о бабушкину рюмку. Над столом стеклянный звяк. Ребятишки тоже чокаются друг с другом. В горницу неслышно, робко втиснулся дядя Митрий, тот самый человек, о которых принято говорить: в семье не без урода. Дядя Митрий — бабушкино страдание, он горький пьяница. Незаметно ото всех бабушка передела дядю Митрия в чистую дедушкину рубаху и штаны. Дядя Митрий меньше деда, и рубаха ему велика, порты висят у колен. Дядя Митрий наскоро умоет и причесан. Он одергивал рубаху суетливыми руками.

Дедушка ногой пододвинул к столу табуретку, бабушка поправила на груди кружевной шелковый платок и с вызовом обвела взглядом застолье: «И позвала! Вы как хотите, а я позвала!»

Татьяны, жепы дяди Митрия, нет. Она к нам не ходит. Опять же из-за бабушки. Татьяна — пролетарья, по выражению бабушки, она активист и организатор колхоза. Все время заседает. Муж и дети ее до того запущены, что видеть это бабушка не может и срамит невестку везде и всюду, подрывает ее авторитет. Однажды бабушку каким-то ветром занесло в клуб, где шло собрание и на сцене держала речь Татьяна. Надо сказать, что недостаток людей в нашем селе определялся по-чуждому. Считалось, например, если у бабы нет штанов, то уж распоследняя это, никудышняя баба, и грош ей цена!

В середине речи бабушка прервала ораторшу:

— Хорошо высказываешься, Татьяна! А вот штаны-то есь ли на тебе?

Бабушка совершенно была уверена, что штанов на невестке нет. Но Татьяна подняла подол и показала всему народу штаны, холщовые, из мешка сшитые, но штаны. Бабушка убралась из клуба под громкий хохот, а Татьяна с тех пор не знает с нею и в доме нашем не бывает.

Дядя Митрий определился в сторопе, на табуретке. Все переминались, ждали чего-то с посудой в руках, покашливали. Августа нашлась первая, расшибла напряжение:

— Ну, подняли, подняли! Рука-то не казенная! Мама, за твое здоровье! Тятя, с именинницей тебя! — и бабушка поощрила деда:

— Пей по всей да привечай гостей!

Истомившиеся мужики быстренько опрокинули водку, и, пока женщины еще жеманились, пригубляли чуть, совесться друг дружки, они принялись за дело: потащили со сковороды ельцов, студень, и никто, кроме бабушки, не замечал, что дядя Митрий спрятал руки под столом и не отпил даже глотка.

Возникла вторая четверть. Теперь уже сыны приняли ее от деда, хватит, мол, поработал на них, пора самим за ум браться. После второй застолье колыхнуло смехом, говором, вскорости ребятишек спросили, наелись ли, дали орехов, конфет и с гостинцами выдворили из-за стола, приставку убрали, чтоб в горнице посвободней было.

Бабушкин праздник начался!

Мы залезли на полаты, оттуда все видно. Алешка представлял из себя вдребезги пьяного человека, и такой он был потешный, что все мы покатывались со смеху.

В горнице раздался властный и насмешливый голос Августы. Подражая Таньке-активистке, она стучала вилок по пустой четверти:

— Мужичье! Тих-ха! Мама, заводи!

— Да где уж мне, девки? Обезголосела я.

— Помогнем!

— Ну уж, ладно уж, будь по-вашему, — смягчилась бабушка, голос у нее такой, будто она век всем уступала:

Тее-че-от ре-с-еченька-а-а-а-а...

Те-ече-т бы-ы-ыстрая-а-а-а...

Бабушка запевала стоя, негромко, чуть хриловато и сама себе помахивала рукой. У меня почему-то сразу же начало коробить спину, и по всему телу россыпью колю-

чек пробежал холод от возникшей внутри меня восторженности. Чем ближе подводила бабушка запев к общеголосью, чем напряженной становился ее голос и бледней лицо, тем гуще вонзались в меня иглы, казалось, кровь густела и останавливалась в жилах.

Ой, да как по то-о-ой
По реке-е-е-е...

Сильными, еще не испетыми, не перетруженными голосами грянуло застолье, и не песню, бабушку, думалось мне, с трудом дошедшую до сынов своих и дочерей, подхватили они, подняли и понесли, легко, восторженно, сокрушая все худое на пути, гордясь собою и тем человеком, который произвел их на свет, выстрадал и наделил трудолюбивой песенной душой.

Песня про реченьку протяжная, величественная. Бабушка все уверенней выводит ее, удобней делает для подхвата. И в песне она заботится о том, чтобы детям было хорошо, чтоб все пришлось им впору, будила бы песня только добрые чувства друг к другу и навсегда оставляла бы неизгладимую память о родном доме, о гнезде, из которого они вылетели, но лучше которого нет и не будет уж никогда.

Вот и слезы потекли по бабушкиному лицу, там и по Августиному, по теги Мариному. Дядя Митрий, так и не пригтронувшийся к вину и к закуске, закрылся рукавом, сотрясался весь, ворот просторной дедушкиной рубахи на шее его подскакивал хомутом.

Бабушка хоть и плакала, но не губила песню, вела ее дальше к концу, и, когда звякнув стеклами, в распахнутые створки окон улетели последние слова «Реченьки» и повторились эхом над Еписеем-рекой, пад темными утесами, в нашей избе началось повальное целование, объяснения в вечной любви, заглушаемые шмыганьем потылицыцких носов, зацепившись за которые и большой ветер остановится и про которые, хвалясь, говорят: пусть небогаты, зато носы горбаты!

— Мама! Мамо-о-онька-а-а!

— А где тятя-то? Тятя-то где? Тя-а-атенька-а-а!..

— Брат ведь ты пам, бра-ат! — обнимали все подряд дядю Митрия.

Он согласно тряс головой и испуганно поглядывал по сторонам. Он совершенно трезв, потерян, одинок тут. Жалко дядю Митрия.

Я тоже плачу, затаившись в уголке, но негромко плачу, для себя, утираю со своего, тоже потылицынского, носа кулаком слезы.

В какой момент, какими путями появляются в нашем доме и оказываются за столом Мишка Коршуков — напарник дяди Левонтия по бадогам и сам дядя Левонтий, — объяснить невозможно. Мишка Коршуков с гармошкой, клеенной по дереву и мехам, дядя Левонтий со своей вечной улыбкой от уха до уха.

— Как у нашего соседа развеселая беседа! — приплясывая, шествовал к столу дядя Левонтий, — Гуси в гусли, утки в дудки, тараканы в барабаны! Ух, ах! Тарабах!

А Мишка Коршуков, вытаращив глаза, коротко доложил:

— Где блины — тут и мы!

— Левонтий! Мишка! Едрит-твою! А ну, сыграй!

— Дай обопнуться людям! — остановила бабушка наседающих на Левонтия и Мишку Коршукова сынов и, полагая, что раз занесло незваных гостей в дверь, глядишь, вынесет в трубу, палила им сразу по полному стакану, поскольку рюмки и прочая подобная посуда для такого народа — не тара — наперсток.

Дядя Левонтий и Мишка Коршуков, стоя рядом, чокнулись с бабушкой, с дедушкой.

— С ангелом, Катерина Петровна! С праздничком! Со свиданьем!

— Кушайте, гости, кушайте, дорогие!

Бабушка притронулась губами к рюмочке и отставила ее.

— Гостю — воля, имениннику — почет!

Мишка Коршуков и дядя Левонтий пили удаю, согласованно, будто бадоги кололи, кадыки у них громко, натренированно двигались, в горле звонко булькало.

— Хороша совецка власть, да горьковата! — возгласил дядя Левонтий и сплюнул под стол.

Мишка высказался, как всегда, следом за старшим товарищем:

— Нет той птицы, чтоб пила-ела, но не пела! — и поднял с пола гармошку, пробежал по пуговицам проворными пальцами.

Ребятишки столпились в дверях горницы, ждали музыки с замиранием сердца. И вот пошла она, музыка! Мишка Коршуков широко развел гармошку и тут же загнул ее немислимым кренделем. Оттуда, из заплатного

этого кренделя, чуть гнусава, ушибленная, потому как Мишка не раз уже разрывал гармонь пополам, вынеслась мелодия, на что-то похожая, но узнать ее и тонкому уху непросто.

Мишка дал направление:

Раз полосу Маша жала,
За-ла-ты снопы вязала-а-а-а,
Э-эх, мо-ло-да-ая-а-а-а...

И все радостно подхватили:

Э-эх, мо-ло-да-ая-а-а-а...

Сделав начин, Мишка наяривал, подпрыгивал на скамейке, будто на лошади. Ему сунули в руку стакан с водкой, он выждал момент, когда можно отойти на второй план, когда песельники справятся и без него, подыгрывая одной рукой на басах, другой поднес стакан ко рту.

— Ты бы закусил, Мишка! — предлагала бабушка, но гармонист мотал головой: погоди, некогда. Август поднесла ему кружок огурца на вилке. Он снял его губами, подмигнул Августе, она ему — и они ровно бы о чем-то уговорились. Мишка перекинул пальцы, и пока мужики, не разобравшись, что к чему, пели:

Мо-о-лода-а-ая-а-а-а... —

бабенки тряслись вокруг стола под «Барыню», выплескивались из горницы в простор средней. Гармошка со всхлипом, надрывом и шипом выдавала из дырявых мехов отчаянную плясовую.

Гулянка вошла в самый накал; народ распался от пляски, прибавлял шуму, визгу, топоту. Теперь уж всяк по себе и все вместе. За столом остались дедушка, старухи, тетя Люба-скромница и трезвый, все так же пеньком торчащий дядя Митрий, который боялся вынуть руки из-под стола, потому что грязны они, покорябашы, да как бы и не схватили сами собой стакан.

Объявилась тетка Васеня, суровым взглядом сразила она мужа, дескать, затесался, не обошлось без тебя. Дядя Левонтий, на крепком уже взводе, возгласил:

— А вот и жена моя, Васеня, Василиса Семеновна! Хар-роший человек! Ну, чё ты, чё ты уставилась? Судишь меня? А за что судишь? Я ж тут свой! Еще свой-то какой! Правда, тетка Катерина? — за этим последовал крепкий поцелуй и объятие такое, что бабушка взмолилась:

— Задавил, ой задавил, нечистый дух! Эко силищи-то! Вот бы на работу ее истратить...

— А-люблю потылицынских! Пуще всякой родни! Из всего села выделяю!..

Васеню втащили за стол, усадили рядом с дядей Левонтием к уже разгромленному столу. Она для приличия церемонилась, двинула локтем в бок мужа. Он дурашливо ойкнул, подскочил. Все захохотали. Засмеялась и Васеня.

— Хочешь быть сыта — садись подле хозяйки. Хочешь быть пьяна — трись ближе к хозяину! — советовали Васене, на что она оживленно отозвалась:

— А я у обох!..

А бабье плясало и выкрикивало под Мишкину гармонь, которую он рвал лихо, нещадно, и, дойдя в пляске до полного изнеможения, гости валялись за стол, обмахивались платками, беседовали разнобойно, всяк о своем.

— Што ж, гости дорогие! Хоть и много выпито, но опричь хлеба святого да вина клятого все приедливо, стальть, ошарашим еще по единой!

— Да-а, Катерина Петровна, беда учит человека хитрости и разумелью. До голодного года скажи садить резаную картошку — изматерились бы, исплевались.

— И не говори, сват. Темность наша.

— А назем взять? Морговали?

— Я первая диковала: «Овощ с дерьмом ись не буду!»

— Во-от! А вышло: клади назем густо, в апбаре не будет пусто!

— И не зря, сват, не зря самоходы сказывают — добрая земля девять лет назем помнит...

— Тятя, закури городскую.

— Не в коня корм, Вася. Кашляю я с паперес. Ну да одну изведу, пожалуй.

— Я ему шешнадцать, а он — десять! Я шешнадцать! Он десять! — рубил кулаком Кольча-старший.

— На чем сошлись?

— На двенадцати.

— Вот туг и поторгуй! Жизнь пошла, так ее!

— Н-на-а, лихо не лежит тихо, либо валится, либо катится, либо по власам рассыпается...

— ...И завались сохатый в берлогу! — рассказывал дядя Ваня, давно уже забросивший охоту, потому как прирос к сплавному пикету. — А он, хозяин-то, и всплыл оттуда! Я тресь из левого ствола! Идет! Тр-ресь из правого! Идет!

— Иде-от?

— Идет! Вся пасть в кровище, а он идет. Цап-царап за патронташ — там ни одного патрона! Вывалились, когда сохатого гнал...

— Билитристика все это! — ехидно заметил грамотей Зырянов. — Со-чи-ни-тельство!

— Вякай больше! Чё ты в охоте понимаешь? Сидел бы с грыжей со своей и не мыкал...

Бабушка вклинилась меж Зыряновым и дядей Ваней — сцепятся за грудки, чего доброго...

— Не пьют, Митрей, двое: кому не подают и у кого денг цету. Но чур надо знать! Норму.

— И только поп за порог — клад искать, — а русский солдат шу-урх к пападье-еэ под одеяло-о-о!.. — напевал Мишка Коршуков Августе в ухо.

— Руки зачем суешь куда не следует? Убери! Вон она, мама-то... Все зрит!

— Вот рыба таймсьн, так? — уминал пирог и спрашивал у близсидящих бабенок дядя Левонтий, про которого, смеясь, говорили они, что-де где кисель, тут он и сел, где пирог, тут и лег. — Я когда моряком ходил, спрута жареного ел!

— Каво-о-о?

— Спрута! Чуда такая морская есть — змей не змей: голова одна, хвостов много. Скусная, гада, спасу нет!

— Тьфу, страмина! — плевались бабы. — И как токо Васеня с тобой цалуется?

— Кто про чё, а вшивый все про баню! — махнул Левонтий.

— Такого заливалы ишшо не бывало! — смеялись и трясли головами гости.

— И што за девки пошли! Твои-то мокрошшэлки закидали тебя ребятишками, закидали! Распустила ты их, Авдотья, ой расппустила!

— Дакыть и мы не анделицами росли, Марея. Нас рано замуж выгталкивали. Тем и спасались... Да ну их всех, и девок, и мужиков! Споем лучше, бабы?

Тонкий голос тетки Авдотьи накрыл и, точно пирог, разрезал разговоры:

Люби меня, детка, покуль я на воле,

Покуль я на воле — я твой.

Судьба нас разлучит, я буду жить в неволе,

Тобой завладеет другой...

Тетка Авдотья вкладывала в эту песню свой, особенный смысл.

Родичи, понимая этот смысл, сочувствовали тетке Авдотье, разжалобились, припев хватанули так, что стекла в рамах задребезжали, качнулся табачный дым, и казалось, вот-вот поднимется вверх потолок и рухнет на людей. Пели надрывно, с отчаянностью. Даже дедушка шевелил ртом, хотя никогда никто не слышал, как он поет. Гудел басом вдовый, бездетный Ксенофонт. Остро вонзался в песню голос Августы. На наивысшем дребезге и слезе шел голос тетки Апрони, битой и топтанной мужем своим, который уже упился и спал в сарае. Сыто, но тоже тоскливо вела тетка Мария. С улыбкой и чуть заметным превосходством над всей этой публикой подвывал Зырянов. Ладно вела песню жена Кольчи-младшего Нюра. Она вовремя направляла хор в русло и прихватывала тех, кто норовил откачнуться и вывалиться из песни, как из лодки. Ухом приложившись к гармошке, чтоб хоть самому слышать звук, с подгрясом, словно артист, пел Мишка Коршуков.

Пели все, старые и молодые. Не пела лишь тетя Люба, городской человек, она не знала наших песен. Прижалась она к груди мужа безо всякого стеснения, и по ее нежному, девчоночьему лицу разлилась бледность, в глазах стояли жалость, любовь и сознание счастья оттого, что она попала в такую семью, к таким людям, которые умеют так петь и почитать друг друга.

Тетку Авдотью, захлебнувшуюся рыданиями среди песни, повели отпаивать водой. Однако песня жила и без нее. Тетка Авдотья скоро вернулась с мокрым лицом и, подбирая волосы, снова вошла в хор.

Все было хорошо, но когда накатили слова:

Я — вор! Я — бандит! Я преступник всего мира!

Я — вор! Меня трудно любить... —

дядя Левонтий застучал себя кулачищем в грудь, давая всем понять, что это он и есть вор, и бандит, и преступник всего мира. Еще в молодости, когда плывал дядя Левонтий моряком во флоте, двинул он там кому-то по уху или за борт кого выбросил, точно неизвестно, и за это отсидел год в тюрьме. Сидевших в тюрьме, ссыльных, пересыльных, бродяг и каторжашцев, всякого разного люду с запутанной биографией дополна водилось в нашем селе, но переживал, из-за тюрьмы один дядя Левонтий. Да и тетка Васеня добавляла горечи в его раненую душу, обзывая под горячую руку «рестантом».

— Да будет тебе, будет! — увещевала мужа Васеня, залитого слезами с головы до ног. — Ну, мало ли чё? Отсидел и отсидел, больше не попадайся...

Дядя Левонтий безутешен. Он катал лохматую голову по столу среди тарелок. Вдруг поднял лицо с рыбьей костью, впившейся в щеку, и у всех разом спросил:

— Что такое жисть?

— Тошю мне! С Левонтием начинается! — всполошилась бабушка и начала убирать со стола вазы и другую посуду поценней.

— Левонтий! Левонтий! — как глухому, кричали со всех сторон. — Уймись! Ты чего это? Компания ведь!

Тетка Васеня повисла на муже. Кости на его лице твердели, скулы и челюсти натянули кожу, зубы скрежетали, будто тракторные гусеницы.

— Нет, я вас спрашиваю — что такое жисть? — повторял дядя Левонтий, стуча кулаком по столу.

— Мы вот тебя вожжами свяжем, под скамейку положим, и ты узнаешь, што тако жисть, — спокойно заявил Ксенофонт.

— Меня-а? Вожжами?

— Левонтий, послушай-ко ты меня! Послушай! — трясла за плечо дядю Левонтия бабушка. — Ты забыл, об чем с тобой учитель разговаривал? Забыл? Ты ить исправился!..

— С... я на вашего учителя! Меня могила исправит! Одна могила горькая!

Дядя Левонтий залился слезами пуще прежнего, смахнул с себя, словно муху, тетку Васеню и поволок со стола скатерть. Зазвенели тарелки, чашки, вилки. Женщины и ребятишки сыпанули из избы. Но разойтись дяде Левонтию не дали. Мужики у Потылицыных тоже неробкого десятка и силой не обделены. Они навалились на дядю Левонтия, придавили к стене, и после короткого, бесполезного сопротивления он лежал в передней, под скамейкой, грыз зубами ножку так, что летело щепье, тетка Васеня стояла над мужем и, тыча в него пальцем, высказывалась:

— Вот! Вот, рестант бесстыжой! Тут твое место! Какая жизнь с тобой, фулюганом, пушшай люди посмотрят...

На столе быстро прибрали, поправили скатерть, добыли новую четверть из подполья, и гулянка пошла дальше.

О дяде Левонтии забыли. Он уснул, спеленатый вожжами, будто младенец, жуя щепку, застрявшую во рту.

В то время, когда утомляли дядю Левонтия и все были заняты, взбудоражены, бабушка потихоньку поставила стакан перед дядей Митрием, все так же безучастно и молчаливо сидевшим в сторонке.

— На, вышей, не майся!..

Дядя Митрий воровато выплеснул в себя водку и убрал руки под стол.

— Да поешь, поешь...

Но дядя Митрий ничего не ел, а когда бабушка отвлеклась, цапнул чей-то недопитый стакан, затем еще один, еще. Его шатнуло, повело с табуретки. Бабушка подхватила дядю Митрия, тихого, покорного, увела и спрятала в кладовку, под замок. Затем она наведальась на сеновал. Там вразброс спали и набирались сил самые прыткие на выпивку мужики. Когда-то успела оказаться здесь и тетка Авдотья. Она судорожно билась на сене, каталась по нему, порвала на груди кофту. Ей не хватало воздуха, она мучилась. Бабушка потерла ей виски нашатырным спиртом, затащила в холодок, подальше от мужичья, прикрыла половиком и, горестно перекрестив ее и себя, спустилась к гостям.

Гулянка постепенно шла на убыль. Поздней ночью самых стойких мужиков дедушка и бабушка развели по углам да по домам. Затем бабушка обрядилась в фартук, убрала столы, подмела в избе, проверила еще раз, кто как спит, не худо ли кому, и, перекрестившись, облегченно вымолвила: «Ну, слава Те, Господи, отгуляли благополучно, кажись?..» Посидев у стола, отдышавшись, она еще раз помолилась, сняла с себя праздничную одежду и легла отдыхать.

Гуляки спали тяжело, с храпом, стонами и бормотаньем. Иногда кто-нибудь затягивал песню и тут же зажевал ее сонными губами.

Кто-то вдруг вскакивал и, натыкаясь на стены, бясь о притолоку, шарил по двери, распахивал ее и, громко бужая половицами, мчался во двор.

И почти до петухов, гнусавя, бродила по деревне гармошка — завелся, разгулялся неутомонный человек — Мишка Коршуков, будоражил спящее село.

Дядю Левонтия, обожаемого человека, я караулил, не спал, не позволял себе спать, щипал себя за ногу. И он

ровно бы знал, что я нахожусь на вахте, на утре силлым голосом позвал:

— Ви-итя-а-а! Ви-итенька-а-а!

Мигом я оказался у скамьи. Слабо постанывая, дядя Левонтий лежал на подушке, подsunутой бабушкой.

— Развяжи меня, брат...

Узлы дядя Левонтий стянул, я долго возился, где зубами, где ногтями, где вилкой растягивал веревку. Дядя Левонтий крихтел, подавая мне советы. Встал наконец, шатнулся, сел на скамью.

— Я чего-то наделал?

— Не успел. Связали тебя.

— Вот и хорошо. Порядок на корабле. Опохмелиться не найдешь? Башка прямо разваливается...

Я подал дяде Левонтию стакан с водкой, ровно бы ненароком оставленный на подоконнике бабушкой. Дядя Левонтий трудно, с отвращением выпил, утерся рукавом, посидел какое-то время оглушенно и приложил палец ко рту:

— Ш-ша! Я пош-шел!.. Бабушке Катерине не сказывай...

— Ладно, ладно.

Неуклюже загребая ногами, будто на шатком корабле, стараясь идти так, чтобы ничего не скрипнуло, не звякнуло, удалялся дядя Левонтий по кути, громко ахнулся лбом в набровник дверей, изругался и тут же сам себя окоротил:

— Ш-ша! Вахта спит!..

Во дворе, как на грех, проснулся любящий подрыхать и понежиться Шарик, напал на дядю Левонтия.

— Шаря! Шаря! — подал голос дядя Левонтий. — Ш-ша, брат! Тих-ха!

Утром бабушка нашла под скамейкой вожжи, повертела в руках пустой стакан.

— Это кто же его развязал, Левонтия-то?

Я пожал плечами, не знаю, мол.

— Вовремя, вовремя умотал соседушко! Я бы ему задала! Я б его пропесочила!..

Мужики хмуро опохмелялись. Бабушка сжалилась, велела позвать дядю Левонтия. Но тот еще до свету, мицуя дом, уплыл на известковый завод. На той стороне Енисея его не вдруг достанешь! Дядя Левонтий, когда виповаг, всегда так делает. Появится он дома к той поре,

когда тетка Васенья остынет и бабушка тоже отойдет, забудется в делах и хлопотах.

Днем начались проводины. Собрались плыть в Базаиху дядя Вася и тетя Люба с Катенькой. Слезы, поцелуи, посошок на дорогу. Убежала на работу Августа. Ушли в своей лодке па шестах к Манскому шиверу Зырянов с теткой Марией. Кольча-старший отправился по тети Тапиной родне, к шахматовским; другие приезжие родичи тоже разошлись, кто на кладбище попроведать своих, кто к знакомым и родным.

Но распал нашей гулянки не остывал совсем, еще несколько дней пробивались очаги ее то в одном, то в другом конце села, и отголоски песен слышались в одном, в другом дому.

В нашей избе как-то особенно заметно после праздника сделалось безлюдье, какая-то по-особенному тоскливая, сонная неподвижность охватила дом. Тетка Авдотья, смурная, осунувшаяся лицом, вымыла полы, дед прибрался во дворе и на сеновале, бабушка спрятала в сундук наряды и снова стала жить, как жила, в будничных делах и заботах.

Праздник кончился.

И никто еще не знал, что праздник этот во всеобщем сборе был последний.

В том же году не стало дяди Митрия, он поместился в одной ограде с моей мамой. С того тихого, ничем не приметного лета оградка над Фокинской речкой все пополняется и пополняется. Кроме мамы, двух моих сестренок, дяди Митрия, Ксенофонта-рыбака, покоятся там дедушка, бабушка, тетя Мария, дядя Ваня и его жена, тетя Феня, дочка Кольчи-младшего Лидочка и малый его сынок Володенька.

Старые и малые — все опять вместе, в тишине, в единстве и согласии — «там, где нет ни болезней, ни печали, ни вздыхания, но жизнь бесконечная»...

**КНИГА
ВТОРАЯ**

•

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО

Таково ли свойство детства, что оно кажется сплошной игрой, или на самом деле мы в детстве так много играли, что нам не хватало дня и мы прихватывали вечера, порой и ночи. Матери принимались искать сорванцов по улицам, заулкам, дворам, а находили их за околицей деревни либо на берегу Енисея и прутом загоняли домой.

Их было много, тех далеких деревенских игр. И все они, будь то игра в бабки, в чижа, в солону, в лапту, в городки, в свайку, в прятки — требовали силы, ловкости, терпения. Существовали игры совсем уж суровые, как бы испытующие вступающего в жизнь человека на крепость, стойкость, излом; литературно выражаясь, игры были предисловием к будущей жизни, слепком с нее, пусть небожженным еще в горниле бытия, но в чем-то уже ее предваряющим.

И поныне, когда я вспоминаю игры детства, вздрагивает и сильнее бьется мое сердце, обмирает нутро от знобюще-восторженного предчувствия победы, которая непременно следовала, если не следовала, то ожидалась в конце всякой игры.

Хотелось бы начать с игры в лапту, но я переступлю через «личную заинтересованность» и затею рассказ с игры давней, распространенной в старину во всех русских деревнях и самой ранней в году — с игры в бабки.

Сражения разгорались с первооттепели, с Пасхи. Пасха каждый год бывает в разные сроки, то ранней, то поз-

дней весной, но есть тут причина для игры самоглавнейшая — к празднику забивалось много скота, варились корыта, ушаты, колоды, тазы студня. Ребягне приваливала долгожданная утеха — вареные кости ног, среди которых природа поместила бабки — панка и рюшку.

Как готовят студень — рассказывать нет места, сообщу, однако, — это с виду нехитрое блюдо мало кому дается, ныне, по женской лености и запятости, редко и готовится — уж больно велика возня и канитель со студнем. В столовых же его готовят по присловию: «Мяса чан — вкуса нет».

К слову молвить: и в прежние времена студень получался не во всякой семье. Тетке Васене, сколь помнится, так ни разу и не довелось завершить производство кушанья, довести его «до ума». Она металась по избе, роняла ухваты, опрокидывала чугуны с картошкой, ведра с водой и, делая вид, что всю поруху не она натворила, тут же чинила суд и расправу, раздавая налево и направо затрецины своему выводу.

Пенис, рев, слезы, вопиственные выкрики раздавались в избе дяди Левонтия с утра до поздней ночи, и случилось: в одном углу просторной, пустой и душной избы ревмя ревел ушибленный, ошпаренный либо побитый теткой Васеней боец, в другом в это время, что-то пластая ножами или руша топором, парни с уже выступившими на лице прыщами, пи на что не обращая внимания, блажили: «Мы с матаней мылись в бане...»

На бегу, на скаку тетка Васеня палила в печи ноги или голову скотины. Выхватив чадящую ногу с углем в раскопье, она мчалась с нею к столу, распространяя по избе синий смрад. Швыряя носом, подбирая запястьем капли пота со лба, слипшиеся волосы с глаз, она шустро скоблила пожиком паленину, гремя ею по столу, постанывая, приплясывая. Руки тетке Васене жгло, дых забивало гарью. Надо бы в горячую воду сунуть паленую ногу, ошпарить, смягчить ее и спокойно, с толком, тоненько обснимать варом прикипелую к шкуре шерсть, снять нагар, роговицу с копыт и, чистенькую, желтенькую, неторопливо, чтоб не расцепать кости, порубить топором да и поставить, с Богом, варить. Но как с такой ордой технологию соблюдешь? Вот только что был таз с водою, хватъ-похватъ — его уж негу — в нем Танька чечу — куклу, стало быть, вытесанную братанами из полена, моет. У куклы той и пуп, и все обозначено, не кукла — хулиганство формен-

ное, но Танька и такой забаве рада, тегешкает чечу, в тряпицы обряжает, мыть вот взялась.

— Пропасти на вас нету!

Таньку за волосы в угол, под лавку, Васеня кинула, кособокою куклу за единственную ногу — в печь. Танька кошкой метнулась из-под лавки, героически выхватила игрушку из загнеты, полыхающей горой угольев. Дымится кукла, Танька на нее плюет, слюной тушит и причитает:

— Дуня ты моя, Дуня! Больно-то тебе, больно! Лечить-то тебя надо, лечить... — И матери: — Самуе бы в печку шурунуть, дак хорошо?..

— Шурунуть, шурунуть! — базлает на весь дом тетка Васеня. — Я вот в праздник шуруну пусту чашку на стол!.. — И, орудуя ножом, обмакивая в таз где обожженную в уголь, где недоскобленную паленину, увоженная в саже, растрепанная, угорелая возле печи Васеня продолжает кричать о том, что праздник на носу, а у нее еще не у шубы рукав, и «арестанец» — дядя Левонтий, явится на развязях, потому как на известковом сегодня получка. Да и явится ли? Тресь по уху бесштанному парняге — понадобилось ему что-то в тазу, он залез туда рукой, Васеня отвлеклась, в ругани забылась и чуть было палец ножом ему не отхватила... Паленина не доскоблена, печь пора закрывать — жар уйдет, тут перевязывай дитятю, сама порезала, сама и врачуй!..

— Да тошно мне, толшнехонько! — толсто обматывая тряпицей палец громко басившему орлу, завывала тетка Васеня, озираясь на печку, на разваленную по полу и по столу посуду, на черные ноги в недопаленной шерсти, одну из которых уже уволокли со стола, обрезали подгорелые шматки и, валяя во рту, поедали помощники, которые посмекалистей. Не закончив перевязки, Васеня всплеснула руками, бросилась к парням, они от нее наутек, едва настигла и, отняв ногу, замахнулась ею, как булавой, но опомнилась — зашибет! — и от бессилия, от сознания, что ей опять не справиться с задачей, не соблюсти порядок, не изготовиться к празднику, как хотелось и мечталось, она упала на лавку, отрешилась от всякого дела, мол, как хотите, хоть пропадите все, и намаливала себе смерти — единственно мыслимого избавления от семейных напастей.

Но умереть ей не было времени. Порезанный боец тянул к ней раненую руку, и тетка Васеня доводила пере-

вязку до конца и, заключая лечение, отвешивала еще одну оплеуху болящему и бросалась к печи, стараясь наверстать упущенное время, снова суетилась по избе, опрокидывала чугуны, роняла ухваты и орала, орала, орала, да так, под собственный ор и всеобщий погром управлялась с делом и недоверчиво, потеряннно озиралась вокруг, ровно и не веря самой себе, что все дела на сегодня окончены.

Ночью, забывая дремучие, густо сплетенные запахи многолетнего жилища, по избе расплывался дух прелого мяса, подгорелой шерсти и мреющих костей.

Заслышав крик бабушкиного красного пегуха, зевая и неумело, как бы понарошке крестясь, стараясь не греметь заслонкой, тетка Васеня ухватом выдвигала на шесток объемистые чугуны, плотно закрытые сковородами, ладясь в безлюдном покое справиться бабью работу, обобрать мясо с костей, изрубить его с луком, с чесноком, вывалить в корыто и поверху осторожно залить крошево жирной зашашистой жижей да и выставить на остужение, чтобы потом, когда захряснет студень — отрада души, накормить им семейство, угостить соседушку, Катерину Петровну, деда Илью и чтобы они ее похвалили за труд и ловкие руки.

Но любящие вытягиваться до обеда, отыскивающие в себе недуги и всякие причины, только чтоб не полоть огород, не пилить дрова, чтоб отлынить от всякого дела, пролетарьи дяди Левонтия не проспали ни одного утра, в которое мать собиралась творить таинство в кути. Когда наступала пора опрастывать чугуны, по обе стороны стола выстраивались в две шеренги, почесываясь и зевая, поталкивая друг дружку, орлы, ждали свой миг. И как только мать вываливала сваренные кости в корыто, почти на лету выхватывали кто чего успевал, имея целью добыть бабку. Вариво так горячо и жирно, что даже не парило. Любой и каждый обварился бы, ожог получил, но обитателей этого дома ни пламя, ни вода не брали. Они обхватывали горячую кость губами, с треском отдирали с нее зубами хрящи, и кому попадалась бабка, да еще пацок, тот издавал вопль:

— Чур, мой! Чур, мой! Паночек! Паночек! Крепенький пенечек! — и пускался в пляс: — Бабки-бубны, люди умны...

И что интересно: чаще всего бабки подваливали не тем, кто больше всего зарился на них, не парням, а дев-

кам. Особенно везло Таньке. Она принималась дразнить братьев бабкою или торговаться с ними. Дело заканчивалось свалкой. Надеясь сохранить хоть остатки варева, тетка Васеня наваливалась на корыто, охватывала его, загоразивала собою и, поскольку третьи руки у нее не было, чтоб обороняться и давать оплеухи, вопила:

— Матушка, Заступница Пресвятая! Помилуй и сохрани! Растащут, злодеи! Расхлещут!..

На всех сердитая, удрученная, приносила потом тетка Васеня корыто и, не желая даже пачкать чашки кисельно колеблющейся жижей, протестующе швыряя носом, стукала посудиною о стол: «Жрите!»

Никто не выражал никакого недовольства и досады. Семейство во главе с дядей Левонтием бралось за ложки, отламывало по куску хлеба и вперебой возило жижу, которая в ложках не держалась, высклизала, шлепалась на стол, и тогда едок нагибался, со смачным чмоком втягивал губами вкуснятину, крякал от удовольствия и продолжал дружную работу. Лишь долгоязыкая, шустро насытившаяся Танька пускалась в праздные рассуждения:

— Бабушка Катерина на святой неделе меня шаньгой, калачом и штуднем угошала, дак у ей штудень хушь ножом решь...

— А кто хватат?! Кто хватат?! — взвивалась тетка Васеня, выскакивая из кути. — Витька хватат? Дед Илья хватат? — и, подвывая, высказывалась: — Мне бы условия создать, дак рази б я не сумела сготовить по-человечески-и-и.

Рубанув ложкой по лбу шебуршливую дочь, дядя Левонтий, пропивший половину получки и дождавшийся момента, чтобы выслужиться перед женой, говорил с солидным хозяйским достоинством:

— Ну вот, сыт покуда, съел полпуда. Студень как студень. Очень даже питательный, — и подмигивал: — Правду я говорю, матросы?

— Ску-у-уснай!

— Стальть, порядок на корабле! Иди, мать, и кушай! Рот болит, а брюхо ись велит... Тут ишло на дне осталось, поскреби...

И тетка Васеня — слабая душа, утирая фартуком глаза и нос, прилеплялась бочком к столу. Ей подсовывали ложку, хлеб, будто чужой, и она, тоже, словно чужая, вежливо поцарапывала в корыте, щипала хлебца, но уже через минуту-другую снова брала руль над командой и пер-

вым делом выдворяла из-за стола Саньку, который, нахватавшись студня, «бродил» ложкой в корыте, и тут же Васеня прыскала, узрев набухающую шишку на лбу дочери:

— Это тебе благовенье к Паске!

— Премия за долгий язык! — благодушно поправляя супругу дядя Левонтий.

Семейство прокатывалось об Танькиной шишке, и она, показав язык, убежала на улицу, а совсем уж отмякшая мать дразнила парнишек:

— Я ишшо три бабочки заудила в чигунке! Две рюшечки да паночка! И кто мать будет слушаться, тот бабочки получит...

Парни единодушно сулились слушаться мать до окончания дней своих, таскались за нею по пятам, ныли:

— Мам, я дрова принес и ишшо сор от крыльца отгребал. Мине отдай!..

— Мам, ему не отдавай! Это я отгребал, он токо баловался.

— Мам, я те ишшо картошек в подполье нагребу.

— Мам, я по воду схожу? На... Анисей аж.

— Мам!.. Мам!.. Мам!..

Дело кончалось тем, что тетка Васеня, плюнув, вытряхивала из фартука бабки:

— Громом вас разрази!

Снова начиналась свалка. Бабками, как водится, овладевал Санька, который ни в каком труде не участвовал, перед матерью не финтил, но умел улавливать свой миг. Но в общем и целом вся праздничная маета заканчивалась полным успокоением, дом наших соседей, набитый до отказа народом, будто пароход пассажирами, клубя дым трубой, с воем, шумом, криками пер без остановок дальше, в будущее, и капитан — дядя Левонтий, хозяйски озревая родную «команду», горделиво отмечал: «На корабле полный порядок!»

Вразвалку, со жвачкой во рту, Санька являлся ко мне и встряхивал брюхом — под оттопыренной рубахой негромко побрякивало. Бабки у него всегда в лохмотьях неотопрелых хрящей, и Санька, когда скучно, доставал костяшку из-под рубахи, обрабатывал ее зубами, выгрызая пленку из раздвоенной головки панка иль из уха, в дырке которого маслянела хрящевина, но зачистить до лохма-

точка бабки не мог даже такой зубастый прожора, как Санька, и потому, когда мы играли на первых проталинах в кон или в шшибалку, его сырые рюхи и панки скорее всего делались грязными и, случалось, шли в полщепы.

Как успела заявить на свою голову Танька левонтьевская, в приготовлении студня бабушка моя, Катерина Петровна, была большим спецом. И немудрено: на такую семьющу варивала! Кости в студне у нее никогда не препревали, но и сырыми их бабушка не вынимала, потому и бабки являлись свету голые, крепенькие, ничего в них не отскакивало. Дед за долгую жизнь так паторел рубить скотские ноги, что ни одной бабки топором не повреждал.

В доме нашем остался один игрок — я, и мне бабок доставалось изрядно. Однако был я в игре не в меру горяч, азартен, долго не мог запомнить, что выигрыш с проигрышем в одних санях ездят, жульничать паловчился не сразу и потому продувался в пух и прах.

Кто был искусник насчет бабок, так это наш Кеша. Каждую бабку он красил чершилами, разведенными из химического карандаша, или розовой краской, которой целая бутылка когда-то и зачем-то попала в дом дяди Вани. Ставши с возрастом смекалистей, Кеша наловчился красить бабки в два цвета — в фиолетовый и розовый. Кроме того, Кеша просверливал у панков донца и заливал их свинцом. Такие панки-биты шли за десять, а то и за двадцать бабок, потому как выбирался для заливки панок самый крупный и стойкий.

Зимой Кеша мастерил из ивовых прутьев и из черемухи сани, гнул дуги, шил сыромятные шлеи, хомуты и, разукрасив упряжь все в те же два цвета, полосками или сплошняком, запрягал «рысаков» и в тройки, «рабочих лошадей» по одной и прицеплял к саням за оброть молодых, «несобъезженных жеребчиков» — свиные или бараньи бабки. Тройка-панок под дугой, ноздри у него красные, челка-лоб фиолетовый, холки пестрые. По бокам рюшки — хрюшки или паночки поменьше корпусом. Мчит по полу тройка, и я, не владеющий никаким ремеслом, бегаю сзади — в мою обязанность входит кричать: «Й-е-го-го!»

Как жалко бывало мне Кешины бабки, когда, явившись на поляну, ставил он их одну за другой и... проигрывал. Чаще всего мы собирались у платоновского заплотá или возле мангазины, потому как здесь раньше обнажались проталины. Обутые и одетые кто во что, несколько

подотвыкшие друг от друга, с беленькими, еще не бывавшими в битвах бабками в карманах и под рубахами, ребята поначалу обнюхивались, показывая — у кого сколько бабок накопилось, затем, для разгону, катали рюшки по вытаявшей травке, и которая рюшка, столкнувшись с другой, беспомощно опрокидывалась плоским брюшком кверху, становилась добычей хозяина бабки, взявшей верх. Рюха не каждый раз падала, как ей полагалось, случалось, она валилась набок, становилась на попа, когда и на голову в мочально спутанной, прелой прошлогодней траве. Вспыхивали споры, пока еще разрозненные, вялые, в драку не переходящие.

Но вот кто-нибудь из боевых, чаще всего самых немущих парнишек ставил пару рюшек, сзади них кавалером пристраивался панок.

— А вот бабки! А вот кон! Тут напарничек нужен! — зазывал зачинщик кона, равно бы ни к кому не обращаясь, в то же время всех будоража своим боевым кличем.

Напарничек-подставничек знает, как себя вести. Он потретя возле кона, помнетя, поставит пару рюх и царапает затылок, соображает, ждет, а ты переживай: бабочки новепькие, беленькие, ни разу еще на кон не ставленные, не битые, не колотые, вот они, под рубахой, брюхо падуешь или тряхнешься — и заговорили, заворочались, телом твоим согретые, родимые тебе, живые, а на кон их выставишь, так неизвестно, что с ними будет, могут к тебе и не вернуться. Хлестанет оголец-удалец панком, весь кон свалит, никому и ударить больше не достанется...

Однако ж зачем-то они, бабки-то, существуют? Вставил их Боженька или еще кто скотине в ноги, люди придумали студень варить, чтоб эти бабки ослобонялись и к парнишкам попадали. Без пользы и умысла до последних времен никакая кость никому и никуда не засовывалась. Которая для еды, которая для сугреву и улучшения хода, которая и для потехи. Взять ту же бабку. Она только с виду бабка, по всмотрись в нее и узрешь лик, подобный человеческому. Рюшки повяжи платочком — точь-в-точь старушки, панок — молодец! У иного вроде и картуз набекрепъ. В игру идет не всякая бабка. Огромной, сплющенной конской бабкой тешатся только распоследние люди, недоумки и косопузая малышня, еще ничего в жизни и в игре не смыслящая, капиталу своего не нажившая. Козьи, овечьи и поросячьи бабки тоже в кон не идут —

мелки, да и перепревают они в печах, ими зуб крепить хорошо, схрумкать, как сахар — и вся недолга!

В ход и оборот идут бабки только от коров, петелей и бычков. Но и тут не всякая бабка в кон. Есть бабки, при разделе поврежденные топором, у ипой половина головы отхвачена либо рыло, у которой жопка отопрела — изъян особенно серьезный. Есть бабки убогие, косорылые — они такими вместе со скотиной уродились. Словом, среди бабок тоже бывают калеки, уроды, недоделки, они мало чего и стоят.

В нашем селе кости вывозились на огороды и поля — для удобрения. Жирна, смолиста земля в наших местах, и ее надобно сдабривать золой, костями, известкой. Весной бабки, словно солдатики, выскакивали из-под плуга в борозду. Нам их собирать запрещалось, может, кость от больного, дохлого скота? Но мы нарушали запрет, и никто ни разу, помнится, не заразился от бабок, не захворал. Должно быть, пройдя «сквозь землю», бабка очищалась от всякой скверны. Попадались бабки еще ничего, по больше — иссушенные тьмой, подернутые той мертвой, бескровной белизной, за которой наступает тлен. По таким завезут разок-другой панком — башка долой, либо спину проломают, а то и в дым расшибут. Дырявые, увеченные бабки отдаются малышам, и те уж добивают их, навсегда разлучая с белым светом. Глянешь: лежит одноухая башка рюхи либо напополам перешибленный, чаще вдоль треснутый панок валяется под заплотом, и земля вбирает в себя сведенную со света бабку, опутывает ее травой, корнями жалицы — была бабка, играли ею, тешились — и вот ее нету.

Итак, потихоньку, полегоньку начиналась игра. Всяк норовил сперва сунуть в кон бабку заслуженную, увеченную в битвах, со сколком на башке, с трещиной от уха до уха, с выбоиной, которую, поплевав на ладонь, игрок загодя замазывал воском или жиром со щей. Но не один он такой тут хитрый. Тут все жохи — и зачинатель кона повелительно вышвыривал бабку с изъяном из строя — то-ропись, подбирай — шакалье крутом. Глазом не успеешь моргнуть — умыкнут.

— Йи-э-э-эх! Была не была! — Вынаю две пары рюшек и пару панков. Такой я человек рисковый. Кеша жметя со своим крашеным богатством, рот у него от напряжения открылся, рука в кармане щупает, перебирает бабочки, пальцами их гладит.

— Ставь!

Братан жалостно лупит глаза, молит не искушать.

— Я потом, — переступает с ноги на ногу Кеша. — Куна торопиться-то?..

Мне легче, когда не один ставлю бабки и продуюсь не один, всей-то роднею храбрее вступать в сражение.

— Иди тогда с мульками играй, в гнилушки!

Не выдержав моего ехидства и напора, слабодушный Кеша, сопя и чуть не плача, долго шарился в кармане и, словно живых птенцов, нес в ладонях к концу крашенные бабки. Парни хоть и оторвы сплошь, однако на первых порах блюли справедливость — ставили Кешины бабки впереди кона и молча постановляли — бить Кеше первому.

Кеша отходил от заплота к месту, с которого назначено бить — там лежал камень, пашка или поясок, и, оставив левую ногу, защурился левый глаз, взявши панок указательным пальцем за раздвоенную головку, большим — под донышко, долго, сосредоточенно целился. Лоб у Кеша делался бледным, исходил мокротью, будто резаная брюква соком, рот от напряжения искривлялся, почти доставая губой ухо. Публика цепснела. И тут из толпы явственно слышался тугой шепот:

— В огород, за заплот, в темну баню за полук, в жгучу жалицу — крапивицу, на осьмининскую гриву! Заговор мой верный, я — человек скверный...

Кеша в изнеможении опускал руку:

— Чё заколновываете-то?

Испустив из груди спертый дух, народ немедленно отыскивал колдуна — опи у нас все наперечет. Из толпы выхвачен Микешка — сын ворожеи и пьяницы Тришихи. В мохнатой драной шубейке, падетой на ребристое тело, полы и рукава подшиты грязным мехом наружу, нестриженный, золотухой обметанный, в рассеченной губе клык светится, шеи нету, голова растет прямо из шубы — чем не колдун! И как ни стерегись, как ни отрецивайся, — проникает ведь, затешется в игру нечистая сила! Микешкины рюхи с кона долой, сам колдун получил поджопника и с позором изгнан подальше от платоновского заплота — не озевай!

Однако ж зараза есть зараза! Отбежавши на безопасное расстояние, Микешка продолжал злодействовать, накликал, чтоб не только у Кеша, но и у всех у нас панок летел бы за заплот, в огород, в баню на полук, в печку на

шесток и еще куда-то... За Микешкой бросались вдогон, чтоб еще суровой наказать, и мигом настигали злодея, потому как он кривоног, да и шубейка, с которой он не расставался ни зимой, ни летом, путала ноги, убавляла резвости. Учинялся самосуд: бабки вытряхивались из-под завшивленной шубейки наземь, колдун получал добавку и запевал на всю улицу. На голос сына, спибив с петли створку ворот, взбивая грязный, мокрый снег, в кожаных опорках, выскакивала Тришиха. Сама она была Микешку зверским боем, но стоило кому его тронуть, воспалялась истовой материнской любовью и защищала его так рьяно, ровно хотела искупить свою вину перед сыном, враз, и уж никакой меры не знало тогда ее сердце — Микешка под такой момент выманивал у матери деньги, сладости, хотелось — так и самогонки, да еще и куражился над родительницей, капризы строил. И ныне вот ткнулся в брюхо матери лицом, голосу прибавил. Тришиха, голопягая, с сигаркой в зубах, сердобольно утешая сына, гладила его по голове, просила о чем-то, а он вихлялся задом, лягался ногой и блял: «Не-е-е, пушшай бабки отгаду-ут! Не-е-е, пушшай не дражпюцца! Не-е-е-э-э-э, играть хочу-у... Не-е-е-э-э, пушшай лучше мимо не ходят... не-е-е-эээ... не-е-э-э-э... не-е-е-э-э-э...»

Это Микешка распялет мать, доводит ее до накала, подымает в ней смуту и нечистую жуткую силу. И подня! Тришиха выплюнула сигарку, наступила на нее так, что опорок вдавился и остался в снегу, по, не замечая холода и мокроты, колдунья двигалась уже в одном опорке и, грозя кулаком, черной дырою рта изрыгала проклятья, пушила нас гнусаво, сулясь обучить Микешку такому наговору, что он всех нас обчистит или еще хуже устроит — напустит мор на скот, тогда бабок вовсе не будет, а если еще хоть раз Микешку тронут, хоть один-разъединственный волос с его головы падет и ее выведут из терпенья, она на все село черную немочь накличет...

Страсти-то какие! Ребята и сраженье прекратили, озираться начали, куда дерануть в случае чего. Поживи вот в таком селе! Поиграй в бабки! Попади в кон! Тришиха — она ботало, спьяну чего не наметет. Но душе беспокойно, хочется Микешку вернуть, умаслить, задобрить Тришиху. Но у Тришихи нога замерзла, она вернулась за опорком, и более сил у нее, видать, не осталось на громовержение, она увела своего сыночка в избушку, правда, до самого

лаза вскидываясь и грозя кулаком, но все же ушла с глаз долой.

— У-ух! — выдохнули все разом. Отпустило! Кеша снова начал целиться, но уже нет в нем прежней уверенности, сбили его с линии. Целился, целился — я аж весь извелся — братан как-никак, хоть и двоюродный.

Хлобысь! Мимо!

— Заколновали дак... — дрожая губой, Кеша отходил в сторону, но никто уж его не слышал и не замечал. Новый паночек, легонький, без свинца, свалил две пары лохматых, неряшливых бабок. Санькины. Домнинский Гришка бил. Этот по зернышку клюет да сыт бывает! Он почти никогда не вышибал кона, даже среднего, но на чердаке у него корзина бабок. Накопит и продает по копейке пару.

Мне, как всегда в начале игры, привалил фарт. Кешиным панком я сшиб шесть передних пар подчистую, в седьмой паре рюшка стояла-стояла, взяла и тоже упала. Если в паре падает одна бабка, забираются обе. Отыграл я несколько Кешиных бабок, закатывался счастливо, возвращая их братану:

— Расколновали!

Но вскоре, опрокинув целиком кон, я вошел в азарт, впал в жадность, забыв мудрое правило: первому кону не верь, первому выигрышу не радуйся, перестал отдавать Кеше сго бабки. За то он не давал мне больше бить своим панком. Я дерзко и опрометчиво послал его вместе с панком подальше, и со своим, мол, не пропаду, и своим уж вон сколько выбил народу из игры, подчистую вытряс Саньку. Да и чего вытрясать-то? У него и бабок-то велось четыре пары. Игроки, которые еще живы, осатанели, готовы перекусить меня пополам, некоторые подхалимничают, бабки подбирают и хранят, чтоб потом я уделил им пару-другую либо милостиво дал ударить по кону. А бабок, бабок у меня! Карманы трещат, под рубахой грохочет, будто на мельнице! Хоть и говорят, что в игре, как в бане, все равны, да все это ерунда на постном масле. Хитрован — домнинский Гришка, и тот, выиграв десяток бабок, домой подался, заявивши, что у них гости приехали, пироги пекли и велено ему быть дома.

Что мне Гришка?! Я братана своего не пощадил, ободрал как липку. Он стоит и глаза на меня лупит, не понимая, что произошло, как и когда это дорогой его братец — сиротинка горемычная — в этакую беспощадную зверину успел обратиться?

А мне все нипочем! Я в окошко кирпичом! И обедать не пойду! Коли биться до конца — без ужина дюжить стану, и пусть мне бабушка наподдает — до ночи рубиться буду, да хоть и до утра! Всех в прах поразнесу! Нет мне пределу! Круши гробовозов! У-ух, какой я человек!

Ставлю почти целый кон из одних панков. Где-то там, в конце копа, поредеший отряд игроков с содроганием в сердце лепил парочку-другую рюшек. Считай — дело безпадежное. У меня десяток ударов. Я хлещу, хлещу да загребая бабки. Мсняя посещает удаль, а вместе с нею небрежность, зазнайство — вечные спутники слепой удачи. И, не понимая еще, какая темная сила подкарауливает меня, хряпнул по кону почти наудалую, не целясь — и промазал. Кто-то из игроков снял кон — экая беда. Я их, этих конов, сколько могу выставить?! Не перечесть!

Еще кон просвистел. Еще. Засосало повыше брюха, шевельнулась тревога в груди: в первый и последний раз посетила горячую мою голову мысль: отколоться от игры, уйти, ибо опять же есть заповедь: люби — не влюбляйся, пей — не напивайся, играй — не отыгрывайся. Да где там?! Занесло игрока, заело: что я, домнинский крохобор? Пеночник? Трус? Умру, но отыграюсь! Отчаяние, злость слепят человека, трясут, лихорадят руки, даже глаз дергается. Изредка я еще попадал в кон, отыгрывал пяток-другой бабок, но раздражение уже делало свое дело — все неуверенней рука, все легче у меня в карманах. Я пачал ругаться, спорить, толкнул кого-то из малых, будто он мешал бить, будто бы шептал мне под руку. Малый оказался из задиристого верехтинского рода, и Илюха Сохатый, мой одпогодок, крупный, носатый парень, заступаясь за племяша, посулился созвать старшего брата — Ваньку и дать мне «пару».

— Мне? Пару? Да я!..

Р-раз! Мимо! Панка своего на кон. Совсем это распоследнее дело. К своей бите почтительность должна быть. Продуйся догла, но главный «струмент» береги! Проиграть его — все равно что последнюю рубаху с тела пропить...

Протетерил и панка. Хоть кулаком бей. Да и ставить на кон, кроме души, нечего. Поставил бы, да не берут — цены душа никакой не имеет. Бросился к Кеше, просить займы бабок, десять штук. Шесть! Хоть пару!

— Не нам! — уперся Кеша. — Ини домой, весь вон трясеся, ишшо ронимец хватит...

— Ы-ых, рас... — Я назвал Кешу распаскудным словом. — Погоди, погоди, попросишь чего-нибудь...

По правде сказать, ничего он у меня не попросит, и давать ему мне ничего не приходилось, потому как живет он при родителях и все у него есть. Но сколько раз вступался я за братана, когда его били или пыгались бить. Шишек сколь из-за него наполучал! Дрова пилить помогал, на сплавном пикете ночами с ним дежурил, чтоб одному ему не страшно было; снег во дворе разгребал, на зем из стайки вычищал. Сегодня вот, сейчас, сколько я ему бабок отыграл!.. пока не раздухарился, пока в горячку не вошел?

— Чехотошная ты харя! — плюнул я в ноги братану и, поверженный, поплелся от кона в сторону. Стоял на земле, холодной, сырой, неприютной, легкий, опростанный, будто сердце из меня вынули и вместе с ним все остальное, что было в середине. Хотелось зареветь или подраться. Я уж помаленьку натыриваться стал на ребятню, но Санька левогтьевский, не умеющий помнить зла, Санька, которого я выбил из игры, всегда ревниво относившийся к нашим с Кешей отношениям, чутко в них улавливал разлад, прислонился ко мне, сыро выдохнул в ухо:

— Идем на расхватуху!

Расхватуха — считай что грабеж средь бела дня. Люди ведут честную игру, ставят бабки на кон, старательно бьют, переживают, изнашивают сердца, все идет хоть и в горячке, в спорах, порой с потасовками, но удача зависит от меткости, умения, сноровки — за каждый промах выставляй пару бабок — кон иной раз солдатской колонной марширует от стены до дороги, перехлестывает ее, выпрыгивает на бугорок, шатнется по склону, отодвинет место, с которого били, притиснет биточков к огородам. Случалось, едет мужик на телеге и, если мужик он путевый, не шарпачня, шикогда кона не переедет, обогнет его, лошадь в прошлогоднюю дурнину загонит, изматерится весь, но — таков древний закон — игры не нарушит. Часто случалось: натянет вожжи, коня остановит, глазеть начнет, а там и в игру встрянет, советом пособляет, показывать возьмется, какие он в ранешнее время коны вышибал! — увлечется, забудет, куда и ехал. Застигнутый в игре женой либо тещей, спохватится мужик, утрет фуражкой пот со лба, пахлобучит ее на глаза и, ругнувшись безо всякого зла, погонит лошадь за речку, все оглядываясь, все вытягивая шею, все еще пребывая неостывшим сердцем в игре

и в той счастливой поре, которую возможно достать близкой памятью, ведь не запекло еще и выбоины, сделанные его битой на платоновском заплоте.

До ста и до двухсот штук случалось в кону бабок! Волосы дыбом — во какая игра! И вот жук какой-нибудь, вроде Саньки, дождавшись песогласья среди игроков, шумной перебранки, вдруг бросал разбойный клич:

— Хвата-а-а-аай! — и валился брюхом на кон.

Часто налетчика схватывали и били в кровь, но еще чаще продувшийся народ подхватывала жажда халпнуть чужое, получилась куча мала, раздавались вопли: «Я те дам! Я те дам! А-пусти-и-и-и-и-и-и!», «Не троны!», «Зубы выбью!..» — Парнишки кусались, царапались, били по зубам, по рукам, пинком в живот, в пах. Под шумок, не то сама собой, не то чьей-то вражеской рукой выдергивалась из-под штанов рубаха богатого человека — по земле широко раскатывались бабки. Хозяин рушился, сгребая под себя свое добро, защищая его горячим телом. Но верткие бабки выкатывались, сыпались, и кто поспоровистей и ловчей из ребят чесал уже по заулкам, нервно похихатывая, иной пакостник еще и дразнился, травил честной народ, показывая захапанные бабки.

«Погоди! Погоди, падина! — кричали вслед ему. — Припомним мы тебе!..»

Деревенская жизнь вся на виду, никуда не скроешься. И когда шарапники являлись с захапанными бабками, их не принимали в игру, всячески поносили. Отторгнутые от честной игры, налетчики организовывали свой кон, но там уж добра не жди — рвачи играли рвачески, брали не мастерством, нахрапом больше. Кто-нибудь из совестливых малых, захваченный волной разбоя, минутой слепой стихии, долго такой жизни и бесчестья не выдерживал, приносил бабки к «чистому» кону, покаянно их вытряхивал.

— Вот... — маялся, переступая с ноги на ногу. — Все до единой...

Ему ни слова, ни взгляда.

— Хоть пересчитайте!..

Тяжела, сурова мужицкая справедливость — наказав мошенника презрением, усостив словами, порой и до слезы доведя, со скрипом и недовольством стойкие игроки наконец-то разрешали:

— Ладно, ставь! Но штабы...

И не было счастливей и честней тогда человека, чем недавний шарапник. Перед всем миром виноватый, он

всячески выслуживался, истово следил за порядком и справедливостью в игре, с особой бдительностью за мелким ворьем, которое пяткой откатывало выбитую бабку либо, меж пальцев ее зажимая, отхрамывало в сторону, якобы занозу вынуть из подошвы. В запал сражения вошедший боец не всегда и заметит, что его обирают, на ходу, можно сказать, подметки рвут...

Один раз Санька-злодей забрал в расхватухе почти все Кешины бабки, и тот с ревом явился к нам — игра шла на нижнем конце села. Бабушка, сострадав ограбленному внуку, сыскала где-то пяток заросших пылью рюшек, и мы их катали на деревянном настиле двора, ведя скучный и невзаправдашний счет выигранным бабкам. Зазвенела щеколда, растворились ворота. Почесываясь, кособочась, жуя ком серы, в наш двор протиснулся ухмыляющийся Санька.

Мы с братаном его не замечали. Наблюдая за нашей вьей игрой, Санька презрительно цыркал слюной, норовя попасть в рюшек. Мы не удостаивали вниманием разбойника, а это для Саньки острее ножа. Он ожег нас красными глазами, тряхнул рубахой — под нею зазвякали бабки.

— Сыграм?

— На воровано не льстимся. Чеши отседова!

— Чё-о?

— Чеши, чеши по гладенькой дорожке на одной ножке!..

Кеша — откуда что взялось! — еще складнее добавил:

— На легком катере к ереной матери!..

Назревала драка. Союзно с братаном мы навтыкали бы Саньке, потому что накалились, нас испепеляла злость, придавая сил. Но задраться не успели, в окно выглянула бабушка и навалилась на Саньку:

— Эт-то что жа ты, каторжанец, делаешь? Чем же ты промышляешь? — и сокрушенно качала головой: — Не-ет, не будет из тебя пути! Ежели ты с эких пор людей обираешь, на чужо заризишься, шлепать тебе сибирским этапом, вшиветь по тюрьмам да по острогам...

Натиска бабушки Санька долго не выдерживал, он еще почесался, поухмылялся, ужимочки построил, но потом понуро опустил голову, зачертил по настилу, острым, что лезвие топора, ногтем. Кеша, чувствовал я, собирается пособить бабушке, вот-вот скажет: «Чё своим копытом царапаш наши носки?» Я собрался накричать на Кешу и

на Саньку, чтобы победить занимающуюся жалость, но Санька выдернул рубаху из-под штанов — посыпались бабки, запрыгали по настилу. Одну рюху Санька поддел ногой так, что она под навес укатилась. Засвистевши, завихлявшись, отправился налетчик со двора, возле ворот остановился — посмотреть, как мы с Кешей бросимся собирать бабки, — мы не бросились.

— Я ить понарошке, — сказал он.

И вот этот самый Санька, понарошке, видите ли, гравивший игроков, самый верткий в расхватухе и во всех темных делах, сманивал меня на лихой налет, заставляя отринуть бабушкин наказ: «Где наглость и похабство, там подлость и рабство». Хоть и с большим трудом, я подавил в себе нечистые устремления, пополам, можно сказать, себя переломил:

— Обчистили! — всплеснула руками бабушка, когда я приплелся домой. — Экой простодырай! — принялась она меня корить. — Я зиму-зимскую копила бабки, он их враз профукал!.. Ты бы не во всякой кон ставил. Где выгодней — смекал бы... Ладно, — утешала меня бабушка, — проиграл — не украл, хорошо, сам цел остался...

Тем же годом видел я большую игру в бабки. Играли на гумне взрослые парни, казавшиеся мне тогда мужиками. Гумно было по-весеннему пустое, просторное, лед под толстой соломенной крышей гумна еще «не отпустило», он был гладок, с прозеленью. Кон бабок ершился в дальнем от ворот конце гумна, возле поперечной стены. Стоял он не как у нас — зеленых игроков, попарно, солдатами. Здесь бабки цепь за цепью шли в наступление поперечным строем. В передних цепях реденько тащились прогонистые солдатики — рюшки, за ними, строем поплотней — солдатики вперемежку с унтерами, задний кон — по-боевому сплочен — в нем плечо к плечу маршировали отборные гренадеры-панки, что ни панок, то и боец, за одного, не дрогнув, десяток рюх выложишь!

Парни били по конам каменными плитками, отысканными на берегу Енисея. У нас от веку так было: лед еще стоит, на огородах и в лесу снег серыми тушами лежит, но по берегам уж камешник выгяял, обсох, играет чистой гладью на радугой выгнутом мысу реки — выбирай плитку какого хочешь цвета. Есть у игроков и свинцовые биты,

но их всего две-три штуки на деревню, и оттого редко пускают их в дело.

Был праздник Благовещенья или конец Пасхи — не помню. Деревня гуляла, пела и развлекалась на воле. В гумно наперло мужичья, ребятишек оттеснили, приплюснули к стенам — пичего не видать. Парнишки, как чивили, расселись по балкам, под самой крышей — сверху еще лучше видно.

Какая шла игра! Без жульничества, без споров, ора, гама и потасовок. Бабки принесены не под рубахами, не в дырявых карманах, а в мешочках, корзинках, старых пестерях и тесках. Бабки все бывалые, темные и седые от старости, сплошь в царапинах и увечьях, полученных в сражениях, но крепкие, потому что слабая бабка давно разбита, у слабой бабки век короток.

Били парни, как и мы, по-разному, соответственно характеру и уменью. Вот встал на одно колено парень в нарядной, черными нитками вышитой, бордовой рубахе, сидоровский Федор. У меня и сердце остановилось, хороший потому что парень, так просто мимо не пройдет, всегда по шапке потреплет, шутовское отмочит: «Ну, чё, жук навознай? Залез в амбар колхознай! Точишь точилку об зерно, манишь девок на гумно!» Правду сказать, я еще никого на гумно не манил, еще только собирался, но сердце все равно встрепенется в груди, отзываясь на неуклюжую мужскую ласку.

Федор ударил накатом, и поначалу гладкая, красноватая плитка в белых прожилках катилась в середину кона, однако на пути ее подшибло зернышком, плитка дернулась, пошла вкось и ударила по левому краю заднего, самого широкого кона. Дружок мой, Ленька сидоровский, облегченно выдохнул, и я тоже выдохнул — мы не дышали, пока Федор целился. Ладно, хоть попал Федор, пусть и пезажнецки, да попал. Многие мажут. И кон широк, и плитки по льду ходовито катятся, да быют-то чуть не за версту. Нам, парнишкам, в такую даль и не добросить плитку, да и в подпитии игроки, глаз неверен, горячатся лишка, иные кураж на себя нагоняют, а кураж тут ни к чему. Женись сперва, заведи жену и куражься над ней сколь влезет, игра — штука серьезная, обчистят и плакать не велят...

Играют парни с подковыром, с присказками: «Продул копейку, проиграешь и хруст», «Проиграл — не скрою, пропил — не спорю», «Бабку бей, как жену — под штуко-

вину одну», «Рюху — по уху, панка по брюху», «Лупи в кон, как в закон — в самую середку!» Кто вышибает кон, тому ребягишки хлопают, будто в клубе, мужики дают фартовому игроку глотнуть из шкаликов, принесенных в кармане, и сами порываются встрять в игру: «Э-эх, я, бывало!..» Иной и лопоть на лед, рукава у рубахи засучивает. Парни, перемигиваясь, снисходительно расступаются, но, потоптавшись, поприцелившись, мужик возвращает плитку со вздохом: «Нет, робяты, неча мараться. В глазе рябит... Я скоро и в бабу кулаком не попаду...»

Из толпы вывернулся пьяненький, вольно распахнутый Шимка Вершков.

— Рази так играют?! — закричал. Хвать плитку, бах не целая. Она чуть было двух его сыновей, Ваську и Вовку, сидевших на слеге, не сшибла.

— За молоко-о-ом!

— За простокишей!

— Эт тебе не коммунией руководить! Тут ум нужон!

— Думал, в бабки играть, как наганом махать!..

С наганом этим смех и грех. Человек бесхарактерный, гулеванистый, моего папы закадычный друг, Вершков почти враз с моим папой и овдовел. Без жены, тихой, терпеливой, умевшей укрощать смирением даже такой пылкий характер, каков был у ее муженька, а главное, вести хозяйство, сводить концы с концами, — Шимка одичал и запил. Васька, Вовка и Люба росли сами собой. Отец их потихоньку да полегоньку из Ефима превратился в Шимку, да с тем званием и дни свои копчил. На войне он потерял ногу, в вырез деревяшки засовывал банную резиновую вехотку и, скрипя ею, шлялся по селу в заношенной шляпе. Дома он содержал квартирантов и вместе с ними пропивал квартплату. Одно время гонял моторку, переправляя через реку желающих, звал себя капитаном Вершковым, пока сын его Вовка не утонул прямо под окнами родного дома.

Последние годы, согнутый одиночеством и горем, он с утра до вечера сидел на скамейке подле ворот, слезящимися мутными глазами глядел на Енисей. Приехав в родное село, я непременно подходил к нему, и он, спросив: «Чей будешь-то?» — грузно наваливался на меня, целовал, царапая щетиной, плакал, кольхаясь тучным телом. Какая-то неприкаянность была и в его слезах, и в беспомощной старости. «Отец-то твой, Петра, живой ли? — Что-то похожее на улыбку трогало смятые бесцветные губы

Вершкова, издалека, из мокрых глаз прорезался живой отблеск. — Да-али мы на этом свете звону, да-али!..»

В тридцатых годах Вершков вышел в пачальство, состоял в комбед активистом, во время коллективизации был уполномоченным, обзавелся наганом, не то он купил оружие, не то на вино выменял, но сам Вершков внушал всем, что ему, как лицу ответственному, выдали оружие личное. Будучи трезвым, оружие он прятал, пьяный же таскался с наганом и чуть что — руку в карман, черненькие, совсем незлые глазки еще более затемнит гневом, сомкнет губу с губой, выражая непреклонность и здоровое подозрение: «Какие такие р-р-разговор-р-рчки! — Добившись испугу внезапным налетом, добавлял страху: — Дар-рогу пролетарьяту, гр-р-робовозы!..»

Бабушка моя — ей до всего дело! — воззвала к мужикам: «Да отымите вы у него, у срамца, наган-от, отымите! Он у него не стрелят! Прет? Ну да я сама, пятнай вас! Сама отыму наган у супостата и в Анисей выброшу!..»

И вот ведь чудеса в решетке: изловчилась как-то Катерина Петровна и оружие у Вершкова изъяла, то ли у пьяного из кармана выудила, то ли другим каким способом. «Не ваше дело! — бабушка глядела на мужиков орлом. — Сам отдал!..»

Вершков засылал к пам сына Ваську, просил вступить с ним в переговоры. Бабушка проявила непреклонность: «Пуцай сам явится к ответу! Я ему, аптихристу, такого перцу дам — не прочихается!» Поддав для храбрости, Вершков ворвался в нашу избу и от порога еще рывкнул так, что из трубы на шесток сыпанулась сажа:

— Против власти курс?!

Бабушку, видел я, потревожило слово «курс», однако она не дрогнула:

— Гляди, кабы я курс на город не взяла. Вот поплыву в красноярску милицию, найду самоглавного минционера, пошто фулюгану оружия выдается, спрошу!

Вершков и оплыл, шапку снял с головы, присел возле курятника на порог:

— Нехороший я выпимший. Знашь ведь, — глядя в пол, заговорил он. — А ты мне ишшо больше авторитет подрывашь... Возверни оружие!

— А будешь народишко пужать? Будешь?

Посопел, посопел Вершков на пороге, возле курятника и дал слово:

— Не буду!

Бабушка сходила в кладовку, вынула из-под половицы наган и, словно живого колючего ерша, несла его в ладонях.

«Да она же боится, кабы не стрельнуло!» — ахнул я.

Вершков слово сдержал — никого оружием больше не пугал, но кулачишком карман оттопыривал, ровно бы наган там у него. Васька, мой дружок, тем временем вынюхал — где наган, мы вынули его из заначки, взводили курок, чикали, целясь друг в друга: «К стене, контра!» Так мы тот наган и уходили: в лесу потеряли, в Енисее ли угопили — не помню.

Скаля железные зубы, Шимка пытается доказать — он смазал по кону совершенно случайно и надо ему еще раз ударить, тогда все узрят, каков он игрок. Пока корячился Шимка да рядился, кто-то спрятал его вельветовую, подстеженную еще покойницей женой, толстовку с накладными карманами во всю грудь и по бокам.

— Где мое мантио? — наступал на публику Шимка, ошарашивая городским словом однопосельчан. — Кто забрал имущество? Кто в кутузку желат?..

— Оно у тя како было?

— Срыжа.

— Начит, краситься пошло в черно.

Шимке холодно в одной рубахе, он перестал скалиться, трезвея, настаивал:

— Нет, я вполне сурьезно.

Васька с Вовкой, все сверху зрившие, припесли отцу лопотину, и он, одеваясь, с любовью смотрел на них замокревшими глазами:

— Дети мои. Золотые люди! И сыновья, и Люба — чистой пробы золото!

— В отца удались...

Бить по кону вышел Мишка Коршуков, и про Шимку все тут же забыли. У Мишки, у забубенной головы, и плитки своей нету, работает на бадогах, стало быть, на берегу целый день, по камням ходит. Наклонись, возьми! Так нет ведь, барином вышел, змей полосатый, скинул с себя новое суконное полупальто с пояском в талии, швырнул его комом на лед, кашне морковного цвета еще одним витком обернул вокруг шеи, чтоб не болталось, одернул шерстяной «жемпер», под которым кровенела атласная рубаха, вышитая трепетной рукой, — погибель девичья этот Мишка! Дунул на чуб, выбившийся из-под кожаной шапки-финки, которую у нас «фимкой» зовут, будто ме-

шал ему и чуб, царственно протянул в сторону длань — и в эту прихотливую длань наперебой вкладывались плитки. Мишка, не глядя, взял одну. В полнейшей, благоговеющей тишине уверенно прицелился и бацкнул по конам так, что брызнули бабки во все стороны.

Зная Мишку Коршукова, ребятня, не жалея костей, посыпалась сверху на лед, чтоб поскорее собрать бабки и услужить игроку. Я сгреб две горсти бабок и, запаленный, избившийся об лед, продирался сквозь толпу, протягивал бабки:

— Дядь Миша! Дядь Миша! — повторял, захлебываясь, и больше ничего не мог вымолвить, а когда пробился к Мишке, он небрежно болтнул чубом:

— Возьми себе!

Ну бывают же люди, которым ничего не стоит одарить человека счастьем. Я и поныне не могу забыть, как отвернулся к стене, растроганный, смятый, и заморгал часто-часто. Мишка Коршуков когда-то квартировал у нас и с тех пор не обходил наш дом ни в какой праздник, даже после того, как отошел от нас Кольча-младший, Мишкин друг по гуляньям. Может, бабушка рассказала Мишке, что меня обыграли, может, он сам догадался, может, и так просто отдал. Да меня и следовало обчистить, чтоб удостоиться потом такого подарка! И еще я подумал: вот Мишка — присзжий человек на селе, но его любят все, начиная с моей бабушки, Катерины Петровны, которая ох разборчива, ох привередлива в отношении к людям, и кончая дядей Левонтием, который в Мишке души не чаял.

Об девках и говорить не приходится. Мишка как выйдет на улицу, как растянет мехи гармошки: «Гармонист, гармонист, положи меня на низ! А я встану, погляжу, хорошо ли я лежу?!» — так девки со всех сторон, со всех дворов на его голос: «Милый мой, а я твоя, укрой полой — замерзла я».

Мишка, Михаил Коршуков, у которого я даже отчества не знаю, погиб в войну на истребительном военном катере. Мне не надо гадать, как он погиб, такие люди и умирают лихо, со звоном, и не об этом я думаю, печалюсь, а вот о чем: сколько же удали, душевной красоты, любви к людям убыло и недостает в мире оттого, что не стало в нем Мишки Коршукова?

День большой, праздничной игры в бабки закончился и для ребятешек праздником: многие парни, зная, что им

больше не играть — кто женится, кому в армию идти, кто возрастом перевалил через всякие забавы, раздавали бабки, и опять же раздавали по-разному, пакостники бросали их на «драку-собаку», и среди гумна открывалась битва, тренцали локти, колени, кровенели носы, но больше парней было стоящих, степенных, отцом-матерью не зря кормленых и поенных. Они по счету отдавали нам бабки вместе с туесами, пестерями, кошелками, грустно напутствуя ребятишек:

— Мои бабки мечены — на огарке свечены!

— Этот папок что конек!

— Крещеных лупи, нехристи сами от страху свалятся!

— Бей по всему кону — двух да сваишь!

— А этот панок еще деда мово — Гаври! Помнишь деда-то Гаврю? Да он еще зимами прорубя чистил? Береги панок деда Гаври...

— Э-эх, отыгралась, отрезвилась, отсвистела жизнь! Теперя до самой смерти в тягло... Кому плитку, робяты? Беспромашная!..

— Р-расходись, парнишшонки! Пить и плакать станем!..

Нагруженный бабками, со слезливым желанием всех обнимать, ввалился я в папу избу и рассказывал, рассказывал бабушке о том, что творилось в гумне и какой я теперь богатый. Бабушка слушала, думая о чем-то своем, кивала и тихо уронила наконец:

— Почитай людей-то, почитай! От них добро! Злодеев на свете щепотка, да и злодеи невинными детишками родились, да середь свиной расти им выпало, вот они свиньями и оборотились...

Однако время всяло вперекос этим мудрым словам.

В тридцать третьем году наши солдатики-бабки стыдливо, потихоньку были испарены в чугунах, истолчены и съедены. После тридцать третьего скота в селе велось мало, бабка стала исчезать. Все чаще и чаще вместо бабок под панок или рюшку ставились денежка, две, пятак, игра сделалась корыстной, стало быть, и злой. Рядом с бабочниками у того же платоновского заплота завязывался другой кон — в чикю, и скоро чика нас увела от бабок, и остались они забавой безденежной косорылой братве, еще не достигшей сноровистого возраста и неспособной зашибать копейку.

Добыть деньги в ту пору не так-то было просто, требовалась смекалка, надо было мыслить, изворачиваться. Мы собирали утильсырье, выливали водой сусликов из нор,

ловили капканами крыс и оснимывали их. Иные парнишки начали шариться по карманам родителей, мухлевать со сдачей в лавке, тащить на продажу что худо лежит, приворовывать друг у дружки. Ребята сделались отчужденней, разбились на шайки-лейки, занялись изготовлением ножей, поджигов-пистолей и стыдились не только вязываться в игру с бабочниками, даже и вспоминать стыдились о том, что когда-то могли забавляться такой пустяковой и постыдной игрой.

Кеша наш и тот в конце концов продал свои крашенные бабки, изладил поджиг из ружейного патрона, принялся поворовывать у отца спички, порох, чтобы, обмирая от страха, пальнуть в заплот или в пташку.

Но об этой забаве, от которой ребята оставались без пальцев либо без глаза, об опаленных бровях, ресницах и навечно запорошенных горелым порохом лицах мне рассказывать не хочется. Надо бы поведать о чистеньких, деликатных играх — в пятнашки, в фантики, в «тятя-мамы» или в чет-печет, но я мало в них играл, и потому перекинуть сразу на игру, которая колуном врубилась в память, угрюмая, мрачная, беспощадная игра, придуманная, должно быть, еще пещерными людьми.

Деревце в кулак толщиной, чаще всего лиственничное, обрубалось в полтора-два полена длиной и затесывалось на конце — получался кол. К нему колотушка, або тяжелый колун, лучше кувалда — вот и весь прибор для игры. Сама игра проще пареной репы — один из видов пряталки. Но кто в эти «пряталки» не играл, тот и горя не видал!

Игроки с колом и кувалдой выбирали затишный переулок или шли за бани, на поляну, чтоб от нее близко были амбары, заплоты, сараюхи, стайки, заросли дурнины либо кучи старых бревен, за которыми и под которыми можно надежно схорониться.

Кол приткнул в землю, к нему прислонена колотушка — кувалду редко удавалось раздобыть.

Настал самый напряженный и ответственный момент в жизни — выбор голящего. Здесь братва пускалась на всевозможные выдумки, и выборный ритуал то упрощался до крайности, то обставлялся такими церемониями, что еще в детстве можно было поседеть от переживаний.

«Бежим до мигряшинских ворот. Кто последний при-

бежит, тот и голит», — предлагал кто-нибудь из сообразительных парнишек и первым рвал к намеченным воротам. Чаще всего прыть такую, конечно, проявлял Санька. Иной раз до тех же ворот скакали на одной ноге, ползли на корточках — и тут уж кто кого обжулит, потому-то всегда голил самый честный и тихий человек. Кеша наш не вылезал из голящих и в конце концов бросил играть в кол.

Был и другой способ выбора голящего: какая-нибудь девчонка — лицо постороннее, неподкупное, брала в одну руку белое стеклышко, в другую черное и ставила условие: кто отгадает руку с белым стеклышком — отходит в сторону, кому не повезло — становись вдругорядь.

Случалось, в игре набиралось душ до двадцати, и к рукам, твердо и загадочно сжатым, подходили по многу раз. С ужасом наблюдаешь, бывало — все меньше и меньше народу остается в строю. И наконец к заветной цели тащились два последних, разбитых, полумертвых человека. Они пытались улыбаться, заискивающе глядели на «полномошного человека», чтоб выборная девчущка качнула рукой с белым стеклышком, моргнула бы глазом или хоть мизинцем шевельнула, делая намек...

Мучительно вспоминали двое последних, какую и когда досаду они сделали выборному, какой урон ей нанесли, дразнились, может, гостинцем обделили?.. Прошлая жизнь за эти несколько шагов к заветной цели промелькнет перед мысленным взором, и выйдет, что была твоя жизнь сплошной ошибкой, и мучительно больно делается за бесцельно прожитые дни, за недостойные дела, и думаешь, что, если повезет — дальше жизнь свою направишь ты по прямому и честному пути! И прежде чем отгадывать стеклышко, молитву самодельную сотворишь, так как все наговоры и заговоры из головы вылетают. «Боженька, помоги мне...» А кругом злорадствует и торопит публика, уже пережившая свои страхи и желающая получить за это награду.

И вот одному из двоих открылось черное стеклышко. Вопль радости и торжества издавал шедший в паре счастливцев. Он пускался в пляс, кувыркался, ходил по траве на руках, дразнил голящего, и без того уж убитого судьбою.

Начиналась игра.

Каждый из тех, кто удачлив в жизни, кто открыл ладонь с белым стеклышком, брал колотушку и бил разок

по колу, бил, плюнув перед этим на ладони и яростно ахнув. Кол подавался в землю иногда сразу на несколько вершков, иногда чуть-чуть — это от ударов твоих закадычных друзей, тайно тебе сочувствующих.

Кол почти весь в земле, но впереди самое главное и страшное — матка — забойщик. На роль эту выбирали, как правило, самого сильного, самого злого и ехидного человека, павроде моего мучителя Сапыки.

Он наносил по колу столько ударов, сколько душ принимало участие в игре. Колотил неторопливо, с прибаутками: «Ах, мы колышек погладим, дураков землей накормим!..», «Кол, кол, дурака на три четвертака!», «Кол да матка — вся отгадка!», «Кол да свайка, возьми, дурак, отгадай-ка!..»

Игроки умные-разумные, дурак один, и все против него. Зажмурясь от потрясения, считал дурак удары и по их помягчелости разумел: кол уже вколочен в землю, по забойщик беспощадно лупит и лупит колотушкой, втопячая дерево глубже и глубже в земные недра.

Правило: пока голящий выдергивал кол, все должны спрятаться. Выдернув, притыкает его в цельное место на полянке, ставит к нему колотушку и отправляется искать погубителей. Нашел — скорей к колу! Луи теперь сам по нему колотушкой, кричи победно: «Гараська килантый за бревном! Гараська килантый за бревном!»

Но как далеко до победного удара!

Кол забит так, что и вершка нету, щепка, корье и те в землю втоптаны. Вытаскивай кол руками, зубами, чем хочешь из того, что на себе и в себе имеешь. Посторонние инструменты никакие не допускались, за всякую хлюзду, то есть если струсишь, домой сбежишь либо забунтуешь, предусмотрено наказание — катание на колу и колотушке. Возьмут тебя, милого, за ноги, за руки, положат спиной на кол и колотушку да как начнут катать — ни сесть потом, ни лечь — все кости болят, спина в занозах.

Но вот шильце к бильцу подползло — срывая ногти, проклиная судьбу и самого себя за то, что дома не сидится, за то, что суешься куда не следует, выколупываешь из земли кол, шатаешь его, тянешь, напрягаясь всеми жилами, а из жалицы, с крыш амбаров, из-под стоек и сараев песутся поощрительные крики, насмешки, улюлюканье.

Р-раз! — и все смолкло. Кол вытащен! Насторожен. Теперь любой из затаившихся огольцов может оказаться возле кола — надо только быть зорким, держать ухо вос-

тро! Стоит голящему отдалиться, как из засады вырывается ловкий, ушлый враг, хватает колотушку и вбивает кол до тех пор, пока ты не вернешься и не застукаешь его. Но такое удается редко. Очень редко. Чаще случается: вернешься, а кол снова забит по маковку и забивалы след простыл.

Вымотанный трясухой лихорадкой, я как-то три дня подряд голил в кол, не мог отголиться и снова захворал. Орлы дяди Левонтия, Васька Вершков, Леня Сидоров, Ваня и Васька Юшковы, Колька Демченко навещали меня, приносили гостинцы, с крестьянской обстоятельностью желали поскорее поправляться, чтобы отголиться, иначе не будет мне прохода, должником жить на селе не полагается, из должника не выйдет и хозяина-мужика.

И когда мне в жизни становилось и становится невозможно, я вспоминаю игру в кол и, стиснув зубы, одолевая беду или преграду, но все же с облегчением заканчиваю я рассказ об этой игре — очень уж схожа давняя потеха с современной жизнью, в которой голишь, голишь да так до самой смерти, видать, и не отголишься.

Поскорее перейду-ка я к воспоминаниям об игре, которая в детстве доставила мне столько удовольствия и счастья — об игре в лапту.

От рождения был во мне какой-то изъян, технически выражаясь — дефект. В детстве я страдал одышкой и много бегать, особенно в гору, не мог, у меня подгибались ноги, распирало грудь кашлем, из глаз сыпались опилки. В лапте же главное — напор, быстрота, сообразительность и бег, бег, стремительный бег, чтоб ветер хлестал в уши.

Пока я был совсем маленький, одышка особой заботы мне не доставляла, я даже в лапту играл и довольно бойко лупил дощечкой по тряпичному или скатанному из коровьей шерсти мячу, прытко носился от «сала» к «салу», которые были в пяти-шести метрах друг от дружки, дыхание во мне быстро налаживалось, ноги-руки не дрожали, все шло ладно и складно.

Вошел я в нешуточный, парнишеский возраст той порой, когда в лапту играли резиновым, после и гуттаперчевым мячиком, и не просто играли, сражались, с соблюдением тонкой тактики и грубой практики. Дощечки в наступившей новой эре лапты были с презрением отвергнуты. Ударный «струмент» делался из круглой, часто сырой и тяжелой палки, концом коей забивали мячик в самое небо. Матки почти не знали промаха, «ушивали»

мячом так, что к спине иль к заду литым старинным пятак-ком прилипал синяк. Бегали игроки чуть ли не полверсты; неотголившегося, схлюздившего, ударившегося в бега парнягу, как и при игре в кол, катали на палах...

Серьезная пошла жизнь.

Я еще какое-то время играл в визгливой, смешанной стайке девчонок и парнишек, но чаще и чаще сорванцы — по годам моя ровня дразнили меня «недотыкой», «нюнькой», напевали: «Витька-Витенок, худой поросенок, ножки трясутся, кишки волокутся...» Дальше — того чище. «Почем кишки? По три денежки...»

Так жить нельзя. Осмелев, я «делился» с кем-нибудь, загадывая всегда одно и то же: «Бочку с салом или казачка с кинжалом?» — меня безошибочно определяли — «Бочка с салом» — и заганивали до посинения, до хриплого кашля, и дело кончалось тем, что выгуривали в шею домой, на печку, к бабушке Катерине Петровне, чтоб «ехать с шей по бревна». Я лез в драку, мешал играть, мне однажды навешали как следует! Я отправился домой, завывая не столь от боли, сколь от обиды.

— Об чем поем? — спросила бабушка.

— Ни об че-о-о-ом!..

— Ни об чем дак ни об чем...

Я еще поревел, поревел и сообщил бабушке:

— Меня в лапту не беру-ут!

— Вот дак мошенники, пятнай их! Вот дак гробовозы!

Пошто не берут-то?

— Обздышливый, говорят...

— Обздышливый?! — бабушка тряско засмеялась, открыв дыроватый рот, в котором вверху воинственно торчал одинокий зуб, но внизу их было побольше.

— Тебе бы хаханьки бы все, а я играть хочу! — набычился я.

— Дак играй! Поди выбери палку покрепче и шшалак-кай камня, шшепки, стеклушки. Подбрось и шшалакни, подбрось и шшалакни. Выучишься в каждый предмет попадать, заявисся на поляну, возьмешь лапту да ка-ак подденешь! Во как шандарахнул! Во как я умею! А вы — зас...цы!

Не медля ни минуты, я отправился во двор, выбрал тяжелую палку и начал поддавать ею щепки, комки земли, чурбаки. Дело у меня ладилось, я так увлекся, так размахался, что палка вырвалась из рук, перелетела через двор и вынесла полрамы в горнице.

— То-ошно мне! — схватилась за голову бабушка, чего-то делавшая в избе. — Эт-то он што жа комунис, вытворят? Вот дак шабаркнул! Вот дак научила я на свою головушку!..

Бабушка наладилась преследовать меня и выпороть, но я уже перевалился через заплот, пятками сверкал по переулку. На берегу Енисея я отыскал сырую палку и без усталы лупил ею, подбрасывая каменья.

Дело дошло до того, что я уже не расставался с палкой и хлестал ею по чему попало. Бабушка не только раскаивалась в своей затее, но и в панику вошла, потому что, кроме своих стекол, я повысаживал их в прибрежных банях, добил в избе дяди Левонтия, у тетки Авдотьи и раму сокрушил. Приехавший в гости Зырянов вокруг этой рамы два дня ходил с карандашом за ухом, соображая, с какого боку начать починку, и на третий вынес решение: рама не поддается ремонту, придется делать новую.

Бабушка не успевала выслушивать жалобы и драть меня. Председатель сельсовета — Митрюха — напомнил о себе, передал бабушке еще одно строгое упреждение, но чем больше меня драли, чем чаще сулились принять крутые меры, тем упорней я добивался цели, и дело дошло до того, что сама бабушка, придя по воду на Енисей, заискивающе попросила:

— Ну-ко, шшалкни, шшалкни!

Я набрал в горсть камешков, отхукнул из себя лишний дух и так поддел глызину, что бабушка задрала голову и воскликнула:

— Эвон как зазвездил!

— Вовсе промазал! — соврал я бабушке, чтоб еще подержать ее в напряжении — где упало в воду, она не видела.

— Да нет, кажись, попал! — настаивала бабушка, пытаясь уверить меня в том, что я могу отправляться играть в лапту и, глядишь, перестану крушить стекла.

— Вот теперь смотри! — Один за другим подбросил я пяток камней и, не давши им упасть, так поддел, что бабушка с облегчением закрестилась:

— Тут и сумлеваться нечего! Всех расколопматишь! Смело вступай в дело! — и, сокрушенно качая головой, вздохнула: — Изобьет, язвило бы его, испластат обугчонки! И сам испластатца!..

Обалделый от удачи, я пластался в лапту до беспамятства и в конце концов сделался маткой, выжив с этой

должности левонтьевского Саньку. Он, конечно, жох по части бегать, увертываться от мяча, ловил «свечки» по настроению: то все подряд, то ни одной.

Санька, конечно же, надеялся вернуть себе утраченную должность, снова сделаться главарем в игре. Утро, бывало, еще только-только займетса, чуть ткнется солнце в стекла и распахнут в доме створки, Санька тут как тут.

— Эй, анчихрист! — кличет. — Выходи на улку!

Отодвинув занавеску, бабушка напускалась на Саньку:

— Ты ково передразниваш, родимец тебя рашшиби! А? Этому тебя во школе-то учат?

— Еще ирихметике! — лупил Санька красные бесстыжие глаза.

— Ну, не язва? Не проходимец?! — хлопала себя бабушка по юбке и наваливалась на меня: — Хватай еду-то, хватай! Живьем заглатывай! Не успеешь набегаться! — и уже вдогонку: — До ночи носись! Башку сломи!..

Я уже не слышал бабушку. Мыслями был уже далеко от нее, все наказы сразу за воротами вылетали из моей головы, потому что внутри занималось, распалило меня чувство схватки, и в то же время не покидала рассудительность перед дележкой: могут одной матке слабаки попасть, другой — наоборот, тогда до ночи не отголишься. Матке полагалось не только беспромашно лупить по мячу, но и быть хватким, изворотливым, дальновидным, даже суеверным.

Мне, например, всегда везло, если в дележке первым в мою команду попадал Колька Демченко, и потому творились козни, чтоб мне его точнее отгадать. Верный соратник по игре, он всегда шел мне навстречу, хотя первое время, пока я не избегал одышку, со мной рисковно было связываться. Творя намек, Колька ковырял пальцем в носу, чесал пятку, подбрасывал складник, втыкал его небрежно острием в землю либо задирали голову в небо.

«Бобра серого или носоря белого?» «Волка кусучего или зайца бегучего?», «Летчика с ероплана или с парохода капитана?». Ну и безотказную «Бочку с салом или казака с кинжалом»? Были загады и помудрей: «Свинка — золотая щетинка», «Иван-болван молоко болтал, да не выболтал», «Меч-кладенец — калена стрела, копые булатное, мурзамецкое!..» Что это за копые такое «мурзамецкое», ни сном ни духом никто не ведал, но и оно шло в оборот.

Часто противная сторона пресекала козни и с позором отправляла ловкачей делиться по второму разу, но снова и снова плелись заговоры, устраивались ловушки, фокусы и, бывало, ох бывало, канитель с дележкой растягивалась до свалки, команды разбегались, матка, схлопывав шишку на голову или фонарь под глаз, со своедельной, личной лаптой уныло топал в свое подворье, где его впрягали в работу — полоть огород, чистить в стайке, пилить дрова, носить воду.

Еще везло мне в игре, когда за горой солнце закатывалось в тучу и восходило не из тучи; когда корова наша Пеструха первой откликнулась на голос березовой пастушьей дуды; когда в печи головешки не оставались; когда дед Илья во дворе был и провожал меня взглядом; когда дядя Левонтий напивался, но не впадал в кураж, не диковал. Словом, много у меня было разных примет и причуд. Вызнав об этом, бабушка подняла меня на смех:

— Колдун у нас, девки! Свой, домодельный! И Тришину перешопчет! Ты бы хоть денег наколдовал баушке...

Подружки ее — сударушки — туда же:

— То, я гляжу, все он у тебя чё-то нюхат, потом голову задират...

— Это он приколдовывает!

— Да ну?! Чё приколдовывает-то?

— А штабы всех обыграть!

— Ак в небо-то зачем глядит?

— У его там свой антирес! Как там все по его расставлено: звезды, солнце, месяц — дак он всех и обчистит!

— Чё деетца-а-а! — поражались старушки. — Вот дак век наступил! Парнишшонка парнишшонкой, но уж с печистой силой знатца!

— Учена голова! — подводила итог бабушка, и я взъерошенно налетал на нее:

— Чё боташ-то? Чё боташ?!

— Ты на ково, на ково с кулаком-то? На баушку родну? Спасибо! Вот спасибо!

— А чё дразнисся? Я в школе учусь! Нет никакого колдовства! Никакой нечистой силы!

— А чё есь-то?

— Смрад! Суеверья! Поповские клику... клюку... шество...

— Чё-о?

— Клюкушество. Так учитель сказывал.

— Вот чему учат в школе-то! Вот! Церкву заперли, басловеня Божьего лишился люд, дичат помаленьку...

— Я, что ли, закрывал?

— А такие же бесы! Сонце ему не так упало да не эдак поднялось!.. Причепи его, ковды ученай...

Махнув рукой, я отправлялся на поляну мимо бобровского дома, и, если во дворе, в окне ли избы видел Катьку Боброву — мне тоже в игре везло! Катька лет на пять старше меня, но не задавалась и часто одаривала меня вниманием, брала с собой по ягоды на увал, не бултыхалась нарочно возле удочек, как другие девчонки, которых хоть камнями бей, они все одно к удочкам лезут, нечисть всякую плетут. Катька подходила к рыбаку на цыпочках, присаживалась поодаль и тихим голосом спрашивала:

— Клюет?

Я молча поднимал из воды снастку с наздеватными на нее пескарями, сорожинами, ельчиками, ершами.

— Ого! — уважительно восклицала Катька. — Молодец какой!

Приятно и послушать хорошего человека! Украдчиво похрустывая камнями, Катька удалялась с берега, на ходу отжимала густые, потемнелые от воды волосы.

Катька кормила кур, бросая горстью зерно с крыльца, вытянулась, напрягла шею и улыбнулась мне. Я подпрыгнул козлом, гикнул и, изображая из себя рысака, пошел чесать во все лопатки, чтоб видно было, что я уже не обздышливый.

За деревней на поляне либо в бобровском переулке, а то и на взвозе, у Енисея, подле хохловской бани располагалась братва, жует серу, бросает камни в воду, втыкает складник в землю, чешется, треплется, ждет, когда появится парнишка с мячиком. Двое уже явились, с отскоком колотят в стену бани мячиком, считают, сколько раз без остановки подпрыгнул мячик. Владелец мячика, хозяин ценнейшей вещи — ему почет, уважение и даже некоторые послабления в игре — зажмурившись, смотрят матки при дележке на то, как «хозяин» норовит попасть в команду покрепче, «ушивая», стараются не повредить его до синяков — еще обидится. Но коли владеющий мячиком преступал закон игры — хватал мяч в разгар сраженья и отправлялся медленным шагом домой, подбрасывая мяч и

напевая: «ля-ля-ля», — парни за ним не гонялись, не упрасивали...

Хрена! Давно соску не сосем! Мы — мужики, пусть в игре, но мужики, и суд наш молчалив, а приговор суров: не брать хлюзду в игру! Вот и тешься сам с собой, забавляйся! Мы Кольку подождем. «Колька-хохол — восемнадцать блинов!» — вот его какое прозвище. Как-то играли мы в верхнем конце села, Колька жрать захотел, домой бежать далеко, он завернул к тетке своей — Степаниде Демченко. Она как раз блины пекла. И слупил парнечек восемнадцать блинов! — Блин не клин — брюха не расколлет. И на войну Колька ушел с тем редкостным прозвищем, погиб смертью честного бойца, потому что и в игре никогда не хлюздил.

У Демченков есть мячик, гуттаперчевый, на двоих с братаном Мишкой. Но Мишка постарше, редко ему доводится играть, он помогает по хозяйству, заготавливает дрова, рыбачит.

«И чего Колька не идет? Девятнадцатый блин доедает, что ли?» Гришка Домнин, тот самый, что больше всех накапливал бабок, паренек из богатенькой семьи, которого мы вчера выгурили с поляны, катнул нам мяч, идя на мировую, черный, резиновый, тугой. Васька Юшков как поддел мячик ногой — он и запрыгал по камешкам, катясь к Енисею, Гришка, будто рысь, метнулся, схватил мячик у самой воды.

— Больше мячик не получите! Я с вам не играю!

— А мы с вам! — отшили его.

— Иди с баушкой яички крашенные покатай вместо лапты, — советуют ему. — Або резни по мячику, как Витька Катеринин, чтоб в лоскутья!..

Это про меня! Я на седьмом небе от гордости. Было-было! В кои-то веки, пронятая моими мольбами — «Пристал, как банный лист к заднице!» — бабушка Катерина купила мне в городе мячик — первый и последний. Где уж она этакий сыскала — неизвестно — черный не черный, вроде бы как в пепле извоженный, липкий. Тетеньки и дяденьки, которые мячик такой делали, видать, думали, что аккуратные деточки будут его по травке катать, из ладошек в ладошки перебрасывать. Духом не ведали, зная-ем не знали они, что где-то есть сорваец, без промаху попадающий лаптой по любому камешку, отправляя его аж за сплавную бону.

— Купила я те мя-аачик! Разорилась, конечно, но

уж делать нечего, владей! — сияя, что солнце вешнее, бабушка катнула мячик с крыльца, и он запрыгал по ступенькам, заподскакивал и живым сереньким котенком затих в моих ногах. — Ну-ко, шшалкни ево, шшалкни!

Надо ли говорить, как я затрепетал от радости, бросился встречь мячику, но тут же все во мне рухнуло, произошло крушение жизни: сырые эти мячики мы расшибали единым ударом. Я достал спрятанную под сеньями увесистую лапту, до стеклянного блеска отшлифованную моей рукой, трудовой рукой матки, подбросил мяч и поддал!..

Выбирая слушателей постарше, кои никогда не играли ни в какой мяч, кроме шерстяного, самокатного, потому как фабричных мячей в их отсталый век не водилось, страдая всем сердцем, бабушка несколько лет подряд рассказывала:

... — От всей-то душеньки кидая ему мячик: имай, внучек! Играй, дорогой робеночек! А он, язз-ва-то, арестанец-то, нет штабы баушке спасибо сказать...

— Хе-хе, чё захотела!..

— Послушай-ко, послушай-ко, кума! Глянул на меня мнученочек-то, робеночек-то дорогой, ну чисто рублем подарил!

— Заместо спасибо!

— Ага. Дедушко и дедушко родимай! Тырлы вытарашшит, дак сразу руки вверх! Живьем сдавайся!.. Глянул эдак-то да ка-ак по мячику резнет стягом!.. Стя-гом, матушка моя, стягом! В ем, в мячике-то, аж че-то зачуфыркало! Зачуфыркало, кума, зачуфыркало, ровно в бонбе гремучей!..

— С нами крестная сила!

— Шипит мячик, пипка отвалилась... А этот, яз-зва-то, архаровец-то, облокотился на стяг, чё, дескать, ишшо расшибить?..

— Вот их до какой черты в школах да в клубах довели! Седни мячик потрошат, завтра за людей примутся... Дала бы ему баню!

— И дала! И дала! Как не дать? Пять гривен, как одну копейку, высадила! — Бабушка сморкалась в передник, и дальше, знал я, пойдет: «Какие наши достатки? Где работники-то? Сама обезножела. Старик на курятнике крехтит, не то помират, не то забастовка опеть?..»

Тридцать третий год все подмел по сусекам, сундукам, по амбару и двору. Дед, как оказалось после, не бастовал,

он отбывал свои последние сроки на земле. Держались лесом, огородом и тем, что изредка давали нам тетки и дядья, да и у них свои семьи и нужда своя.

На Усть-Мане расположилась сплавная контора, построен рейд с поперечной гаванью — для задержки леса. Среди редко рассыпанных избенок и широких загонов для скота, по-хозяйски широко и бесцеремонно втиснулись несколько барачков, столовая из теса, клуб из кругляка. Берег вдоль и поперек испластали тракторами, пашню опугали цинками. Вольный, дерганый люд, не знающий цену никому и ничему, земле и подавно, наторил по пашням дороги и тропы, повалил заплоты, пустил пристройки на дрова. В бараках жили от получки до получки, бурно, беззаботно, весело. За иные займки, занятые сплавщиками, выплачены были какие-то суммы, но на большинстве займок избы стояли заколоченные. Мужики и бабы растерянно замолкли по своим сельским дворам, на беспризорную землю от леса двинулась трава, боярышник, бузина и всякая лесная нечисть. Но, сопротивляясь одичанию, еще многие годы меж штабелей леса, где-нибудь на бугре, а то и на завалине барака, во дворе школы, возле помоек вдруг всходил и отделялся от дикой травы колосок ржи, пшеницы, метелки овса, кисточка гречи. Случалось, смятый, сваленный к воде, размичканный яр прошибал росток картошки, овощ пробовала цвести и родиться...

Землю заняли, не раскорчевав ни одной полосы взамен. И великим потом и мозолями отвоеванная когда-то у непроходимой тайги пашня скоро пришла в запустение, исчезла, обратилась в ничто.

Существовал закон, защищающий интересы крестьян. Но мужики закона того не знали. Старые, вроде моего деда Ильи Евграфовича, люди махнули на все рукой, позабывались в избы и начали заглохнуть без работы — от веку жившие землей, ничем другим жить они были не научены. Хозяева, кои были еще в силе, сделались междомками: рыскали меж колхозов, сплавной конторой, известковым заводом, сшибая случайные подряды.

Земли колхозу не хватало. Какая в наших камнях земля? Там клочок, тут вершок, и при всем этом самые лучшие пашни пустили на распыл — на левой стороне Енисея, что по-за островом, оттяпало овсянскую землю подсобное хозяйство института, на фокинском улусе, том самом, где потерялся когда-то сын тетки Апрони, Петенька, расположилось подсобное хозяйство другого институ-

та — разохотились городские на дармовую землю, тем временем колхоз имени товарища Щетинкина, и без того едва теплящийся, чадил как восковая свечка, пока совсем не угас. И когда я ныне слушаю удивленные речи: откуда, мол, и как появилось варварское отношение к земле, равнодушие к ней? — могу точно указать дату: в родном моем селе Овсянке это началось в тридцатых годах, в те бурные, много нам бед причинившие дни.

Тем летом, как на грех, поссорился с бабушкой и ушел в другой дом Кольча-младший, оставив с нами первую жену. Какое-то время жена Кольчи-младшего пожила с нами, потом забрала ребеночка и тихо утащила домой.

Безлюдно, пусто сделалось в нашей избе. Бабушка, боясь лиходеев, не выставяла рамы в средней и в кути, а выставленные в горнице перяшливо, на скорую руку обмыла.

В одинокой скорби застыл лежавший на курятнике дед, никаких замечаний ей не делал, на поношения ее не отзывался, курил беспрестанно, редко и нехотя, с кряхтением сползал с лежанки своей, чтоб сходить до ветру или в баню.

Во дворе начала расти-путаться трава-мурава, подле заплотов — мокрица: меж тесаной стлани и за стайками, на старых кучах назьма, густо взошел овес, под навесом по углам ржавели плуг, борона, железные грабли; заплоты подернулись каменным мхом; даже ворота состарились, треснули, ошетинились серыми оцепинами, старчески скрипели, когда их пробовали отворять, — пегли-то дегтем не мазаны.

Однако моя жизнь как направилась, так и шла отлаженно: хлеба кусок, молочишка плошку, пару картох — и готов к сраженьям боец, и потому я не особенно понимал, что значит для нас пять гривен, считал, что бабушка подлиннее пазывала пятьдесят копеек для того, чтобы шибче уязвить меня.

— Его в утиль еще можно сдать! — презрительно процедил я сквозь зубы. — За две копейки.

— Ково это?

— Мячик.

— Видала, кума?! Видала, чё он умет?

— Да уж...

— Рощу его, из кожи лезу, во школу снарядила, а он?! Убирайся чичас же с глаз моих! Запорю до смерти!..

И я убирался с облегчением, ухмыляясь, поцыркивая слюной сквозь зубы, независимо, вразвалочку.

— Эко его родимец-то корежит! Это он, кума, дразнит меня! Изгалятца. Я ему мячик за пять гривен...

— Этому неслуху — мячик?! Ремня ему!..

Об мячике я возьми и расскажи братве. Изображая потеху, словно в клубе на спектакле, гримасничал, хлопал себя по бедрам, повторял, продергивая бабушку: «Пять гривен! Пять гривен!..»

Ребятня каталась по траве, а я старался, я старался!..

Вечером бабушка налила мне простокваши, экономно отрезала ломоть хлеба и, не как прежде — сначала за ухо иль за волосья, отойдя к печи, сложив руки на груди, с глубокой обидой сказала:

— И не совестно? Родну-то баушку худославишь? Мячик я ему, видишь ли, не такой купила! — И, помолчав, с горьким вздохом закончила: — Слышно, арестанец-то, папа твой, скоро воротитца, маму тебе нову заведет, передам тебя с рук на руки, ослобонюся: «Нате, дорогие родители! Сохранила, сберегла, грехов натерпелась, слезынок речку пролила... Одевайте, обувайте, мячики ему хороши покупайте!»

Меня обварило жаром, горело лицо, кололись толсто волосы на голове, сил не было поднять глаза. Мне бы, как раньше, прощенья у бабушки попросить — и ей бы, и мне, и деду — всем легче. Но я уже отведал зла, нажил упрямства, научился ощетиниваться против укоров.

— Жри уж, жри, покуль дают! Баушка побьет, баушка пожалеет... Новы родители, кто знат, чё сами кусать будут?..

Я рвал горбушку зубами, швыркал простоквашу, впеврившись взглядом в кухонный бревенчатый угол незрячими от накипевших слез глазами. Всем я надоел, все неладно у меня и со мной, и отхожу я лишь в любимой игре — лапте, но и там чуть чего — замахиваюсь палкой...

— Избывай, избывай робенка! — Я встрепенулся, перестал есть. Дедушка с кряхтеньем сел на курятнике, отдышался. — Избывай постылово, избудешь милово... Всех разогнала, всех рассеяла, как вражеско войско...

Это и нужно было!

Я швырнул кусок на стол, оттолкнул кружку с простоквашей и, задавленно взрыдывая, бросился на улицу.

— Кругом я виновата! — вздохнула бабушка протяжно, со всхлипом. — Сдохнуть бы мне уж поскорее ли, чё ли? Штабы никому не мешать...

Не скоро дойду я умишком — мучилась бабушка па-

мятью о своей дочери, моей маме, хотела и не могла представить себе другую женщину на ее месте, страшилась за меня, такого настырного, дерзкого. Терзания свои она пыталась таить в себе, да человек-то она какой? Шумный, вселюдный, молчать ей долго невыносимо, вот и прет: «Новая мама...»

В поздний вечер, заперев на засовы ставни и ворота, бабушка останавливалась на крыльце, поворачивалась к лесу, крестилась на закат, кланялась горам и со строгой печалью роняла в пространство:

— Чичас же ступай домой! Успешь натаскаться да наваяться по сараям, вышкам, по пристанским лавкам... В тятю удашься, дак и арестантских нар не минуешь...

Да-а, бабушка ведала, что ждет меня впереди, но я-то ничего-ничего не знал, как мячик от заплота, отскакивал от меня обиды — солнце поднялось ясное, повстречалась Катька Боброва, посмеялся над Гришкой домнинским, потешно скакавшим за мячиком, дождался Кольку Демченко — чего-то дожевывая на ходу, он брякнул воротами, бросил в народ гуттаперчевый, битый-перебитый, но все еще крепкий, тугой мячик — и с души горе долой.

Началась дележка, веселая, с подковыром, тайными ходами, немислимыми кознями. Нешуточные заботы матки — хозяйина команды — захватили меня. Санька левонтьевский норовил попасть в мою команду. Ничего не скажешь, игрок он бойкий, но нарывистый, спасу нет! С ним горя натерпишься. Я незаметно переталкивал его в другую команду, но там тоже не очень-то рады такому резвачу.

Идет Санька рука об руку с парнишкой, обязательно ведь выберет бесхитростного, безответного, вроде Ленки сидоровского. Издали еще Санька ужимается, хмыкает, подмаргивает красными глазами и жует, жует окова-лок серы — вечно жует, облизены!

— Сайку с медом або пирог с г...м? — выпалил Санька с ходу. Дело ясное — сайка с медом — он, Санька левонтьевский. Все остальные — этот самый пирог...

— Перезагадаться! — отверг загад matka другой команды.

— Перезагадаться! — подтвердил я.

— Чё-о? Да я чичас у домнинского мячик возьму! Всех к себе переманю! Ишь, какие начальники! Без ручки чайники!..

— Не брать его никому в пару!

— И не берите! Не берите! Я вам нашпываю по отдельности!

Санька затягивал дележку и в наглости своей доходил до такого мухлеванья, что в конце концов с ним, если б матки и разрешили, никто не хотел становиться в дележную пару, и он оказывался «вне игры», валился на траву вместе с девчонками, с недоросшими до настоящих сражений парнишками, с увеченными, больными, убогими, каких в любом селе, тем паче в большом, сибирском, всегда было дополна.

— Х-хе! Легчик на ероплане! — измывался Санька над ребятами. — С бани летел, в назем угодил! Капитан на мостике?! На печке капитан, в заду таракан! Ха-ха-ха!

Кто-нибудь из смирных парней не выдерживал:

— Чё сорожина красноглаза дразнитца?

— Он дождетя, дождетя, на палках в лоскутья искагаем!..

— Попробуй, попробуй! Я те рожу растворожу, зубы на зубы помпожу!..

Отчеркнули острым концом палки черту поперек перулка — для битья по мячу и подаванья его. Чуть сбоку и спереди черта покороче — угонная, где стоят сделавшие удар игроки и нарываються, хотят удрать к голевому «салу» — к черте, которая делается по уговору маток и команд иной раз в полсотне сажен от угонного «сала», — все зависит от резвости игроков, от умения маток бить по мячу.

Все! Три «сала» намечены, игроки метнули вверх монетку, матки прокричали: «Орел!», «Решка!» — и одна из команд, матерно выражаясь и ворча, разбредается по перулку — голить.

— Не брался бы, слепошарый!

— Вечно рот разеват!

— Другой раз сам в поле пойдешь!

Матка все это должен выслушать, пережить, стерпеть и как можно скорее помочь своим отголиться. Для этого существуют тысячи хитростей и уловок в игре. Но и другого «хозяина» к месту приставили не ради шуток. Он тоже должен мозгой шевелить.

Счастливым маткой оказался я. Осмотрел свою коман-

ду, как всегда, сделал недовольный вид — не команда у меня, а колупай с братом! Сброд какой-то! Вон к другому матке попали люди как люди!.. Однако кураж не должен перейти ту границу, за которой наступило бы полное к себе презрение команды, и она, проникшись худым настроением, заранее упала бы духом. Не-ет, поворчав на одного-другого «бойца», дождавшись, когда разуются те, у кого есть обутки, помогши тем, у кого нет пуговиц и ремешков, подтянуть штаны и подвязать бечевками или закрепить булавками, матка пускает к бойкому «салу» тех парней, которые должны делать вид, будто быют по мячу, на самом деле ни в коем разе в него не попадать. У них «крива рука». Нынешние теоретики спорта называют этот распространенный недостаток мудреней — слабо поставлен удар. От такого удара мяч летит сонно и куда попало. Его, голубчика, сцапают, и «ваша не пляшет!». Плюйся, проклинай пеночника-мазилу, отвесь ему пинкаря, но ступай в поле голить, где ты можешь отыгаться быстро, но если у прогивника все пойдет как по маслу, команда его будет играть все дружней, бить по мячу хлестче, бегать резвее — изнервничаешься вконец, измотаешься, не отголишься до темноты и назавтра будь любезен без дележки, с остатками разбитой своей дружины доводить дело до победы, потому как непременно окажутся хлюзды, они выйдут из боя, то мама не пускает, то на пашню к тятке велено идти, то нога нарываает, то еще что. А матке нельзя отлынивать, никакой он тогда не главарь, и его впредь не выберут старшим. Если же он сам не доведет до конца игру — противная сторона имеет полное право накатать его на палках...

Но в сторону мысли — к лапте идет, подбирается Микешка-колдун, да кабы только колдун, он еще парень непослушный, дерзкий, за ним глаз да глаз нужен. Микешка метит взять лапту ударную, чтобы услатить мячик аж за деревню. Но я даю ему затесанную на конце, плоскую — «гасить» мячик, чтобы он ударился в землю и отскочил назад, вбок, куда угодно, только не в руки голящей команде.

Еще три паревана, схожих с Микешкой видом и характером, благополучно погасили мяч. Санька галился над цареванами, заключая каждый из таких ударов выкриком: «В сметану!», «В коровье пойло!», «Себе в хайло!»

Пошел игрок средней руки, самый-самый, из-за которого переживания одни — он может подцепить мячик, всем на удивление, и помчится тогда пробившая по мячу

орда к дальнему «салу», с весельем и хохотом. Матка освобожденно выдохнет, распухнет мускулом — когда есть на дальнем «сале» хоть один игрок, да если он к тому же ловок, стремителен и увертлив — легче вести игру — на дальнем «сале» нарываються, делают пробежки, доводят до злости и нервности команду противника — прорвись с дальнего «сала» игрок, добежи до лапты не ушитый — вся команда получает право на удар, матка — на три? Коли матка не использовал положенные три удара, накапливается у него их уже шесть — попробуй тогда отыграйся, да еще в нервности и упадке духа.

На сей раз мои «среднячки» — такие слово в Овсянке закрепились после коллективизации — что-то ни тае, никто из них не помог мне, больше того, главная надежа — Колька-хохол — чуть было не подарил мячик противнику в поле, меня аж пот прошиб! У Кольки честный, бойцовский характер. Теперь, когда я стану готовиться к удару, он, чтобы загладить вину, начнет нарываться, стало быть, еще до удара пробовать сорваться с места и бежать на дальнее «сало» — это опасно, очень опасно — матка может приотпустить его, и, если в поле стоит хороший ловила, а там сегодня не один такой, матка кинет мяч, Кольку перехватят, ушьют, а он перехватит ли кого — это вопрос! Я показал Кольке кулак. Он отошел к черте, нетерпеливо перебирая ногами.

Сказать по правде, последнее время игра у меня не ладилась, однако я не хотел себе в том признаться, из матки не выходил, но прежней удали и уверенности в себе не чувствовал. К бойкому «салу» шагал будто по углям, долго «прилаживал» к руке свою лапту, за мной ядовитым взглядом следит отторгнутый от игры вражина Санька. Надо бить, раз в игру ввязался. Плюнув на ладони, замахнулся, слышу, катит Санька поганство, чтоб сбить у меня удар:

— Кукаре-кукареку! Дрисни ему на руку!

Прежде я б усмехнулся, плюнул под ноги и так бы поддел мяч!.. А ныне чувствую — царапнуло нутро, заклинилось там что-то, голову злостью обнесло, и не по мячику, по Санькиной роже захватить тянет. Голящие уловили во мне перемену. Подбрасывая мяч, загольный вертанул им. В другой раз я бы пропустил удар, бей сам, сказал или бы что поехиднее: «Пусть твой тятя крученный верченую маму бьет», но, желая поскорее утереть Саньке нос, я изо всей-то силушки лупанул по «слепому» мячу —

это когда его вроде бы на лапту подают, но закручивают так, что, пролетев подле твоего носа, мяч возвращается в руки загольного.

Подавать верченые мячи, слепые, отводные, низкие, до середины лапты наброшенные — такие проделки матка может позволить с игроками иного сорта, с Микешкой, скажем. Матка же к матке обязан относиться с почтением, хотя бы показным, иначе он плохо кончит — я его команду доведу до припадков.

И довожу! Загольный подбрасывает мяч, я поднимаю лапту, замахиваясь, и опускаю ее. Я даже не говорю никаких слов ни насчет тяти, ни насчет мамы. Я просто стою, опершись на лапту, и скучно смотрю вдаль. Загольный подбрасывает мяч раз, другой, третий, он работает чисто, он весь внимание, но я не быю. И тогда следует приговор голящей команды:

— Смениться!

Полевой игрок выходит вместо матки, тот, сконфуженный, красный, бредет в поле, голить. Унижение-то какое! Я снисходительно окинул взглядом собравшуюся в перелуке публику, скользнул глазами по примолкшим девчушкам, задержался взглядом на ухмыляющемся Саньке — на морде его такое выражение, словно он чего-то наперед знает и ухмыляется со значением: «Лыбься, лыбься! Счас увидишь!..» — Я размахнулся и... промазал по мячу, поданному по всем правилам.

Спицу мою опахнуло холодом, под сердцем завязался мягкий узелок, маленький такой, с мышонка, но всего меня вместе с кишками и потрохами он повязал. Команда моя притихла. Санька приподнялся с травы, приплясывал, почесывая зад — забыл, что на ширинке штанов у него нету пуговиц, и, когда он так вот чешется, «скворешня» спереди открывается — закрывается, показывая мужицкого калибра, чумазенький, бодрый гриб боровичок, по которому мужики при случае звучно щелкали ногтем, заверяя, что с таким «струментом» Санька не пропадет.

Напряженный наступил момент — никто ничего не замечал, даже глазастые девчонки не прыскали, но матка все должен зреть.

— Скворешню-то застегни! — заранее зная, застегивать ее не на что, посоветовал я Саньке, и он пугливо прихлопнул ладонями прореху. Под шумок Колька-хохол рванул было в угон, но голящие начали перебрасывать мяч друг дружке с тем, чтобы в поле перенять моего на-

парника и ушить наверняка. Вылазка не удалась, пришлось вернуться.

Матка, свергнутый с поста, маячил загольному, чтоб он подбрасывал мяч выше — я не любил высокие подачи, бил точно и хлестко по мячу, поданному вровень с плечом, и потому пропустил высокую подачу.

— Чё хлюздишь-то? — заволновались голящие. — Бить дак бей!..

— Подавать научитесь!

— Да подай ты ему, подай! Он все одно промажет! — кричал уязвленный Санька. — Я вчерась имя кошку дохлу под заплот бросил: ни в жись не попадет, пока кошку не сыщут!..

«Вот оно что! — похолодел я. — Заколдовал, паразит! Заколдовал! Но мне плевать. Я неверующий! Советский школьник! Бабушка комунисом меня зовет! Значит, все мне нипочем!..»

— Подавай!

— На! На! На! — словно собачонку, раздраживал меня загольный.

В этом случае надо дать не по мячу, по рукам — навсегда отпадет охота у загольного дразнить битока, но мне нужен удар, невысказанный удар, чтоб мячик пулей вонзился в небо, чтоб моя команда могла сбегать туда и обратно и, задыхнувшись, взволнованная, кричала: «Ну, чё? Взяли? Взяли? Выкушали?! — Тогда бери супротивника голыми руками, уделывай его как хочешь: он растерян, пал духом и не скоро соберется...»

— Н-на!

Я все сделал точно, выждал момент, выкинул лапту за спину и, чувствуя всю свою силу, как бы скатившуюся свинцом в наконечник лапты, нанес удар, но не ощутил ответного толчка, пружинистого, чуть отдающего палку назад, не услышал щелчка...

На что-то еще надеясь, я глянул в небо и не увидел там мяча, полого, почти по прямой и в то же время выше, выше летящего — вот он с воробышку, с жучка, с тетрабочную точку — и все! Исчез! Улетел к Богу в рай! Даже недруги твои, даже такой змеина, как Санька, примолкнут, открыв рты, а ты стоишь после удара с опущенной лаптой и не дышишь, переживая миг жизни, с которым, не знаю, что может и сравниться, слышишь победный топот братвы. Кто-нибудь из парней, как бы не удержав ходу, боднет тебя башкой в живот, ответно бухнешь со-

ратника кулаком по спине и отойдешь в сторону — победитель, герой, осчастлививший массы. Ватажка твоя теперь сплоченной семьей стала, твоей семьей и долго будет держать верх. Даже рахитный Микешка будет чувствовать себя богатырем и, словно это он добыл удачу, захлебываясь восторгом, прыгать и кричать станет: «От резанул так резанул! В небо! В небо мячик-та! Стрижом! Чё же это, а?! Мы их загоняю! Загоня-ам!..»

— Не-не по-а-па-а-ал! Н-не попа-а-а-ал! Свою мать закопал! — завопил Санька, кувыркаясь через голову, он ходил на руках — верх его торжества наступил.

Есть еще один, говоря по-нынешнему, шанс, — последний: бросить лапту и бежать куда глаза глядят. Если тебя не ушьют или ушьют худо, ты овладеешь мячом, может, кого перехватишь в поле... Моя ватага сделала попытку кинуться врассыпную, однако я сам, без сопротивления протянул дрожащую руку, взял мяч и сказал матке, показывая на беснующегося Саньку:

— Возьми к себе! Не то я палку обломаю об эту падлу!..

— Че-о! Че-о-о! — взъелся Санька, но тут же потрусил к «салу» — зверина, он чуткий, хорошо помнит, что имя матери-покойницы всуе трепать нельзя, кроме того, он догадывается, что в нашем доме не все ладно и потешаться надо мной без меры не следует, к тому же Санька — игрок хотя и прыткий, но ведает: я пропущу кого угодно, но его удозорю.

После первого же удара Санька начал нарываться, травить меня. Зря он это, зря! Я поставил в середину поля Кольку-хохла — ловило он будь здоров! — и сказал, чтобы он Саньку не ушивал, предоставил бы мне заслуженную месть. Я начал спорить с маткой, увлекся, в раж вошел, за Санькой мне вроде бы и некогда следить, он и купился, почапал! «Та-ак, — злорадно отметил я, — попался, который кусался!» — и резко бросил мяч Кольке. Тот погнался Саньку назад, все время замахаясь и не сводя с него глаз.

Есть игроки с лешачьей верткостью — моргни только — и его Ванькой звали! Иного бьешь в упор, он выгнется, ровно змея, и... мимо! Игрок открытого боя не бросается наутек, тот, защученный в поле, раскинув руки, прет на сближение, не давая бить его со скользом, норовит поймать мяч, и не успеешь ты его ушить, как он тебе вцепит ответно. Но встречаются такие пареваны — жохи, кото-

рые, помимо всех известных фортелей и уловок, выискивают неожиданные подвохи, смекают на ходу. К таким относился Санька! Гад! Паразит! Каторжанец! Немытая харя! И... не знаю, кто еще!

Вот он строчит вспять, к «салу». Колька швырк мне мячик. Заметался Санька, заплясал, вызывая поспешный удар. Я замахваюсь раз — он приседает, замахваюсь второй — он подскакивает. Публика начинает хихикать. Злоумышленник подло распялил рот: «Ну, бей! Бей! Прет, да? Прет?!» — Не пройдет на этот раз, Саня, не пройдет! Ты у меня и напляшешься, и наплачешься! Ближе, ближе Санька, никак ему не удастся прикупить меня, вывернуться — давно мы друг друга знаем. Вот уж шаг-другой разделяют нас — на такой дистанции ничто не может спасти Саньку. Он прибегнет, я знаю, к последнему трюку — при ударе брякнется на землю, и мяч просвистит над ним. Тогда все! Тогда конец! И Санька, и команда его, и публика засвистит, заулюлюкает, добивая неудачника. И пусть не въяве, пусть мысленно, хвалой, одобрениями публика поднимает плута и ловкача на воздух, ликуя, понесет его на руках: говорил же я — в игре все, как в жизни.

Санька пятился от меня. Колька за его спиной взывал тутим шепотом: «Дай! Дай!» — Кольке ловчей ушить Саньку. Нет уж, нет! Я столько натерпелся от этого обормота...

— Р-рыз! — взвизгнул я и, подпрыгнув для удара, сделал бросок рукой, Санька бац в утрешнюю коровью лепеху и затих — нет ликующего вопля, мяч остался у меня. Не давая опомниться поверженному супротивнику, я изо всей силы влепил тутим, что камень, мячиком в бок Саньке, и его, будто притопнутую гусеницу, повело, изогнуло. Он беспомощно возился на земле, сучил ногами, ловил ртом возух, вонзив грязные пальцы в траву...

— Вот! Додразнился... — растерянно топтался я. — В-вот...

Санька долго мочился под себя, бок у него больной. Бабушка Катерина Петровна пользовала его травками, поила теплой заячьей кровью, давала заячьего мяса, творила молитву, от всех скорбей и недугов: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа! Как Господь Бог небо и землю, и воду, и звезды, и сыро-матерной земли утвердил и крепко укрепил, и как на той сыро-матерной земле нет ни которой болезни, ни кровных раны, ни щипоты, ни ломоты, ни опухоли, так же сотвори, Господи, штабы у раба Божия, у Александра пусть укрепится водоточная жила и

всякая кость в теле, штабы ходил он до ветру по-людски и спал по-андельски! Он хоть мошенник и плут, Санька-то, а все же ребенок и Божий человек есть, ну как застудится... Никакой ведь сменки у парнишонки, опрудится — и в мокром на улку. Васеня рази за всей ротой углядит? Ей самой догляд нужон...»

Громко бухалась лбом об пол бабушка, напористо просила и разбудила, видать, небесную силу — Санька наладилась, «водоточная» жила в нем укрепились. Но нет-нет согнетса Санька, схватится за бок, вытаращит глаза и дышит перебоисто, судорожно: «Чё ты, Санька, чё? — спросишь. — Болит?» — «Ни-и-иштя-ак».

Трудно поднимался с земли Санька, дышал прерывисто, словно бы пытаясь слотнуть с блюда горячий чай, на переносице его выступили капли. Не замечая, что рука измазана зеленой жижей, он прижал к боку рубаху, согнувшись, ковыльнул к заплоту и уперся в него лбом. А я упрямо талдычил:

— Будешь знать, как дразниться! Будешь знать...

— Самово бы так! — подала сварливый голос какая-то из девчонок. И все они принялись меня судить-пересуживать — бабы и бабы на завалинке:

— Самого лихоманка треплет, дак хорошо?

— Болесь, она не шшитається ни с кем...

— От болести, как от тюрьмы да от сумы, не зарекайся.

— Известно...

— Сказать бабушке Катерине, дак она ему вольет!

— Конешно, сказать...

— Чё развеньгались-то? Ме-ме-ме, баушке сказать!.. — встрял в беседу Колька Демченко. — Тут не хохоньки да хаханьки! Игра! А в игре всяко бывает...

Санька отлепился от заплота, покорно ушел в поле голить. А я ждал, что он полезет драться или бросит в меня коровьей лепехой. Я стерплю — и смута рассеется. Но Санька лишь скользнул по мне взглядом, и сердце мое сжалось — в глазах его распаялись слезы, ими размыло-размазало красноту, сгустив ее в бурую, кирпичную жижу. Там, где у Саньки болело, — находятся почки, узнал я позже. Вот по больным-то почкам, ослепленный жестоким мальчишеским гневом, и врезал я ему в бобровском переулке и до сих пор не могу простить себе того подлого удара.

Из игры Санька не вышел, но больше не нарывался,

меня не травил, бегал от «сала» к «салу» только после неверного удара. Я, хоть и не всякий раз, начал попадать по мячу, и, дети есть дети, пусть в переломном, задавалистом возрасте,— мы скоро забыли про распри, вошли в азарт игры, бегали, лупили по мячу, ловили его, пока было видно, потом сидели, прислонившись мокрыми спинами к стене хохловской бани, нагретой за день солнцем, отдыхались, лениво переговаривались, побрасывали камешки в Енисей. Промыслить бы подсолнух, пощелкать семечек, поплеваться, но они еще даже не зацвели, еще потялячки лопухо висели над грядами. Но скоро, скоро воспрянут они, засветятся солнцами по всем огородам, иной через городьбу шею перегнет, и не хочешь, да рука его сама мимоходом вертанет, будто руль, туда-сюда — и под рубаху. Распластаешь кругляк, на четвертинки разделишь и сперва выешь мякоть из серединки, после и за семечки примешься. К осени не житье — благодать: где гороху, где бобов, где морковки, где брюкву иль репу промыслить — подживленье сил, интерес большой утянуть огородину. Пока же все тебе развлеченье: надергать моху из пазов бани, подымить едучей горечью, которой не только глаза ест, но и в ушах от нее шумно,— да и разбредаться по домам.

В нашей избе не было свету. Бабушка уплыла в город продавать землянику. Возле ворот, на бревне, вдавленном в землю, заеложенном задами, белея исподиною, сидел дедушка Илья. На плечи его наброшена старая шубенка, на ногах катанки, взблескивающие пятнами кожаных заплат. На голове ничего нету. Редко уж в прохладные вечера выползал он за ворота. Сидел неподвижно, забывая отвечать на поклоны проходивших мимо односельчан. Батога он так в руки и не брал, но курить не мог бросить, хотя у него «харчало в груди» и бабушка прятала кисет с табаком.

Дед Илья услышал меня, хрустнув костями, стронулся, отодвигаясь в сторону, уступая мне, как это велось у него издавна, нагретое место. Мне захотелось прижаться к деду и поговорить о чем-нибудь. Но мы и раньше-то не больно много разговаривали, теперь и подавно.

— Деда, принести тебе табаку? Я знаю, куда прячет бабушка кисет.— Не дожидаясь ответа, сбегал во двор и на лавке, под опрокинутым ведром, нашел старый, залоснившийся кисет с проношенной, пыльной подкладкой. В кисет завернуты бумага и спички.

Дед резко дернулся мне навстречу, но тут же тонкий, протяжный стон пронзил старика, отбросил спиной к заплоту. Минуту-другую белел он, распятый на темных бревнах заплота, только борода его мелко-мелко подрагивала от булькающего дыха да дергалось горло. Но вот отвалила, скатилась в кости боль, дед беззубо пожевал, борода его походила сверху вниз, утвердилась на месте, и он начал свертывать сигарку. Долго он ее крутил, усердно, весь ушел в эту работу. Я ждал со спичкой наготове. Совладал дед наконец и с сигаркой. Я чиркнул спичкой, поднес огонек к бороде деда, в которой белел хоботок сигарки. Великим усилием, смилив дрожание в пальцах, дед нащупал сигаркой огонек, ткнулся в него, будто пчелка в цветок, зачмокал по-детски жадно, захлебисто замычал от сладости, и при остатнем свете гаснущей спички увидел я — он пробует мне подмигнуть и улыбнуться, взяла, мол, старая...

Тут же тяжкий кашель сразил деда Илью, и долго он бился на бревне, бухая на всю улицу, отплеываясь под ноги, мучительно высвобождая из себя что-то застоявшееся, удушливое, ядовитое...

— Вот, слава Богу, про-хо-одит... Вот, слава Богу, ожива-аю,— перехваченным голосом известил он. Часто и все еще сорванно дыша, дед согнутым пальцем тыкал под глаза, сморкался громко, с чувством, вытирая пальцы о голенище катанка и уже без спешки, обстоятельно курил, не соря искрами, не захлебываясь дымом.

— Сама-то в городе, видать, заночевала,— не то спросил, не то сообщил дед, помолчал и мрачно прибавил: — Меньше гвалту в избе. И в деревне грохоту...— И стал жаловаться мне, что бабушка прячет табак, прячет и прячет, никаких слов не понимает... чисто дитя...

Кто из них теперь дитя — сказать трудно. Та прячет кисет, этот за ворота вылазки делает в надежде, что его кто-нибудь попотчует табачком, та разгоняет курцов, этот с ней сутками не разговаривает — забастовка!

С табаком у деда проруха — лишь в уголках кисета спеклась табачная пыльца, он и тому радехонек, тянет посо́м табачный запах. До свежего табаку далеко, он только еще зацветает на дальней, почти в жалицу оттесненной гряде. Я втихую помогаю деду, когда кто из мужиков оставит кисет — отсыплю горсть, но мужики к нам редко стали заходить, какой им интерес со стариками якшаться?

В нашем селе — так уж повелось — табачное дело стояло на парнишках. Бабы, зловредничая, ткнут табачишко на огородных выселках, не поливают зряшное, по их рассуждениям, растение, не полют, не пасынкуют. Гробо-возы — мужики гордые, огород полоть и поливать не пойдут. Вот и крутись парнишка, поливай, щипли цвет, от-ростки, иначе вся крепость из листа уйдет. Пальцы слипа-ются, душина от рук, горечью рот дерет, а мужики только и соизволят, что срубить острым топориком табак, сва-лить его в борозды, поморить да связками на чердак под-нять.

Выветрится табак, олютеет во тьме: и целое беремя его завалят в печь — сохнет он там дня три, и все домаш-ние ходят ровно бы чумовые, клянут табакуров, малые дети головами маются и даже блюют. Зато парнишкам полная власть — они начинают сечь табак, просеивать, и редко какая хозяйка выдюживает бряк, стук, табачное удушье — сбегает из дома.

Поскольку в нашей семье из парнишек остался только я, на меня и перешла обязанность владеть табаком. Пона-чалу я отлынивал от этой томкой и пыльной работы, не понимая крупной от нее выгоды, — две-три горсти табаку в кармане — и ты уж ближе к народу, особенно к шпане, везде ты свой человек. А обмен? За табачок гони товары: серу, бабки, фантики, когда и пряник, и конфетка обло-мится. Однажды в клубе Мишка Коршуков, сроду своего табаку не имевший, хватился стрельнуть у одного парня, у другого — ни табачинки. А я р-раз в карман да всей-то горстищей самосаду Мишке. А он р-раз в карман да от-ветно всей-то горстищей конфеток!

У деда табачное корыто — хоть в нем купайся. Просе-чено корыто насквозь, и ко дну его пришита плаха, одна-ко и плаха истоньшилась, по звуку чую — скоро и в ней проруб засветится. Но дед новое корыто не долбит: «Это-го хватит на мой век», — и я берегу корыто, секу не со всего маху. Мне кажется, если корыто прорубится — и деду конец.

Ситечко у деда согнуто из старого ведерного железа, на нем дырки гвоздем набиты. Есть еще одно ситечко, из жести, на нем дырки шилем натканы — для отсева та-бачной пыли. Мелким ситечком редко какой парнишка пользуется — кому охота лишнюю работу делать? Но я нарочно мелким ситечком трясу, бабушку чтоб изводить. Никакой от нее жизни мужику в доме не стало. Где ни

расположишься табак рубить, все неладно, все она за корыто запинается. Забрав корыто, топор, я один раз отправился в горницу, уселся на пол, рублю табак, ору песни. Бабушка примчалась: «Ты чё тут делаешь?» — «Табак рублю!» — «Пошто ты при иконах, комунис, экое поганство утворяешь?» — «А где мне? На крыше?» Бабушка загорюнилась: «Чё токо из тебя и получится?..»

С тех пор я властвую в кути, рублю табак, припеваю под стук топора: «Моя милка как бутылка, а я сам как пузырек...» Просевая табак, трясу ситечком так, что всех сплошь разрывает чихом. «Будьте здоровы!» — кричу я. «Штабы ты пропал!» — мне в ответ. Я и сам ка-ак чихну, аж сопля на щеку выскочит. Я ее не стираю, вытаращив глаза, пляюсь на народ.

— Артис из него, робяты, артис выйдет! — закатывалась бабушка.— Пропавшая голова!

Разочка два меня подпутывали с табачком, за ухо брали, но лупить особо не лупили — сирота потому что. Других дерут — изловят с табачком, штаны спустят и: «Ах вы, сени, мои сени!..» И вот что опять же непостижимо: сечет родитель парнишку, люто сечет, заранее зная — бесполезная это работа, — подрастет его парнишка, все одно курить станет.

Как я пошел в школу, деду легче с бумагой стало. Прежде вся деревня пользовалась газетами сапожника Жеребцова, но нет в селе ни Жеребцова, ни газет — увезли его со всем выводком бесплатно на север, за горы. Дед искурил исписанные мои школьные тетрадки. Промокашки остались, все в пятнах. Он как-то муслил, муслил, слепил цигарку кое-как из промокашки, а она не курится. Шлепнул дед цигарку оземь, вдаль уставился, борода у него заходила вверх-вниз, вверх-вниз — тогда-го я и увел из бабушкиного сундука церковную книгу. Дед ее полистал, полистал, посмотрел страшные картинки и испуганно прошептал: «Ташши обратно, от греха... — и через время смущенно добавил: — Да в ей, в этой божецкой книжке, и бумага на курево негодная». — Бога, конечно, боялся дед, но еще больше старух — чуть чего — и раскаркаются: «Покарат, покарат!..»

«У-у-у, шоптоницы! Деда в угол зажали! Бабушка в городе не раскошелится на пачку махорки да на книжечку бумаги...»

Докурив одну цигарку, дед тут же изладил вторую. Попала ему табачная пыль в нос, он жажнул чихом, утер-

ся и, памятуя о примете, что если труднобольной человек чихнет — долго жив будет, сделался оживленным, толковал мне, что Иванов день наступает и что в ночь на этот праздник цветет разрыв-трава, но цвет держит во времени всего на три молитвы, только их успеешь прочесть — и отцвело! Разрыв-травой зовется та трава, об которую в Иванову ночь ломается коса. Бабы той травой мужей с женами разводят, злодеи разрыв-траву в кузнице бросают в горно — и шабаш! — ничего не горит, не калится, пока кузню не осветят...

— Кто е знат! Может, причуды все это — приметы наши, деревенские, токо за их спросу нет. Вот скалились мы ране над бурмистовской Секлетиньей: она хлебы как сажат, подол подымет да приговариват: «Подымайся выше! Подымайся выше!» — Ан хлеб-то у ей завсегда удача — пышный-пышный!.. Я вот гляжу: вертоголовай ты больно, все тебе игруньки, все хаханьки, а ты бы чё и запоминал из нашева, из старова. Под закат сонца, скажем, деньгами и хлебом никого не ссужай — обеднешь. После заката сор веником в избе не мети — разметешь богатество. При первой кукушке брякни деньгам, чтоб водились...

«Что же ты, дедушка, не брякал?!» — хотелось мне спросить, но дед невнятно уже наставлял, чтоб я до утренней зари не глядел в окошко — «невесту красиву сглазишь...».

«Эх, горе наше! — съежился я в себе.— Правду мелют старухи, дед и в самом деле недолгий жилец, заговариваться вон начал,— и, ощутив беспомощность перед неотомлимой смертью, нащупал в темноте деда Илью, собрал в горсть па его груди полущубок, прижал к себе, и угрелся, утих возле меня дед, как я когда-то угревался подле него.

От Енисея поднимался слабый свет, с левой его стороны тревожное пламя известковых печей беззвучными сполохами пошевеливало небо. Из-за огородов и бань, с дальних хребтов накатывала прохлада. Ногам, побитым за день, телу, разгоряченному и потному, сделалось знобко. Я поджал ноги, нащупал ими иссохшую за день, жесткую травку и, растопырив пальцы, влез ими в кучерявины, будто в мягкую овчину, пятки вжал под бревно — прокаленная пыль ласкала кожу ног птичьим теплом.

Мелкая скотина загнана во дворы. Коров подоили и отпустили в почное, чтоб овод не одолевал. За поскоти-

ной слышалось грубое бряканье ботал и тилилюканье колокольцев. За заплотом нашего двора, под навесом зашевелились куры, одна упала с насеста, пробовала закудаhtать, но петух угрюмо на нее прорычал, и сонная курица, не решаясь взлететь, присела на землю. Не загнал я куриц в стайку, пробегал, завтра гляди да гляди — в огород заберутся, яйца в жалице снесут. Да подумаешь, хозяйство какое! Надо его бабушке — паси! А нам с дедом все пропадом пропади, мы сбросили оковы.

В щели заплота, из подворотни, из-под крыши и от самого дома томко грело — дерево отдавало тепло, накопленное за день. Тепло перебарывало еще слабо веющую прохладу, размягчало под рубахой тело, погружало все живое в разморенную дремотность. Начала видеться разрыв-трава — смесь крапивы, орляка, конопли и еще чего-то. На бурьяне том немислимом не то пестрые цветы, не то живые щеглы сидят, клювы открывают, в клювах зернышки катаются... Глядь, прямо по траве дядя Ваня босиком идет-бредет, ломаной косою машет, «шорт!» — говорит. Как можно в такую ночь черта поминать! Только я так подумал, глядь — курица литовкой косит!.. А там, дальше, вроде бы уж и черти настоящие в лапту играют, и черти-то все как будто обликом знакомые...

Но только я начал пристальней вглядываться, как все во мне встрепенулось, видения отлетели, весь я подался в темноту вечера, чуть не уронил деда с бревна. Губы мои шевелились, ровно бы хватали что-то горячее, сладкое, на самом деле повторяли слова песни-игры, заполнившей разом и землю, и небо, и первую, оттого и густую такую, смоль вечера. Возле дома Ефима Вершкова, на травяной ли поляне в бобровском переулке, где мы еще так недавно сражались в лапту, собрались девчонки, вошедшие в тот возраст, когда пора помогать по хозяйству, но зато вечером можно им бегать сколь угодно, не подвергаясь строгому родительскому досмотру.

— Гори, гори ясно, чтобы не погасло! — заливались во тьме голоса, и чем далее уходил день, чем глубже становился вечер, чем плотнее подступала темная ночь, тем они громче звенели, захлебываясь теплым духом лета, плывущей из леса смесью запахов: хвои, цветов, трав, папоротников и какого-то пьянящего дурмана, ощутимо реющего над селом.

Движение зарева в небе от известковых печей, скольжение теней леса и гор в Енисее, беспроглядность лугов за поскотиной и в особенности темень, обступившая со всех сторон село, дома, пугали: девчонкам чудилось кругом волшебство, в груди от этого теснился страх. Но вот хиус с реки и распадков раздул пламя в печах, выбил из них искры, шевельнул тени в реке, взволновал траву на лугах, и задвигалась трава, чуть засеребрилась первой росой и тут же обмерла, — сладкую боязнь красоты ощутили девчонки и сами в себе почуяли легкость и отблеск этой красоты, прикрытой тайностью ночи, и каждая девушка думала, что это ощущение несет в пугливо вздрагивающем сердце только она, что тайна эта ее, но удержать в себе ту тайну нет сил, и легкую от предчувствия счастья, может, и беды, подхватило, понесло в ту бездонную пустоту, в которой что-то серебрилось, что-то дышало, что-то веяло, парило, и то совсем близко, у ног, на земле, то в звездной выси, в недоступном небе, пугая и маня, мерещилось что-то жуткое и отравно-сладкое, а еще выше, в непостижимой запредельности, не сердцем одним, всем телом предчувствовалось что-то и вовсе губительное, чему непременно надо было сопротивляться, но не было сил владеть собою.

Девчонок крутило, несло куда-то, и раскинутые руки казались им крыльями, земля под ногами — горячим облаком, звезда в небе — манящим огоньком, кровь давила голову, волнами билась в ней и, перекипелая, скатывалась в грудь, кололась во всем теле, рвалась из жил и рвала жилы. Напуганные, ошалелые, озаренные манящим светом, сжатые зыбкой тьмою девчонки бегали и то пели, то, словно в больном бреду, звали: «Мамочка! Мама! Мамочка! Мама!», будто погружались в смертную глыбь.

Они, девчонки еще, не знали, что их начинает затягивать и кружить бездонный омут жизни, но уже молили оберечь их, помочь им справиться с собой и с этой страшной силой, слепящей разум, сминающей сердце, но ничего, даже себя не слыша и не помня, — зачем и куда бегут, кого кличут, о чем заклинают, вперевой звенели девчонки: «Гори, гори ясно!..»

Я узнавал по голосам Нюру сидоровскую, Катю и Нюру Бобровых, Нину Шахматову, Лену Юшкову, Тонию Вычужанину — все девчонки одного возраста и в переходной поре — протяни руку — и нащупаешь порог бабьей жизни. Предчувствуя ее напрягшимся, встревоженным серд-

цем, одурманенные угарным чадом девчонки и живут тревожно, чувствуя: они не играют в горелки, они доигрывают все свои детские, беззаботные игры.

По-щенячьи взвизгивая, чего-то крича в бестолковом восторге, хватаясь за старших сестер, носятся слепо девчонки помладше: Лидка Боброва, Люба Вершкова, Шурка Юшкова, Танька дяди Левонтия, скоковские и верехтинские. Они взбудоражены игрой, тревогой, исходящей от «большух», но скоро темнота и прохлада вечера умирят их, они отделиваются от старших девонок, организуют свой хоровод, поют складно и ладно: «Сидит дрема, сидит дрема, сама дремлет, сама спит...»

Но я слышу их краем уха, мне не дает покоя игра старших девонок. Заранее обмирая сердцем, я представляю себя играющим вместе с ними в заветную игру: держась за девчоночью горячую руку, чувствую — ходит-бродит в девчонке ошалелая куда-то устремленность. Завихрит, подхватит девка меня и унесет в неведомые дали и выси, и я буду тоже орать чего-то, не зная слов, не успевая их запомнить от голову кружащей обалделости. Но слова, правила игры, музыку песни, ароматы леса, колдовскую тишину летнего вечера я запомню, постараюсь запомнить потом и все то, что скрывается, не может не скрываться в темном настое летней ночи в канун Иваны Купалы, когда цветет в лесу разрыв-трава и волшебно светятся папоротники. Потом, потом я открою, непременно открою свою тихую тайну, постигну смысл волнительной игры, вкушу дурманности такого же тихого и дикого вечера.

В ту пору мне казалось, что я буду расти, а «моя» девочка станет меня дожидаться. Но время шло и разводило людей по широкой земле. Увело оно куда-то и деревенскую голосистую девочку. Я забыл ее лицо, забыл имя, всю забыл. Осталась лишь песня, да и она звучит во мне без слов, только мелодией, да и мелодия стихает, стирается во мне, однако я все еще слышу голос, назначенный мне, он все еще достигает меня из темноты деревенского вечера, из пространства времени, разделившего нас, — голос загаданной мною, единственной девочки.

Теперь-то я знаю: самые счастливые игры — недоигранные, самая чистая любовь — недолюбленная, самые лучшие песни — недопетые.

И все-таки грустно, очень грустно и жаль чего-то.

СТРЯПУХИНА РАДОСТЬ

Блины, к ребячьей и мужицкой радости, пеклись на селе часто, в субботу или в воскресенье уж непременно. Особым разнообразием: гречневые там, овсяные, крупчаточные, какие пеклись издревле на Руси,— у нас они не отличались. Заводили блины из той же, что и на хлебы, молотой муки, просеяв ее на два раза, а если время гнало, черпали густую смесь из квашни, заведенной на общую домашнюю стряпню, и разводили «кислые» блины, стало быть, блины из квашеного теста.

Блин, он что и пельмень, в изготовлении спор, в еде ходок. Чалдоны говорят, коли последний блин или пельмень в рот вкладываешь, а на первом сидишь, значит, все, насытился человек. Однако ж, бывало, объедались, чаще всего пельменями, вареными в костном бульоне. Горячими блинами тоже объедались. Если пробегаешься, поработаешь, они как-то сами собой катятся и катятся на мягкое дно, мимоходно согревая нутро и радуя душу. Только дышать становится труднее, горячие и масляные пары скапливаются в тебе и «нутренность спирают», требуют выхода. Когда первый блин поспеет, макнешь его, не макнешь в масло, порой даже в трубочку его свернуть не успеешь и мятым лопушком пихаешь в рот. Там он уж сам собой ищет ходу и проваливается в какую-то радостно притихшую пустоту.

Но вот движения твои замедляются, глаза и нос не так остро ловят шум блина на сковороде, отмечая его жаристость и духовитость. Праздничным платочком-уголоч-

ком складываешь блин и макаешь почти до пальцев в чашку с маслом, да еще и повалять его, а то и поплюхать в масло — норовишь — так просто, пасухую он уже не идет, застрекает в верхней части туловища. «Э-э, парень! — скажет бабушка. — Кажись, сверху глаз пошло!» — и, пощупав мое округлившееся брюхо, иногда и пошлепав по нему, как по сдобному караваю, отправляет досыпать, если это случалось в заговенье иль после поста, на праздники. Сам едок от тяжести шевелиться иль следовать в постель не мог, поровил здесь же, на месте истребляемых блинов, положить голову на стол. Тогда просмешницы-тетки говорили: «Во, ухряпался работник!» — и отводили меня на печь, но чаще в горницу, потому что от блинов всюду, особенно под потолком, плавал удушливый чад. Дедушка, тот и не вел, а нес меня, зажав, как котенка, под мышкой, и не ронял, не кидал в постель, как тетки, он осторожно опускал в нежно охлаждающую подушку, в притихшую, ласковую тишину, да еще украдкой погладить масляной рукой по голове ухитрялся.

Но, постойте! Это я от сладостных, чревоугодных воспоминаний забежал вперед, сразу к столу, к блинам. Так дело не делается. Надо ж основательно, все по порядку, как и положено в крестьянском житье и в хозяйственном деле.

Что главное в блине? Тесто? Закваска? Масло? Соль? Стряпуха? Нет, дорогие товарищи, не угадали! Главное в блине — ско-во-ро-да! Ну и сковородник не последний инструмент.

В больших сибирских семьях сковород водилось несколько. Первая и главная сковородица, банному тазу округлостью не уступающая, с толстым бортом и с толстым же, основательным дном. Разогревается эта посуда уж надолго, стойко удерживая накал и температуру пищи. Такой сковородой можно убить, но самое ее истребить нельзя, разве что пустить под чугунную бабу, истолочь в куски, в крошево, употребить на заряды вместо пуль и картечи, что и делалось в гражданскую войну партизанами, да во время разорения крестьян в период коллективизации, когда мужики или парнишки, отбившись от дома, бедовали в тайге, кормились «с ружья».

Далее — одна или две сковороды ходовых, не на всю семью, лишь на работников рассчитанные, на займку посылаемые. В них, в этих походных сковородах, упрятаны, в запечье сложены сковородки детские, почти игрушеч-

ные. Да они игрушечные и есть. В них или на них, как на испытательном стенде в век энтэра, девчонки пробуют постичь искусство стряпухи, испытывают себя, готовятся в настоящее дело, переходя от глиняных постряпушек в стеклянных черепушках, творимых на задах двора, к настоящей печи, к вечному огню, к всамделишному тесту. В такой сковородке, если и случалась проруха, сожжены будут или испорчены оладьи, блины — мало теста изводится, кроме того, брак полагалось самой же стряпухе подъедать, значит, не очень пострадает ее живот, недолго ему пыть и болеть от некачественной продукции.

Среди этого грубого, на виду хранимого, чугунного литья у настоящей, уважающей себя хозяйки есть сковорода заветная, именная, по родству: из поколения в поколение передаваемая, иногда уже с выломанным, и не в одном месте, бортом, но все же не выброшенная на свалку, не пренебреженная, суеверно хранимая — «Пока бабушкина да мамина сковорода в доме — и блин в печи не переведется!».

Тоненькая, изнутри всегда от масла блестящая, празднично сверкающая, цвета воронова крыла, она еще и многозвучна, музыкальна была, и сковородник для нее изготавливался отдельный, на тонком черенке, не для ведерной, семейной сковороды, а для того, чтоб, выпрыгнув, кого-то схватить и унести да скушать.

Где, как хоронила и спасала от ребятни свою «заветную» хозяйка — спросить уже не у кого, примерли они, хозяйки-то наши, или доживают свой век в городах, на казенном грубом хлебе, черствеющем за полдня.

Ее, «заветную», знал весь дом по звуку, и, бывало, играешь в горнице иль спишь на печи, даже сквозь всякий содом и непробудный сон, заслышав и отличив звон, приостановишься в игре иль перебивку в ровном сне сделаешь, как бы вынырнешь из-под него поплавком наверх: «Во, бабушка блины будет печь!» — да и проглотишь враз возникшую слюну. Играешь уж как-то с перебоями, а спишь в полсна и слышишь, вот оно внизу-то припекло, жаром повеяло — протопилась русская печь, нагорели крупные угли из сухих березовых дров, непременно березовых, непременно сухих — хороший от них, ровный жар и угару мало...

Бабушка нагребла горстку углей ближе к шестку, разровняла их, пробно пока, чтоб «струмент» накалился, но не лопнул при этом, трещиной не повредился, в дело без

помех вошел, держит сковороду некоторое время на угольях и ждет, помещивая в бывшей у нас посудине, какую нынче не встретишь и как ее называют — все позабыли — горшок не горшок, что-то наподобие его, только без затей он, горшок-то, без пузатостей, с ровным, устойчивым дном и готовно широко открытым жерлом.

«Ну, Господи, баслови!» — тихо роняет бабушка и вынимает из печи сковородником черную, пока еще беззвучную, неодошевленную сковороду и так вот, держа ее на весу, мажет изнутри рябеньким крылышком, макая его в масло. Сунув крылышко обратно в посудину с маслом, чуть наклонив левой рукой сковороду, льет на нее жидкое тесто — и сразу громкое «ш-ш-шах!» слышится в кути. Бабушка — дирижер, фокусник, мастер — сковородником так и этак поворачивает сковороду, расстилая по ней тонкий блин до самых краев, но не выше, не ближе, не дальше их — «ш-ш-ш-ша-а», — умиротворенно откликается сковорода, дескать, все, полный порядок. На минутку другую, как курица на гнезде, прикивает сковорода чутким дном к угольям, «насиживает» блин. Бабушка стоит, опершись на сковородник, возле чела печи и смотрит, как он вспухает пузырями и пузырьками, блин-то, дышит парами, шевелится сам в себе, набирается жаркого угольного света, становясь и сам с исподу жарким, золотистым, словно золотой рубль, по краям еще не оббитый и не отшлифованный.

Уловив какой-то, ей лишь ведомый момент, бабушка выхватывает сковороду и, мотнув сковородником, подбрасывает кругляшок блина будто фокусник монету — и он ложится на сковороду обратной стороной, и снова, совсем уж на короткое время, обратно блину в печь надо, на жарку и подсушку с обратной стороны. Было это уж архитектурным излишеством, форсом бабушкиным, который она позволяла себе, когда была поудалей и моложе да когда едоков в доме поубавлялось. Прежде-то ей некогда было фокусы показывать и баб-соседок поражать этакой вот ловкостью и разудалостью. «Ой, тетка Катерина!» — ахнут соседки. «Да уж!.. — важничает бабушка. — Жито, девки, стряпано, пито и пето... Теперь уж чё? Рука ломата, поясница надсажена, а тут ведь, коло печи, вся ты, как талинка, изгинаться должна... А нонеча подбросишь блин, он мимо сковороды шлеп на пол. Самоскоком питаюсь, совсем уж скус блина со сковороды забыла, да-

вай ножиком блин переворачивать, нужда заставит свежие блины исти...»

Но, внимание! Первый блин, он как первый лист в тетрадке — начнешь его без помарки, на поля не залезешь, ошибок не натворишь — пятерка тебе за труд, за аккуратность и прилежание.

Слышно его, слышно! Утих он и тем слышнее сделался. Нюхом уже слышен, не ухом. Первый блин, если он не комом, — мой блин. Я самый малый в доме, и, хоть варнак, баловать и радовать больше некого. Чаще-то всего сам я и являлся на запах первого блина, выглядывал из-за косяка передней, и бабушка вроде бы и не видела меня. Чтоб не быть забытым, я высовывался дальше, но «под руку» не лез — не дай Бог, блин клином пойдет, тогда получится, что я помешал, сбою в работе способствовал, вредил, а не помогал.

Однако памятнее всего, когда заспишься или разнежишься на печи, полуспишь, полудремлешь и вдруг услышишь прикосновение бабушки: «Батюшко! На-ко первенький, самый сладенький», — и в руках, в ладонях у тебя уютно усядется мягкой птичкой блин, легкий, воздушный. Осторожно егохватишь губами с хвоста, с крылышек нежных, помня, что там, внутри блина, таится горячая, яростная плоть, которая, если пустишь комком в нутро, по тебе что пуля иль пушечное раскаленное ядро прокатится, означив все кишки и закоулки. Остановившись в отдалении, на самом низу блин будет жечь тебя так, что заплывешь и завоешь. И поделом — не жадничай, не хватай, ешь и живи по заведенному в доме степенному порядку.

Но как его, первый блин, ни растягивай, ни паси, все равно исчезнет он незаметно, и тут уж искушение чрева, кухонный зов, набат сковороды снимут тебя с постели, спустят с печи. Не умываясь, зажимая позывы на улицу, сунешься к кухонному столу, а там, на «малированной» тарелке уж три блина тебя ждут. «Ух ты!» — обрадуется, запрыгает, заурчит внутри щелчком что-то и кто-то, потому что самому и обрадоваться нет времени. Раз! Раз! Раз! Куда-то они девались, блины-то, ведь вот же ж только что были!

«Вот дак рабо-о-отник! Вот дак ударник труда! — во-рукет бабушка, сбрасывая со сковороды четвертый блин. — Да не хватай! Не хватай! Никуда оне от тебя не денутся!..» Но есть сила превыше человека, позднее я узнаю —

называется она страстью. Совладать с нею далеко не всегда удавалось даже генералам и царям.

Как и когда наступает пресыщение, происходит заторможение действий, накатывает сытая, сонная усталость — уловить и понять невозможно. Теребишь блин, обхватываешь по краям губами узкое зажаристое кружевце, ничего уж никуда не летит, не проваливается, жаркая масляная отпышка, как дым после выстрела, кидает из тебя обратно жор, а все расстаться с блином не хватает духу и сил. Ешь ты его уже одними глазами, ешь и осоловело клюешь носом, на двор поманивает, но совсем смоило, шевелиться не хочется.

«Де-э-эвки! Де-э-эвки! Де-эдушко! Вы поглядите, поглядите на него! Скосопузился, вот-вот со скамьи скатится, но все же за блин доржится! Упо-орнай старатель!» — бабушка потная, разгоревшаяся, довольная тем, что отстоловала главного работника, опершись на сковородник, отдыхается после первого запала. На шестке печи вверх дном отдыхается сковорода. Перекалилась посуда, начинает жечь блин, напоминает о пределе своем звонким потрескиванием, хлесткими щелчками — ей, сковороде, тоже передых требуется, может она от напряжения лопнуть.

Днем на большой семейной сковороде платочком свернутые, веером выложенные, запеченные в масле, подаются на стол блины. Они тоже очень аппетитные и вкусные, но не могут сравниться с теми блинами, что с пылу, с жару, огнем пышущие, живые. Ребячье счастье, стряпухина радость — праздник в доме, в душе и в брюхе торжество.

Ныне заветные сковороды в домах извелись. Вместо них продаются стандартные серые, словно бы из свинца литые изделия, да и стряпухи обленились, радости сотворения хлебов, сушек, блинов не знают и знать не хотят.

Говорят, как и многие редкостные товары, чугуны и сковороды в Сибирь через Китай попадали. Фарфор, эмалированная, хрустальная, керамическая, стеклянная посуда — тоже через Китай. И чего еще попадало через Китай, никто теперь уж не знает. А интересно бы узнать, как в бабушкин сундук железная шкатулка попала и как сами китайцы в Красноярске очутились и пережили все смутные времена.

С появлением флота на Енисее начался «якорно-машинный промысел». Изношенные чугунные корпуса и

детали переплавлялись на домашнюю утварь. Воровали даже якоря. Больших хитростей достигли злоумышленники в уводе корабельных принадлежностей: обрезали и топили якоря в реке, заметив ориентиры, лапы у якорей ночной порой отпиливали и обламывали, а то и вовсе подменяли.

Нанялись будто бы однажды на енисейскую баржу матросами два вятских мужика. Как и все вятские мужики, были они мастера на все руки и, как всякие мастера, были они сильные выпивохи. Однажды вятские матросы пропили с баржи чугунные якоря, носовые два, потом и кормовой на опохмелку ушел. Но большие ж они хитрованы, вятские-то, взяли да вместо чугунных деревянные якоря изладили, сажей их промазали и подвесили на место. Вот потащило баржу в шторм на камни, шкипер кричит: «Отда-а-ать, пр-р-равай!» Отдали. Не держит. «Отда-а-ать левой, носовой!» Отдали. Не держит. «Отдать кормовой! Страховашнай!» Отдали. Не держит. «Как это не держит? Отчего не дё-оржит?» — орет в железный рупор шкипер. «Отчего, отчего? — озлились вятские матросы. — Разуй глаза — якоря-те всплыли!..»

Говорят, долго лечился в больницах бедный шкипер и на воду, на ответственную работу по причине поврежденности ума больше вернуться не смог.

Может, и бабушкина «заветная» сковорода из тех якорей отлита была? Кто дознается?

Но уж блины пекла, по субботам, бывало, да и в будни...

Все, все! Дальше не буду! У самого вон полон рот слюны и в брюхе, да и выше брюха что-то заскулило, хоть в деревню собирайся, — там одна моя родственница еще стряпает деревенские, «живые» блины. Ка-ак пойдет на древней, тонкозвучной сковороде кудесничать! Музыка! Головокруженье! Все еще вороновым крылом отливает сковорода, ни единой щелки на ней, ни единой выкрошенки, а лет ей двести, не меньше. Гору блинов она сотворила, версты славных и светлых воспоминаний людям подарила.

Кому-то достанется та музыкальная сковорода, кого-то порадует блинами? Скорей всего учащихся школы. Поможет выполнить им план по сбору железного утиля. «Век иной, иные песни!..», и заделья иные, и радости новые. Печали вот только старые-престарые и воспоминания все те же и все о том же.

НОЧЬ ТЕМНАЯ-ТЕМНАЯ

Рыбачить я начал рано, на пятом году. По берегу Енисея всегда лепилось полно ребятешек с удочками, и я страдал подле них, завидовал им. Иной раз мне давали подержать удочку либо поручали уцепить на прут выуженного ерша, пескаришку, поплевать на червяка, вздетого на крючок.

Пристал я к бабушке, чтобы она мне удочку соорудила. Она сначала и слышать ничего не хотела, но я так прилип к ней, так ей надоел, что она плюнула, привязала к палке кудельную нитку, вместо грузила — ржавый гвоздь, на конце лески узлом прихватила червяка.

— На! Отвяжись!

— А крючок где-е?

— Какой тебе крючок? У хорошего рыбака и так клюнет.

Бабушка вытолкала меня за ворота, наказала левонтьевским ребятам, чтоб досматривали за мной, и я подался за деревню, гордый и взволнованный. Сидел я на яру, спустив ноги, и пяткой упирался в стрижиновую норку. Стриж налетал на меня, просился домой и мешал мне рыбачить.

У ребят удочки длинные, лески длинней того, моя удочка даже до дна не доставала. Смеялись надо мной ребята. «Тяни! — кричали. — Дергай! Вон как клюет! Дербанит!»

Я терпел и ждал. И дождался. Леска моя задрожала, задрожала — и в сторону ее повело. Я сначала обомлел, подвижности лишился. Затем хватил удочку через голову,

на яр. На конце лески мелькнуло что-то, в траве зашевелилось, запрыгало. Сгрел я палку, леску, гвоздь и рыбину — да дуй — не стой — по улице.

— Добыл! Добыл! — вопил я на всю деревню, а когда во двор ворвался, бабушка мчалась навстречу мне ни жива ни мертва. Я слова не мог сказать. Смотрел на бабушку, смеялся, приплясывал.

— Батюшки светы! Я уж думала: чего стряслось! Ну, чё добыл-то? — и протянула было руку, но тут же брезгливо скривилась: — Пищуженец! Выбрось его, выбрось!

— Как выбрось? Рыба же! Клевала же! Вон как она леску-то...

Я разжал ладонь. В руке — еще живая, головастая, скользкая, пучеглазая рыбешка, ну прямо черт и черт водяной. Но меня это не удручало.

— Пищуженца поймал! Пищуженца поймал! — прыгал я и рассказывал всем подряд, как он клонул, как я дернул...

Пищуженца, иначе говоря — пищугу, в литературе подкаменщиком называют, а вообще — пресноводный бычок это. На Урале его зовут абакшей, чаще — и совсем непечатно. Рыбу эту, сколь мне известно, нигде по доброй воле не едят — уж очень она отвратна на вид. Зато пищуженец ест что попало и когда попало. Вот и позарился он на моего червяка, заглотив его вместе с узлом. А самого пищуженца отыскал во дворе бабушкин красный петух и «заклевал»... Потом он бегал по двору с леской во рту, пытался орать и волочил мою удочку. Петух затащил удочку в жалицу, порвал ее там, и я опять остался ни с чем.

Бабушка потешалась надо мной, разозлила меня, пробудила рыбацкое упрямство и предприимчивость. Я три дня подряд распутывал старый животник у дедушкиного брата Ксенофонта, полел гряды в его запущенном огороде, и за это он сотворил мне удочку с настоящим крючком, со свинцовым грузилом и даже поплавком из пробки.

С этого началась моя рыбацкая жизнь и кончился бабушкин покой. Я норовил все дальше и дальше убредать от села, потому как думал — чем дальше, тем рыбы больше, и, когда однажды потихоньку утянулся на мельницу и зарыбачил под плотиной пару хариусов, вышло у нас с бабушкой столкновение. Она хотела поломать мою удочку, я не давал. Рев и вой были на весь двор. Удочку я спас. Бабушка ходила проклинать Ксенофонта. Он ухмылялся в бороду.

— Не ори,— сказал,— и не свирепствуй! Раз его заманила река, то уж обратно не доревешься.

Ксенофонт же научил меня рыбацкой ворожбе, колдовству, приговорам и наговорам всяким, ну, чтоб у соседа не клевало, молви про себя, когда он удочку закидывает: «Клещ на уду, вошь за губу!» Или на червей пошепчи, или удилице переступи — уже совсем верное отворотное средство.

Однако таскать пескарей, сорожин и ельчишек мне скоро прискучило. Захотелось на настоящую рыбалку — поналимничать. Налима на Енисее зовут поселенцем. Ничего оскорбительного в таком прозвище нет, скорее этокое усмешливое похлопывание по купецкому пузу поселенца. Уха из налива в нашем селе почитается пуще всякой другой, хотя чалдоны в рыбе толк знают и чего с чем есть — очень даже хорошо разбираются. Говорят, для налива в верховьях Енисея особый нагул. Уже в низовьях он не тот, суховат он там, тинной припахивает. В других же местностях России налим вовсе не в почете, им даже брезгуют и рассказывают об этом водяном буржуе всякую неприличность. Зимою наши рыбаки ловили налима заездками — мордами, опущенными под лед среди загороди, по весне — на уды и животники.

Какое это было счастье, когда брали меня мужики с собою налимничать! Да брали-то неохотно. Холодны еще весенние ночи, вода высокая — смоеет малого рыбака с берега, унесет, и отвечай потом за него перед бабушкой и дедушкой. Да и побаивались, кабы не сморился к утру рыбак, не захныкал бы от холода, домой бы не запросился в разгар утреннего клева.

Дядя Ваня, старший бабушкин сын, поступил работать на пикетный сплавной пост и стал брать меня и своего сына Кешу с собою на дежурство. Пикетный пост — рубленая из бревен будка с печкой и нарами, располагался на займище, верстах в полутора от села вверх по Енисею. На почь дядя Ваня и Кеша ставили животники с берега, я помогал им, и за труды иной раз кидали они мне налимишка.

Дядя Ваня унюхал, что при мне налимы будто бы попадают лучше, и впал в суеверие. А после того, как брат дедушки Ксенофонт взял меня с собою на рыбалку и добыл удачно стерляди, я пошел нарасхват. Северные народы делают деревянного идола и ставят его в нос лодки. Я был живым идиолом и шибко гордился тем, что способст-

вую каким-то образом рыбацкому фарту. Бабушка уверяла, будто происходит подобное оттого, что на мою сиротскую долю Бог обращает особое внимание и потому милостиво шлет рыбу в ловушки.

Никогда не забыть мне весенние ночи у пикетного поста!

Гудит Енисей, хлещет, цепляется вода за каменные бычки, ударяясь чуть выше пикета; сплавные бревна гулко бухают об утесы и боны. На берегу костерок, и весь живой мир вместился в него — дальше темень, ночь, грозный рев реки. С грохотом и лязгом катятся камни в воду. Из распадков вырываются рычащие, взбесившиеся весенние речки. Иногда хрустнет, сломается и ахнет с подмытого берега сосна или в горах закричит, запричитает ночная птица так, что спину мою коробит страхом. Но я жду, когда дядя Ваня и Кеша примутся смотреть животники. Бодрюсь и от всех нечистых сил спасаюсь огнем, подшевеливаю его.

На рассвете из будки выходил дядя Ваня, ежился, выгребал уголек из костра, прикуривал.

— Ты так и не ложишься? — он раскуривал сигарку, чмокал, зевал, почесывался — лежебока наш старший дядя, оттого и в пикетчики затесался, и сам вроде налима сделался. — Н-ну посмотрим, поглядим, чего ты тут наколдовал.

Тянут животники. Мне к воде подходить не велено. Раз моя мать утонула, теперь всем родным блазнится, что я тоже утону, — мать призовет. Плеск, возня, хлопанье рыбы — и к моим ногам падает брюхатый налим.

— Лови поселенца!

Налим изгибается колесом, пружинит, катится к воде. Я падаю на него, хватаю. Локти и колени поразобью о камни, а тут еще летит налим, еще...

— Лови-и-и-и!

— Ловлю-у-у-у! Ага, попался, живоглот пузатый!

Счастья-то сколько! Радости! Аж сердце занимается и вот-вот разорвется от полноты чувств.

Когда я подрост, мне уж не хотелось быть на подхвате, возмечталось самому наворочать налимов, если не лодку, то хотя бы две корзины, и удивить всех наших, особенно бабушку, которая шибко недовольна была пробудившейся во мне страстью и считала, что ревматизм я добыл именно в те ранние свои рыбацкие годы. Кроме того, бабушка склонна была думать, что из того, кто стреляет и удит,

ничего не будет, иначе говоря, не получится хозяина, и останусь я, как Ксенофонт, нестриженный и нечесаный, вечным бобылем и пролетарьем.

Словом, раз я такой везучий, то нечего пользоваться этим благом другим людям, думал я, надо самому за ум браться.

И я взялся.

Саньку дяди Левонтия не стоило большого труда увлечь. Он вольный казак. Потруднее пришлось с Алешкой — он боялся бабушки. Но и Алешка, после того как я ему втолковал насчет острова, где налимов, что грязи, — тоже сдался. Ему отставать от меня не хотелось. Со мною Алешке интересней, чем с бабушкой.

Потихоньку, еще когда на Енисее были забереги, я утянул у бабушки клубок кудельных ниток, и мы под видом ремонта скворечников забрались в сарай и сучили толстые тегивы для животников. Крючками запаслись еще с зимы — выменяли в кооперативе на крысиные шкурки, добывали зверьков капканами, оснимывали, выдывали шкуры своими руками.

Утром забереги курились дымком, и несмело плавилась в них рыбешка. Долго, очень долго не трогался в ту весну Енисей, рыбешка стосковалась по вольной воде. Мы пуляли камни в забереги и ждали, ждали.

Вот и плишки прилетели — расклевывать берега, и расклевали. Енисей постоял еще, постоял, лед покис, покис, захрустел сначала сонно, лениво, словно река потягивалась, но все же размялась, расшевелила себя, погнала стрежью полосу, взломала хребет, и сразу он бело обозначился вздыбленным, стиснутым льдом, и дохнула там паром спертая вода, и закружилась, и поперла по трещинам и разрывам к берегам, и сразу тесно сделалось реке, и начала она переть во все стороны, и уже выпихнула одну, другую льдину на берег, там и торос громоздить начала на каменный бычок, и сломалась зимняя дорога, поплыли темные вешки, и желтые кренделя дороги крутило, крутило по стрежи, отламывая от них куски, с треском сжевывая клыками льда, и сверху, с дальних мест, хлынула еще более крутая и напористая вода, и чистый лед с чьими-то огороженными прорубями, тропинками, забытыми мостками, кучами назьма, со щепой — складывали на льду сруб и бревно с воткнутым в него топором — катали на берег сруб впопыхах и не успели выхватить бревно с топором, нет, успели, тащили, почти достигли

забереги, но лёд разгонялся, разгонялся, и пришлось попуститьсь добром, бросаться плотнику к лодке, а то и вплавь на берег.

Шуршит вода, хрустит лёд, табунится на середке и под быками, спирает реку, выше, выше вода — на глазах ширится река, распирает ее мощь, всю зиму дремавшая подо льдом, вот уж в лога и расщелины завернуло и поволокло потоками мусор, где-то хрустнула городьба, словно спичек горстку сломали, где-то затрещало сильнее, скрипнули скобы или гвозди — ломает чей-то заплот,— оказалось, своротило баню Ефима-хохла. Ее сворачивало и ломало каждый год, но Ефим упрямо ставил баню на прежнее место.

Словом, поломало, искрошило, как всегда, прибрежные огороды, понатолкало льду на гряды, и он потом лежал на огородах белыми заплатами, рассыпался со звоном, и мы хрумкали тонкие сосульки. По берегам остались и парили высокие студёные гряды льда, дряхлеющего под солнцем. Теперь надо ждать, чтобы поднялась вода и унесла рыхлый лёд, тогда лодки спустят на реку, и нам начнёт братъ, как шальной.

Вода, как ей полагается, поднялась, собрала и подчистила лёд по берегам, затопила луговину ниже поскотины. Заревел и помчал мутную воду охмелевший от короткого водополя Енисей-батюшко. Лодки спустили и привязали их к баням и огородным столбам.

Наступила пора действовать. Забравши удочки, мы с Алешкой сделали вид, будто отправились удить к поскотине, и бабушка отпустила нас, не подозревая тайного умысла. Спросила, правда:

— Это куда же вы такую прорву червей накопили? Всю рыбу заудить удумали?

— Всю! — ответил я и многозначительно подмигнул Алешке, который вникал в разговор с тревожным лицом, опасался, как бы бабушка не разгадала наш заговор.

Лодку мы отвязали худую, чтобы не так скоро ее хватились, да и ответственности поменьше.

Остров против деревни, но вода высокая, стремительная, нужно было подниматься почти до дяди Ваниного пикета, чтобы прибиться к острову, а не угодить под Караульный бык, где так крутило и ревели, что оборони Бог оказаться там.

Долго скреблись мы на веслах, пока поднялись выше деревни. До пикета плыть не решались, там, чего доброго,

дядя Ваня изловит нас и застопорит. Приткнувшись к берегу, вычерпали воду. Алешка все поглядывал на уютный бережок, по которому, качая хвостиками, бегали и играли серенькие плишки. Бережок с соснячком, с травкой, с выводками подснежников, медуницы и хохлаток, судя по всему, глянулся Алешке больше, чем остров, уютжком темнеющий за бурной, горбом выгнувшейся рекой. Алешке уже не хотелось на остров.

Санька решительно взял весло:

— Ну, осподи баслови, как говорит бабушка Катерина! — И оттолкнул лодку от берега.

Мы с Алешкой сели на лопашни. Работали враз, проворно, чтобы угодить в пролет между сплавных бон.

Вот в таком же пролете не удержалась лодка, споткнулась о головку боны, опрокинулась и... у меня не стало матери.

Скорей, скорей в пролет, за ним в реке не так будет страшно, надеялись мы. Стукают уключины лопашней, хлопает Санькино кормовое весло. Головка боны близко, рядом. Храпит на ней вода. Одавило головку, захлестывает. Хоть бы ничего не случилось. Не лопнуло бы весло, не вывалилась бы уключина, не подвернуло бы лодку льдинами или бревнами. «Господи помилуй! Господи помилуй!» — повторял я про себя и молотил веслом, памятуя заповедь: «Богу молись, а к берегу гребись».

Прежде бабушка силком не могла меня заставить молиться, но тут приперло — сам, без понуждения молился.

— Не мажь! Не мажь по воде! — закричал Санька. Он яростно бил своим веслом, чтобы удержать лодку носом наповерх. — Уснули, что ли-и-и?..

Мы, где силенки взялись, налегли на весла, «черпая» всей лопаткой, лицо заливало потом — утереться некогда, одышкой раздирало грудь — передохнуть недосуг.

— Пор-р-рядок на корабле! — возликовал Санька, когда бона осталась сзади, нас подхватило и вынесло на речной простор. Кружилась, вскипала под лодкой густая от мути вода, гнала редкие льдины, швыряла их на боны. Лодку качало, подбрасывало, норовило развернуть и хрястнуть обо что-нибудь.

Первый раз пересекали мы Енисей в ту пору, когда переплывать его и взрослый-то не всякий решался.

Остров с реки казался совсем близким. Затопленные кусты по берегам его качались, били по воде, и напоми-

нал остров птицу хлопунца: бежит, бежит вверх по воде лохматая птица и никак не может подняться на крыло.

Силенок наших не хватило. Выдохлись мы и за остров не поймались. От ухвостья острова так отбойно шла вода, что развернуло нашу лодку и поволокло к Караульному быку. Санька судорожно пытался развернуть лодку носом встречь течению, остепенить ее, направить куда нужно, но лодка мчалась, задравши нос, будто норовистая лошадь и слушаться вовсе не хотела. Много натекло в лодку воды, отяжелела она.

— Алешка, таба-ань! — заорал Санька.

Но Алешка не слышал его, он молотил и молотил веслом по воде. Рот его был открыт, лицо побелело. Я перехватил Алешкино весло и мотнул головой на старое ведро, плававшее среди лодки. Алешка бросился отчерпывать воду, лодка шатнулась, черпнула бортом.

— Тиш-ша! — Алешка ровно бы услышал Саньку, оцепенел, но тут же спохватился, начал выхлестывать воду ведром.

Внизу мощно ревел Караульный бык. Разъяренная вода кипела под ним, катила в унырыш — пещеру, закручивалась воронками. В воронках веретеньями кружились бревна и исчезали куда-то. Серые льдины, желтую пену, щепье, корье, вырванные с корнем сосенки гоняло под быком. Сверху отваливались камни и бултыхались в воду. Лодка закачалась как-то безвольно и обреченно. Бык приближался, словно он был живой, и мчался на нас, чтобы поднять лодку, расхряпать ее о каменную грудь и выбросить в реку щепье, а нас заглотить в каменную пасть унырыша.

— Чего раз-зявил? Р-реби! — завизжал Санька, и я уже не силой, а страхом поднимал и бросал весла. Алешка все выхлестывал и выхлестывал воду. Лодка сделалась легче, поворотливей, и мы выбили ее из стржня, выгреблись в затишек, сделанный ухвостьем острова. Лодку подхватило и понесло обратным течением к острову.

Я сложил весла и обернулся. Еще сажен сто-двести, и нам бы несдобровать, нас унесло бы, прижало к быку, и половили бы мы рыбки, поналимничали.

— Пор-рядок на корабле! — Санька в изнеможении опустил весло. Руки его дрожали. Он посмотрел на них, пошевелил пальцами и веселей прибавил: — Закуривай, курачи!

Санька и в самом деле закурил. Махру закурил, укра-

денную у отца, и выпустил большой клуб дыма ртом и ноздрями. Мы с уважением глядели на него.

Ухвостье острова было затоплено. Тальники и черемухи стояли в воде. Мы протолкнули лодку в кусты, спугнули с них крысу и чуть было не поймали щуренка, прикормившего на мели, в траве. Покос, что был за кустами, залило по краям, и он казался бережком.

— Вот и все! А ты, дура, боялась! — подмигнул нам Санька, ступив на землю, и вальнулся вверх ногами. Мы на него. Возню подняли. Шум. Смех. Свобода!

— Хватит! — прервал веселую возню Санька. — Солнце на закат скоро. Самый клев. Алешка, ты костер спроворь, обсушиться надо к ночи. — И он передал Алешке спички. — Ты багаж перетаскай, — приказал он мне, — и разбрось на остожье. Я животники разматывать возьмуся.

В лодке Санька завопил:

— Кто червей опрокинул?

Черви плавали по всей лодке, позалезли в щели досок и под поперечины. Долго мы выбирали червей, ругались, кляли Алешку, но он ничего не слышал, мучился с костром, пытался из наносного сырья развести огонь. Червей уцелела горсть, остальных Алешка выхлестал за борт с водою. Санька дал мимоходом подзатыльника Алешке, и тот полез в драку, но ему показали банку с мокрыми червями, и он отступился.

Костер исходил удушливым белым дымом, огня не было. Санька раздувал его и ругался:

— Помощники! Толку от вас!..

В кустах я нашел скрученную бересту, и огонь мы все же развели. Хлеб и соль в мешке размокли. Телогрейка Санькина и наши с Алешкой тужурчонки — хоть отжмай.

— Луком питаться будем! — буркнул Санька и набросился на Алешку. — Чё стоишь? Червей-то сплавил! Так ищи давай теперича! — Алешка смотрел на Саньку внимательно, но понять, отчего тот ругается, не мог. Я показал Алешке: копать, мол, надо червяков, искать их на острове, и он послушно отправился куда велели. Санька уже примирительно пробурчал: — Стоит, чешется, а наживлять чё? Сопли? На их налим не клюет!..

Долго мы с Санькой распутывали животники, так долго, что завечерело совсем, когда мы управились с этим делом.

Алешка принес горсть белых рахитных червяков, на которых и нам-то смотреть не хотелось, не то что налиму — рыбе, любящей червяка ядрёного, назёмного, и чем толще да змеистой, тем лучше.

Ставили животники в потемках. Казалось нам, чем больше груз на конце, тем дальше мы забросим животник. Санька раскочал груз, как било, и запустил поверх кустов. Я ждал, когда бухнется камень за кустами. Но вместо этого дурноматом заблажил Алешка. Он тихонько подошел к Саньке и стоял сзади, чтобы посмотреть и поучиться ставить животники. Крючок вошел выше Алешкиного колена. Кровища валила ручьем. Когда вынимали крючок при свете костра, Алешка сначала орал, но Санька ткнул ему кулак в нос, и он замолк, только кусал губы и вспотел.

— Надрезать кожу придется,— решил Санька и стал калить над огнем кончик складного ножа. Где-то он слышал, что перед операцией инструмент обезвреживают, изничтожают микробов на нем. Голова Санька! Все знает!

Алешка не мигая, с ужасом смотрел на Санькины приготовления, но не протестовал, потому что сам виноват кругом. Я сел верхом на братана, придавил его, Санька полоснул ножом по Алешкиной ноге. Алешка брыкнулся, двинул меня коленом в спину, взвыл коротко и дико.

— Порядок на корабле! — деловито произнес Санька. Крючок с кусочком Алешкиного мяса был у него в руке.— На мясо, говорят, поселенец — стервоза, пуще всего берет. Попробуем!

Я вымыл Алешкину ногу, перевязал ее тряпицей изпод соли, и хотя он все еще дрожал, но уже не хныкал, смирно сидел возле костра. Смотреть, как ставят животники, он больше никогда не подходил.

С берега мы ни один животник так и не забросили — кусты мешали. Запутали только животники, порезали их, собрали кое-как один, крючков на двадцать, и закинули его с лодки, в улове за ухвостьем.

— Ништя-ак! И тут клюнет. Налима здесь пропасть, у острова-то, отец говорил,— заверил Санька.

Мокрые, обессиленные, явились мы к костру, возле которого неподвижно сидел Алешка и неотрывно глядел на другую сторону реки, на огни села.

— Ничего, Алеха! — хлопнул его по плечу Санька.— Заживет до свадьбы. Я вон один раз на ржавый гвоздь наступил, всю пятку промзил. Засохло.

Алешка не понимал, чего говорит Санька. Он глянул на меня глазами, полными слез, и сказал жалким голосом единственное слово, которое умел говорить:

— Ба-ба...

Я аж вздрогнул. Что сейчас дома делается? Потеряли нас с Алешкой. Ищут по всей деревне. Думают — утонули. Бабушка небось плачет и кричит на всю улицу, зажав голову. Да-а, спроситься, пожалуй, надо было. Но тогда шиш отпустили бы налимничать. А мне так хотелось поворожить корзину или две поселенцев.

Я поглядел на другую сторону реки. В деревне светились огни. Между деревней и нами мчалась, шумела уверенно и злобно река. Дальним, высоким светом подравнивало вершины гор, размывая их, отблески высокого, певидного еще из-за гор и лесов месяца падали на середину реки. Застрявшая в кустах, шипела вода, набатным колоколом били бревна в грудь Караульного быка. Живой мир бушевал, ярился вокруг. Он отделен был от нас, недружелюбен к нам. Остров подрагивал. С подмытых яров его осыпалась и шлепалась глина. Непрочно все было вокруг.

Чем напряженней я вслушивался и всматривался, тем явственней ощущал, что остров уже стронулся с места, и до меня доносились голоса: бабушкин плач, мамин предсмертный крик, еще чьи-то, вроде бы звериные ревы, может, и водяного? Я поежился и ближе придвинулся к огню. Но страх не проходил. Остров вот-вот...

— Ба-а-аба! — заорал я на Алешку. — Тебе бы все баба! Изнежился, зараза! Попой еще, так я тебе!..

— Не тронь ты его, — остепенил меня Санька, — он ранетый — осознавать надо. Крючки-то вон какие? Налимьи! Вопьется, дак! Давай-ка поедим, а?

Поели мокрого хлеба с печеными картошками и луком. Без соли. Соль размокла. Алешка тоскливо вздохнул. Не наелся, живая душа, чаает калача, и бабы рядом нет — калачика-то дать. Хлебало есть, а хлебова тю-тю! Набил зобок, чисти носок, Алеха!

Санька закурил, свалился на телогрейку, глядел в небо.

Там, в глубокой темноте, будто искры в саже, вспыхивали и угасали мелкие звезды. И была там беспредельная, как сон, тишина. А вокруг нас, совсем близко, бесновалась река, остров все подрагивал, подрагивал, будто от озноба или страха.

— Лаф-фа! — подбодрил себя и нас Санька и стал

шевелить в костре, напевать негромко про малютку обезьяну.

А я думал про бабушку и про налимов. Про налимов больше. Меня так и подмывало скорее смотреть животник. Я уверен был, что если не на каждом крючке, то через крючок непременно сидит по налиму.

— Санька, Са-ань! Давай животник смотреть,— начал искушать я друга.

— Ну, смотреть. Не успели поставить.— В голосе Саньки особой пастойчивости не было, сопротивление его слабло, и я скоро его сломил.

— Набулькам токо, рыбу распугам...— Но я чувствовал, понимал — Саньке тоже не терпится посмотреть животник.

Мы оттолкнули лодку. Санька взял в руки тетиву животника, начал перебираться по ней.

— Не дергат? — пересохшим голосом спросил я.

Санька ответил не сразу, прислушался:

— Да вроде бы нет. Хотя постой! Вот! Дернуло! Де-орнуло! — голос задрезжал, сорвался, и Санька начал быстро перебираться по тетиве, я захопал, забурлил веслом.

— Тиха! Крючки всадишь.

Но я не в силах совладать с собой.

— Здорово дергат?

— Из рук рвет! Таймень, должно, попался. Налим так не может...

— Тайме-ё-нь!

Батюшки светы! Ну, не зря говорят на селе, что я фартовый, что колдун! Только вот закинули животник, и готово дело — таймень попался!

— Большой, Санька?

— Кто?

— Да таймень-то?

— Не знаю. Перестал дергать.

— Ты выше тетиву-то задирай! Выше! Отпустишь тайменя к едрене фене! Давай лучше я! Я — везучий!

— Сиди, не дрыгайся! Везучий... Мотырнет дак...

— Дергат?

— Ага, рвет! — опять задрезжал голосом Санька.— Из лодки прямо вытаскиват!..

— О-ой, Санечка!..— Больше я ничего сказать не мог и закричал в темноту во всю глотку: — Алешка! Алешка!

Таймень попался! Здорову-у-ущий!.. — Как будто Алешка мог меня слышать.

— На последнем крючке, видать, у самого груза. Справимся ли?..

— Ос... осторожней, Са... Санька! — начал я заикаться, чего со мной сроду не бывало.

— Во! Близко! Иди сюда!

Я бросил весла и ринулся к Саньке, схватился за тети-ву. Веревку дергало, тукало по ней так, будто она к моему сердцу прикреплена. Не помня себя, начал отгалкивать Саньку, тащить, и он кричал теперь уже мне:

— Тиха, миленький!.. Осторожней! Осторожней!

Рыба вывалилась наверх, грохнула хвостом. Таймень! И в самом деле таймень! Ну не везучий ли я! Не колдун ли?

— Ой! — вскрикнул Санька.

— Чё?

— Уду в руку всади! Во, зверина! Пуда на полтора, не меньше! Хрен с ней, с удой! Вырежем! Я хоть че стерплю! — Санька визжал, взрыдывал, а я боролся с рыбиной и никак не мог подвести ее к лодке.

— Это он в затишек со струи забрался. Пищуженец попался, он его и цапнул! — объяснил мне Санька рыдающим голосом, но я не слушал его. Мне сейчас не до Саньки было!

— Греби к берегу! Здесь не управиться! — прохрипел я.

Санька рванулся к веслам, запутался в животнике, забыл, что он ведь тоже на крюк попался, и тут в мои бродни вцепился крючок. Я тоже попался в животник.

— Уйде-от! — завопил я, когда почувствовал, что рыбина пошла под лодку. — Уйде-о-от!..

Санька упал на борт, сшиб меня, лодка черпанула бортом, медленно завалилась на бок, и меня обожгло холодной водой. Я забултыхался. Рядом бился Санька. Его запугало животником.

— А-а-а! — взревел Санька и пошел ко дну. Я успел схватить его за рубаху.

— Санечка, не тони! Санечка!.. — Я хлебнул воды. Скребнуло в носу, в горле, но я не выпускал Саньку. Меня дергала за бродень рыбина, тянула вглубь, на струю. Рука моя стукнулась обо что-то твердое. Лыдина! Я вцепился пальцами в ее источенную, ребристую твердь.

— Са... Лыдина!..

— Ба-а-ба! — разнесся вопль на берегу. Алешка или углядел, или почувствовал, что с нами стряслась беда.

— Палку, Алеш!..

И Алешка понял меня, но хорошо, что не услышал моих слов, не побежал за палкой — не успел бы. Он ухнул в воду, наклонил черемуху. Я отпустился от льдины и схватился за куст одной рукой, затем подтянул к себе Саньку.

Мы перебирались по гибкому кусту руками. Корень у него оказался крепким, выдюжил. Алешка подхватил и выволок Саньку на берег, я вылез сам. Без бродня. Рыбина сняла с меня обуток. Дедушкин бродень. И ушла с ним. Никто уже не дергал животник. Я весь был им опутан и услышал бы рыбину. Санька оторвал крючок вместе с коленцем и выпутался из животника.

Санька клацал зубами. Алешка все звал бабу. Я упал на берег, стукнул кулаком по мокрой земле.

— От... отпустили!.. Такого тайменя отпустили-и-и!

— Ба-ба! Ба-ба! — кричал Алешка, глядя на редкие теперь уже огни в селе.

Я вскочил с земли и дал Алешке по уху. Он не ожидал этого, кубыркнулся на траву и сразу смолк.

— Обормот большеголовый! — орал я на Алешку.— Такой тайменище ушел! А он — баба! Ты чё сидишь? — взъялся я на Саньку.— Завяжи руку, и станем животник распутывать... Расселись тут... Рыбаки! Другой раз свяжусь я с вами!

Первый раз в жизни возвысился я над Санькой; командовал им, и он — куда что делось? — подчинился мне, как миленький, и даже несмело попытался утешить, когда помогал распутывать животник.

— Может, это и не таймень вовсе. Может, налим... большой...

— Я не отличу вилку от бутылки! Опорок от сапога не отличу? Сам ты налим!

Распутывали животник. Руки порезало льдом, сводило пальцы стужей и мокром. Я дул на руки, пытаюсь согреть пальцы.

— Ты бы отжал лопоть, погрелся,— снова заговорил Санька, и снова робким, простеньким голосом.— Ноги у тебя рематизненные... Захвораешь.

— Не сдохну, не беспокойся! Ночь-то скоро пройдет! А рыба где? Плавает по дну, хрен достанешь хоть одну!..

Санька потом не раз мне говорил, будто в ту темную-

темную ночь он понял: характером я весь в бабушку свою Катерину Петровну, а не в деда, как утверждает она.

Но тогда он ничего не говорил. Помалкивал и дело делал. Алешка, получив оплеуху, дрова таскал, несмотря на боль и рану. Огонь поднял до небес. Живо навел я тут порядок. Разбаловались, понимаешь! Все бы им игрульки, бабы да мамы!..

Животник мало-мало наладили, наживили снова, я забрел в воду, привязал его к кусту и закинул недалеко. Санька ждал меня на берегу, к огню не уходил.

— Чего тут дрожишь? — прикрикнул я на него и пошел к стану. Санька тащился за мной, придумывал и не мог придумать, чего бы сказать дружеское, умягчающее отношения в беглой артели, оставшейся без транспорта, почти без харчей и обуви, — вор слезлив, плут болтлив.

Разделись, отжали рубахи, штаны. Нагишом прыгали у костра, пока сушилась одежда. Я помаячил Алешке, чтобы принес из старого остожья сена. Прелое было сено, одонье. Кто же доброе оставит? Доброе зимой вывезли. И все же не на голой земле плясать.

Сделалось совсем холодно. Мокрую траву на покосе подернуло изморозью, будто серебряные хвосты волшебных, сказочных птиц, да нам-то не до сказок! Не до красот! Напялили сырую одежку. Алешка почернел от боли, от знобкой стужи. Я оторвал от подола рубахи лоскут, перевязал еще раз ему ногу. Рана была мокрая, сочилась кровью. Санька грел у костра завязанную с крючком руку, то и дело принимался на нее дуть, но не выл. И Алешка не выл, бабу тоже больше не звал — артель сдавала, надо было что-то придумывать, так нам не выдюжить до утра.

— А ну, убирай костер! — скомандовал я, когда мочи уж никакой не стало от холода, зуб на зуб не попадал. Мигом перенесли костер на другое место, замели смородинным веником угли в сторону, на прогретую землю набросали веток, сена и тесно улеглись.

— Тепло?

— Маленько снизу пригреват, — отозвался Санька.

— Ксенофонт-рыбак всегда так делает, когда на берегу ночует.

— Надо было с ним попроситься. Может, бы взял?

— Ага, возьмет! И возьмет, дак поселенца дохлого уделит.

— Мы и такого не добыли.

— Посгони!.. Тайменища вон какого прокрюкали! Фартит таким недоумкам! В роте рыбина была!..

Санька засыпал. Уже на отходе ко сну вяло и безразлично выдохнул:

— Попадет нам и за лодку, и за все...

— Тайменя бы выволокли, тогда хоть сколько попадай...

Ребята заснули. А я ворочался и никак не мог забыться — недавно со двора, а уже тоска изняла! Явственно видел я, до боли ощущал каждой жилочкой краснохвостого тайменя — на полтора пуда! В серебряных пятнах по скатам толстой спины, с пепельно-серыми боками, с белым нежным брюхом. Огромного, открывающего огненные жабры, хлестко бьющего хвостом по доскам лодки. И еще толпу деревенского люда видел на берегу. Мужики, женщины, ребятишки смотрели, как я иду, согнувшись под тяжестью рыбыны, хвост ее волочится и бьет по камням. Я бы уж обязательно его живого домой притартал — неживую если рыбу домой припловишь, ловиться впредь не будет — Ксенофонт говорил. И вот я иду, прудомой тайменя, а про меня говорят, а про меня говорят... И только хорошее: что везучий я, что колдун и что такому удачливому человеку ничего не страшно будет в дальнейшей жизни...

Нет тайменя. Нет лодки. Ничего нет. Темная-темная ночь кругом. Ворчит река, плещется, буйствует, пьяная от половодья. И где-то в ней ходит таймень с оторванным крючком и с броднем. Ну что ему стоило? Ведь все равно, если запугается животником за корягу или за камень — сдохнет. Так уж лучше бы...

А может, он зацепился крючком за куст! Ворочается там, бьется, а я лежу здесь колодой...

Быстро насунул я Санькины драные сапоги, поспешил к воде. Что-то шевелилось в кустах, поталкивало их. Лыдины. Из подмытых яров острова все отваливалась, отваливалась земля, вынугивая из норок береговушек, и они молча, слепо выметывались в ночь, мчались от яра и пропадали во тьме, поодиночке, всегда птичьей толпой живущие, стайные, веселые птички, куда они одни-то? Будут летать, пока не упадут в воду либо ударятся в скалу. Никогда об этом не думал, не гадал, а вот увидел, и жалко сделалось пташек, спасу нет.

Заблудшие лыдины привидениями кружились в темной воде, сталкивались, хрустели, шуршали, старчески рассыпались, даже шептались, охали едва слышно и куда-то исчезали. Но тут же белесое пятно возникало во тьме,

надвигалось, резало, подминало кусты, утыкалось в глину, чавкало, жевало и, словно обожравшись, разламывалось или, огрузнув, тонуло в гуще воды и ночи. Нет тайменя! Ушел! Скрылся! Вон какая она, река-то. Иди куда хочешь. Везде дом.

На всякий случай я все же обошел ухвостье острова — не тайменя, так лодку, может, притащило. Вода шла на убыль. Мокрые кусты поднимались по заплескам, распрямлялись, стряхивали с себя ил. В кустах плюхалось что-то живое — может, крысы, может, комья глины, может, и сами водяные? Из-под ног моих снялся куличихка-перевозчик, как ни в чем не бывало запиликал звонким голосом. Тут же ответно запел другой и пошел этому навстречу. И соединили кулики песню, и умчались за протоку, бегают по берегу, заигрывают.

Беззаботные, вольные птички. Куда захотят, туда и подадутся. А тут вот лодку унесло. Таймень ушел. И хоть вой, хоть молись — никто не услышит. Тут вроде бы и до Бога-то дальше — не докричатся, тут, как на чужбине — кости и те по родному берегу плачут.

Нет счастья на земле. И вовсе я невезучий. Никакой я не колдун. Если б колдун был, разве бы не приколдовал тайменя?

У моих ног взревела вода, и я очнулся. Не заметил, как оказался у приверхи острова. Кусты здесь измочалило, зачесало водою на обмысок, торчмя наставило под берегом бревна, вывороченные коряги, набило хлама и льда меж них. Все это шевелилось под напором воды, хрустело, ломалось. Приверху острова одавливало, словно головку боны, и казалось, вот-вот сорвет остров с якорей, закружит, изломает на куски, развеет по реке этот земной каравай, рыбам его скормит и нас забьет, как мышат, захлещет.

Повернувшись, быстро побежал я от приверхи. Шум и гул воды отдалился. Я сел на подмыгтый яр, под которым в белых полосах пены ходила беспокойная вода, и стал глядеть на село. Возле дяди Ваниного пикета попрыгивал и метался костерок. Знал бы, ведал дядя Ваня, как таймень обошелся с нами и что кукуем мы без лодки, от мира и от людей отрезанные...

В селе огней нет. Спит село. Если и горит в нашем доме лампа, отсюда не увидеть, дом наш во втором посаде, и почти на задах. Бабушка молится сейчас, плачет, и дед горюет, молча. Мужики сети готовят, багры, неводы и

кошки — ловить нас. Утром весть об утопленниках облетит село и взбудоражит его. Явится к нам Митроха, председатель сельсовета, о котором бабушка говорит, что если б ему песий хвост, так он бы сам себя до крови исхлестал, и крупный опять будет у Митрохи с бабушкой разговор — давно они уж только «по-крупному» говорят. Пока бабушка забивает Митроху, хоть он и шишка, но тот только и ждет случая, чтоб бабушку уязвить или выслать на север, как «злостный для общества элемент».

Что мы наделали! Как я додумался башкой своей до всего этого? Заест Митроха бабушку. Он и без того на нее зуб имеет. Митроха сватался в молодости к тетке Марии, но отчего-то дед и бабушка не согласились отдать за него дочь. Отдали бы, чего им стоило? Не самим ведь замуж-то. И не все ли равно, Зырянов — скупердяй и злыдень, да еще с грыжей, или горлопан Митроха? Однажды я заблудился на увале. Ходил по грибы и заблудился. Митроха нарезал там делянки дроворубам и услышал мой крик. Он взял меня за руку и привел домой. Конечно, я бы поорал, поорал и сам бы пошел дорогу домой. Не раз такое случалось. И вот надо же было Митрохе оказаться в лесу.

Митроха сказал бабушке властно и строго:

— Безнадзорный парнишка. А безнадзорные дети должны жить в детском доме, догляженные и обихоженные.

— А он не догляжон? Он не обихожен? Да у него имущества, может, больше, чем у других ребят, хоть они с матерями-отцами! Я вон ему сумку из своо фартука сшила. В школу еще осенесь, а я уж сшила, с ручками и с кармашком для чернильницы, как городскому...

— Мне не переговорить и не перекричать тебя, несурзная старуха! — не дослушав бабушку, замахал руками Митроха.— Но вот что запомни: если парнишка будет болтаться где попало, я меры приму!

С этими словами Митроха надел фуражку и вышел, бабушка так и осталась посреди кути, расшибленная словами: «Меры приму!»

Во дворе Митроха нарвался на дедушку, который, видать, весь разговор слышал. Дед воткнул топор в чурбак и, как всегда, тихо, но увесисто сказал Митрохе:

— Вот что, Митрофан Фадеич! Ты мою старуху не пужай. Ребенок был при нас, при нас и останется.— Помедлил и добавил: — Не ровен час, сосед наш, Левонтий, услышит, да пьяный ежели... Кто тебя отбирать будет?

Митроха знал — дяде Левонтию хоть Бог, хоть царь, хоть какая власть — нипочем, если он напьется. К тому же дядя Левонтий меня любит так же, как и я его, и он село в щепки разнесет, в случае чего, из Митрохи душу вытрясет. И все же боюсь я Митрохи. И бабушку мне жалко. А ну как «примут меры» из-за нас с Алешкой?

— Бабушка! Ба-абонька-а! — задрожал я губами, но тут же вспомнил про Алешку и не позволил себе расклетиться. Мне было холодно, одиноко и жалко самого себя.

Вода засеребрилась от просвета, занявшегося в межгорье. В безостановочном, стремительном беге река. Но мне все казалось — не вода это, а остров, и я вместе с ним, все мы мчимся вдаль, среди ночи, среди реки, не имеющей берегов, остров теряет кусты, сыплет комья земли, будто подбитая птица перья. И не убывает вода вокруг острова, а прибывает, прибывает. Скоро она подберется к покосу, смоев костерок, нас унесет к Караульному быку, закружит, торкнет о камень...

Я тряхнул головой. Огонек на той стороне, у дяди Ваиноного пикета, почти погас. Ночь: поздняя уже, глухая и студеная ночь.

Снова пришел на ум Митроха.

Рыбачил я как-то выше деревни, у этого самого пикета и засиделся допоздна.

Теплое тогда лето было, погожее. На реке межень, и Енисей не ревел, не свирепствовал, как сейчас, катился легко, светлый, облегченный, молодой. На закате солнца стал веселее брать елец на таракана и на кобылку, но как солнце закатилось — бросила клевать рыба, и я сидел на бревне просто так, глядел на реку, на привычные горы и не заметил, как наступила темень.

На реке показался огонек. Он словно бы блуждал по ней, кружился. Вот миновал Манский бык, угодил в проран между бонами, сделался ярче, краснее, стал надвигаться на займище.

— Какая деревня-а-а? — спросили из темноты.

Я сложил руки трубочкой и охотно откликнулся, потому что было мне радостно сообщить незнакомым людям о родном селе, о себе, о том, что есть мы на свете.

Огонек поплыл на мой голос, и скоро я услышал:

— Приветствую вас, милое дитя!

Дитем, да еще милым, меня никто и никогда не называл. И я от удивления не знал, что сказать человеку на плоту, точнее, на салике из четырех бревен. Костерок

шевелился на каменных плитах, выложенных очагом. Человек стоял с приподнятой шляпой, свет играл в его глазах и морщинах. Он улыбался мне, как ближнему родственнику.

— Здравствуйте! — сказал я и принял веревку.

Человек сошел на берег, мы училили за камень салик. Пока училивали, незнакомец успел меня расспросить обо всем: и о селе, и обо мне, и о дедушке с бабушкой. Словно бы ехал этот человек на праздник, так был он оживлен, говорлив, приветлив. И мне тоже передалось его настроение, хотелось разговаривать, разговаривать. Я помог незнакомцу перенести костерок и мешочек с плота.

— И сейчас мы будем варить кулеш. Вы знаете, милое дитя, что такое кулеш?

Я почти с восторгом признался, что не знаю.

— Жизнь состоит из сплошных открытий. И вы сейчас узнаете, милое дитя, что такое кулеш.— При этом незнакомец снял шляпу и обнажил редковолосую голову.

Я бегал по берегу, собирал дрова, подкладывал их в костер. Человек хвалил меня за усердие и все улыбался беззубым, широким ртом и говорил мне, как в песне: «Милое дитя».

Кулеш сварился и оказался жиденькой пшенной кашей, приправленной береговым луком. Я нащипал луку на бычках. Незнакомец попробовал варево, зажмурился и тряхнул головой:

— Божественно!

Дал мне попробовать, и я сказал:

— Да-а-а!

Ложка была одна. Незнакомец складным ножиком быстро обстругал щепку, соорудил из нее черпачок, ложку отдал мне. Я начал отказываться, но незнакомец погладил меня по плечу:

— Хозяину этого мира,— он обвел гибкой рукой вокруг,— почет, уважение и ложка. А я, милое дитя, могу употреблять еду какую угодно, где угодно и чем угодно. Научен уважать пищу! — Он важно и смешно приподнял палец, после чего отхлебнул из черпака пищу, пригодную для беззубых, и продолжал: — Великий Горький сказал: «Человек выше сытости!» Но годы прозябания перевернули в моих глазах многие слова, и понял я, что словами, даже великими, не пропитаешься, понял я, что без слов прожить можно, без пищи — нельзя, и что доброму человеку сухарь во здравие, а злому — и мясо не впрок. Годы учат мудрости, милое дитя!

Он и еще много говорил мне непонятных слов, доверительно, как равному, близкому товарищу, и понял я: дяденьке этому долго пришлось жить без близких людей и молчать.

Мы дохлебали кулеш. Незнакомец вымыл котелок, ложку и убрал их в мешок, после чего свернул сигарку из казенной махорки, прикурил от уголька и блаженно вытянулся на камнях, чувствовалось, да и видно было по всему, да он этого и не скрывал, как вольно ему, как хорошо жить и наслаждаться жизнью.

У костра незаметно, будто тать, возник Митроха. Молча, сурово оглядел он дяденьку, меня, салик и потребовал документы. Незнакомец ответил: «Охотно!», засуетился, складничком подпорол подкладку шляпы, достал из-под нее бумажку.

Митроха нагнулся к огню, зашевелил толстыми губами. Читал он долго, затем выпрямился и заявил:

— Так я и знал!

— Что вы знали, молодой человек? — Незнакомец уже оправился от наскока Митрохи, не суетился больше, но и не улыбался. Лицо его сделалось мятым, усталым, досада была во всем его облике.

— Что ты за птица?

— Справка по всей форме. Я освобожден досрочно и, значит, заслужил право, чтобы ко мне обращались на «вы», так же, как я обращаюсь к вам.

Митроха смешался, переступил со здоровой ноги на хромую, прокашлялся громко и с новым напором продолжал:

— Кем был до изолирования?

— Капельмейстером.

— А-а, сразу видно придурка. У нас в партизанском отряде каптенармус был, тоже вертлявый, говорун, тоже под антелигента работал.

— Капельмейстер и каптенармус, смею вам заметить, слова несколько не идентичные.

— Чево-о-о?

— Не идентичные слова, говорю.

— Я б тебя раньше за такие слова!..

— О-о, в этом я не сомневаюсь. Верните мне справку.

— Куда путь держишь, брехло? — Митроха меж двух пальцев, брезгливо протянул старику бумажку.

— Видите ли, молодой человек, — все так же мягко, но не без презрительности в голосе заметил старик, убирая

справку в шляпу,— я досконально изучил вопросы, на которые обязан отвечать и на которые не обязан. Ваш последний вопрос я отношу к числу необязательных.— Старик нахлобучил шляпу и в упор глянул на Митроху.— В ответ на все ваши вопросы я позволю себе задать единственный вопрос: скажите, кто вас научил и кто вам поручил подозревать людей и допрашивать их?

— Никто. Я сам.

— Благодарю за откровенность. А сейчас, может быть, вы будете так любезны, что оставите нас? С мальчиком куда приятней беседовать.

— Этот мальчик! Этот мальчик дошляется! Я его спроважу в детский дом!

Старик вскочил, сжал кулачишки и, надвинувшись на Митроху запавшей грудью, прокричал срывающимся от гнева голосом:

— Детей-то, хоть детей-то оставьте в покое! — Старик тут же расслабился, плечи его опустились: — Уйдите! Прошу вас! Умоляю!

Митроха, дразнясь, прошамкал:

— Умоля-аю! Прошу-у! У-у, оглодыши! Поначитались, понаучились всяким словам! — и пошел, злобно загребая камешник хромой ногой.— Чтоб к утру духу не было! — уже с яра, из темноты гаркнул он.— А ты, гадючье семя, чтоб сейчас же домой!

Я сидел у костра раздавленный, убитый. Мне еще никогда не было так стыдно и больно за себя, за село родное, за эту реку и землю, суровую, но приветную землю. Я не мог поднять глаза на старенького дяденьку, который не разговаривал, не тараторил больше, а, согбенный, недвижный, глядел в огонь. Потом, так ни слова больше не сказав, он перенес головешки на салик, мешок перенес, отвязал веревку и уплыл в темноту...

И долго колебался на реке одинокий огонек. Мне хотелось побежать за ним, догнать салик, попросить у незнакомца прощения, сказать, что село у нас хорошее, что к приедем у нас люди приветливы. Вон хоть дядю Левонтия, хоть Мишку Коршукова спросить... Но огонек отдалялся, отдалялся, становился все меньше, меньше, пока совсем не затонул в безвестной темной дали.

Я не могу забыть ту ночь и старенького человека в шляпе, помню и огонек, приплывший ко мне по реке. Теплом и болью отражается его свет в моей душе. Что-то тревожное пришло в мою жизнь той ночью, и сам огонек

с тех пор обрел в моем понятии какой-то особый смысл, он не был уже просто пламенем из дров, он сделался живою человеческой душою, трепещущей на мирском ветру...

— Я-а-а! А-а-а!..— Я вздрогнул, услышав голос, почувствовал, как все во мне дрожит до последней кровинки, как стучат зубы — ох, не миновать мне веснухи после такой простудной ночи.

По другому берегу Енисея метался огонек, и вроде бы на самом деле кто-то кричал. Вот от большого огня отделился язычок пламени и стал мотаться из стороны в сторону — нам махали — догадался я и заорал:

— Санька! Алешка! Скоро приплывут! Наш костер увидели!.. О-эй! — Я замахал руками, запрыгал, как будто меня могли увидеть.

— Э-э-эй! — закричал Санька, воспрянувший ото сна. Алешка тоже проснулся и повел свое:

— Бу-у-у-у!

Но приплыть к нам скоро не смогли. С рассветом наплыли туманы, затопили горы, реку, остров, и остался наш только костерок на свете да мы вокруг него, забытые, покорные, тихонькие.

— Надо животник посмотреть.

— А, пошел он! — плюнул я. Не хотелось мне уходить от огня в белую сырую наволочь, не хотелось брести в воду. Воспоминания о старом путнике и Митрохе разбредили меня. Домой мне хотелось, к бабушке. Спать мне хотелось, и не было ни малейшего желания даже шевельнуться.

— Ладно, я посмотрю,— храбро сказал Санька, но не поднялся, однако, от костра.

— Валяй! — сонно кивнул я.

Санька поежился, со свистом втянул синими губами воздух и, держась за бок, послушно побрел в туман.

— Во! Один попался! — Но меня даже это сообщение не обрадовало. Все было мне нипочем, ничего я не боялся, ничему не радовался.

А Санька, видать, застудил больной бок, надо бы его вернуть, но сил не было даже на окрик, да и скрылся Санька с глаз.

Сошел туман с реки. Проглянуло мутное солнце в небе. От села отплыла лодка. Санька с Алешкой побежали на берег, замахали руками, я не поднялся от огня, сидел на сыром крошеве сена и смотрел, как затухают головни,

обрастая дрожливым серым куржаком, как затягивает угли сырой шипучей дремой, и вспоминал тот огонек, того дяденьку. Уплыть бы с ним куда глаза глядят и нигде не останавливаться, плыть и плыть, до самого края земли, за ним исчезнуть, навсегда и от всех...

— Эт-то што вы удумали, разъязвило бы вас, а? Эт-то кто жа вас надоумил, а? — еще с реки, из лодки закричала бабушка. Алешка заблажил, спрыгнул с яра, побрел встречь лодке, несмотря на рану. Бабушка подхватила его, отвесила мимоходом затрещину. Не переставая ругаться, она вымахнула на берег, схватила хворостину, погнала Саньку в лодку.— А вот тебе! А вот тебе! Не сманивай! Не сманивай!

Я подошел к лодке. На корме сидел Ксенофонт, в лопашнях Кеша, осудительно, с превосходством всегда правого человека смотревший на нас.

— Не трогай Саньку! Ему крючок в руку всадили. Это я сманил! Бей! — И с ненавистью посмотрел на ухмыльнувшегося Кешу.

— Т-ты-ы-ы? — Пока бабушка собиралась с духом, Санька выюном скользнул в лодку и притаился.— Так я тебе и поверила! Так я тебе и поверила!..

Бабушка порола меня до тех пор, пока не сломался прут. Отбросив переломившуюся прошлогоднюю талину, от которой и больно-то нисколько не было, она запричитала, выкашливая перехваченным сердцем:

— Да што за наказанье такое? Да за какие грехи на меня навязались кровопивцы?..

— В лодку идти, чё ли?

Кеша уже не улыбался, Ксенофонт подмигивал мне, маячил, прыгай, дескать, скорее в лодку да ко мне поближе — на корме не достанут...

Но я, набычась, стоял на берегу.

— Иди лучше в лодку! Запорю! До смерти ведь запрю! — затопала ногами бабушка.— Х-хосподи! Вот деушко-то родимый! Забей его... Забей...— Она сцапала меня за ухо и повлекла к лодке.

Не медля ни минуты, Ксенофонт оттолкнулся, лодку качнуло, бабушка осела, схватилась за борта. Развернулись, поплыли. Бабушка черпнула рукой за бортом, приложила сырую ладонь к губам.

— Налим где, Санька?

— Ой, забыл! Вот гадство, забыл!

— Поворачивайте назад! — потребовал я.

— Я те поверну! Я те поверну! Так поверну, что своих не узнаешь!

— Поворачивайте лучше, а то всех перетоплю! — процедил сквозь зубы я со всем злом, какое скопилось во мне за эту проклятую ночь, и шатнул лодку.

— Сенофонг! — взмолилась бабушка. — Поворачивай, батюшко, поворачивай, родимый! Он ведь обернет лодку-то!.. Де-эдушко, дедушко вылитый... Сатана сатаной, как рассердится...

Ксенофонг ухмыльнулся и развернул лодку. Он ведь дедушкин брат, значит, мне сродни.

В одном бродне, в грязной и драной рубахе, в мокрых штанах, пошлепал я по берегу, по глине.

— Красавец какой! — сказала бабушка. — Тебе ишшо за обуток будет! Новые почти бродни уходил...

Налима я нашел в воде. Санька забил его и продел в жабру таловую ветку с сучком. На ветке я и приволок налима.

— Налимище-то! — принялся измываться надо мною Кеша, но я смазал ему рыбиной по морде, и он заутирался рукавом: — Чё размахался-то? За ним еще приплыли, как за нобрым!..

— Как поселенца делить будете — повдоль или попе-рек? — Бабушка тоже насмехается, отошла, отдышалась.

— Разделим...

Переплыли реку в тягостном молчании. Вышли из лодки. Я потребовал у Саньки ножик, разрезал налима на три части. Голову мне, поскольку я оказался в конце концов главным ответчиком за все. Середину — Саньке, раз он вытащил палима, хвост Алешке — он только ныл, бабу звал, и никакого от него толку в промысле не было.

Бабушка сварила уху из двух кусочков налима и, не знаю уж, нарочно или с расстройства, пересолила ее. Но я все равно выхлебал уху и остатки выпил из чашки через край. Алешка несмело звал бабушку хлебать с нами — в нашем доме не принято было есть что-то по отдельности, да бабушка сердито замахала на нас обеими руками:

— Понеси вас лешаки с налимом вашим!

Вечером прибыл дедушка. Он пилил в лесу швырок — мужики наши сбивались в артели и заготавливали на продажу дрова веснами, пока было пустое время до пахоты и сева. Обо всех наших злодеяниях было ему доложено с подробностями и даже с прибавлениями.

— Чего же ты сводишь людей-то с ума? — укоризненно сказал дед. — Шутки тебе с водой?

Я молчал. Дедушкины укорные слова тяжелей бабушкиной порки. Но скоро деду, как всегда, жалко меня стало, и, дождавшись, чтоб бабушка скрылась с глаз, он участливо спросил:

— Лодку-то как отпустили?

— Таймень опрокинул.

— Так уж и таймень?

— Не сойти мне с этого места!..

— Ладно, ладно. Лодку вашу Левонтий поймал.

— А чё тогда бабушка талдычит: платить за лодку, платить за лодку!..

— Пужат. Ты знай помалкивай.

Дед потолковал еще со мной о том о сем, подымил табаком, затем протяжно вздохнул и повел меня в хибарку бобыля Ксенофонта.

— Вот тебе соловей-разбойник. Опекунствуй на рыбалке. До смерти он теперь пропащий человек. Пушшай хоть с тобой на реке болтается.

Дед и Ксенофонт закурили, как бы порешив дело, и сидели, покашливая, изредка обмениваясь вялыми и неинтересными словами: «Пилы ныне дерьмо, зуб то крошится, то вязнет...» — «Н-на, разживетесь вы на этом швырке...» — «Разживемся. А тут ишшо соку березового опилися, пообслабели. Едва ноги волочили...» — «Дак ить не маленьки! Посивели в лесу-то...» — «Посиветь-то посивели, да не поумнели...»

Старая, полутемная избушка наполнялась махорочным дымом, мухи в нем вязли. Я примостился возле кособокого, некрашеного окна, ловил на нем мух и запихивал их в спичечный коробок — про запас — летом на ельца и хариуса наживка. Ловил я мух, слушал, не заговорят ли о чем еще братья, но они уже выговорились и помалкивали, смотрел на Енисей, поблескивающий за домами, за заплотами и огородами, и не верил своей участи. Уж с Ксенофонтом-то мы половим рыбки! Уж потаскаем налимчиков! Может, и тайменя того сыщем? Ну, не того, так другого. Мухи все вязли в дыме, угорело тыкались в углах, лепились на стекло — отдышаться.

Вот жизнь какая извилистая! И несчастья, и счастье — все в ней об руку, все рядом ходит.

ЛЕГЕНДА О СТЕКЛЯННОЙ КРИНКЕ

Об этой злосчастной кринке я уже поминал в одной из глав мимоходом, но давнее происшествие так глубоко внедрилось в память людей, такими подробностями и такими приключениями обросло, что требует особого к себе подхода и основательного отображения. Совсем недавно о знаменитой бабушкиной кринке со смехом вспомнила ослепшая тетка моя, Августа Ильинична, с годами все чаще и чаще вспоминающая свою и нашу прошлую жизнь, да все со вздохом удивления от грузной, но не гнущей памяти, из которой помаленьку, полегоньку улетучилось все, что омрачало прошедшие дни и годы, и озарилась она легким грустным светом прошедшей, но никак не кончающейся радости, собранной пусть и из малых, редких осколочков тебе только дарованной, единственной жизни.

Кринка была одним из первых чудес прогресса — стеклянная! Прозрачная. Фигуристая, что молодая купчиха. Ближе всего по форме напоминала она ламповое стекло-пузырь, только поприсадистей, попузатей была кринка со льдистым доньшком-луночкой, с ободком возле жерла. Это тебе не громоздкая, тяжелая посудина, слепленная и отоженная из обыкновенной глины.

Бабы со всего, почитай, нижнего конца села, собравшиеся в нашей избе, смотрели кринку на свет — «Все-все как есть видать. Сметана сядет, простокиша, как на картинке срисована!» — хвасталась бабушка. Бабы брэнчали по стенке ногтем, поражаясь тому, что она звенит, но не

разваливается, не разбивается, спрашивали бабушку, где она взяла такую чуду и нет ли там еще таких кринок?

«Место надо знать», — посмеивалась и томила людей бабушка, но, как всегда, под конец раздобывшись, объяснила, что купила кринку по случаю, с рук, однако есть слух, будто кринок таких вскорости будет много, всем достанется, и вообще, на базаре сказывали, что все на свете скоро будет делаться из стекла — дома, машины, даже «еропланы» — летишь, и все видать. Скабрезник Терентий донес странную весть: «Опшественные нужники, и те будут стеклянными». Бабы ужасались, говорили — не зря по радио сказывали про светлое будущее. И какая-нибудь горемычная баба из описанных или попавших с семьей под «твердое» обложение, едко заключала:

— Имя чё? Раз уж начали над народишком изгаляться, дак уж не останвятся.

И мы с Алешкой поначалу радовались вместе с бабушкой эгакому невиданному диву. Глупые, жизни не знающие, от прогресса не уставшие, мы и предположить не могли, сколько испытаний, невзгод выпадет на нашу долю с появлением неведомой посуды в нашем доме.

Прежде как было? Поставит бабушка кринки с молоком в кладовке и ждет, когда сметана настоится, чтоб потом слой сметаны ложкой снять в отдельную посудину, накопив ее изрядно, сбить из сметаны масло, из простокваши напарить в печи творогу.

Все это хорошо и прекрасно — поставить, накопить, снять, сбить, на рынке продать, обновку купить. Ну а мы-то, деревенские дети, сызмальства привыкшие к поиску, к охоте, зачем? Первый это ребячий соблазн в деревенском доме — слизать с кринок сметану — так и пошло от этого промысла позорное звание — криночные блудни. Стоят кринки в ряд на полке, темные, запотевшие, деревянными кружками да блюдами прикрытые, и вроде как дразнятся: «Ну, тронь! Ну, попробуй! Ах, вкусно!» — Алешка пальцем мне грозит и по заду себя хлопает, показывая, какое возмездие ждет нас от бабушки. Ну и пусть — раз пальцем в кринку и облизываю его, да еще и жмурюсь от удовольствия. Алешка слюнки глотает и маячит мне, что палец грязный. Если уж черпать, так ловчее ложкой — и чище, и скорее.

В две руки, двумя ложками быстренько мы работаем — обрабатываем кринки. И тут же пугливо в себе замираем, начинаем раскаиваться в содеянном. Пройдет день-

другой, наступит время снимать сметану с кринок. Что будет? Что будет? Изнемогший от внутренних борений, Алешка кается и зовет меня на правож. Ему уже попало, он плачет и с облегчением чешет задницу. Я подношу ему под нос кулак: «Хлюзда! Доносчик!» — и чешу со двора. «Разбойник! Криночная блудня! Плачет по тебе, плачет краснойрская тюрьма!» — несетя мне вослед.

Пришел конец криночным блудням, наступил переворот, начался новый «этап» жизни, как утверждает активистка Татьяна. Бабушка нарочно на виду ставит стеклянную кринку с молоком, бахвалится: «Ходят мои сладкожежки кругом, обливаются, но не смеют под крышку сунуться, потому как в кринке все будто в зеркале видать, и оне, субчики, тут же попадутся...»

Эту-то кринку, чтоб легче таскать, чтоб перед людьми выставиться, стала мне бабушка давать в лес, по ягоды, когда я уже вышел из мелкопосудного возраста. Прежде кружку либо чашечку с ручкой давали, и я вроде бы баловался на ягодах, больше их в рот клал, чем в посудину.

Наступили иные времена. Бабушка перехлестнула горло кринки тряпочкой ниже ободка, к перехлесту тряпицу привязала вроде ручки, да еще и завила ее, как девичью косу, чтоб меньше мне ладонь резало. Потей теперь, ломай спину на увале, пока не наполнишь кринку земляникой. В древней-то, темной кринке или туеске ничего не видать, закроешь ягодами дно и пошло-поехало, ягодка по ягодке, горсточка по горсточке, глядишь, «незаметно» и полпосудины набрал, главное, пузатую середину ее прошел. Жерло-то криночное узкое и на исходе сил, перевозмогая судороги в ногах, ломоту в пояснице, доберешь. А эта клятая фасонистая кринка так и манит взглянуть, сколько прибыло? Ни хрена не прибыло! Отчаяние берет. Скоблишь, скоблишь ягодку по ягодке, да и упадешь в траву — лупите, за волосья или за ухо таскайте, но кринку эту бездонную мне никак не набрать полную. Пойду купаться, пусть потом бабушка корит и лупит: «Экой удалец! Экой вертопрах! Бобровские девки, митряшинские ребяташки на тех же ягодах были и с горой посуду несут. А мой-то, мой-то едва припер на доньшке ягод. Чисто левонтьевские пролетарьи, накупался, наотдыхался. То и жрать у меня будешь, то и носить. Оне голой задницей по деревне сверкают, чужие огороды чистят, и ты голожопиком с имя пропитанье смекай...»

Ягод на доньшке я не приносил, всегда чуть средин-

ки посудыны выше, штаны у меня худо-бедно зашиты, по огородам я лазаю не больше всех остальных парней, работу, какую получаю, исполняю, но жизни нету. И все из-за этой кринки. Другая посуда бьется, трескается, этой кринке хоть бы что!

— Давай мне другую посудину! — кричу я бабушке. — Чё ты мне всякое говно суешь?

— Это?.. Это? Я те дам посудину! Я те покажу говно. Прут из метлы — вот тебе самая подходящая посудина! — и через малое время, несколько поостыв, поясняет, что кринка ею вымеряна, нисколько она не больше всех остальных посудин, просто я непутевый человек, изварыженное дедом, ленивое дитя, и если я, увалень и лоботряс, и завтра явлюсь с пустой посудиною — она знает, какие меры ко мне принимать, какое воздействие для перевоспитания придумать.

Это случилось на чернике. На ближней. За первым увалом есть второй увал и далее Черная гора. Так вот, на исходе второго увала, по склону горы прежде росла черника, самая детям доступная, близкая таежная ягода. За «большой» ягодой ездили в горы на лошадях со выюками, чаще поднимались на лодках вверх по Мане и привозили ее столько, что хватало семье на зиму, да и прилавки красноярского базара ягодным потоком залить хватало.

Вот к Черной-то горе, на первую чернику и подались мы небольшой ребячьей артелькой, кто с чем, большей частью с туесами, а я со своей знаменитой кринкой. Бабушка как чувствовала, как знала, что вот-вот наступит крах жизни, и, провожая меня до заднего прясла по огороду, все паказывала: «Мотри, не зазевайся, не заблудись, далеко седня идете (сейчас на этом месте дачи, и не только черничник, но и лес здесь выпластали беспощадные новожители), да кринку-то, кринку, мотри, не потеряй, не разбей!»

Не каркать бы старой, не озевывать меня, так, может, ничего бы и не стряслось, а то разошлась, понимаешь...

Черничник на Черной горе был высокий, с раскидистой шапкой. Ягода в нем редкая, но крупно налитая. Попадешь, бывало, на чистый кругляшок ягодника, мелким камешником окруженный, и притихнешь хитро, думая, что тебя не слышно, не видно, авось и не набегут, не обхватывают тобой найденную полянку сотоварищи твои, на дармовщинку падкие. Каждый деревенский житель этой «хитрости» был подвержен, за что потом его жадюгой,

мироедом и еще как-то именовали и обличали да срамили люди, которым все нипочем. Хлеб у них на деревьях булками растет, ягоды им брать ни к чему, готовые, уже сваренные с сахаром на квартиру доставляют, к еде они привыкли магазинской, казенной, к продукту, порой гнилому, в пищу негодному, а то и вовсе вредному для внутреннихностей. Деревенскому люду пекуда было деваться, все сами добывали, всему добытому сами радовались и своим горбом, руками сотворенное, добытое, было самое дорогое и сладкое.

И первая черника в то лето одарила нас радостью. Спелой черники было еще немного, пяток-десяток синеватых еще ягодок на кусте, остальные белоглазы либо с сизым отливом, но попадались кусты уже не просто в черном крапе ягод, но с седоватым налетом были ягоды. Кустики черники, отяжелев под ними, чубато клонились вбок.

Здесь, под Черной горой, зимами валили лес на дрова и еще не разбалованные, не извольничавшиеся, не разболтанные мужики вершинник и сучья складывали кучей. Давненько уже преют иные кучи, почерпели, мохом поросли, мелким грибом и сырой плесенью их истратило, в труху отходы превратились, мурашки их да жучки источили, снега, ручейки и дожди в почву вмыли. Прель, теплота, мякоть. Ну как тут, в тенистой духовитости, ягоднику не расти, грибу не водиться. Растет ягодник и радуется себе, вольности своей таежной, уединенной, братству травяному, тихому и редкостному. У всех цветочков, у всякой травочки название есть: вон по еланчику крупные цветы на согнутой ножке, меж двух остроугольных сморщенных листьев, яркие рты их, молочно по губам подернутые, раскрылись под язычком-колпаком, подбородок как у молодого петуха. По-городскому они зовутся орхидеей, веперипым башмачком, по-деревенски просто — бараньи мудушки. Здесь тебе и грушанка пестро цветущая — из двух, тоже круглых листочков, наподобие цвета каштана вознесшись. Колокольцы, кукушкины слезки, майничек, таежная ветреница. Все тут цветы долговязы, зеленою бедны, к свету тянутся, зато уж в лекарство сплошь пригодные — рви да суши. Черничнику здесь самое место, самая благодать. «Ах вы, ягодки мои милые, ах вы, пташечки мои сизокрылые!» — как молитву, творю я радостную песню в честь своей удачи и тороплюсь, тороплюсь, марая пальцы, губы бросовой или недоспелой ягодой.

Нет, совсем это не жадность, совсем не азарт, даже,

наконец, не опасение, что другие дети обсморгают кусты, обернут тебя, оторвут подметки на ходу. Нет, лесная находка воспринимается даже не как открытие, она как особое к тебе доверие этой Черной горы, этой тайги, в которой, конечно же, есть душа и еще что-то, что слышит, зрит и понимает тебя. И вот, за доверие, за старательность, за умение найти, открыть маленькую лесную тайну возникает между нами тоже тайна, мне, стало быть, только мне и назначенная, потому награда, она только мне и выпала. Никому не выпала, а мне вот выпала. Боязно мне и чуть жутковато, но я знаю, ничего со мной не стрясется, потому что тайна моя во мне, я никому не передоверю своего секрета. Я нащупываю пальцами, быстро тереблю и ощипываю кусты, сыплю в кринку, подвязанную к пояску, крепенькие ягоды. Брюшками пальцев прирожденного ягодника я угадываю ягоду с изъяном, косбокую, сплюснутую, недозрелую и в рот ее. Коли радостно глазу, сердцу, голове, пусть и брюхо порадуется. «Ах вы, ягодки мои расхорошенькие! Ах вы, ягодки мои, черные горошинки!»

Вдруг что-то остановило меня: складный шепот, руки мои замерли. Глаза еще ничего не увидели, но сердце почуяло опасность и тук-тук-тук в грудь колотится. Все кругом было спокойно и безмолвно, однако я почувствовал чье-то присутствие, чей-то взгляд и, с детства лесом вскормленный, дерево за деревом, камень за камнем, куст за кустом обегал, обшаривал тревожным взглядом.

Внезапная пронзила догадка — оно не там, не в отдалении, оно передо мной, возле моих ног. «Змея?!» — ужаснулся я, заранее умирая. Медленно перевел напряженный взгляд к погам. Из прелой кучи сучков, уже искрошившейся понизу, из переплетений черных палочек, как из-за тюремной решетки, на меня глядел не моргая круглый глаз, в середине которого, будто капля росы в углублении черничины, недвижной искрой горел свет. Совсем близко. В живой глаз вонзенная острием искра эта вот-вот должна была проколоть живую плоть глаза и взорваться в ней.

Полный ужаса глаз был вправлен в покатую, крупную голову черной птицы с тряпично выцветшей багровой бровью.

Тело птицы вжалось, вросло в землю под кучей хорошо ее скрывающего хвороста. Какое-то время мы смотрели друг на друга, не отрываясь, оцепенело, парализован-

но. Первый шаг назад я сделал совсем неосознанно. Коротенький, как бы пробный шаг-другой — отдалился бы я от пугающего места, с криком рванулся бы ко вдали перекликающимся на ягодниках связчикам. Но мой шаг, мое шевеление вспугнули птицу. Она словно взорвалась черным дымом, шумно подняла над собой древесную ломь, разворушила прелую кучу и рванулась бежать, волоча перебитую, почти уже отболевшую половину крыла.

От парнишки, с детства привыкшего гонять бурундуков в лесу, выливать сусликов из норы, губить крыс, кедровок и прочую птаху из рогатки, сызмальства мечтающего о таежном зверованье, собственной добыче, как от молодой собачонки, бестолковой, но уже с пробужденным охотничьим норовом, убежать не надо.

Дальше все помнится отдаленно, отрывочно. Я бегал за птицей сперва у подножия горы, метаясь упасть на нее брюхом, выгнал ее на вершину, к известковому обвалу, над которым в редком соснячке, на белизне первого мха, кудрявился мелколистный брусничник. Поняв, что на чистине я быстро его настигну или заставлю упасть с обрыва в камни и убиться, глухарь, я разглядел, что это глухарь, линяющий, серый от пуха и подпушка, выступившего на месте выпавших перьев, с обнажившимися коленьями костей в изгибе крыльев, сделал круг по горе. Со спины глухарь ровно бы ржавчиной подернутый, под гнилушки, в которых таился, окрашенный, с крупной, на картошку похожей головой. Оттого, что с шеи птицы сошло перо и пеньки новых перьев разбродно торчали порознь на крапчатой голой коже, а в крыльях перья едва означились кисточками будущих синеватых перьев, никакого лету птице не было, и она не махала, она дергалась суставами костей, инвалидно волоча перебитое, беспомощное крыло.

С чистого места, с беломошника, с брусники глухарь крутанул назад. Вниз ему было уходить способней. Глухарь прыгал, подлетал, может, на целую сажень, помогая себе крыльями, одно из которых хотя и было повреждено, все равно пыталось шевелиться, да больше мешало оно телу птицы в полете, то и дело сламываясь.

Где, когда схватил я палку, леший ли таежный мне ее в руку сунул? Сколько гонял я раненую птицу по увалу, то теряя ее из вида, то вновь вспугивая, — почти не помню. Настиг я глухаря и захлестнул его палкой уже за первым увалом, на спуске к огородам, в каменноузком ложке, куда глухарь заскочил, надеясь спрятаться в теснине

каменной, в кустарнике, которые он хорошо, видеть, знал. Но, может, он решил заскочить в чей-нибудь огород и скрыться в межевом бурьяне, где тоже, наверное, бывал и жировал не одиножды. Однако я заступил тропку, не пустил глухаря вниз, и он пробовал взлететь на скалистые отвесы, царапаясь когтями о камни, сбивая листья, выбивая из себя последние старые перья. Но каждый подлет и прыжок отнимали у птицы остатние силы. Вот он обреченно осел, вжался меж двух черных камней, втянул голову в крупные кости плечей.

Как я его молотил палкой! Гонялся за птицей молча, слепо, задыхался, терял силы и где-то снова находил их. И чем меньше во мне было сил, тем больше разгорался азарт и даже злость. Птицу я сперва бил тоже молча, но потом завизжал от накатившей вдруг жути, попадал сучком больше по камням, чем по кучке скомканного, уже бесформенного пера.

В руке остался кощик сучка, бить сделалось нечем. Я остановился, отдыхивался, глядя на мертвую птицу, робея до нее дотронуться. «Вот знать будешь, как убежать, вот... — беззвучно шевелил я губами, — разбежался!..»

Но тут я почувствовал землю под ногами, слышал звуки деревни, голоса внизу, и сразу ударило в голову: это ж я догнал птицу! Добыл птицу! Глухаря! Его и мужики-то, с ружьем-то не всяк может! А я добыл! Скорее, скорее домой! Скорей, скорей к бабушке, к дедушке, к Алешке — показать, рассказать!..

Я схватил еще теплое, но уже вялое тело птицы, прижал ко груди и помчался вниз, к загороди, заплетаясь в крыльях, в лапах ли глухаря. Не разнимая рук, я кубарем перевалился через городьбу нашего огорода и, увидев бабушку, полющую гряды, завопил: «Баба! Баба!»

Она распрямилась, подрубила глаза ладонью и что-то говорила, шевеля губами, скорее всего обычное, привычное: «Тошно мне! Опять чё-то стряслось... Змеи испужался?..»

А я мчался, не разбирая пути, выбиваясь из борозд, по картошке, по грядам, по жалице, и не успела бабушка остепенить меня, куда, мол, лешаки-то тебя тащат, полгорода вытоптал, как я ударился в нее, чуть не сшиб и уронил к ее ногам скомканную, изорванную птицу.

— Вот! — только и мог я выдохнуть. И тут же услышал:

— А кринка где?

«Что? Какая кринка?» — медленно доходило до меня, но руки уже ощупывали пояс, хлопали по штанам до самых коленок и обратно. Кринки нигде не было. Даже вязочки от нее не обнаружилось, хотя пояс, обрывок холщовой опояски на месте, на животе.

— Кринка где, спрашиваю?

Я снова прошелся руками по животу до самого низа, до коленок, осмотрел себя: изорванная на животе и на локтях рубаха была вся в зелени, в слизи, в крови, в грязи, с локтей сбита, задранная лоскутьями, кровенела кожа, на коленях, сквозь грязные штаны багрово налились пятна.

— Вот,— залепетал я.— Глухарь попался. Бегаю, бегаю... Я тоже бегаю, бегаю...

— Тошно мнеченьки! — схватилась за голову бабушка.— Да ведь он уходил кринку-то, мошенник! — только теперь до ее сознания со всей отчетливостью начал доходить весь смысл содевшейся трагедии. Потрясение и отчаяние совсем бы ее расшибли, но, на что-то еще надеясь, не веря в окончательное крушение, она тормозила меня.— Может, ты ее не разбил? Потерял?

— Не знаю,— приговоренно вымолвил я.

— Да как это не знаш? Как это не знаш? Ты где-ка был-то, вспомни...

— Што?

— Ходил-то куда? По ягоды-то? — будто глухонемому Алешке кричала бабушка, показывая на мою спину, на горы, продолжала меня тормозить.— На увале? На первом? На втором? На Черной горе?

— На Черной.

— Эко тебя лешаки-то утащили? Чё брали-то? Земляницу? Глубяницу? Черницу?

— Че-эрницу, — голос мой начинал дрожать и ломаться.

— На чернице не найти! — хлопнула себя по губке бабушка.— Не-эт, не найти, робяты. Трава там, черничник, что веник. Чащобник, сучья. Да Господи, Господи, ну ни дня, ни часу не проживешь без переживаний...

Это уж бабушка дала мне по затылку, это уж она меня волокла за руку обратно в горы и в леса. Волочимый ею, я не оказывал никакого сопротивления, блеял, пел на весь огород, но возле заднего прясла уперся в жерди руками.

— Ты чё?

— Собаки добычу утащат.

— Каку добычу?

— Глухаря!

— Опять он с этим глухарем! Да пропади ты вместе с им пропадом.

— Пока не спрячешь, не пойду.

— Как это не пойдешь?

— Не пойду!

— Да я с тебя шкуру спущу!

— Спушшай!

Бабушка плюнула, вернулась на гряды, подняла и хлопсынула глухаря, будто драную сплавщицкую телогрейку, в баню, приперла двери колом.

— Теперь-то твоя охотничья душенька спокойна? — поспешая следом за мной, ругалась она. — Мамочка родимая! Это как же он с эким-то характером да середь людей жить будет? Де-эдушко! Да куды там дедушко? Похлеще будет...

Я перемахнул через заднее прясло огорода, непримиримо пер в горы в отдалении от бабушки. Не поспевая за мной, задыхаясь, она прерывисто поливала меня со стоном и кашлем, твердила, что я невесть в чью родову, что даже у крехтуна, стало быть у дедушки, эких вредин не водилось, что согрешила она со всеми нами и скорей бы ей подохнуть. Так легче бы ей было. Ну и так вот дальше и выше, все и всем давно известное.

Скоро, однако, бабушка сменила гнев на милость. Кружа по лесу, заискивающе просила припомнить, где я был, где глухаря клятого поднял, из какой кучи спугнул?

— Осилься, батюшко, осилься, напряги память! Ну вот он бежал, и ты, сломя голову, понесся за ним, вот ты на гору его загнал, кринка-то еще была с тобой?

— Навроде была... навроде нет...

— Навроде, навроде! — снова накаляясь, впадала в ярость и хватала меня за вихор бабушка.

Кружили мы с ней, кружили по увалам, по Черной горе. Попались нам спускающиеся с них ребята, хорошо набравшие черники. Заглянув в посудины ягодников, бабушка с новой волной возмущения, но уже притомленно запела:

— Вот люди добрые ягод набрали, и посудину не потеряли. Нашему ж кавалеру все клин да палка. То бабушку обдует, травы в туесок насует, то за пташками погонится. Задерет башку и валит. Куды? Зачем? Чё только с этим человеком будет? Какой из него хозяин получится?

Вернулись мы домой затемно. Я и есть не смог. Упал замертво в постель и уснул. Что мне снилось и снилось ли — не помню, но хорошо помню, что не хотелось мне просыпаться, с бабушкой встречаться и на свет белый глядеть. Бабушка, как водится, жаловалась всем подряд на меня, на деда, на свою судьбу. Видно было из передней: налив в большой таз горячей воды, валяла в нем, драла, теребила ногастую птицу со сведенными, в крючья загнутыми пальцами, со сбитыми когтями. Брезгливо фыркала бабушка, дохлятина и дохлятина птаха-то — говорила, — худющая, выболевшая, но готовить надо, раз такое голодное время пришло, да и добытчик прогневается, на приступ пойдет, он ведь во зле форменной дедушко родимый...

Я полежал, полежал, да ведь не улежишь весь день. Пролез к рукомойнику, побренчал им, боком подсел к кухонному столу, налил молока, отрезал горбушку хлеба. Бабушка, молча за мной наблюдавшая, кивнула головой на русскую печь, прикрытую белой заслонкой, оттуда доносило запахом мреющего мяса:

— Чё убоину-то не дожидаясь? Кто ее исти, акромья тебя, станет?

— Не беспокойся, съедим!

И съели. Я созвал левонтьевских орлов, тетки Авдотьиных девок и, облепив стол с проношенной на углах клеенкой, мигом мы счавкали глухаря, обглодали кости, вымакали хлебом жижку, сдобренную луком, чесноком, лавровым листиком и перцем, иначе, заверяла бабушка, отворотит от такой дохлятины, в ней и мяса-то почти нету, кожа да кости, крупные, как у барана, кости, грудина не меньше, чем у федотовского козла.

— Православные! — взревела бабушка, когда сковорода совсем опустела. Санька даже утолщения на костях, похожие на чесноковины, схрумкал. — Стрескали пташку-то под метелочку. Вот дак да-а. Вот дак едоки! И наш-то, наш-то кавалер, с имя, с пролетарьями, заодно ворочает. От доброй еды рыло воротит, убоины боится или моргует — не поймешь. А тут во весь рот ворочает и не морщится. Это он, штабы бабушке досадить. Ну не аспид, не кровопивец? — И другим, совсем уже отрешенным голодом, говорила, с тоской глядя за окно: — А криночка-то моя плакала. И не потерял он ее, не потерял. Это ее наши митряшинские либо юшковские ухари...

...Ныне совсем уж редко поднимаюсь я по горной тро-

пе на второй увал, еще реже хожу на Черную гору, подножье которой исполосовано тракторными гусеницами. Сами горы с чудовищными удавками на шее — нагло над миром вознесшимися электроопорами. Бредут они уверенно по широкой реке — просеке, и все перед ними расступается. Под опорами россыпью дачные дома причудливых форм, расцветок, с оградками из струганого штакетника. Идет бегство из задымленных городов на свежий воздух, к земляной работе, своя растет ягода, цветочки-ноготки. Вот и все, чего достиг трудящийся, тут все его богатство, светлое будущее в яве и в натуре. Ради него разорены села, разогнаны и уморены миллионы крестьян, порублены леса, искорежены, с места стронуты горы.

И на Черной горе вытоптаны дивные цветы, трава тракторами и машинами задрана, земля в проплешинах и язвах. Нет здесь не только черники, но даже терпеливая земляника выродилась, а капризная лесная клубника сама забыла, где росла. Битое стекло, банки, склянки, черепки, железяки кругом валяются. Не найти мне здесь вовеки бабушкину кринку, ничего уже не найти, светлые детские воспоминания и те негде становится искать, так искалась местность, так измордовали, побытоптали тайгу. По увалам даже малая пташка редка сделалась, глухарей, рябчиков, тегеревов давно нет. Пришлые люди и не верят, что они здесь водились. Но еще в пятидесятых годах на первом увале, за лесничеством, стрелял я рябчиков и у провала на Черной горе спугнул с брусничника шалого глухаря, по древней привычке прилетевшего на дальний ток и там задержавшегося после весенних свадеб. Ныне там ни песен, ни пера, ни крылышков, одни транзисторы режут что-то заморское, здесь, в сибирской тайге, пусть и разгромленной, особенно дико и чуждо звучащее. По моим подсчетам, только в районе родного села, на увалах исчезло из-за губельных зимних туманов около тридцати ценнейших растений. Да и кому они нужны, растения те, пташки, бурундуки, букашки, реки, горы и леса, коли сама жизнь висит на волоске.

Ну а что касается глухаря, добытого мной, то скорей всего бобыль Ксенофонт далекой весной подбил его из своего дробовика-брызгалки. То было первое ружьишко, которое дали мне подержать в руках, чиненое-перечиненое, на ложе гвоздями жесть прибита, курок отпадает. И хотя заговаривала то ружье на святую пятницу колдунья Тришиха и по ее совету Ксенофонт-бобыль кровью воро-

на стволы промывал, промыв, хвастался: «Ноне я как торну, так и поминай как звали!»

И «торнул»! Пока черная туча порохового дыма рассеивалась и грохот от перегруженного заряда катился по горам, мясо убежало и спряталось, один пух остался.

То ли дело нынче! По рукотворному енисейскому морю на лихом катере или полуглиссере катит полупьяная куражливая компания, матрос в бинокль берега обшаривает и, как завидит на скале маралов, сигнал подает. Давя друг дружку, начальственные гости сыплются на палубу с карабинами. Тренированные, по банкам и пустым бутылкам без промаха бьющие, они ладят за шестьсот сажен сшибить зверя со скалы, как серенького мотылька. Летит красавец зверь, ломая о камни ноги и рога, кости, но чаще в урман, в глушь помирать отбежит... Бахвалясь друг перед дружкой меткими выстрелами, ни в мясе, ни в шерсти, ни в шкуре не нуждающиеся люди велят матросам из камней и расщелин волочь зверя и поскорее печенку жарить. А матросы какие еще и попадутся. Иные — в штопор, равноправие у нас в стране, говорят, холуев в другом месте поищите. «Ах, равноправие?! Ну мы вам покажем равноправие!..»

Булькает катер трубой, позванивает двигателем, мчит-ся машина по захламленной воде. Утес, под который маралы свалились, за кормой остался, в дымке исчез. И сразу над ним коршуны закружились, ворон с дерева крикнул, на пир сзывая, в глушине акаций, в каменистом шаражнике шарившийся медведь ноздрями мокрыми плотоядно шевелит, воздух цедит, кровавую струю нащупывает — пир долгий и сытный будет. Мыши, собольки и всякие зверушки да хмурые птицы здесь уже знают: где большая стрельба шла, насорено будет, вот и слетаются, сбегаются, тропки торят к гиблому месту, подъедают за медведем все до косточек. Мышки за долгую зиму и кости в порошок источат.

А я, ненормальный человек, все о каком-то бедном подраненном глухаре горюю, о прошлых временах, о кринке, об ягодах, об Енисее, о Сибири — зачем и кому это нужно?

ПЕСТРУХА

Валентину Распутину

Холодны и коротки январские дни, длинны и тоскливы стылые ночи. Жизнь идет большей частью под крышей, в тесноте и духоте избы, оглохшей, ослепшей от толсто намерзшего на окне льда, от ставен, для сохранности тепла, может, и от сонной, одуряющей лени, не открывающихся и днем.

Но вот какое-то беспокойство поселяется в избе, все чаще бабушка вскакивает по ночам, накинув шубенку, какая попадет под руку на вешалке, спешит куда-то с фонарем — и долго ее нету. Приходит, гасит фонарь, крестится и сидит какое-то время на краю кровати, потом, сронив с ног катанки, не раздеваясь, приляжет поверх одеяла со словами: «О, Господи, Господи! Сохрани и помилуй нас» — и уж долго лежит в глухой тиши, поворачиваясь с боку на бок. По избе медленно растворяется запах горелого керосинового фитиля. Слышно, и дед не спит, кряхтит, громко сморкается на пол, и бабушка тут же берет его в оборот: «Ну чисто из пушки палит! Спят ведь люди-то, робятишки набегались, без задних ног свалились...» Дед: «Бу-бу-бу» — в ответ и начинает закуривать. Бабушка снова на него наваливается: «И жрет, и жрет этот клятый табачишша, ну ни дня ему, ни ночи!» Дед опять: «Бу-бу-бу», и все стихает. Потом уже дед с кряхтением, щелкая костями, слазит с курятника, нашаривает на шестке печи теплые катанки, засвечивает фонарь и тоже надолго исчезает. Появившись, заносит с собой и пускает в дверь морозного, сладкого воздуха, завывая, зе-

вает и влазит на курятник. В избе снова поселяется тишина.

Спустя время между дедом и бабушкой начинается озабоченный разговор, совершенно недоступный нам, малым ребятишкам, упорно борющимся со сном. «Навымнуло, брюхо затужело, переступает чижало, беспокоится». — «Куда головой-то лежит?» — «Наполночь». — «Ну, стало быть, ночью и жди». — «Да-а, уж спать надо вполглаза». — «Все уж сроки навроде прошли». Бабушка шепотом считает во тьме и успокаивает деда: «Так-то, по дням-то, вроде бы и прошли, но она ж у нас барыня, всегда перехаживает... — И, подумав, продолжает как бы про себя, но с явным расчетом, чтобы и деду было слышно: — Я как поведу коровенку к быку — все как надо бывает — огуляется, завяжется. Как наш хозяин пойдет, так и жди прорухи... Ну никакого ответственного дела не доверяй! Ну везде сама поспевай, досматривай...»

Дед бубнить было начал, но потом закричал и утих, пуская во тьму реденькие, приглушенные вздохи. Переживает дедушка. Думает, отчего он такой бесталанный уродился, все у него идет через пень-колоду... ладно вот баба попалась удалая, пропал бы без нее, пропа-а-ал! Тут и говорить нечего и думать не об чем.

— Может, ее в город, к ритеринару свести?

— Стельну-то? В последнем-то сроке? Ну, хозяин у нас! Ну, голова!

— Дак сама же в сумленье. Может, говоришь, не завязалась?..

— Я не знаю? Я не знаю? У меня перва корова на дворе? У меня их перебыло больше, чем у тебя, у красавца такова, девок на повете!..

— Оно конешно... Так-то бык каченской, злой. Орет, глазом верьтит, на Пеструху целится, аж слюна в роте закипела. Покрыл навроде справно, без промаху...

— У ково слюна-то?

— Да у быка! Пенной, холера така, брызгат, глаз кровью налитой. Копытом землю бросат! Я аж попятился.

— Испужался?

— Аха.

— Вот и пропятился! Теперь живи не тужи, жди холоду в пегровки...

— Ох-хо-хо-о-о... Живешь, живешь, одно переживанье за другим.

— Нет, надо эту барыню со двора сводить, надо петель запускать.

— Да и петель избалуешь. Барыней сделаешь.

— Барыней... От барыни и молоко барско! Чье молоко красносярский базар выделают?! То-го!

— Да так-то оно конешно...

— Ох-хо-хонюшки... Витька! А тебе чё не спится? Ты ково караулишь? Тоже Пеструху?

— Ага, тожа.

— Молочка охота? Замер. Ну, погоди, потерпи. Бог милостив...

И снова бдение в темноте, шептание молитв, хождение на улицу с фонарем. Днем к бабушке не подступись. «Да отвяжитесь вы, окаянные! — устало бранится бабушка. — Не до вас!»

И вот наступает еще одна ночь — чаще всего всякие таинства свершаются, как им и положено, ночью. И вот, стало быть, глухой ночью слышатся торопливые, грохочущие, по звуку даже радостные, добрую весть несущие шаги. Дедушка с высоко поднятым фонарем бухает дверью и еще от порога звонким, молодым даже голосом извещает:

— Ну, старуха, с телочкой!

Бабушка мигом вскакивает с кровати, нащупывает ногами катанки, сует в них ноги, крестясь, миротворно напевает:

— Слава, те, Господи! Слава те... — и тут же спохватывается, вспомнив, кто она есть и зачем на свете существует. — Дверь-то, дверь притвори! Холоду напустил... И разболакайся. Чё стоишь как столб телефонный! Вытер ли его? Вытер. Сухой ли тряпкой? Сухой. Облизала, говоришь? Хорошо кормить будет.

Дед раздевается взбудораженно, шумно и как бы между прочим ввертывает:

— А чё, старуха, по такому случаю...

— Да уж чё уж с тобой сделаешь? У ты на все случаи один спрос...

На кухонный стол является из каких-то избяных недр извлеченная «четушка» в сургуче, похожая на молодого петушка с гребешком, чашка с капустой, растресканная эмалированная тарелка с хлебом. Слышно, как булькает сперва коротко, потом подлинше. Коротко — бабушке глоток-другой, длинно — граненая рюмка всклень — в этих делах дед себя не обделит.

— Ну, старуха, дай Бог! — И, ахнув так, будто осту-

пился голой пяткой в ледяную прорубь, отправляет дед злодейскую, жгучую зелью единым глотком в далекие места.— А-а-ах, хорошо-о-о! Вот и дождался! Вот и все трелогии кончились. Да и то сказать — так-то коровенка аккуратная, в теле, бык матер, не должно обсечки быть, думаю, но вот вишь ты — не живи, как хошь, а живи, как Бог велит! И день, и другой, и третий томит..

Ну, дед! Ну, оратор! Хлеще тетки Татьяны-активистки речь валит. Это он, посмеивается Кольча-младший, под бабку колеса передков подкатывает, точно под комель неподатливо-тяжелой лесины. И подкатил! И навалил!

— Уж допей. Чё зло-то оставлять?..

Утром — редкостная картина: все спят, словно в праздник, долго, успокоенно. Дед под бочком у бабки, она «на его ручке» — так принято у нас говорить. Проснувшись, как всегда, первой, обнаружив неслыханный семейный союз, бабушка впадает в конфузию и вроде бы сердито сымает себя с дедовой «ручки», даже отталкивает ее. Дед, ублаженно вздохнув, почмокивает губами, отворачивается лицом к стене и продолжает сладко спать, глубоко и мощно дыша. Бабушка ворчит, повязываясь платком:

— Токо бы дрыхал. Токо бы дрыхал!.. И так уж проспал все царствие небесное, увалень! — А сама «незаметно» прикрывает его одеялом, подтыкает под спину и, махая перед лицом и перед грудью вялой еще рукой, говорит с будничной, привычной раскаянностью, просто так, для перестраховки: — Прости наши грехи тяжкие, матушка Пресвятая Богородица! — и отправляется править утренние кухонные и хозяйственные дела.

Лад и склад царят в нашем доме, всем людям на зависть и на загланденье. Забегающим родственникам сообщается важная новость, и они, которые крестясь, которые просто так, говорят: «Вот и слава Богу! Вот и слава Богу! А наша — с первотелу, туга больна, дак боимся. А што как двойня?!» — «Да кто же об двойне печалится? Об двойне молятся! Молода, ниче в жизни не кумекаш», — журит бабушка какую-нибудь из своячениц, либо невесток, либо дочерей.

Малый деревенский народ тоже себе на уме — не говорят взрослые, что корова благополучно отелилась, только прорвется намеком у бабушки: «Ну, робятишки, скоро-скоро с молочком будете, а то замерли, совсем замер-

ли...» — и мы делаем вид: слыхом не слыхали, видом не видали, какое беспокойство, почти паника были в доме, и, коли нам не велено ничего знать, мы и «не знаем». Из несмышленишей, из малышни кто заведет разговор о теленочке — старшие ребята вытаращатся на него: «Ша! Сглазишь!» — суеверная, пугливая благоговейность, таинство ожидания сделают ребятешек на какое-то время послушными и даже раболепными...

Наступает день — помнится он, этот день, морозным, солнечным, озаренным не только ярким светом снегов и ломающихся на стуже солнечных лучей, но и обещанием торжественного праздника, хотя в явности происходят будни, однако предчувствие необычного не обманывает нас.

— Ну, робятишки! — поигрывая глазами, улыбающимся ртом начинает бабушка, малые обитатели избы и гости напряжены, в струнку вытянуты, ждут, что последует дальше, и, зная заранее, что последует, все-таки всякий раз соловеют, словно бы хмельными делаются от сотворяющегося в доме чудесного действия, сердчишки ребятешек обмирают от приближения к той тайне, которая должна открыться сейчас вот, на глазах, и, благодарные от приобщения к делам и секретам взрослых, готовы уж и смеяться, и любить всех. — Ну, робятишки, пойдѐмте телочку смотреть, имя ей придумывать.

— Ой! — исторгался стон радости из детских грудей. Детей брали на такое дело не только своих, но и соседских либо дружков ближних, и тут уж Санька левонтьевский непременно увяжется за нами, и Танька левонтьевская — у самих-то коровы нету, стало быть, и теленочка быть не может, так хоть к нашему подмажутся.

В парной, прелой соломой и назьмом пахнущей стайке мутнеет оконце, прорубленное в стене, застекленное на зиму. Обмерзло оконце с наружной стороны, и внутри оно обметано настывшим льдом по уголкам проруба и стесам бревен. Мутное, отпотелое в середке, пропускает оно едва ощутимый свет, куржак по потолку стайки тоже чуть отсвечивает блеклой пеленой. В стайке на морозы установлена печка, да топлена она с вечера, и в коровьем помещении заметно выстыло. Парно и зябко в стайке, желтая свежая солома, щедро наваленная на пол и в углы, источает сладкий, чистый запах овсяного поля. Солома и пахнет, и светится свежо в этом мрачноватом, дыханием большой доброй скотины, теплом пароза чуть согретом

строении с низким, грубо тесанным потолком из напололам расколотых бревен. Пазы в потолке словно бы проконопачены белыми бечевками куржака. При нашем появлении потревоженный куржак заструился сверху мелкой пылью, коснулся едва ощутимым холодным дуновением напряженных ребячьих лиц, начал оседать на шапки, на одежду людей, затиснувшихся в стайку.

— Проходите, проходите проворней,— отчего-то вполголоса, вроде как боязливо поторопила нас бабушка, и от ее голоса мы, и без того присмирелые, обрели еще больше.— Холоду напустим,— пояснила она.

Дед вошел последним и поднял фонарь. Корова Пеструха лежала на свежей соломе, подобрал под большое, орыхлевшее, мягкое брюхо теленка, прикрыв его шей, ногами и всем телом так, что у теленочка была видна лишь рыженькая головка со светлой проточиной на лбу. При появлении такого многолюдства корова забеспокоилась, стала подниматься, теленочек, поджавший под себя ножки и весь упрятавшийся в уютном прикрытии матери, все лежал с полузакрытыми глазами, плотно сжатыми бледно-белыми губами широкого рта, и хотя бабушка успокаивала корову, оглаживая ее и разговаривая: «Ну, что ты, что ты, Пеструха! Что ты! Успокойся, успокойся! Это ж робятишки. Попроведать тебя пришли, на дитю твоего полюбовать, пожалеть тебя, полюбить ево...» — корова все же трудно поднялась, повернула голову и грустными, усталыми глазами поглядела на нас вроде как с досадой и недоверием.

Дедушка повесил фонарь на железный крюк, вбитый в потолок, и, бережно взяв под брюхо теленочка, начал поднимать его на ножки, напевно воркуя:

— Ну, подымайся, подымайся с Богом, роженой.

И когда теленочек нехотя, как бы с ленцой поднялся на длинные, узластые ножки со светлыми, будто игрушечными копытцами, дед все продолжал держать под брюхо коровье дитя своими большими вытянутыми руками и что-то ворковал, ворковал, просветленно улыбаясь в борду.

— Подойдите, подойдите к теленочку-то, подойдите, не бойтесь! Да по спине-то не гладьте теленочка, захредеет,— поощряла и наставляла ребятишек бабушка. И я, за мной Алешка, за ним уж «чужие», соседские, ребятишки осторожно приблизились к теленочку, окружили его. «Роженой» смотрел на нас удивленным взглядом новожителя

земли, привыкал к нам, осваивался с народом. Я осторожно потрогал проточинку на лбу теленка, которая вверху как бы расцветала на светлом стебельке совсем ярким, на лучистую звездочку похожим цветком. Теленок потянулся к руке и лизнул мою ладонь теплым, ласковым, детски доверчивым языком, и, хотя мне было боязно и щекотно, я не отдернул руку, раскрыл ладонь еще шире, и теленок лизал ее или искал что-то на ладони.

— Баба, можно ему дать кусочек? — Я еще с вечера засунул в карман своего пальтишка кусочек хлеба, солью его посыпал, зная, догадываясь, что все равно скоро пойду знакомиться, родниться с ним, с нашим теленочком, которого сразу никому не показывают — «от сглазу» (слава Богу, пикого у нас в родове и у левоитъевских тоже нету с урочливым, черным глазом, и вот мы, паконц, допущены к теленку).

— Ты и кусочек прихватил? Ну, молодец! Ну, добрая у тебя душа. Дай, дай, токо без корочки, штгабы не подавился, он же ишшо совсем маленький, совсем крошка. Третий день на свету, на белом. Храни его и нас, Господи!

Теленок откликнулся на мое подношение. Сперва обнюхал ладонь с хлебом, втягивая воздух, потом шумно выдохнул, притронулся языком к кусочку, лизнул сольцы, пошлепал, пошлепал губами, распробовал сладь земную, против которой и дикий, осторожный зверь не устоит, и начал неумело, поспешно жевать хлебушек, крошить его на моей ладони.

— Баба, ест! — от радости дрожащим голосом сообщил я, будто невесть какую неожиданную новость, и от громкого голоса снова забеспокоилась Пеструха. Но бабушка, всезнающий, опытом наделенный человек, вынула тоже заранее приготовленное лакомство из-за пазухи, и корова успокоенно начала жевать ломоть хлеба с солью, шумно при этом и, как мне показалось, благодарно вздыхая.

Той порой, когда я кормил кусочком телочку, дед пальцами вытащил из ноздрей ее засохшую слизь. Корова-мама облизала дитя свое и мордочку ее обиходила, но лишь сверху, в носу у новорожденной все еще насыхали пробки и мешали ей дышать. И когда дед выскреб из носа ссохшееся мокро, высвободил ноздри телочки, она так вольно и шумно ими дохнула, что соль с хлебушка разлетелась и на кусочке сделалась луночка.

— Не балуй! — стукнул я пальцем по широкому и

плоскому, как у кряквы, носу телочки. Она восприняла это как игру и дохнула так, что соль белыми брызгами полетела вверх и по сторонам, словно бы синичьим клювом прошла по стеклу, сыпко ударила в лицо, одна солинка попала в глаз, другая под рубаху. Кольнуло тело холодной искрой, зябкой струйкой черкнуло по животу, солинка застряла ниже его, заципало солью возле петушка и в глазу. Глаз заслезился, я начал тереть его рукавичкой. Тем временем солинка внизу отлепилась и упала в валенок. Я слышал ее пяткой до тех пор, пока она не впиталась в кошму валяной шерсти.

— Да ты навроде как нюнишь? — спросила бабушка.

— Не-е, маленько глаз щекотит. Не балуй! — уж легонько, ногтем щелкнул я телочку по носу. Она чуть попятилась и вроде как с разгона головой в меня ткнулась, боднула вроде бы. — Она уж играет! — обрадовался я и зажал ее голову под мышкой. — Будешь знать, как баловаться!

— Она ж дитя. Ей тоже поиграть охота.

Телочка подергалась, подергалась головой, и я отпустил ее.

— Г-ме-е! — пожаловалась телочка.

— Поиграй! Ишшо с ней поиграй! — просили ребятишки и уже смелее окружили теленка, оглаживали его, ласкали. Танька левогтьевская вдруг обняла новорожденного за шею, припала щекой к его нежной, местами куржачком закучерявленной шерстке и прошептала, зажмурясь:

— О-ой, до чего же он хорошенька-ай! — И столько нежности, столько теплоты источалось из детской груди девчонки, что бабушка похвалила малую соседку:

— Хоть и в непутовой ты семье возрастаешь, Танька, а баба из тебя, видать, ладная получится, — подумала и добавила: — Душевная.

Скоро и сыр-бор начался в тесной, глухой стайке — мы взялись придумывать имя телочке, и хотя говорят, что творчество — дело тихое, да вот не всякое оно, выходит, тихое. Ласка, Звездочка, Мушка, Полька, Манька — все это было отвергнуто по тому мотиву, что под такими названиями уже бывали коровы на нашем дворе. Долго жили на свете бабушка с дедушкой, и все имена, как человеческие, так и скотские, извели, по этой причине у нас были два Кольчи — младший и старший; два Ивана — старший Иван и его сын, Иван Иванович, наш брат, а бабушке

внук,— поэтому никаких подходящих имен на память не приходило.

В стайке после первой вспышки спора, предложений и ора повисла тишина, было слышно только, как жует и шумно вздыхает Пеструха. Напряженная вокруг работала мысль, ребятишки шевелили мозгами и губами, перебирали всякие имена, но ничего на данный момент нужного, как нарочно, не являлось, бабушка с дедом на помощь ребятам не приходили.

— Хавронья! — с напряжением выдохнул левонтьевский Санька.

— Ну-у! — понеслось возмущение со всех сторон.— Чё те, свинья, чё ли? Ляпнул, как в лужу...

Санька сконфуженно умолк и больше, как ныне принято говорить, в конкурсе не участвовал, только гладил телочку, выбирал из ее шерстки соломинки и вытягивал губы трубочкой, говоря на ухо малышке какие-то нежности или пытаясь согреть ее своим дыханием.

Дело двигалось туго. Ребята снова громко распорились, до грудков начали доходить, как бабушка, опять же бабушка, разрешила трудный вопрос жизни и нашего, набирающего силу, собрания.

— Чё Алешка — Божий человек велит, так тому и быть.

И мы все, и бабушка, и дедушка обратились взором к Алешке, который, как вошел в стайку, так все блаженно улыбался, то гладил теленочка, то смотрел на нас, пытаюсь угадать — чего же все-таки мы решим, к какому результату придем?

Алешка перестал улыбаться, построжел, напрягся, рот его приоткрылся, и долго он был в оцепенении от скованности мысли, уж и слезы начали у него на глазах выступать, и несчастным лицо его делаться — как всегда, когда он пытался понять и не до конца понимал людей со слухом и языком. Почти догадываясь, но все же не веря, какое ответственное, равноправное со всеми нормальными людьми дело доверено ему, он еще раз настороженно обвел нас взглядом.

— Угха! — не языком, горлом, скорее даже чревом, с натугой выдохнул Алешка и стал рукой утирать с глаз слезы, от напряжения, потраченного на мысль, звук и слово возникшие.

— Ну что ж,— подвела итог бабушка.— Старшая Пеструха скоро сойдет со двора, появилась молодая Пеструха. И, как говорится, хорошему роду нет перевода.

Все мы от счастья запрыгали, заобнимали теленочка, затормошили Алешку, он цвел, улыбался, а по лицу его катились крупные светлые слезы радости: шутка ли — он придумал имя телочке, нашей будущей корове, с которой долго нам жить, любить ее, лелеять, кормить, она за это за все будет нас поить молоком, из которого можно будет добыть масло, настоять сметану, сделать простоквашу, творог, мороженые кружки молока с лучинкой в накипелой сливками середке, продать в Красноярске городским людям и за денежки, вырученные на рынке, купить материи на рубахи и на штаны, платки, полушалки, карандаши и тетрадки, пряник конем и даже сладчайших в мире конфеток — «лампасеек».

Всегда, сколь я помню, в крестьянском дворе детишки приобщались к радости явления новой жизни, к нехитрому сотворчеству и никогда, ни за что не пускали на двор и под навес ребятишек, пока они не входили в серьезный возраст, где забивалась на мясо скотина. Ребят оберегали от вида крови и мучений, потому как они рождались не для истребления, а для мирного крестьянского труда и назначение их было: создавать жизнь, растить хлеб, любить все сущее вокруг.

Скупой, часто бессловесной, но вечной и взаимной любовью освещена была с виду будничная и простая крестьянская жизнь.

Молодая Пеструха, в отличие от меня, уверяла бабушка, была дитем нестроптивным, ласковым. С приближением невестинского возраста у нее выросли красивые рога ухватом, тело подобралось в талии, объявилось нежное, застенчивое вымечко с чуть приметными сосцами, охваченное легким пушком; словно отмытые в молоке, сделались ярче рыжие пятна; на ходу облаком шевелились и плавали белые проточины на боках и на лбу нетели; толстые длинные ресницы плотными щеточками прикрывали глаза, из которых исчезла сонливость, но появилось игривое беспокойство и девчоночье любопытство. Она принялась бодаться с подругами, приставать к матери, облизывать ее, ни с того ни с сего взбрыкивать задом и, запугивая меня или заигрывая, целилась в меня рогами, будто намеревалась боднуться со мной.

Поскольку Алешка жил у нас набегами, бабушка была день и ночь занята руководством двора и до предела захвачена бурными новостями и событиями, начавшимися в деревне в связи с коллективизацией, дед хранил мужс-

кое достоинство и ничего бабьего и ребяческого по двору не делал, да и делать не хотел, Пеструх с пастбища приходилось встречать мне. И дело это до поры до времени не угнетало меня, даже и нравилось. Соберется братва за поскотиной или возле первой росохи Фокинской речки, вальнется шайкой на траву и ждет стадо. Неторопливо приближается к селу стадо, позвякивая боталами, дзинькая колокольцами, с переполненными молоком вымями, мешающими шагать сонно переваливающим жвачку коровам. Я почему-то думал всегда, что коровы жуют рогожную мочалку, упертую из предбанника, и никак ее изжевать не могут. Пастух просто так, уж из одной привычки, щелкает кнутом, материт так же привычно и люто какую-нибудь непутевую скотину с обломанным рогом, ведь как человеческий, так и скотский коллектив без разнообразных личностей обходиться не может.

Все ближе, ближе стадо, все громче звук ботал и колокольцев, все реже хлопки бича и брань пастуха. Иная смиренная скотина, балованная хозяйкой, уловив ноздрями вечерний дым, подает голос, чтоб слышали, что идет она, идет домой в целостности-сохранности, несет ведро молока, и за это за все хозяйке надо ее встретить у ворот, погладить по шее и дать кусочек хлеба с солью, ну, если хлеба и соли негу, просто поговорить с нею по-человечески: «А, матушка ты наша! Кормилица ты родная! Ступай во двор, ступай с Богом». И она, дородная, малоповоротливая, все поймет и оценит и промычит ответно о взаимной своей симпатии ко двору, хозяйке, хозяйству, работникам, пояснит, что лучшего двора, лучших хозяев, ласковой доярки она не имела и иметь никогда не захочет.

Братва на полянке, ощущая брюхом или спиной ласковую теплоту прогретой за день земли, треплется кто о чем; постарше которые — курят, еще которые побольше — учат малых, что надо делать с девчонками, когда мы подрастем. Дух захватывало от волнующих красочных рассказов, застенчивых парнишек высмеивали и посрамляли за «неполноценность», за отсутствие мужской смекалки. В дополнение пелись еще частушки, не просто соленые, но пересоленные, и я их помню все до единой по сию пору — так они складны и выразительны, и когда был солдатом, да и по молодости лет, бродя в лесу, пел их с преобладающим удовольствием.

Но вот стадо. Коровы, они что люди, иные с пониманием, иные без него. Которые с пониманием — узнают

своих встречающих, приветствуют их мычанием и сами выстушают из стада, бредут впереди парнишки, помахивающего хворостиной. Иные вдруг, задрав хвосты, затрусят под гору, болтая выменем из стороны в сторону. Мои Пеструхи обязательно уж подойдут ко мне, шумно, сыро дохнут в меня, лизнут в лицо большими, зелеными от травы языками и ждут, когда я вытащу из кармана посоленный кусок хлеба и разломлю его пополам.

Так вот однажды встретил я возле речки Пеструх, благополучно препроводил их ко двору и жду, когда дед откроет ворота. Пеструхи устало уперлись дремотными головами в створки ворот. Дед не идет и не идет. Он последнее время, наслушавшись всякой всячины о будущей колхозной жизни, стал погружаться во все более длинные и отрешенные размышления, не реагируя порой уж ни на что, не встречая в текучую жизнь, только чаще и яростней вступал в перепалки с бабушкой, с маху всадив топор в чурку так, что мы вдвоем с Санькой левонтьевским не только вытащить его из чурки, но и расшатать не могли, рывкал: «Пропади все пропадом!» И борода его ходила вверх-вниз, вверх-вниз. Бабушка мелко, украдкой крестила себя под фартуком не там, где положено класть кресты, и для себя только шептала: «Тошно мне! Сбесился! Совсем сбесился!..»

Дедушка пребывал в задумчивости или спал, бабушка шерстила по деревне, неустанно черпая новости, мне высоко доставать заворину, открывать ворота не хотелось. Коровы, покорно стоявшие рогами в ворота, начали мычать. Мычали, мычали да и заблажили, заухали бунтарски, за что той и другой тут же попало от меня по хребту хворостиной. Старшая Пеструха покорно снесла привычное наказание, блажить перестала. Младшая глянула на меня строптиво, будто Танька левонтьевская, когда ее за волосы дернешь, на морде и в глазах Пеструхи-малой появилось выражение протеста: «А-ах, так! В ворота не пускать! Да еще и хлестаться! Значит, если я скотина, то со мной обращаться можно, как с бесправным, угнетенным пролетарьягом?! Мироед ты! И элемент!..»

Тут Пеструха-меньшая как задрала хвост, как хватанула по улице аллюром — рога в землю, зад вверх, ногами взбрыкивает, чье-то ведро у ворот подцепила на рога, куриц, в пыли дремавших, подняла на крыло; собаки за ней из подворотен метнулись; бобыль Ксенофонт, понуро несший из лесу дрова, бросил вязанку и соколом взлетел

на заплот. Не умеющий креститься, он все же на всякий случай вознес дрожащий кулак к плечу. Народы, скот, птицу — все разметала забунтовавшая Пеструха-меньшая и скрылась за кладбищем.

Я за ней. Бегом. Ласково уж зову:

— Пеструшка! Пеструшка! Ты чё?

Ни привета, ни отзвuka. За речкой, в сосняке, мелькнуло раз-другой белое с рыжим и исчезло без следа.

— Пестру-уушенька-а-а-а! — заблажил я. — Где-ка ты? Я ить пошуту-ыл...

Все! Пропала скотина. Сгинула. И что теперь мне будет? А главная Пеструха как? Если и ей вздумается в бега? Ой, батюшки-светы! Надо бежать домой. А меньшую-то Пеструху на кого бросать? Подвывая на ходу, я кинулся во весь дух домой. Гляжу: бабушка впускает корову в ворота и на меня поглядывает, ждет.

— А нетель где-ка? — спросила она вежливо.

Хуже нет, когда бабушка так вот вежливо, почти печально спрашивает. Когда орет и грозитя — легче.

— Сбежала, — чуть слышно сообщил я.

— Хорошо-о, — сказала бабушка. — Тот партеец бока отлеживает, этот комунис скотину теряют! Вы об чем думаете? Вы чё исти будете? На кой-то часок ушла — развал в хозяйстве, полное расстройство... Показывай чичас же, куда она убежала?

Я частил ногами впереди бабушки. Она, отмеряя саженьями шага, продолжала крушить меня и дедушку, заодно Митроху-председателя, Таньку-активистку, по ее разумению породивших развал и смуту не только у людей, но и середь скотины.

Мы обшарили все заросли возле речки, поднялись до чищенки, до первых выбитых скотом покосов — Пеструхи-меньшой нигде не было. По второй, Осиновской россохе снова свалились под гору, в речку. Тут нам встретились бредущие с Фокинского улуса бабы и сказали, что на займках медведь задрал корову, а русамага (росомаха) будто бы чью-то нетель исцарапала.

— О-о-ой! — запрчитала бабушка. — 'Спаси и помилуй, мать — Пресвятая Богородица! — И на меня: — Ну чё, находзяевали?! Ходко у вас без бабушки дело-то идет! Я с тебя шкуру спущу, если што...

Долго мы метались по речке, по горам и косогорам. Бабушка за сердце хваталась, ноги ее начинали вянуть и заплетаться. Я упал на брюхо, стал хватать ртом воду из

речки, болтанул мордой в холодной воде и, утираясь подолом рубахи, заявил:

— Я ее, курву, как найду, тут же и зарежу!

— Зарежешь? А потом че? — черпая ладонями воду и припивая со скрипом глоток с руки, задышливо спросила бабушка.

— Съем!

— Эко, эко! Таку грозу да не дай Бог к ночи! Ты эдак-то разойдешься, глядишь, и всю деревню вырежешь, нас с дедушкой порешишь...

— Дедушку оставлю.

— Конешно-конешно. Союз у вас. Опчество. Бабушку уж на мыло пора переводить. Не любишь бабушку-то?

— Не знаю, — уклонился я от прямого ответа.

— Не любишь, не любишь. Да и за чё любить-то? Кормит, обстирывает, обмывает, хворово лечит и оплакивает. Всего и делов-то...

— Вот она, красавица, является! — кивнул я, увидев, как из лога бежит-трюхаёт Пеструха на голос бабушки и протяжно мычит, жалуясь ей на меня, искариота, истязателя, и радуясь ей.

— Да доча ты моя! Да золотко ты мое золотое! Да разумница ты из разумниц. Да красавица ты из красавиц!

Как только Пеструха приблизилась, я изо всей-то силушки пнул ее под брюхо и загнул такую матершину, что бабушка и та оробела, сказала, уж спустя время, и не сказала — выдохнула:

— Вот, дорогие граждане, как мы умеем! Вот каку грамоту постигли!

Я еще раз пнул Пеструху.

— По вымечку попадешь, товды чё?

Я зашел сзади и пнул Пеструху, норовя угодить под хвост, но до цели не достал, угодил по костям. А ноги-то у меня босые. Я завыл, схватил с дороги черемуховую хворостину, начал вытягивать телку по хребту, гнал ее домой, наскакивал петухом и без усталости лупцевал.

Бабушка, не поспевая за мной, ужасалась:

— Де-эдушко, де-эдушко родимай!.. Ой, забьет, ой, забьет коровенку!

Пеструха трусила впереди меня и орала-жаловалась: «Сам дак бродяжишь дни и ночи, мне дак уж и на часок нельзя отлучиться! Не зря бабушка тебя варнаком кличет. Не зря. О-ой, мамочка моя! О-ой, родимая! Забьет он меня, забьет!»

Ворота были открыты, двери в стайку полы и Пеструха-меньшая, набравши разгон, ворвалась в стайку, чуть не сшибла там маму Пеструху.

— Вот! Получайте свою красавицу в целостности-сохранности! — сказал я бабушке, запиравшей ворота, и деду, пеньком торчащему на крыльце, с хрустом изломал об колено хворостину, бросил ее и, утирая злые слезы рукавом, пошел со двора, хватанув воротами так, что все задребезжало: и ворота, и стекла в рамах, и сам дом.

— Ты далеко ли это на ночь-то глядя? — окликнула бабушка.

Я не отозвался, ушел на берег Енисея, сел на яру и, уткнувшись лицом в колени, плакал до тех пор, пока не иссыкли слезы.

Тем временем вечер прошел, в деревне все смолкло, с задов и от моста послышалась гармошка, гуще и чадней сделался запах горящего под ярами навоза, огни бакенов, засвеченные браганом Мишей, пустили тени бегучего света на воду, где-то, еще далеко-далеко, шлепал плицами пароход, правясь на их призывный свет; тупо стукались бревна, обреченно плывущие вдоль боны, спускаемые с Манской запани, сами боны поскрипывали и крякали в ночи дергачами, уже начавшими летовать в лугах, но отсюда, с реки, из-за огорода и домов, неслышимыми...

В переулке послышались шаги. Я узнал, чьи это шаги, но не повернулся. Сзади меня протяжно вздохнула бабушка.

— И долго тут сидеть будешь?

— Захочу, дак до утра.

— А простудишься? А рематизня опять загибать начнет?

— Пушай загибат.

— Эко он, эко с бабушкой-то? Ласково да приветно как? Не жрамши ведь.

— Не подохну.

— Ага, ага, не подохнешь. Это я, несчастна, скоро от вас подохну...

Я промолчал. Бабушка долго стояла, не двигаясь, позади меня, смотрела на реку, слушала ночь. Потом бросила к моим ногам лопотинку, обутки, фуражку, удочку и сказала:

— На, нечистый дух! Знаю ить, знаю, до утра не явишь-

ся, во эле кипеть будешь... — и тоненько запела: — Чё из тебя токо и будет?

— Каторжанец! Артист! Сама пророчишь...

— Не-э, токо каторжанец! Артисты — оне веселы и добры.

— Много ты понимаешь! Оне только изображают добрых да веселых. Вон Митряхин сынок — Бубен птичек мучат, крыс и мышов палит живьем, а в спектакле смешного попа продергивает. Это как по-твоему?

— Как? Да такой же безбожник, как и ты. Да не пойдешь домой-то?

— Не пойду.

— Дедушка меня запилит, во ступе истолчет — «выгнала, заела бедного робенка...».

Я хотел сказать: «Тебя запилишь», но сдержался.

— Мотри, не вздумай на бону лезти, на бревнах вертеться. Утонешь — домой не являйся!

— И утону! И буду к тебе ночью утопленником являться! Ы-ы-ы! — оскалился я и попер на бабушку. Она аж отшатнулась от меня, потом смазала мне по затылку и ушла домой, на ходу ругаясь:

— Я ить смотрю, смотрю...

После возникновения колхоза имени товарища Щетинкина оставшиеся без молока, хлеба и мяса члены новой артели и единоличники села Овсянки постановили на собрании кормить ребятишек при школе, сбили столы из теса, снятого с крыши пустующего кулацкого дома, скамьи из заплота двора того же дома, собрали по селу ложки, кружки, чашки, назначили поварихой Василису Вахромеевну, из-за припадков негодную к работе на пашне и покосе, и она со своими девчонками пилила тут и колола дрова, мыла посуду и полы, скоблила столы и кормила нас, как помнится мне, не очень чтоб сытно, однако жить можно было.

Главное — тогда я узнал слова «общественно питание», попривык к шумному ребячьему коллективу и выучил наставленья типа: «Когда я ем, то глух и нем», которые где-то услышала старшая дочь Василисы Вахромеевны, Зойка. Была она в мать статна, красива и строга. Нам доставляло радость слушаться Зойку и повторять за нею хорошие слова — худых-то мы уже наслушались и запомнили дополна.

Однажды нам дали в чашках горячие щи, по одной котлете и по кусочку хлеба. От ребят в тот день по «куффе» дежурил Микешка, сын колдуньи Тришихи. Шубы на нем уже не было, подстрижен Микешка под гребень, и от этого волосья его тыкучие торчали во все стороны, и вся голова была, что осенний репей. На Микешке хоть и мятая, зато с галстуком, с пионерским, рубаха.

— Лопай, как свое! — оскалил клык в рассеченной губе Микешка, поставив передо мной чашку. — Мясо в супе и котлета — из Пеструхи!..

— Ка-ак? Из какой Пеструхи?

— Из вашей! Она не хотела доиться, оказывала сопротивление властям, легалась — ее и пустили на котлеты...

Не помню, как я выскочил из-за «общественного» стола и с ревом ринулся домой, к бабушке. Она прижала мое мокрое лицо к животу, гладила меня по голове.

— Ну вот реवेशь... А сам говорил, зарежу и съем...

— Да как же понарошке-е-э-э.

— И опе: Ганька Болтухин, Шимка Вершков, Танька наша, да и все горлопаны — тоже понарошке, согнали скотину в одну кучу, думали, вокруг нее плясать да речи говорить будут, а коровы имя молока за это... Не-эт, не зря говорено: хозяйство вести — не штанами трясти. Вокруг скотины не токо напляшешься, но и напашешься, и наплачешься... Корова на дворе — харч на столе, да у ей, у коровы-то, молоко на языке, ее поить-кормить надобно, да штоб с руки, с ласковой, да штоб обиходно, штоб пастух не каторжанец, штоб сена зелены, солома ворохлива... О-хо-хо! Чё будет? Чё будет? Может, ты ошибился? Может, не нашу Пеструху?..

— На-ашу-у. Я шкуру видел.

— Ладно, ладно, не реви. Большой уж. Скотину грех оплакивать. Человеки ею возрастают, по ее же и съедают. Чисто волки свою матку аль отца... И нечево нюнить...

— Да как же это, ба-аб-а?

— А так вот. Поживешь — поймешь. Вся жизнь така.

— Я не хочу-у.

— Чё не хочешь-то?

— Жи-ыть так.

— А куда ж от ее, от жизни, денешься, батюшко? Никуда не денешься. И реветь нечево. Ишшо нареве-ошься, побереги слезы-то. Пригодятся...

Тогда, после ссоры с бабушкой из-за Пеструхи, просидел я всю ночь на яру, почти до утра. Закинул удочку и сидел недвижно. О чем-то думал. Грустно мне было, и трогало сердце печалью, мне еще незнакомой, необъятной. Зло на Пеструху, на бабушку и на все на свете прошло у меня. Мне было и спокойно, и тревожно. Кажется, тогда я прожил самую незабываемую летнюю ночь и, может быть, что-то начал понимать или впервые ощутил прикосновение к сердцу огромного, загадочно и пугающе-прекрасного мира. Слава те Господи, что я не городское дитя, которое вовремя уторкают спать и вовремя подымут. Я вольный деревенский казак-рыбак, и видел я то, что никогда им не увидеть. Зарождение, нет, соединения дня вчерашнего и сегодняшнего видел.

Белых ночей в нашей местности нет, но есть, оказывается, промежуток времени — это в самой-самой середине июня, когда день вовсе не исчезает, не гаснет, он скапливается за Енисеем в треугольнике распадка над Караульной речкой.

Уже и вечер прошел, и в сон село погрузилось, и летучие мыши засновали в тени скал, все унялось, смолкло, даже коровы перестали брэнчать боталами, кони — колокольцами. Легли они в росную траву, обсушив своим боком пятнышко на поляне, согрев собою и для себя клочок земли, а в небе ночь все борется со днем и никак не может погрузить его в бездну темноты. Вот уж оттеснила тьма свет дня на крайки, вдавила в распадок, вроде бы все обратила в серую мглу, утопила в сумраке немного безбрежья: но меж вершин все еще рдеют остатки зари, бледненькие, что лоскутки, оторванные от выцветшего платка на игрушечные девчоночьи пошивки. Но вот и от лоскутов зари лишь отсветы остались, сам свет прошедшего дня окончательно завял. Прозрачной зеленью, отсветом горных лесов и приречных трав наполнился треугольничек распадка, сделался похож на стеклянную воронку, в какую цедают молоко, мажет белым, нет даже бледноватосиним, снятым молоком стенки стекла, утягивая за собой и настой земли, и теплоту небесной синевы.

Внизу, в скалистом ложе речки Караулки, вроде бы все остановилось, не работало, не принимало в себя ничего — ни влаги земной, ни света небесного. Последние капли его как бы замерли, не пульсировали, не дышали на доннышке распадка. В сосце воронки притаенно и ненадежно, за прозрачной стенкой совсем тоненькой

полоской держался отстоявшийся, кристально ясный свет, отражая в себе дальнюю, четко очерченную вершину горы, днем невидную, два-три деревца на голом останце, какуто в другое время, в обычный час незримою даль. И эта частица дня вселяла на что-то надежду, ровно бы заставляла ждать, боязливо замирать от прикосновения к небесной тайне.

Но как не дано человеку увидеть, когда раскроется цветок, так и я не скараулил ту минуту, не увидел миг зарождения нового дня, лишь замечалось, что в воронке становилось прозрачней, и не вышняя даль, но ближний лес, склоны гор и каждая травинка возле меня начинали обозначаться отчетливей, а там, за Енисеем, в распадке речки Караулки, отуманивало зелень, отжимало темень обратно в тень лесов и склонов гор, и чем больше наполнялась воронка молочным светом, тем шире становилась земля, возносилась до неба своими главными вершинами, своей вечной высотой. И когда, переполнив воронку распадка, свет пародившегося дня переплескивался через края и становился утром, ало-розовым светом зари — тогда заливало мир и все, что было в нем: небо делалось шире, необъятней, мир, встрепенувшись, радостно отряхивался, спешил со всех сторон навстречу утру и новому дню, затаившемуся в распадке красивой нашей речки Караулки и так незаметно оттуда вновь появившемуся.

Но я отчетливо помнил, зрел, когда и дню, и свету его оставалось жить лишь мгновение. Саму воронку, этот хрупкий сосудик, как бы раздавливало громадами скал, он во все исчезал, становился воздухом, от него оставался один только рожочек, но и рожочек сжимало тесниной тьмы, рассыпало по ущелью осколками, и уже не рожочек, лишь сосулька, вешняя льдинка, вся источенная, готовая вот-вот рассыпаться с неслышным мне звоном, провисала меж сдвинувшихся гор. Совсем-совсем крохотная капелька дрожала, готовая вот-вот сорваться, упасть в бездну ночи — и тогда уж все, тогда уж не будет никакого дня во веки вечные, тогда покроет всех и вся тьма небесная, только «адовы огни», коими всех пугает бабушка, будут полыхать из края в край, протыкая пространство, в котором и не поймешь: где верх, где низ, где земля, где небо.

Но именно в эти вот мгновенья, нет, в самый напряженный миг, когда дыхание в груди от страха и ужасного ожидания конца света должно было остановиться, вдруг за истаявшей льдинкой, за той остатней, едва пульсирую-

щей капелькой света возникало видение гор, остановившихся дерев, означался намек на белое облако, открывался лоскут совсем уж дальнего неба, на котором недоступно светилась потусторонняя звезда. Кусочек небесной голубизны был столь нежен и прозрачен, что нельзя было не только кашлянуть — дохнуть во всю глубину и то боязно было, чтобы не прорвался, не улетучился, не исчез свет далекого неба.

И мне открылось внезапно: «тот свет!» Там живет Сам Бог, и что Ему захочется, то Он и сделает со всеми нами. Но раз по бабушкиным молитвам выходило, что творит Он дела лишь великие, добрые, то, мнилось мне, оттуда, с «того света», из-за горных вершин распадка Караульной речки, мягко ступая по облаку, спустится Он, погладит меня по голове и скажет: «Пойдем со Мной, дитя Мое».

Зачем? Куда мы пойдём и как вознесемся на небо — я этого не ведал, но знал, что обязательно пойду за Ним со счастьем и страхом в сердце и узнаю, увижу что-то совершенно никому недоступное, испытаю доселе никем и никогда неиспытанное счастье.

Никогда-никогда более я не был так близок к небесам, к Богу, как тогда, в те минуты соприкосновения двух светлых половинок дня, и никакая тайна не вселяла в меня столь устойчивого успокоения.

На исходе той памятной ночи я отправился домой, залез на сеновал и уснул, уверенный в том, что горы, земля, все-все на месте, что наступит день и веки вечные ему быть, потому что там, за горами, в распадке речки Караульной, никогда не гаснет свет будущего дня, а за высокой горой, в Царствии Небесном, есть Тот, Кто хранит не только лад и мир на земле, но и думает о будущем рабов Своих, оберегает их покой и, значит, мой покой, мою жизнь от зла, скверны, геенны огненной...

Проспал я до высокого солнца, жарко нагретшего крышу надо мной и прошлогоднее ломкое сено подо мной. Дверца на сеновал была открыта — дед проверял, дома ли я. В квадрате солнечного, почти бездонного провала плясали мошки, кружилась и билась, билась в ярком свете, играя сама с собой, нарядная бабочка, полоской тянуло щекочущую пыль от растревоженного сена.

— Учи его, учи, потач! Вон он сулится всю деревню вырезать! Одново, говорит, дедушку оставляю...

— И будем жить припеваючи!

Слышно было, как бабушка громко плюнула, ногой топнула и ушла со двора, причитая:

— Да тошно мне, тошнехонько! Да кожды Господь приберет меня, несчастну-у...

— Бу-бу-бу... Ишшо всех переживешь! — дед вдогонку ей. — Самово сатану в калач загнешь и на лопате в горячу печь посадишь.

Послышался скрип лестницы. На сеновал поднялся взъерошенный, воинственно-возбужденный дед и сказал:

— А ну, давай спускайся! Поедем на Усть-Ману. Избушка наша там покуль жива, откроем, будем дрова пилить, картошки варить, ты станешь рыбу удить, песняка драть. Пушшай оне тут! И Митроха, мать бы ево так, и Ганя Болтухин со своим холхозом, и Танька с собраньям, и наша генеральша, и все сдохнут.

— Ой деда! — преданно глядя на него, сказал я. — Вот как я тебя люблю, даже не знаю. А когда ты помрешь, как я буду?

Дед смущенно закричал, запokaшливал, веревку начал сматывать, вилы и грабли подбирать, сено к стене подпихивать.

— Да чё про это говорить? Все помрем. И я. Потом и ты. Думать про это не надо. И торопиться не будем, так?

Он поднял меня на руки, прижал к себе, пощекотал бородой и на руках спустил по лестнице вниз. Как в самую малую пору моей жизни, я приник к деду, притих на его груди, и сладко-сладко подтачивало мое нутро, заливало его такой волной тепла, что снова мне захотелось плакать, но я лишь крепче сжал руками шею деда, плотнее приник к нему и не отпускаясь до тех пор, пока не донес он меня до телеги, не опустил на клок сена. Разворотив Ястреба, дед уже за воротами сказал, кивая головой на холщовый мешок:

— Пожуй хлебушка. Ести будем уж па Усть-Мане, — и пошевелил вожжи: — Н-но, Ястреб, н-но-о, конишко наш, шевели ногам, пока тя на живодерню не свели...

Такого возбужденного, многословного дедушку я никогда еще не знал и сперва обрадовался, петь начал, но после отчего-то мне тревожно стало; какое-то предчувствие коснулось меня, и предчувствие, как всегда, не обмануло — скоро дедушка надолго занедужил и больше уж не поднялся. На Усть-Ману, на займку, оказалось, мы ездили с ним в последний раз. Избушку на займке сплав-

щики нечаянно своротили трактором с бычка, и она, развороченная, с рыжим кирпичом и кишкой растянутыми пестрыми тряпками, лежала вдоль горы и под горою до зимы. Весной большой водою ее и вовсе разнесло, растащило, только долго еще краснел, обмытый водою, кирпич на берегу, но и он скоро погас.

После полувека жизни побывал я на месте нашей заимки. Там стояла, неприступно огороженная, дача в два этажа, с фасонистой крышей, вся в цветах, с теплицей среди огорода, с баней-сауной над обрывом, из трубы которой прямо в ключ, затем в Ману текла зловонная, мыльная вода. Среди стекла, грязи, банок я нашел обломочек старого кирпича, обожженного до керамической крепости и обмытого до стеклянного блеска, вытер его рукой и привез домой. На память.

А еще несколько лет спустя занесло меня в компании творческих людей, пристально вглядывающихся в современную действительность, на образцовый скотокомплекс, где тысячи коров отменной, продуктивной, по науке селекционированной породы, цвета старинной меди, стояли на бетонном полу, в тесной железной изгороди. Перед мордами коров двигалась лента с кормом, сзади по канаве разматывалась другая лента и увозила наружу назем; если требовалось пить, скотина тыкалась мордой в железную заслонку, и в нос ей ударяла вода. Гуляли коровы на улице, тоже в тесной загороди, и ни одна из них не имела имени, все они были под номерами, все одного цвета, роста, характера, и все они доились аппаратами. Передние дойки-сосцы у коров, даже по науке созданных, короче задних, самые же жирные капли молока — остатние, и надо продаивать корову до конца, и когда задние дойки дают последнее молоко, из передних все уже выдоено, а неумолимый казенный аппарат терзает безответную и бессловесную скотину, и тонкие ниточки крови начинают прошивать по белым трубочкам текущее молоко.

Животное, которое на комплексе впадает в апатию или непослушание, начинает ли заигрывать друг с другом, а то и посасывать молоко у соседки, немедленно выбраковывается и отправляется на мясокомбинат. Живут активной, плодотворной жизнью, стало быть, едят, доятся и творят навоз на удобрения коровы на этом гиганте предприятти семь-восемь месяцев.

Я не сдержался и спросил у директора комплекса, не жалко ли ему животных?

— Я — крестьянский сын, — без зла, но хмуро ответил мне директор, — и такие вопросы, товарищ писатель, если вы считаете себя гуманистом, задавать жестоко.

Я сжал в кармане крошку кирпича с родной заимки, хранимую мной до сих пор, и подумал: не надо искать истоки жестокости людей современного мира только за морями-океанами, в войнах, в битвах, в горах, в лесах. И любовь, и жестокость часто находятся гораздо ближе, чем мы думаем, порой совсем они рядом с нами, а то и в нас самих. И всегда при виде спокойных и грустных животных, вековечных наших кормилиц, возникала передо мной блаженная пора деревенского предвечерья. Все дневные хлопоты, крики, звон ботал и колокольцев, привычная ругань на непослушную или неповоротливую скотину, всякий стук и бряк обрывались — на селе начиналась дойка коров.

Бабушка не любила доить Пеструху на людях, на виду. Зимой доила корову в теплой стойке, усевшись на низенькую, желтой краской крашенную скамейку. Летом — чаще всего под хворостом крытым, односезонным навесом, приделанным к стойке, и только осенью, когда не было овода, народ не толкся во дворе, да веснами, чтоб корова побыла на вольном духу, дойка производилась во дворе.

Погладив корову по выпуклому боку, как бы подтолкнув ее легким хлопком по холке под навес, бабушка теплой водой ополаскивала фигурную подошницу с рожком, якобы доставшуюся ей от покойной матери, плескала ковш-другой воды в плошку и неторопливо следовала под навес. Там она мыла вымя корове, долго прилаживалась на своей скамейке, готовясь к исполнению важного, можно сказать, главного дела во дворе, вполголоса творя молитву «Во благословение стада»: «Владыко — Господи Боже паш, власть имея и всякия твари, Тебе молимся и Тебе просим. Яко же благословил и умножил еси стада... Благослови и стадо скотов сих раба Твоего Ильи, и умножи, и укрепи, и сотвори... навега врагов и воздуха смертного и губительного недуга...»

После такой складной молитвы, которую дети повторяли за бабушкой, шевеля губами, все стихало, умиралось привычным, почти торжественным ожиданием. И ожидание это разрешалось слабым звоном. Как бы изда-

лека, из лесов, с гор, может, из умолкшей церкви с сопре-лой тесовой крышей, под которой висел еще на веревке один, фулюганями не обрезанный, небольшой колоколец, донесшимся.

После краткого перерыва, в который вмешался облег-ченный и благодарный вздох коровы, следовал звон про-тяжней и звучней, а там уж почти впритык друг к дружке — дзинь-журу, дзинь-дзжунь, дзинь-джуру. Звучит, что музыкальный инструмент, древняя, не раз паянная подойница, похожая на пухлый чайник, только сосок у нее покорооче и крышки нету. Пузатенькая, округлая, с ловким донышком, выглядит она игрушечной посудинкой, но входит в нее больше ведра молока. И как же можно сменить эту подойницу, неизвестно из каких времен и краев к нам пришедшую, неведомо из какого металла со-творенную, на какое-то ведро? Пусть и на «малирован-ное» или на современную цинковую посуду, что прижи-лась в колхозе. В ней и молоко-то железом отдает. К та-кой посуде даже коровы неуважительно относятся, моло-ко не все «отдают», лягаются, а если и отдают, так с не-охотой, да и не продаивают их вертоголовые девки, на собрания да на вечерки торопятся. Попробовали бы дома не продоить, так сполна получили бы премию от мамы и тяти, а в колхозе что ж — корова не своя и молоко в ней чужое.

В пору хорошей травы, доброго корма, коли еще и овода мало, из-за которого коровы плохо едят, сбавляют надои, бабушка, случалось, надаивала молока столько, что белая пена воздушной шапкой сбивалась над подойницей и нечасто, но приваливало такое счастье, когда дополни-тельно к подойнице и синюю кружку бабушка надаивала. Тогда уж все у бабушки, начиная с деда и кончая мной, были молодцы, старатели, всех она хвалила, в первую го-лову корову, пастуха, потом меня и Алешку, если он тут случался. Ну и о дедушке роняла одобрительные слова, вскользь правда. Планы и мечты бабушки простирались далеко-о: если дело с надоем молока дальше так пойдет, накопит она сметаны, творогу наварит, может, и маслица собьет на зиму, да и на продажу смаракует — деньжонки никогда не лишние. Надо катанки к зиме всем починять, рубашонки самому и Витьке spravить, обносились, чи-нить печего, под иголкой рубахи расплзаются, да и сена прикупать придется. Сынок-то, дорогой помощничек-надежда скрутился с разлучницей-невесткой да с колхо-

зом аховым — глаз с займок не кажет. Закукуешь зимой без кормов-то, решишься всего и коровы, упаси Бог, тоже. «На холхос кака надежа? Холхос, он еще себя покажет!..»

Планы и мечты эти чаще всего не сбывались. Наступала жаркая летняя пора, пауты, слепни, шустрая мошка, к вечеру комары гоняли стадо, заедали скотицу до того, что она не подчинялась пастуху, разбродно, как войско при отступлении, мчалась в папике к берегу, забредала в Енисей и погружалась в воду — одни рога да ноздри виднелись. Один раз Пеструха и вовсе расхворалась, слезами плачет, не доитя. Бабушка установила: непутевая скотина съела с травой осиное гнездо, осы искусили ей язык, горло, кишки и брюшину, кабы колоть кормилицу не пришлось. Среди лета, в самую-то кормную пору! «Спаси и помилуй, Господи!» — причитала бабушка на коленях перед иконостасом. Не к пьянчуге же Болтухину, не к Татьяне-авгивистке ей обращаться за помощью. Татьяну самым днями на ягодах оса жогнула под подолом, да так, что она полдня сидела задом в Фокинской речке и была, как Авдотьию неделю не кормленный Мистер. Травки, корешки, молитвы бабушкины, ругань вперемежку с ласками, доброе пойло, тщание в уходе не раз и не два спасали Пеструху. И в то засушливое, жаркое лето, когда осы сожгли внутренности коровы, она тоже оклемалась и была уведена в стадо. Вялая, с подведенными боками, на которых ободьями выступали ребра, Пеструха, спотыкаясь, шла за ворота, бабушка крестила ее, двор, стадо, себя, напутствовала добрым словом, кормилицей и доченькой называла. Пеструха ухала — мычала, рассказывая подругам о своей болезни, о том, каково ей было без них, жаловалась на то, что жизнь — вообще штука серьезная.

Все утихло на селе и в миру. Лишь дальний крик сплавщиков слышен с Енисея да с улицы зов тетки Авдотьи, находящейся в постоянном напряжении, в поиске: «Агашка! Агашка! Где-ка ты, курва? Ну я те все волосья повытаскиваю!..» Агашка, вон она, у нас во дворе. Пришла со своим Костенькой по молоко. Малый пустую кринку, точно куклу, молитвенно к сердцу прижимает, слышит запах молока, слюнки глотает. Агашка, тихая, простоволосая девка, зажав меж колен Костеньку своего, думает об нем, об себе ли, может, и подремывает после затянувшихся до петухов проводов с вечерки, может, отдыхает от вечного домашнего содома. Корову тетка Авдотья не держит, замки у них нету. Покосы у нас далекие, горные, на них

только мужикам управляться, да и то сильным, умелым. Поставить сена, накосив их по склонам гор и в непролазных речках, да высушить в тайге и сметать в зароды — полдела, надо еще сено сплавить на плотках, либо в начале зимы, по мелкоснежью, успеть вывезти на крепких лошадях.

Мужики же овсянские нынче в разброде, на собраниях сидят, по бригадам бывших заимок толкуются да на мельнице пьянствуют. Их стали часто на какие-то комиссии да обследования вызывать. Несколько мужиков после вызовов в город домой не явились. Иные из тюрем через людей табаку закажут, которые и вовсе никаких вестей не подают. Нынче всем вызываемым в город бабы, на всякий случай, собирают котомки.

Тетка Авдотья давно и привычно пользуется молоком от нашей коровы — в счет будущих заработков: поможет избу вымыть, в огороде выполоть, по двору управиться, дом вести, когда «тетенька Катя хворат». Свой она человек, хоть и шалопутный и «куда ее денеш?» — вздыхает бабушка.

Бегает тетка Авдотья по деревне, ругается, ищет дочь со внуком, и наконец ее осеняет заглянуть к нам. Брякает щеколда, слышатся шустрые ноги по настилу. Из-под навеса строгий бабушкин голос: «И когда на тебя уем будет?!» «Дои, тетанька, дои с Богом!» — торопливо откликается тетка Авдотья и мимоходом, на всякий случай, смазав Агашку по голове, лепится рядом с нею, молча тянет внука к себе. Агашка молча его не отдает. Подергав ребенка туда-сюда, чувствуя, что он вот-вот разорется, обе женщины успокаиваются, ждут.

Подойница уже не звенит. Из-под навеса слышно журчание, умиротворяющее журчание глубокого молочного ручья. Вот и журчание перешло в короткие, едва слышные всплески — молоко в подойнице поднялось высоко, вспенилось, и пена глушит звуки струй.

И над селом ни звука, ни стука. Время дневного торжества и минуты ожидания сладкого парного молока. Дрема охватывает корову, исполнившую свое привычное и такое необходимое для жизни людей дело. Отдавая уже последние, самые жирные и самые короткие струйки наработанного, скопленного за день молока, корова почти спит, валяя во рту смачную жвачку. «Благодарствую тебя, доченька, спаси тебя Бог», — шепчет бабушка и легонько хлопает корову по крупу.

Слышно, как бабушка поднимается со скамейки, хрустят, щелкают траченные бабушкины кости. «Ох-хо-хо, Господи, совсем рассыпаюсь...»

Приседая на обе ноги, она выступает из-под навеса с подоюницей, поддетой локтем за медную дужку. Тетка Авдотья легкой тенью снимается с крыльца, спешит навстречу бабушке, и та с заметным облегчением отдает ей подоюницу.

Лицо бабушки торжественно и устало. Завершается день трудов и забот, вечных трудов, вечных забот. И словно бы сейчас вот, во время самой желанной женской работы, в уединении и в отрешенности от людей бабушка постигала какую-то, нам неведомую, истину, разгадала тайну земного бытия и ясновидяще зрела неизбежность, всех нас ждущую, тихую, печальную неизбежность, похожую на это деревенское предвечерье. Бабушка глядит мимо или сквозь нас, дотрагивается до моей, до Костенькиной головы, словно бы удостоверяясь, что мы еще здесь, с нею. Детский легкий волос зацепляется мозолями ее корявой ладони.

Но пугающая отчужденность длится минуту, может, две. Бабушка очнется, начнет хлопотать, бранить тетку Авдотью. К удивлению и радости моей и Костенькиной, вынесена будет знаменитая синяя кружка парного молока, наполовину или почти полная: «Пейте, пейте, робятушки!» — и мы попеременно с Костенькой дуем из кружки духовитое, пенистое молоко, отмякнув от предвечерней благодати. Бабушка велит нести кринку молока левонтьевским пролетарьям. «Добрыми травами сегодня Пеструха покормилась, дивно молока дала, всем хватит». Журчит молоко, текущее из подоюницы сквозь ситечко, журчит теплым молоком и бабушкин голос.

— Санька! Нинка! Митрей! Вовка! Данька! Толька! Ташшыте посуду какую ишшо не перебили,— кричит бабушка через двор во флигель дяде Митрию и Татьяниним «коммунистам».

Какой добрый наступает вечер! Так и хочется поделиться с соседями и всеми людьми на свете хлебом, молоком, солью и сердцем. Пеструха всех напоила, ублажила, надежду на завтрашний день подарила.

И знаю я: раньше всех поднявшись, бабушка осторожно опустится на колени перед иконостасом и, глядя на неподвижный синенький свет лампы, будет молиться и просить, чтобы все дни были похожи на прошедший бла-

гостный день. «Дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день... Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами... Дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, прощать и любить. Аминь».

ДЯДЯ ФИЛИПП — СУДОВОЙ МЕХАНИК

Из бабушкиных гостей мне больше других памятен дядя Филипп — судовой механик. Он был бабушкиным крестником и братом дяди Левонтия. Тот его «поднял» и пустил «на воду». Оставшись на суше, сам он вечно тосковал по морю. Однако из-за многодетства или из-за тетки Васени, которой негде было приютить гостя и потчевать нечем, дядя Филипп заезжал перво-наперво к нам. По окончании каждой путины, если не зимовал с судном на севере, он являлся гостить в село вместе со своей женой, теткой Дуней, и... коли принес Бог гостя, стало быть, и хозяевам пир.

Бабушка, всплеснув руками, выбегала на крыльцо, да так проворно, что забывала прихлопнуть дверь. На крыльце раздавались многократные охи, ахи, чмокание, в момент возникшие женские всхлипы, бабушка на ходу напевала, что якобы точь-в-точь оправдались ее наблюденья и предположенья — вечер куры передрались и чья-то собака перед домом каталась — быть гостям, непременно быть! — порешила она, на всякий случай замесила квашонку и, как в воду глядела: квашонка-то сразу!

В сенках стоном стонали старые половицы под сапогами дяди Филиппа, проем двери заслонялся на секунду, и я взлетал к потолку с остановившимся сердцем.

— Растешь? — спрашивал меня дядя Филипп, держа под потолком, и опускал на пол с разрешением: — Ну, расти!

Он небрежно кидал на мою голову картуз с громад-

ной «капустой», горящей невиданным золотоцветом, и поскольку картуза хватало до самых плеч, то я на секунду задыхался спертым воздухом, в котором смешались пот, одеколон, запах головы.

Все смеялись. Я осторожно щупал «капусту» и почти-точно возвращал великодушный картуз дяде Филиппу. Поскольку в чинах тогда ходили немногие мои односельчане, с «капустой» был всего-навсего один человек — дядя Филипп, ему разрешались кое-какие вольности, как личности выдающейся. Забывшись, он сидел иной раз в картузе под божницей, и бабушка очень переживала. Хороший гость хозяевам в почет. Но после отъезда бабушка все же молилась, шептала святой дева: «Ну и что, что Филипп — человек от веры отрешенный? Работа у него ответственная, времени для Бога не выкраивается, вот почему простить бы его надо, а заодно и ее, потому что сама она ни в каком картузе под божницей не сживала и не сидит, к тому же строго блюдет Великий пост».

Должно быть, Святая Дева была женщина сговорчивая, потому что до следующего приезда дяди Филиппа бабушка больше не напоминала ей о картузе, обращалась по разным другим вопросам, и мне иногда казалось, что дева эта, засиженная мухами, как-нибудь рассердится, скривит тонкие губы. «И до чего ты докучливая старуха! — скажет. — Одолела, допекла, нечистый дух!»

В последний раз дядя Филипп приехал к нам отчего-то ранней осенью, а не зимой, и тетка Дуня держалась совсем смиренно, глаза ее были красными от слез, она то и дело промокала их скомканным батистовым платочком.

Прежде, бывало, дядя Филипп сидел, занявши почти всю скамью, сбоку, на краешке лепилась тетка Дуня со спущенным на плечи платком. Узенькая, тонкошеяя, нервная, она все норовила показать характер и выглядеть строгой-престрогой женой. Дядя Филипп протягивал руку, на тыльной стороне которой была синяя змея, обвившая кинжал, к граненой рюмке с водкой — тетка Дуня тут как тут, накрывала рюмку. Дядя Филипп сурово взглядывал на жену, и она, ровно обжегшись, отдергивала руку. Выплеснув влагу в широкий рот, механик крякал и занюхивал хлебом так, что ломоть прогибался.

Бабушка пыталась угощать его. Стол ломился от снеди. Тут были и рыжики, и грузди соленые, и капуста, и огурцы, и малосольная сельдюшка «туруханская» — гостинец дяди Филиппа, — дивная рыбешка, ныне почти вы-

веденная, как и многие ценные рыбы. Только черемшу соленую бабушка не ставила на стол. С черемшой этой происшествие было. Как-то бабушка все же настояла, чтобы дядя Филипп отведал хоть немножечко чего-нибудь. И чтобы не обидеть крестную, дядя Филипп сунул вилку в первую подвернувшуюся тарелку. Потом еще подцепил чего ни попало и жевал, нисколько не интересуясь, чего он жует и зачем. Так вот рассеянно черпнул он черемшу из тарелки. А черемшу у нас солят с речной галькой, чтоб она не плесневела. Ну, жманул дядя Филипп черемшу зубами, хруст раздался такой, будто матица на потолке лопнула, и теперь у дяди Филиппа блестят два серебряных зуба.

Зубы эти сводят меня с ума. Если б хоть кто-нибудь знал, как мне хотелось вставить такие же зубы!

Меж солений и печений в наследственной бабушкиной вазе, хранимой до случая в сундуке,— черничное варенье. У нас в селе принято ставить варенье на стол, если у кого оно есть, сразу же, не дожидая, когда подадут чай. Пользуясь благостным моментом, я ложкою черпал варенье, обкапался. Бабушка, стесняясь гостей, не очурывала меня, лишь с горестной безоружностью молила глазами: «Ну будет, будет!» А я будто ничего не понимал, возил себе и возил варенице. Тогда бабушка отыскивала под столом своей ногой мою ногу, мстительно и молча придавливала ее. Я утягивал ногу под себя и упорно работал ложкой. Тогда бабушка, подавляя в себе гневные чувства, льстиво предлагала мне:

— Шел бы ты на улку. Играл бы. Тут застолье, может, изругается кто или чё, а ты стесняш..

— Не-э,— бодро отвечал я, продолжая убавлять варенье в вазе,— чё-то неохота сёдня играть,— совершенно уверенный, что размякший от выпивки, бездетный механик непременно удержит меня в застолье.

— Ай, пятнай его! — хлопала себя по юбке обезоруженная бабушка.— То дак домой не заманишь.

Меж тем в застолье все шло своим чередом. Бабушка подливала водочки в рюмки, пригубляла сама, пригубляла тетка Дуня, после чего успевала накрыть рюмку дяди Филиппа. Он снова разил ее взглядом, и она снова отдергивала руку, и снова, булькнув, укатывалась водка в широко растворенный рот дяди Филиппа. От рюмки к рюмке он накалялся, будто самовар, багровела его шея у заливка, да в отличие от своего брата Левонтия мягчел взгля-

дом дядя Филипп. Замечалось, что вот-вот он, не умеющий высказать свои чувства, всхлипнет, перецелует всех широкими губами, перетискает до хруста костей и отправится спать.

— Ты кушай, кушай, Филиппушка, — все насылалась с закуской бабушка и пододвигала к нему тарелку за тарелкой, помня, однако, что потчевать потчуй, а неволить не смей.

— Что «кушай»? Что «кушай»? Я без кушанья...

Эти слова дяди Филиппа мы понимали так: «Не за кушаньем я приехал, и не в угощении дело! А в приглашении. И вообще я всех вас очень даже люблю и стосковался я по тебе, крестная. И по брату стосковался. Не идет, горюн, гордится. А я к нему пойду. Вот погостую у тебя и пойду! Дунька пусть лучше не перечит и не докучает: ушибить могу. Кушать же мне совсем ни к чему, кушать я буду на судне, дома, а здесь я и так выпить могу, и ничего со мной не случится. Я человек не квелый, речник-механик, плаваю не первый год. Зимовал, бывало, и на Крайнем Севере, да судно мое все одно пар в сроки пуцало, хотя ни затону, ни притону там нету. Гайки к рукам зимою примерзали, когда судно к навигации готовили. А ты — «кушай!!!»

Вот как мы понимали ничего вроде бы не значащие слова дяди Филиппа. Бабушка даже слезу выжимала, оценивши их глубину и смысл.

— Работал бы на берегу, отчаянная ты головушка! — не раз советовала бабушка крестнику. — Порешишься либо утонешь. Шутка ли: утесы кругом, быки да каменья. Страсть — наш Енисей-то! Не река, а Господь его ведает что.

— Х-хэ! — усмехался дядя Филипп и подмигивал мне — единственному мужчине за столом, кивая в сторону бабушки: дескать, занятная у тебя старуха, но в нашем деле ни черта не понимает. Я ему тоже подмигивал: не обращай ты, дядя Филипп, внимания. Я тоже, когда вырасту, в речники подамся, зуб, хоть один, да вставлю и «капусту» попрошу. Возьмешь меня к себе? «Знамо, возьму. Куда тебя девать-то?» — отвечал мне взглядом дядя Филипп и опрокидывал рюмку. Но тетка Дуня раз от раза становилась смелее и строптивее:

— Филипп, хватит! Хочешь как братец? Спитесь хочешь?

Выведенный из терпения, дядя Филипп выразительно шмыгал носищем и смахивал со скамейки тетку Дуню.

— Э-э, крестничек! — грозила пальцем бабушка большеносому человеку в черном картузе.— Гляди у меня! Рукам волю не давай!

Дядя Филипп подхватывал тетку Дуню и шмякал рядом с собой. Он тут же выплескивал в себя рюмку водки, но уж как-то досадливо, без удовольствия, и не занюхивал даже хлебom.

— Вот так и живу, так и мыкаюсь я, тетенька Катя,— принималась жаловаться и причитать тетка Дуня.— Изгаляется он надо мною дни и ноченьки. Ушла бы я от него, утопилась бы, дак пропадет ведь, краснорожий, пропьяется до картуза...

Дядя Филипп втягивал воздух так протестующе, что нос его загибался к уху, но говорить ничего не говорил. И за эту гордость и невозмутимость уважал я его трепетно, благоговел, можно сказать, перед ним. Вот это мужик! Сила!

Бабушка выручала из незавидного положения дядю Филиппа, урезонивала никак не унимающуюся тетку Дуню:

— Ну уж, так уж и ушла бы... Какие вы ноне проворные! Эку волю вам дали! Я вон век отвековала, но таких речей не только сказывать, думать не смела. «Ушла бы!» Пробросаешься, милая! Ноне мужик-то какой пошел? Тотто, девонька! Твоему ить картуз-то такой не зря даден. На картузе золотого, под картузом золотее того. А ты — «ушла бы»...

— Вот-вот. Это ты в точку, крестная. Я выпиваю, конечно. Нехорошо, конечно. Но я...— дядя Филипп сжимал кулачище и потрясал им под потолком. Мы все замирали, боясь за висячую лампу с абажуром.— Но я кординат не тер-р-ряю!

— Как же, как же не теряешь? А в Подтесове не терял будго? — вскидывалась тетка Дуня все еще обидчиво, но уже с нотками примирения.

— В Подтесове? — дядя Филипп бессильно ронял кулак. Был грех, терял, видно, дядя Филипп «кординат» в Подтесове.— Так мы ж там на ремонте, не в рейсе ж...

— А в Дудинке? — наступала тетка Дуня, понимая, что дядя Филипп наполовину уже сражен и самое время его добивать.

— В Дудинке? — дядя Филипп краснел до самых бровей.— В Дудинке? Тьфу, трепло! — плевался он и уходил из избы, большой, сторбившийся, ни чуточки не колеблющийся, в лихо сдвинутом на бровь картузе, со своим

загадочным «кординатом», который мне казался чем-то вроде золотой капусты, но был спрятан где-то в нагрудном кармане, и если его потеряешь, то уж все — не человек ты...

Тетка Дуня подробно поведала, как потерял «кординат» в Дудинке дядя Филипп. Работал он тогда первый год на катере с дизельным пускатом. И набрался на берегу до того, что ни тяти, ни мамы сказать не мог. А тут от причала гонят. Причал понадобился. Шумит начальство порта, штрафом грозитя. Дядя же Филипп не только мозгами, но и пальцем единым не владеет. Чего только с ним ни делали: и нашатырным спиртом терли, и водой обливали, и уши почти напрочь оторвали — не берет. Тогда капитан катера приказал волочь механика в машинное отделение и притиснуть его к дизелю.

Приволокли, притиснули. Капитан гаркнул: «Филипп, заводи!» Дядя Филипп раз-раз — покрутил рычажки, колесики, ручки, и дизель завелся. Тогда капитан громче: «Филипп, переводи на мотор!» И дядя Филипп выполнил команду точка в точку, не открывая глаз. А когда его отпустили, пал тут же, так и не проснувшись.

— А я что толкую? — подняла палец бабушка, выслушав этот рассказ. — Золотая голова!

— Ой, где же Филипп-то? Уж не к братцу ли ушел? — спохватилась тетка Дуня. — Ой, матушки мои! Сойдутся — не растащить. А та тетеря-то недосмотрит... — И помчалась тетка Дуня искать дядю Филиппа, уверенная в том, что он без нее ни прожить, ни обойтись не может и что тетке Васене одной с братьями не совладать.

Но в тот последний приезд тетка Дуня не накрывала рюмку дяди Филиппа, не оговаривала человека, не притесняла, только все взглядывала на него, длинно вздыхала и украдкой плакала. Дядя Филипп держался разухабисто, выкрикивал одну и ту же фразу из песни: «И н-на Ти-и-и-им океани-и свой зако-ончили по-ход!»

— Дунька! Ты кого оплакиваешь? Меня? Ха-ха! Да я этих самураишек во! — Он зажимал кулачище так, будто самураи были муравьями и он их давил в горсти.

Я потихоньку вылез из застолья и убрел на улицу, и варенье как-то не всласть елось, потому что бабушка не стергла его, на меня не обращала внимания.

Дядя Филипп с теткой Дуней ушли «по родне» и поя-

вились у нас снова дня через три, усталые, осунувшиеся. Они отсыпались в широкой и чистой постели. Бабушка отпаивала дядю Филиппа огуречным рассолом, отводила душеньку, ругая его каким-то новым словом — «некрут».

— Ну, чё, нагулялся, некрут? Наколобродил?

Дядя Филипп кряхтел тяжело, горестно морщился.

— Когда вы с Левонтием все вино это клятое выжрете? И когда вы, язвило бы вас, захвораете чем-нибудь, чтоб пить нельзя, чтоб на сторону воротило?..

— И так воротит, крестная..

— Воротит? Как не поворотит? С ведро выхлестал?

— Два наберется.

— Два! — ужаснулась бабушка. — А та, пигалица-то, — напустилась бабушка на тетку Дуню, таящуюся за спиной дяди Филиппа, — та кикимора-то, нет чтоб мужика окоротить, норму ему определить, сама, холера, туда же! Ведь на чужу сторону человек уезжат... Совет да беседу бы мужу с женой провести..

Отпоив дядю Филиппа рассолом, бабушка послала его в баню, потом опохмелила, угощала стряпней. Полный мешок набила печенюшками, калачами, шаньгами, со слезами провожала супругов к лодке, на берегу крестила новобранца при всем народе, и он смиренно стоял под благословением, большой, сконфуженный, покорный.

Дядя Левонтий, непрспавшийся, с початой бутылкой в кармане, гремел:

— Филипка, держи кординат! Круши врагов на море и на суше! — и лез к брату обниматься.

— Да сокрушит, сокрушит! Не подавай только ему больше, — остепеняла Левонтия тетка Дуня.

Дядю Филиппа и тетку Дуню выплавили на проходящий мимо села пароход. Пароход сбавил пар, взял супругов на борт. Дядя Левонтий плакал, бежал по берегу следом за пароходом, повторяя слова, которые забыл сказать:

— Филипка! Филиппушка! Братан!..

Высыпавший на берег деревенский люд почтительно говорил меж собою: «Шищка Филипп-то наш! Гляди, пароход застопорили. Выплыви бы кто из нас, так хоть забрись — не возьмет. Такой человек и в армии не затеряется. Его и в армии чином не обнесут...»

После я узнал — дядя Филипп оттого так рано нынче был в гостях, что разразился «дальневосточный конфликт»

и его «нибилизовали» крушить «самураев». Приходило нам от него несколько обстоятельных писем с пожеланием всем родным здоровья, а друзьям приветы с Дальнего Востока, затем из Финляндии.

Погиб дядя Филипп в сорок втором под Москвой, где командовал ротой сибирских лыжников. Тетку Дуню я как-то встретил на Красноярском речном вокзале. Стоял в очереди за билетом на пароход, ко мне кинулась маленькая старушонка, распахивая народ, и поцеловала шершавыми, точно груздок, губами.

— Я гляжу со щеки-то — вылитая тетенька Катя!..

Слезы катились по усохшему лицу тетки Дуни, вся она сделалась, как птичка, совсем махонькая, носик у нее заострился.

— В Скиту живу, голубь, в Скиту, — рассказывала она о себе. — По-нонешнему-то в Дивном горске. Ну, это приезжие так, а мы, здешние, по-старому... Сошлась с одним ссыльным уж лет десять как. Электриком состоит. — Она скорбно смолкла и отвернулась. — Жить надо. Не дождалась я Филиппушку с позиций. Помнишь ли ты его?

Я сказал, что помню. Тетка Дуня пальцем убрала со щеки слезу и уже буднично продолжала:

— Крутонравный, покойничек, был, и пообидит, бывало, меня, а вот дня не проходит, чтоб не вспомнила я об нем. — Она еще помолчала, глаза ее остановились на каком-то далеком воспоминании. — Нонешний хозяин слова вкось не скажет, не то чтоб пальцем тропуть. А Филипп все одно с ума не идет. Так уж, видно, до гробовой доски и носить мне тоску-кручину в сердце...

Я еще раз вспомнил войну, еще раз подивился вековой загадке — женской душе, еще раз восхитился великим и святым чувством, имя которому — любовь, и решил помянуть дядю Филиппа.

На пристани купил бутылку пятидесятиградусной водки — другой тут не было. Водку эту речники именовали тучей. Пить одному мне не хотелось, и, когда погрузились в пароход, я зазвал в каюту проходившего мимо матроса.

— Выпейте, пожалуйста, со мной, — предложил я и кивнул на налитый стакан. Матрос быстро взглянул на меня: не пьяный ли?

— За что выпить?

— За дядю Филиппа. До войны он механиком плавал на этом пароходе.

Матрос покрутил стакан в руке.

— Не помню.— Он еще посидел, еще повертел стакан в руке и стеснительно повторил: — Нет, не помню.

«Где уж тебе помнить. Ты до войны-то небось еще босиком по берегу за пароходами гонялся».

Матрос выпил полстакана, закусил кусочком колбасы и поднялся:

— Извините, больше не могу. Скоро вахтить.

Он ушел. Пароход «Спартак» — единственный пассажирский пароход, уцелевший из «стариков», — развернулся и суетливо зашлепал плицами, оставляя позади город, шумы его, дымы его и мосты.

Народу на пароходе реденько. Все ездят нынче на новеньких быстроходных кораблях. Это я решил потешить свою блажь. «Спартак» миновал пригород, свистнул тоненько на Лалетинском шивере и пошел меж бакенов. Его старинный, переливчатый и музыкальный гудок так ни разу за рейс и не оказал себя. Гудеть полным гудком запрещено.

И что-то еще откололось и ушло из моей жизни вместе с этим гудком. Поговаривали, что и сам «Спартак» доживает последние навигации, скоро его пустят на дрова либо приспособят под какое-нибудь полезное заведение.

Побухивали внизу подо мной колеса парохода, подрагивало стекло в раме, покачивалась и брякала подвешенная над головой люстра, старинная еще, пузырем. Весь пароход поскрипывал, позвякивал и тяжело, словно конь на подъеме, дышал. На столе дребезжал, ударяясь о бутылку, стакан. Была водка, было время, были деньги, были люди кругом, но не с кем выпить за дядю Филиппа — судового механика, не с кем.

БУРУНДУК НА КРЕСТЕ

Папа мой, деревенский красавчик, маленько гармонист, маленько плясун, маленько охотник, маленько рыбак, маленько парикмахер и не маленько хвостун, был старшим сыном в семье своего отца, Павла Яковлевича. Восемнадцати лет его женили на Лидии Ильиничне Потылицыной, девушке доброй, домовитой, из большой семьи, которая держалась своим трудом на земле, жила землею, и, как говорила с гордостью бабушка моя Катерина Петровна: «Придурков и ветрогонов у нас в семье отродясь не водилось».

Зато придурков, захребетников, всякого малого и большого народу кишмя кишело в доме маминогo свекра, где жили по присловью: ни к чему в доме соха, была бы бала-лайка! Здесь позарез нужен был работник, его и нашли.

О жизни мамы в семье деда Павла я ведаю по чужим словам, зато хорошо знаю своего папу и потому могу себе отчетливо представить долю мамы. Гулевой, ветреный, к устойчивому труду мало склонный, папа мой был еще и люто ревнив — стоило ему попасть с мамой в компанию, как он принимался шиньгать ее, щипать до синяков, чтоб она «не заглядывалась на других», и до того довел молодую женщину, что сгребла она его однажды в беремя и потащила в Енисей. Уж на мостках папу отобрали. «И зря, зря! — уверяла впоследствии бабушка. — Его, супостата, утопить следовало, а самой бы свету не лишаться...»

Быстро надорвалась мама в семье своего мужа, и как

бы сложилась ее жизнь дальше — неведомо, но уже нака-
тывали на деревню крутые перемены.

Когда-то на Большой Слизневке мой прадед, Яков Максимович, скулемал мельницу и вскормил ею много всякого люду, который от крестьянства ушел и к пролетарьям не пришел. Межеумки, драчуны, гуляки и бездельники, они, к несчастью, не успели пропить мельницу прадеда — началось раскулачивание, поначалу ничего такого особенного не сулившее, — ну, отобрали мельницу, хрен с ней — не караулить! Коней отобрали? Так и кони-то в хозяйстве держались по присловью: узда паборна, лошадь задорна. Серый, как собака, грыз напропалую всех, ходил только под выюками по тайге, на пашне или в обозе его отгородясь никто не видел, он и в стойло-то к себе одного моего папу пускал, и то лишь пьяного. Савраска был знаменит тем, что вышибал ворота и в щепье разносил сани и кошевки. Другие лошади тоже норовистые, дикие, выменянные у цыган и заезжих людей. И коровы фокусные. Про одну из них, Чалуху, разговор ходил, будто способна она надоить сразу три ведра молока. Барственно-осанистая, гладкая, холеная Чалуха от стада держалась нарозь, гонялась за пастухом, норовя его забодать, доить себя вовсе не позволяла, зато сена съедала на раз по копне! И все хозяйство деда Павла вроде этой коровы: броское, дурное, надсадное, на выщелк, значит, на показуху только и годное.

После раскулачивания кто-то из трепачей пустил слух, дед Павел и папа мой по пьянке безголово его подтвердили: на родной усадьбе, в одном из лиственничных столбов спрятано золото, в каком столбе — они знают, да не скажут.

Деревенский алчный и горластый люд дружно ширкал пилами выветренные до железной крепости столбы, колот их взятыми с известкового завода клиньями, и получился у них самый что ни на есть горячий, увы, напрасный труд.

Не заполучивши фартового золота, горлопаны стали требовать доведения до победного конца раскулачивания, ускорить высылку «скрытой конторы». Прадед, Яков Максимович, впал в детство, дни и ночи играл с прабабкой в подкидного дурака, дрался с нею из-за карт, до ветру ее не пускал по припоздало возникшей ревности. Из-за многих годов и малоумия ни с какой стороны он к высылке не годился, однако и его «вписали». Видевши свет всю

жизнь воистину белым, в муке, прадед, как дитя, радовался переменам жизни. И когда на пересыльный пункт пришло известие о том, что прабабушка Анна, из-за хвори отставшая от своих, в «Бозе» почила и похоронена на сельском погосте без соборования и отпева, прадед нисколько не горевал.

— Так и надо! Так и надо! — почти с ликованием кричал он. — Чё же это экое? В карты сыграть не с кем! — Дичая, прадед переходил на злобную скабрёзность.

— Опомнись-ка, опомнись! — остепеняла прадеда жена моего деда Павла, Мария Егоровна, или бабушка из Сисима, как я ее звал. Но Яков Максимович никого не слушал, был возбужден, подвижен, когда семью погрузили на пароход и, загудев тревожно и длинно, он отваливал от Красноярского причала, прадед, петушком прыгая, выкрикивал: «Ура! Ура! В страну далекую, восеонскую! Тама кисельны берега! Речки сытовы! — и запел торжественно, стараясь потрафить провожающим: — Ой, при лужку, при лужку-у-у... И-эх... забыл! И-эх! Забы-ыл!..»

— Што забыл-то?

— Не знаю. Чего-то забыл. Вспомнил! Ура! Ура! Вспомнил!.. А при знакомом по-о-о-оли-и-и... — Вдруг Яков Максимович пустился в пляс: — Эх, карасук, карасук, посади меня на сук. На суку буду сидеть да на милочку глядеть... — попробовал пойти вприсядку, но свалился набок, и, поднимая его с палубы, горя от стыда и страха, бабушка из Сисима трясла старого за шиворот:

— Чего буровишь-то? Буровишь-то чего? Гос-споди!

При выселении собралась на берегу вся деревня, вой стоял над Енисеем, выселенцам несли кто яичко, кто калач, кто сахару кусок, кто платок, кто рукавицы. Из правленцев на берегу оказался лишь дядя Федоран и принял на свою голову все матюки, проклятья и угрозы. И не только принял, но, севши на камень, разулся и бросил кожаные бродни федотовскому косолапому парню — этот отправлялся в ссылку совсем босиком. Явился на берег пьяный Митроха, взобрался на камень, выкрикивал какие-то напутственные лозунги. «Да уйди ты, уйди с глаз! — увещевал Митроху дядя Федоран. — Разорвут ведь!» Потом махнул рукой и ушел с берега. Митроху тычками угнала с берега жена, увещевая: «Свернут башку-то, свернут, ногу последнюю отломают, и правильно делают. Да ведь страдать имя за такого обормота...»

Яков Максимович скончался в Игарке от цинги в пер-

вую же зиму. В ошкуре штанов, которые он упорно не снимал со дня высылки, были обнаружены и выпороты три золотых царских рубля, завернутых в клоч литой черковой бумаги. На клочке химическим карандашом были нацарапаны едва уже различимые каракули: «Пашка! Эти деньги мне на похороны! Не проигрывай их, стервец!»

Бабушка из Сисима, измученная семьей, больным и одичавшим стариком, напуганная грозными приказами пачет ответственности за утаивание горячего и холодного оружия, также ценных бумаг, жемчугов, алмазов, рубинов и прочих драгоценностей, отнесла три золотых рубля в комендатуру.

Яков Максимович был похоронен в казенной могиле на так полюбившийся ему казенный счет, и могила его первой же весной потерялась в лесотундре.

Бывший когда-то гордым, форсистым и гулевым, папа мой, оставшийся не у дел и без жилья, просил сельсовет выделить ему хотя бы кухню с печкой в отчем доме, потому что флигель — зимовье, в котором мы прежде обитали, был раскатан на салики, на них смекалистые гробовозы охотно плавали с торгом в город. Отгородить кухню с печкой сельсовет не разрешил, заверяя, что, как только утвердится артель, дом будет починен и в него переселится правление колхоза имени знаменитого в Манском краю партизанского командира товарища Щетинкина.

Тетка Татьяна, Ганька Болтухин, Шимка Вершков, Митроха, стуча себя в грудь кулаком, говорили речи. Наивысшего взлета в этом деле достигла тетка Татьяна. Каждую речь она заканчивала срывающимся выкриком: «Сольем наш египтуизм с волгующим акияном мирового пролетариата!» И люди, которые послабже сердцем, плакали, слушая тетку Татьяну. Даже бабушка моя, Катерина Петровна, робела от умных слов невестки и стала навеличивать ее — Татьяна Ванна, хотя по заглазью продолжала срамить ее за бездомность, необходимость, но уж только при закрытых ставнях позволяла себе разоряться бабушка.

Хмурился, помалкивал Федораи Фокин, мужик искони здешний, еще молодой, он понимал, что словами, даже самыми громкими, самыми умными, народ и обобществленную скотину не прокормишь. В артели же все шло на растатур: пашни зарастали, мельница с зимы стояла, сена поставлено с гулькии нос. Тревожно за село, за людей. Кое-кого да кое-что правленцы похозяйственней спасли,

отстояли — ретивые горланы рвались не только поскорее выдворить из села богатеев, но и порушить до основания все кулацкое — молотилки, жнейки и всякий прочий крестьянский инвентарь.

Терпеливо и долго вразумлял умный мужик вошедших в раж говорунов, призывая пахать землю под зябрь, расковыривать межи в горах — на покатах да по склонам увалов заплатами расклеенных пашен, и в первую голову — пустить мельницу. Искони кормившиеся с мельницы, овсянские жители ручных жерновов не знали, толочь зерно в ступах ленились, парили его в чугунах и ели целиком.

С такого харча много не наработаешь. Ребятишки стали маяться животами. Тут кто-то и вспомнил про моего папу — он один на селе умел управляться с мельницей — битьем и пряником, заманив вертлявого старшего внука на мельницу, дед Яков научил его своему ремеслу. Поскольку мельница была на селе вроде клуба, где круглый год шла неутихающая гулянка, прерываемая лишь авариями да когда «жернов ковать», — папе здесь поглянулось. Приучился он на мельнице пить, на спор тягаться на опоясках, скакать верхом на лошадях, лазить на приводной столб, воровать на селе кур на закусь, жить обособленной, «мельничной» жизнью, где вроде бы все дозволено. В пылью и паутиной задернутое, шершнинными гнездами увешанное, грохочущее, содрогающееся и в то же время совершенно глухое, об одно оконце в конторке мельничное помещение никакие бабы, кроме самогонщицы Тришихи, не допускались. Молоди мужики иной раз по неделе, ссылаясь на очередь, с мельницы являлись чуть живы, пропившиеся, со свежеподстриженной башкой — папа, помимо обязанностей мельника, безвозмездно занимался еще и цирюльным делом.

Правление посулило папе со временем, когда он честным трудом докажет сознательность, записать его в колхоз, выделить «фатеру» в старом запустелом доме. Маме тоже разрешено было принять участие в труде на «общественной ниве», к которому она с радостью и приступила, надеясь, что с этой поры все пойдет на успокоение, может, и в самом деле наступит то благоденствие, о котором так горячо толкует свояченица Танька — важная фигура на селе, хотя детишки ее как были голодны и запущены, такими и остались, и, кабы не бабушка Катерина Петровна, не дед Илья да не тетки с дядьями, вовсе бы им беспризорно помирать. Дядя Митрий — муж тетки

Татьяны, сгорел с вина, правда, бабушка Катерина Петровна до самой смерти не соглашалась с таким позорным заключением и утверждала, что помер он от недогляда бабьего иль, того хуже, порешил самого себя от стыдобушки.

«Может, и наших из далекой земли вернут?» — выскazyвала затаенную мысль моя мама, которая в доме свекра из стаек и конюшен не вылезала, была бодана, топтана и кусана диким скотом, от печи не отходила, матюков полную котомку наполучала от одноглазого «тятеньки», но вот тосковала по своим, жалела Марью из Сисима: «Как она там, на дальней сторонущке с оравой?»

«Блажен человек, иже и скоты милует,— корила ее бабушка Катерина Петровна,— мало ты на чужеспинников ломила? Мало! Надорвалась! Болесь добыла! Естество женское повредила...»

«Об чем ты, мама? Детишки ведь малые уехали невесть куда». И никогда мама не проходила мимо дома свекра просто так, поклонится гнезду, в котором изработала молодость, всплакнет: «Тятенька! Марья! Дедушко! Где-ка вы? Студено, поди-ко, без родимого-то угла?» Все это мне часто рассказывала бабушка Катерина Петровна после гибели мамы, рассказывала всякий раз с прибавлением не только слез, но и черт маминого характера, привычек, поступков, и облик мамы с годами все более высветлялся в памяти бабушки, оттого во мне он свят, и, хотя я понимаю, что облик моей мамы, вторично рожденный и созданный бабушкиной виной перед рано погибнувшей дочерью и моей тоской по маме, едва ли сходился с обликом простой, работающей крестьянки, мама была и теперь уж навеки останется для меня самым прекрасным, самым чистым человеком, даже не человеком, обожествленным образом.

Папа пустил мельницу. Как и в былые времена, начали уединяться на ней мужики, и, хотя безвылазно находился на ответственном посту Ганька Болтухин, порядки, укоренившиеся на мельнице, никуда не сдвинулись. Здесь, как и прежде, пили, тягались на опоясках, дрались и мирились, до смерти заганивали отныне «не своих» лошадей. Подпоясавшись мучным мешком, папа щелкал ножницами, сыпал прибаутками: «Стригу хоть спереду, хоть сзад, хоть голову, хоть чё! Стригу долго, беру дешево: с Гаврила — в рыло, с Трофима — мимо, дурака — за пят, Болтухина — за так!..» — и карнал тупыми ножница-

ми земляков. А Ганька Болтухин слушал «недоброго элемента» да запоминал его безответственную трепотню.

На мельнице и всегда-то водилось много крыс, а на ту пору они тут тучами объявились, да все какие-то осатанелые, визгучие. Крыс ловили капканами, придумывали им прозвища и «казню», одну страшнее другой: то вместе с капканом окунали в воду, пока крыса не захлебывалась, то жгли на костре и старались это делать так, чтобы помучить зверину подольше. Трусоватая, при этом нездоровая злобность охватывала людей. «Гли-ко, гли-ко, залезо грызет! Вдарь ее, вдарь! Разможжи!» По мельнице бегало несколько страшных крыс-инвалидов, они отгрызли лапы и уши из капканов. Когда останавливали жернов, слышно делалось: там, наверху, скачут на деревяшках не то черти, не то домовые, аж кожу на спине коробит, вот как скачут.

«Матушка! Царица небесная! Совсем выверился люд! Совсем осатанел! И чё только будет?» — крестились старые люди на селе. Боевая моя бабушка Катерина Петровна бояться за меня стала, на мельницу к папе не велела ходить, но я уж привыкать начал к развеселой мельничной жизни, лазил где попало по мельнице, глазел на гулевой народ, дивовался веселым выдумкам, боролся с ребятами под мужицкие одобрительные похвалы, ловил хариусов на обманку, смотрел, как мужики галятся над крысами, хотя и жутко было, все равно смотрел, слыша, как стынет кровь в жилах, в спину ровно кто гвозди вколачивает, сердце заходится, — но я — мужик, охотником буду, зверовиком, стало быть, мне никак не полагается расти трусом.

Зимой на мельнице случилась авария — перепившийся мельник пал на посту. Жернов какое-то время колотился вхолостую, затем из-под него выжало клин, жернов рухнул на передачи, те на колеса осели — все сооружение хрустнуло костями и замерло. Шумела только вода под колесами и па водосливах.

В прежнее время не раз сотворяли по пьянке и безалаберности аварии на мельнице мой папа и дедушка Павел. Яков Максимович дрыном их бил, загоняя с пешнями под колесо, в холодную воду, где папа и добыл неизлечимую болезнь. Он и эту аварию воспринял без особого потрясения. «За неделю наладим, — сказал беспечно Болтухину, — отдолбим колесо, окуем жернов и с песнями меленку пус-

тим. Ведро самогонки «на колесо» — и ты узришь настоящую трудовую энтузиазму!»

Вместо ведра самогонки папе, как вредителю, «выставили» пять лет в приговоре и отослали проявлять «настоящую, трудовую энтузиазму» на Беломорканал.

Вернулся папа через два с половиной года со значком «Ударнику строительства Беломорско-Балтийского канала им. Сталина», ввинченным в красный бант. Значок этот папа выдавал за орден. Держался папа так, словно бы не из заключения, не с тяжелой стройки вернулся, а явился победителем с войны — веселый, праздничный, гордый, с набором «красивых» городских изречений, среди которых чаще других он употреблял: «В натуре».

В первый же вечер влетел в избу закадычный папин друг и собутыльник — Шимка Вершков, еще от дверей крича: «И где тут Пётра? Где мой дорогой друг-товарищ?» — на ходу выжимая трогательно-чистые слезы из радостных и потрясенных глаз, протягивая руки для объятий.

Ответной готовности к объятиям не последовало. «Чисто», по-городскому одетый мой папа, с «орденом» на лацкане пиджака, строго сжал губы и, удерживая Вершкова рукой на расстоянии, сурово молвил:

— Па-а-агадिति, товарищ Вершков! Па-а-гади-ити! — Шимка, совершенно растерявшись, опешил, в недоумении пробовал улыбаться, по лицу его, попрыгивая, продолжали часто катиться светлые, ребячьи слезы. Значительно поглядев на застолье, на всю родню и разный народ, к нам сбежавшийся, папа пригвоздил Вершкова, да что там пригвоздил, расшиб, можно сказать, в лепешку вопросом, глубина, смелость и значимость которого потрясли все наше село и надолго утвердили авторитет моего родителя как человека «мозговитого», обладающего способностью говорить и мыслить «по-начальственному». — Абъясниги мне, товарищ Вершков, и абъяснити в натуре, за что, — папа сделал паузу, — за что и па-ачиму вы упрятали меня за сурову теремну решетку? — На последних словах голос папы осекся, задрожал, и губы его повело в сторону.

Бабушка моя заутиралась концом платка, дядя Ваня, шумно и сочувственно засопев носом, налил в папину рюмку водки. Но папа ее решительно отставил, сплеснув при этом на скатерть. И, все так же сурово хмурясь, настойчиво ждал ответа. Застолье молчало. Народ весь пугливо замер, лишь бабушка Катерина Петровна, вытирая

слезы, качала головой, и по выражению ее лица, по горести, совсем уж безутешной, полуприкрытой снисходительной улыбкой, можно было догадаться: она до тонкостей постигла всю невеселую комедию, кураж, за которым ничего больше не последует, кроме стыда, ерничества и неловкости.

— Нн-н-не-ет, вы не молчите, вы атвичайти, товарищ Вершков! А потом я ишче спроцу вас о жене моей, Лидии Ильиничне!..

— Да чего уж там! — махнула бабушка рукой. — Кто старос помянег... Лидиньку не воротить. Акульша-то, огнек лампадный, тоже погасла, — пояснила она отцу, — обнимитесь уж! Выпейте! Друзья всешки, хоть и придурковатые. Жены-то вот, жены-то ваши где-ка? Жен-то каких ухайдакали, разбо-ойники! — как бы отпустив что-то в себе, разрыдалась бабушка, и все за столом начали плакать.

— К-ка-ак? И Акульша? Кума моя?.. В папури?..

Шимка Вершков глядел на папу, не в состоянии что-либо вымолвить, лицо его сплошь захлестнуло слезами, лишь кивком головы он подтверждал: да, и его горе не обошло, не миновало. Сгреблись в беремя два друга, два непутевых мужика, одинакового ростика, ухватками и характером, даже лицами схожие, что родные братья, сгреблись, рыдают. И я, обхватив их ноги, рыдаю почему-то, закатилось бабье, мужики погылицынскими носищами воздух втягивают, аж в лампе свет полощется. Из-за косяка двери средней выглядывают Васька, Люба и Вовка — дети Шимки Вершкова, всюду за ним ягнятами таскающиеся, и, показывая на них пальцем, Шимка пытается и не может выговорить: «Сиро... сиро...» — но все угадывают, чего он желает объяснить моему отцу, и помогают:

— Сироты! Тоже сироты, как наш Витька. Он-то хоть оди-ин... А тут... троё-о-о-о...

Слезами облегченные, горем примиренные, все рассаживаются за стол, напичкивают детей вообще, сирот в особенности, городскими гостинцами. Где-то в какой-то час или день вспыхивают короткие перепалки; папа все еще пытается припереть друга к стенке серьезными вопросами:

— И еще я должен сообщить, товарищ Вершков, падвигается пора новопорядка. — Напустив на лицо умственность, вертя в руке рюмку, многозначительно говорил папа.

— Какого ишшо порядку? Уж такой порядок навели — дальше некуда!

— А такого,— свернув голову, как птица, набок и все не утрачивая умственное выражение на лице, продолжал папа.— Разум, уложение, быт! — Папа обвел всех победоносным взглядом и, видя, что вверг публику в потрясение, назидательно поднял палец: — Разум, уложение, быт.

Папу робко просили объяснить всю эту мудрость. Потомив народ, папа объяснил, показывая при этом на потолок, что в одном месте самый умный и са-амый большой человек пишет самую ба-альшую книгу, где всем будут указаны главные законы жизни, в том законе — главные статьи: разум, уложение, быт. Согласно этой книге — уже полностью веря в говоримое, вещал папа — на каждом воротах, на каждой двери будет сделан глазок, как «у камары», и особо уполномоченный день и ночь станет ходить от дома к дому и глядеть в глазок: торжествует ли разум в данном дворе, каково уложение; то исть порядок, нет ли разложения и бесхозяйственности. Снова, свернув голову по-птичьи, многозначительно щурясь, папа напирал с новой силой на Вершкова:

— И что тогда вы будете делать, товарищ Вершков, с вашим уложением быта?

Народ, возбуждаясь, говорил, что Вершкова да Болтухина никакими книгами да законами не запугаешь, они сами же и сделаются особо уполномоченными, всех совсем разорят и все пропыют.

Народ, однако, интересуется, откуда ему, Петьке-то, про книгу сделалось известно?

Папа строго поджимал губы, с усмешкою обводил взглядом публику. «Да вы что! — говорил весь его вид,— это ж тайна, глубокая тайна»,— и, сойдя на шепот, приказывал:

— Ни з-звука! Он там все слышит и все зñает! А книга закон установит для всех и для товарищча Вершкова тоже.

Вершкова уже голой рукой не возьмешь, он уже «при памяти и на коне»! Он заявляет, что той порой, когда отца увозили, в деревне его не было, на лесозаготовки мобилизовали, а то б он разве допустил?.. Да он бы суд со всеми его законами разогнал! Болтухина наганом прикончил и тюрьму по кирпичу разобрал, несмотря что она в городе и под вооруженной охраной. А что касается книги, то на всех книг не напасешься — раз! Уложения всякие таким людям, как они с Петрой,— не указ — они

были и до гроба останутся самыми верными друзьями — два!

Снова целованье, слезы, разговоры, песни и пляски. И все пытается, но никак не может выбрать времени Вершков рассказать, как долго болела и умерла Акулыша — его жена. Да и что ему рассказывать-то? Про то, как он доконал ее, надсадил, сломал ей жизнь? Катерина Петровна лучше них все и всем расскажет и добавит в заключение, глядя на друзей, все так же горестно качая головой: «А может, восподь-то смилостивился пад жэнщинами-страдалицами, избавил их от кровопивцев? Токо вот дети-то, дети сколь мук примут с такими отцами?»

Один только раз сходил папа на могилу мамы и сделал там сообщение: узнавши о гибели дорогой жены, хотел он разбежаться и разбить голову о каменную стену тюрьмы. Но отчего не разбежался и не разбил — пояснить не имел времени. Он пачал активно свататься, искать «ответственную» работу. И скоро исполнил и то и другое. В лесозаготовительном поселке Лиственном заделался завхозом; в соседней деревне Бирюсе отхватил мне «маму», от роду которой было восемнадцать годиков. Смазлива на лицо — докатились слухи до Овсянки, но нравом дурна, чуть ли не психопатчна. «Царица небесная! Да чё же это дется? На кого же он Лидию-то променял, страмина этакий! И чё же с Витькой-то теперь будет?!» — кляла отца и плакала бабушка.

Папа повез меня в поселок Лиственный — на смотрины. Катанчошки и одежонка на мне были худы, морозы тогда сухие в наших местах стояли, без слякотей зима обходилась, на реке, как определено было природой, лед стоял, зимник в торосах пробит. Меж скал каленый хиус тянул, и где-то за Усть-Маной, возле речки Минжкуль, я до того застыл, что мне уж никакую «нову маму» видеть не хотелось, я сначала тихонько заскулил, потом завыл на всю реку.

Обматерив меня для порядку, коня погнали в плохо пакатанный отворот. Сани бухали полозьями о льдины, строгались отводинами о зубья торосов, мы долго пересекали Еписей, затем еще дольше поднимались по мало торешной дороге в гору. Со всех сторон обступила нас и сомкнулась над дугой лошади тайга. Глухая, белая, с кое-где обнажившимися камнями дорога виляла, пехотя открывая нам желобок, усыпанный хвоей, семенами шишек и реденько чернеющими конскими катышами. Коло-

кольчик под дугой побрякивал негромко, мерзло, вещая о людском непокое и движении, поскрипывали стылými заветками сани, ударяясь на разворотах отводинами о близко стоящие деревья. Высоко уже в горах, где каменных останцев было больше, чем деревьев, с черной листовишницы снялся глухарь, дуром метнулся в серую смесь леса, хлестко ударяясь крыльями о мерзлые ветви. Лошадь, с испугу сбившая шаг, наладилась снова на мерный ход, клубок дороги все разматывался по лесу, белая ниточка ее все кружилась и кружилась, уводя пас к небу.

Но вот в гущине тайги, меж голых стволов, раз-другой мелькнула живая искорка огня и надолго пропала. Мне попритчилось, что едем мы «не туда», что увел, закружил нас лесной хитрый соседусшко. Однако вскоре лошадь облегченно фыркнула, надала ходу и даже рысцой затрусилa с горки; под полозьями скрежегнул камень, брякнуло чем-то о подворотню, и мы вкатились в старый двор с гостеприимно распахнутыми резными воротами, возле которых, прихватив у горла толстовязапуго шаль, стояла женщина, приветливо, однако без улыбки нам кланяясь.

Эта женщина и отхаживала меня, засунув мои ноги в лохань со снегом. Боясь громко орать в тихой, беленькой, пахнущей травами, пихтой, лампадным маслом и свежей известкой избушке, я ронял слезы на половики, в лохань, на горячую железную печку, и женщина шепотом, но настойчиво просила меня отворачиваться, чтоб на печку слезы не ронять — «глазоньки испекутся, красной болейшью покроются». Подслеповатая, не умеющая громко разговаривать, какая-то вся пушистая, она не руками, тоже пушистыми лапками касалась меня, гладила, мазала, и то место, которое она гладила, переставало болеть. Жгучую резь в руках отпускало, теплое успокоение окутывало меня.

Женщина дала мне долбленную из дерева кружку душистого чая. Я тут же вспомнил дедову кружку на заимке, и зачастили капельки из моих глаз. Женщина, как бы догадавшись, чего я вспомнил, провела ладонью по моей голове, выдохнула: «Дитятко» — и дала мне меду на блюдечке да еще ржаной пряник, похожий на плоскую, расстрескавшуюся дощечку. Я выпил чай, мед с блюда вылизал, пряник утянул в рукав рубахи. Женщина обняла меня и, словно большого, осторожно провела в боковушку, опустила на широкую лавку, застеленную войлоком и подушкой в бледненькой латаной наволочке. Побросав на меня крестики двумя соединенными пальцами, ровно бы не

ртом, выветренным листом прошелестела: «Положи, Господь, камешком, подыми перышком!» — задернула ситцевую занавеску в проеме и неслышно удалилась.

Какое-то время достигал меня говор мужиков — папы и конюха с поселка Лиственного, слышался приветливый и все такой же тихий голос хозяйки, редко и деликатно вступающей в беседу, но все плотнее затягивалась надомной цветная занавеска, глаза и слух прикрывало пеленою крепкого детского сна.

Лишь назавтра в пути узнал я, что ночевали мы в «страшном» Знаменском скиту, где живут староверы, раскольники и всякий другой уединенный люд, вызывающий почтительный трепет в округе и жуть в сердцах падких на суеверия овсянских гробовозов.

С «новой мамой» мы попервости ладили и даже песни пели дуэтом. Но после того, как папу с «ответственной работы» согнали и залез он в тайгу, на промысел пушнины, зажала семью нужда, начались у нас с «мамой» раздоры, постепенно переросшие в схватки.

Раз я бросился на мачеху с ножом, и она носила твердое в себе убеждение, что я в не столь отдаленный срок вырежу всю семейку и подамся в бега.

Несмотря на бездомовье и материальную неустроенность, пылкие мои родители быстренько произвели на свет ребеночка и, вернувшись из тайги, поселились было жить в Овсянке у бабушки, но она их скоро помела из своего дома. Папу моего бабушка терпеть не могла, называла трепачишкой, винила его, и не без оснований, в смерти мамы, хотя известно: смерть причину найдет. Мачеху же Катерина Петровна «не приняла», презирала, называя подергушкой, растрепой, кляла за то, что та долго любит спать, срамила за алябушник — непропеченный хлеб, за легкомысленный характер, бросивший ее на чужое дитя, когда и сама она, по заключению бабушки, «разуменьем еще не шибко богата».

Новой нашей «фатерой» оказалась сплавщицкая будка, стоявшая в устье Фокинской речки. Она была сооружена для пикетчиков и, пока не начался сплав, пустовала. Здесь, в этой будке, полутемной, готовой вот-вот свалиться во вздувшийся Енисей с подмытого яра, я снова захворал длинной и нудной болезнью — малярией и чуть было не бросил я тогда «чалку», по выражению удалых енисейских речников.

Бабушку ко мне родители не подпускали и «на дух», проявляя «принц» — умственное это слово папа тоже привез с Беломорканала вместе с «орденом», который потерял по пьянке.

Бабушка еще по ранней весне повязала мою голову венцом с тремя молитвами, я относил тот венец три дня, и она увела меня в лес, там сожгла бумагу под осиной, которую повязала лоскутом от моей рубахи, пепел же от сожженного бумажного венца растворила в пузырьке со святой водою, велела мне его выпить и кланялась осине, внушала ей взять мою трясуху, поскольку ей суждено вечно трястись, а «робенку» это дело ни к чему. Но ни пепел трех молитв, ни осина не помогли. Тогда бабушка стала учить меня заклятьям «от лихорадки», и так они были жутки, что я по сию пору не могу иные забыть; повторял я их не по три раза, а по триста раз на дню, однако без бабушки никакого мне облегчения от болезни не было, вместо бабушки являлись костоломные старцы, зверье оскаленное, черти, дьявольщина всякая, колотили меня, молотили, жарили, шарили, по постели волочили, все жилки и корешки во мне перетряхивали. Между приступами болезни, в весну, в половодье, все чаще повторяющимися, я мог бы сбежать к бабушке, но на моем попечении был маленький ребенок, керкающий в люльке, да и мачеха зорко меня стерегла. Охотно и к кому угодно сбывали меня родители на прокорм и догляд, но вот «принц», который скорее всего окончился бы для меня «могиленской губернией»: однажды я выполз на солнышко, на бережок и, кутаясь в старый отцовский шабурок, глядел в мутную воду Фокинской речки, поднятую подпором Енисея, и не то у меня закружилась голова, не то я и в самом деле мгновенно принял решение утопиться — опомнился уж в воде, остро полоснувшей по мне, стиснувшей тело ледяными оковами.

Как я выбрался на берег речки и оказался в избушке — не помню. Колотило меня после купания трое суток подряд и, выколотив из слабого парнишечьего тела все, что еще можно было выколотить, веснуха удовлетворенно стала отступать. Тут начался сплавной сезон, из будки пикетчиков семью нашу попросили. Мы долго не могли нигде определиться на жительство. Одни не пускали на квартиру из-за тесноты, другие из-за бабушки Катерины Петровны — уж шибко худого мнения она была о моей мачехе, хозяйки боялись, кабы папа мой не совратил хо-

зияна пьянством, совращались же гробовозы по части выпивки охотно и во все времена.

В нижнем конце села все еще пустовал крестовый дом деда Павла. В разгороженном пустополе двора зарастали бурьяном колотые столбы, окна в доме перебиты, рамы выдраны, из-под надбровников свисала куделя с запутавшимися в ней перьями и остатками воробьиных гнезд. Папа, промышлявший на селе цирюльным ремеслом, которое он усовершенствовал в заключении, уже и не решился проситься в родной дом, в колхоз его не приняли, да и делать ему там нечего было — мельницу на Большой Слизневке смыло, сам колхоз имени товарища Щетинкина разваливался под руководством тетки Татьяны, Ганьки Болтухина, Митрохи и Шимки Вершкова. Тетку Татьяну и Болтухина в конце концов с руководящих постов согнали, председателем колхоза выбрали наезжего умного человека по фамилии Колтуновский, но дело было так уж завалено, что и он поставить на ноги артель не сумел. В тридцать девятом году колхоз в нашем селе перестал существовать, земли его были розданы городским организациям и подсобному хозяйству сплавной конторы.

Прослышав о диких заработках, какие огребали жители знаменитого города Игарки, не умеющий унывать мой папа и младая годами и умом мачеха решили двинуть в Заполярье, откуда изредка приходили письма, торопливо писанные дедом Павлом. Папа мой еще в молодости плавал на Север, под Гальчиху, — рыбачить, шибко разжился тогда деньгами и в успехе нынешнего предприятия не сомневался, твердо веруя, что сделает жизнь нашей семьи зажиточной, радостной и докажет еще этим овсянским гробовозам, как он разворотлив, предприимчив и не зря носит «масло в голове».

Жили мы в ту пору у какого-то дальнего родственника папы. Взявши слово, что не будем скандалить, воровать дрова, папа покажет хозяину в тайге солонцы, давно им сделанные для приманки маралов, и, кроме того, подстрижет всю семью под городскую «польку-бокс», родич пустил на «фатеру» в подвальный сырой полуэтаж, где веснуха обрадованно воспрянула и взялась трепать меня с новой силой.

Приходила бабушка Катерина Петровна, увещевала моих бойких на язык и скорых на ногу родителей, пробовала оставить меня, ослабленного лихорадкой, в деревне. «Уж как-нибудь двое сирот проживем, с голоду не пом-

рем, а и попрем, дак вместе...» Не вняли родители словам бабушки. Папа гневался, ругал старуху, и она удалилась с плачем со двора — подалась на кладбище, зная, как часто неведомая сила влечет туда внука, надеясь там повстречаться со мной, пожалуй, достать из фартука раскрошенную шапку и скормить, жалуюсь деду, маме и всем родичам, собравшимся в одной оградке, на мою и свою долю, на этакое обращение «супостата», которого она еще при жизни Лидиньки видела «скрозь», но он обкрутил, оболгал, обжулил всех, и вот что теперь получилось...

* * *

И в последний перед отъездом вечер, пока родители готовились гулять отвальную, я утащился на кладбище. Когда-то кладбище было на задах села, на берегу Фокин-ской речки, которую из-за мелководности еще и Малой зовут. Вплотную к кладбищу подступал и нависал над ним серый каменный останец, поросший поверху бояркой и земляничником. В навесах его, по выступам и щелям цеплялись примулки, щипицы, каменная репа, выступало из щелей мокро, понизу бычок был весь во мху. На останец собирались девки и парни, сидели там, обнявшись, пели песни, щупались, дождавшись, чтоб упала темень на округу.

Потом кладбище с двух сторон обступили дома, по-за речкой образовалась завозня-мангазина, сторожка Васи-поляка. И кладбище, если смотреть с увалов, вроде большой слезы вкатывалось в самую серединку села; когда начались преобразования, колыхнулось, рассыпалось село, дома снова отступили, прижались к реке, кладбище снова выпросталось из деревенских закоулков, одиноко зазеленело под скалой, лес к нему снова подвалил, песни на останце смолкли. А птицы и всякая лесная живность никакой разпицы не понимали меж «своим домом» и последним человеческим прибежищем, жили, пели тут, вили гнезда, кормились с могил, и как только взошел я на бугорок, увидел бурундучка на мамином кресте. Он умывался лапками и насмешливым глазом глядел на меня. Крест на мамину могилу делал Зырянов, с фасонными округлостями на вершине и на концах перекладин. Лиственничный крест стоял основательно и по сю пору еще стоит среди кладбища. Над ним возвышалась рябина. Узловатая сосна с большими, почти голыми нижними ветками опутала кор-

ниями соседнюю притоптанную могилу, вобрала в себя чей-то прах и перекинула лапы в «нашу оградку».

Бурундук с креста метнулся на сосну, стал играть со мной в прятки, то удерживая полосатую головку за ствол дерева, то высовываясь. Я оперся подбородком на острую штакетину оградки и смотрел на мамину могилу, не зная, что сказать, что сделать и как расстаться с нею. Бурундук спустился на нижний, надломленный сук дерева и оказался над самой моей головой. Нервно подергивалась его красивая головка, подрагивал кончик задиристого хвоста, бурундук коротко и тревожно чикал, будто бил кресалом по кремню. Чиканье участилось, бурундук всполошенно метнулся по стволу сосны, рассыпав переборы свиста. Сзади раздался шорох, кто-то шел, шепча молитвы, раздвигая перед собой палкой жалицу.

Я услышал бабушку.

Молча вошла она в оградку, стала на колени, трижды поклонилась могильным холмам, поцеловала землю и принялась творить молитву. Я все висел подбородком на копье штакетины и не мог заплакать, не умел ничего сказать, молиться отучился в школе. Бабушка, треща суставами, поднялась сначала одной, затем другой ногой, бормотала о земле, которая ее уж к себе тянет, и писколь бы она не против лечь рядом со всеми своими, успокоиться да повиноватиться перед Лидинькой.

При слове «Лидинька» у меня закипело в груди, слезы начали подниматься к глазам, и я хотел их, слез-то, утешения какого-нибудь хотел, но с чего-то опять запаниковал бурундук, опал с сосны на рябину, с рябины скакнул на крест, с креста метнулся в кладбищенскую дурнину и желтым лоскутом мелькнув, исчез в лесу.

— Бурундук! — Бабушка перекрестилась. — Зверюшка безвредная, а все зверюшка. Поди-ка не к добру? Ой, не к добру! — и покачала головой.

Мы долго молчали.

— Ваши-то гуляют? — Я ничего ей не ответил. — Проститься-то прибеги. Я подорожников испеку... — Она еще повременила, постояла горбясь, опершись на палку, и, не дождавшись никаких от меня слов, низко поклонилась могиле мамы, распевно, однако без обычной напускной жалости, начала: — Лидия Ильинична, голубица ты моя ясная! Погляди, послушай в остатный раз сыночка своего горемышного. На чужу сторону, в разлуку вечну увозят его искарיותы...

— Не надо, баб...

— Э-эх-х-хо-хо-о-о-о! — вздохнула бабушка. — Плакать не смею, тужить не велят. — Вытирая костистым суставом пальца мокрые морщины под глазами, она пошла с кладбища, раздвигая перед собой таяком жалицу, лебеду и коноплю. По ее сторбленной спине и по резким выпадам таяка, которым она, точно саблей, срубала жалицу, напревшую на жирной могильной земле, я угадывал: бабушка раздосадована чем-то, может, и мною — не дал вот ей излить душу, всласть покостерить моих родителей.

Все не оставляла меня веснуха, таилась во мне, проклятая, все осердие мое, бывало, сотрясается, как она пройдетя по телу, губы шлепают, свистят и разом терпнут будто луковок борца я наелся. Чуть еще посерело в распадке, едва вечерней сыростью с гор нанесло, трава не затяжелела от сырости, а уже пузырьчики под кожей у меня покатались, лопнули, рассыпались по всему телу холодными брызгами, заплясали губы, застучали челюсти, что сторожевая колотушка.

— Прощай, мама! — тихо вымолвил я, приостановив в себе дрожь, еще хотел добавить: «Прости меня», да зряшное все это, притворное. За что ей меня прощать-то? За то, что покидаю ее? Так ведь не по своей охоте и не живую покидаю. Живую я во веки веков не покинул бы, держался б за нее и, когда вырос, работал бы дни и ночи, в хорошую больницу определил — ноги у нее больные были, — чтобы не маялась ногами. Я все сделал бы, чтоб здоровая была мама, чтоб хорошо ей на этом свете жилось.

Но зачем об этом толковать, пусть и с самим собой? К чему о несбыточном думать? Пусть и про себя. Только душу травить.

* * *

Отвальную пили наверху, у хозяина. Когда я вернулся с кладбища, гулянка была в самом распале: папа плясал, мачеха с подвывом смеялась, трясла головой, повествуя, как приехала к ним в Бирюсу молодая учительница, объелась черемухи и какие действия с нею после этого начались. Всякий раз, когда душу мачехи посещало светлое настроение, она с большой охотой повторяла этот любимый свой рассказ.

Я залез на печь, укрылся каким-то тряпьем, прижался

грудью и животом к кирпичам — тело мое обрадованно пустило в себя тепло и стало бороться с занявшимся ознобом. Кто-то заголил занавеску на печи, сунул мне постряпушку.

— Чё, опять его лихоманка трясет? Вот привязалась! — сказала мачеха внизу, напуская на себя озабоченность, но вякнула гармошка, звуки ее вознеслись к потолку, ударились в бревна стен и, отпрянув от них, выплеснулись в распахнутые окна. «Н-не для-а лю-убви, а-я для за-ба-а-вы-ы-ы-ы и эх, о-оен использова-ал мии-ия-а-а», — грянуло застолье.

Про меня все, слава Богу, сразу забыли, от тепла, от вкусной печенюшки озноб откатил. Под гармонь и песни я уснул, и виделась мне бабушка в черных одеждах. Опершись на черемуховый таяк, она нависла над окном, почти вросшим в землю, метала в полуподвал шаньги, молила, просила: «Батюшко! Поддай голос! Живой ли ты, кровинушка моя? Не свели тебя ишшо со свету искаримоты?!» Было такое, приходила опять бабушка, опять ее ко мне не пустили. Тогда она стала перед окном на колени; кидала мне лепешки, причитая при этом так, чтоб слышно было всей улице. Я просил ее уйти домой, потому что мачеха срамила бабушку, фуганула лепешки обратно, и они лежали в пыли, эти дорогие ныне для бабушки постряпушки из горсти муки, насыпанной ей сыновьями иль другими родичами: не стало кормильца в доме. Отяжелел, измучился в работе дед Илья Евграфович. Отбив последний свой срок на земле, он еще сходил в баню, обмылся, надел чистое, лег на свой курятник, уснул и больше не проснулся. Тихую, без мучений, принял кончину дед. Он ее такую заслужил — единодушное было решение на селе.

Все стояла бабушка в черном, все звала. Я пытался откликнуться, попросить, чтоб она шла домой, не мучила бы себя и меня, но никак не мог проснуться, бился на печи. Помогла мне пьяная компания. В какой-то совсем уж, видать, поздний час дом охватило волнение — в горницу залетел и метался страховидный нетопырь — летучая мышь. Резиново ударившись в стену, нетопырь брякнул железным абажуром лампы и комочком упал на стол меж тарелок.

— Ай! — взвизгнули бабы.

Папа зажал нетопыря в платок, отнес на улицу и, матюкнувшись, выбросил.

Гуляки насторожились. Папа и мачеха присмирели —

негопырь залегел в человеческое жильё к беде! «Ой, не ездили бы вы, Пётра, никуда», — начали увещевать папу женщины. Но папа, когда его так вот, по-доброму, о чем-то просили, еще пуще хорохорился, упрямей устремлялся к намеченной цели и выкрикивал, что ему-де все нипочем и оп-де еще всем в натуре докажет там, на далеком Севере, как надо жить и работать. У меня совсем томительно сделалось на душе. Два раза за один вечер услышав «Ой, не к добру!» — я и в самом деле склонился к мысли, что все эти явления: бурундук на кресте, негопырь в избе, бабочки да тля разная, густо залепившие лампу, недоброе нам знамение, и папина отчаянность не от добра, от вина и боязни его перед будущим проистекает. Перебрав, папа, как всегда, долго не сдавался сну, сидел под лампой у окна, курил, рассуждал сам с собою вслух насчет жизни нынешней и грядущей, живо при этом жестикулируя и упиваясь собственным красноречием.

* * *

Уплывали почему-то рано. «От сглазу», — как потом догадался я. На реке еще клубился, а под ярами сугробно лежал туман. Было холодно, сыро и одиноко. Хозяин нашего последнего на селе пристанища провожал нас и старался сделать это как можно скорее, чтобы добрать на утра недоспанное. Папа был пьян еще и сердит. Сгружая на плотик узлы и две кадушки с огурцами, он оступися, зачерпнул в сапоги и на мой просительный взгляд отозвался громкой бранью, из которой следовало, что мы и без того опаздываем на пароход, недосуг ходить-расхаживать куда попало.

Не дано мне было попрощаться с бабушкой, и я этого никогда не прощу заботливым родителям.

Хозяин бросил веревку, натужившись, оттолкнул плот багром, мачеха с папой ударили потесями, нас подхватило течением и понесло плот в проран между бонами. Я держал на коленях безмятежно спавшего браташа Кольку, который не запомнит и никогда больше не увидит родного села.

Погруженное в сон и тишину село это отдалялось и отдалялось. Я вытягивал шею, пытаюсь увидеть бабушкину избу, но и в прибрежном-то посаде дома лишь тенями, углом крыши или бани, горбиной амбара, звеном прясла, растянутого гармошкой, проступали из тумана, да скворечни, много скворечен без опор, сорванно плавали над

туманами, и на них, выставив пузцо, отряхивались на утренней зорьке, готовясь к утомительной работе, черные скворцы.

Где-то шумела Малая Слизневка, но где шумела — не видно, будто в туманном бреду турусилась речка. Зато горы, леса и скворечни уже с жердями прорисовывались все явственней, осаживало туманы, за ними начинало желто обозначать себя солнце. Кулики и плишки, береговушки и стрижи засустились у реки и над рекой, свет над лесами разливался шире, ярче, слышнее сделался плеск Енисея — мы выбились за боны. Прорычала и кособоко, бугристо промелькнула вздыбленная вода на той самой головке боны, о кою ударилась лодка, — в ней плыла мама с передачей папе. Скрипя расшатанными шпонами, боны все истоньшались, вытягивались шиткой, шум воды, охлестывающей их, умолкал. «Зачем же ты, мама, не взяла меня тогда с собою в город? Не разбудила! Пожалела! Были бы сейчас вместе, и сестренки, что до меня жили, и ты, и я... Куда мне плыть с этими вот? Зачем? Кто они мне? Кто я им?..»

Глубокое, недетское отчаяние рвало в те минуты мое сердце, а было мне одиннадцать лет. Но я по сю пору вживе ощущаю ту дальнюю боль, слышу в себе рану, написанную тем, что не дозволено было мне проститься с бабушкой. Ведь где-то тайно, про себя, я надеялся: она не отдаст меня, не отпустит, спрячет надежно, укроет от родителей, мне никуда не надо будет плыть-ехать, и снова нам станет хорошо жить.

Отдалился, минул шум и Большой Слизневки, его как бы втянуло обратно в горы, в леса, и все село всосало в себя паром земли, может, и сама земля — ни голоса человеческого, ни бреха собачьего, и рожок пастуший не звучит. На нас надвигались каменные оплеухи — скалы, впереди раз-другой оказал себя Собакинский остров, катился, нарастал, близился рев Шалуниня быка, который мы должны миновать мористой, пройти до города самой стрежиной — так было намечено папой.

У самых ног кружилась голубовато-холодная вода. Плот качало, расшатывало, быстро несло вперед и вперед к закрытому туманом городу. Мерно, будто очеп люльки, поскрипывала кормовая потесь, возле которой прикемаривал папа. Мачеха свою потесь вынула из воды, загиснулась в узлы, прижала к себе Кольку. Вайны, скрепляющие бревна плота, перетирало проволокой, плот скрипел, хля-

бался, туманы вовсе смахнуло с гор, они плотно сжали реку и пространство вокруг нас. Скорлупку плота как хотело, так и кружило, куда хотело, туда и несло. Несло же, конечно, в преисподнюю, а раз так, то и скорбеть не о чем, и бояться нечего — все там будем, заверяет бабушка Катерина Петровна. Безразличие ко всему овладело мной. Я вздохнул со стоном, протяжно, по-церковному отрешенно: «Во сне даже лучше погибать, незаметно и нестрашно». И куда-то покорно опал, овеянный речной прохладой, меня тоже закружило течение легкой сухой коринкой.

Где-то, в какой-то час все начало меняться. Сонное тело сдавило, голова налилась свинцом, сердце стиснулось в груди, воздух загустел, будто в бане, горячо обжигал нутро. Я проснулся от нестерпимо палящего солнца, очумелый, расслабленный, долго не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Шатаюсь, я подошел к краю плота, лег на живот, попил воды, обмакнул лицо, затем и голову в реку. Колька хныкал, выпрастывался из одеялишка. Мачеха вылезла из узлов, косматая, недовольная, широко зевая, шарясь пятерней в волосах, постояла средь плота, подумала о чем-то, вытерла мокрою Кольку.

Плот учалец возле речки Гремячей. Чуть ниже речки начинался город. По мосту гремели поезда, лягг и разногосица паровозных гудков доносились со станции. Ближе других строений был к нам мелькомбинат с безглазыми кубическими сооружениями, поштукатуренными по щелям. Чудища — пузатые, ослоенные мертвенно-серым налетом, таили в своей утробе глухоту. Совсем непохоже на мельницу.

От мелькомбината в реку спускался загороженный транспортер, к которому прилепилась баржа. Транспортер пыхтел и хукал, высасывая из баржи пшеницу. На барже пошумливали помпа, лилась с высоты из патрубков вода, разбиваясь в брызги. Мужик в черных валежках и белых подптанниках просеменил к нужнику, висящему над рекой.

Отец ушел в город за лошадыю. Мачеха сбегала на берег, за камни. Колька заорал, решив, что ненаглядная мама покидает его навсегда. Мачеха звонко его шлепнула, но не утолила тем свое неудовольствие, и тут как тут я подлил масла в огонь — заглядевшись на городские диковины, уронил в воду эмалированную кружку. Мачеха отвесила и мне крепкую затрещину. Все правильно. Зарабо-

тал, не открывай широко варежку-то. Папа все не появлялся и не появлялся. Я стал думать, что из-за кружки, хотя она и эмалированная, совсем необязательно давать такую сильную затреципу, можно и внушением на первый раз обойтись. Я ж ее не нарочно утопил! Стоим вог, ждем, с бабушкой не дали проститься. Некогда, видите ли! Опаздываем, понимаете ли! На пароход! Все-то у нас походы, все-то пароходы! Все-то мы ездим-катаемся, счастья ищем. У-ух, за-р-р-ра-зы!.. Пусть еще хоть раз тронет меня эта самая мама, тогда узнает она, где ждет ее счастье, увидит баржи и пароходы, самолеты и пароходы — весь транспорт разом!..

Колька егзился, егзился в уздах, вывалился наружу, трахнулся лбом о бревно, покатился ногами кверху дальше, чуть в реку не угодил. Там его только и видели бы! Вода возле Гремячего лога отбойная, течение изорванно-дикое. Мачеха сгребла Кольку, задергалась, запричитала, супула присмирелого ребенка обратно в узлы и принялась со щеки на щеку хлестать меня. Поскольку я не чувствовал за собой никакой вины и считал, что за кружку мне попало зря, я толкнул мачеху. Не ожидавшая от меня сопротивления, мачеха замахала руками, закачалась и ухнула в реку с головой. Выбившись наверх, она молотила ногами и руками, пробовала кричать «караул!», но захлебывалась водой. И «отдала бы чалку», но я спустил с козлины потесь, мачеха цепко поймалась за нее, потом за меня, выбралась из воды, очумело огляделась и, поняв, что жива, задергала головой, запричитала. Получилось так, будто гоню ее на чужую сторону, на верную погибель я, клятый и переклятый выродок, бандюга, павязавшийся на ее бедную головушку.

Радый, что все так благополучно кончилось, я уж ничего ей не говорил в ответ.

По верхней дороге, пад речкой Гремячей, загрохотала телега. Лошадь, упираясь ногами в сыпкий камешник так, что хомут с нее снимался, спускалась вниз, к реке. Мачеха закрылась платком, взывала громче прежнего.

— Чё у вас тут опеть?

Мачеха возвела навет, будто я пытался перетопить все семейство: и ее, и Кольку — не дали, видишь ли, злопмятному гробовозу попрощаться с родимой бабушкой. Сегодня, слава Богу, обошлось, спасли люди добрые, но за дальнейшее ручаться нельзя — утопит, зарежет, подожжет, чего хочешь сделает с ней и с ребенком, пото-

му как характером весь в потылицынскую родову, а родова эта известно какая: молчит, молчит, да как ахнет!..

Отец прикрикнул на причитающую мачеху, мне же показал на Николаевскую гору.

— Видишь эту гору? — горестно сомкнув губы и скорбно моргая уже захмелелыми глазами, поинтересовался родитель. Я кивнул, вижу, мол, отчетливо вижу. — В натуре видишь? Там, на горке, — белый-белый домик есть! Краева тюрьма называется. Твой родимый дом это будет, милый сыночек! — Отбыв несколько месяцев в белом домике до отправки на Беломорканал, папа отчего-то исто-во желал, чтоб весь извилистый жизненный путь его непременно был повторен детьми.

По дороге в Игарку без приключений у нас тоже не обошлось. Папа кутил, угощая огурцами из кадок дружков, коих он заводил мгновенно и в любом месте. Я попеременно с мачехой, когда пароход останавливался брать дрова, отправлялся за кедровыми шишками и ягодами. На большом Медвежьем острове, заслышав гудок, который имеет свойство дугой перегибаться над островами и откликаться на протоке, я и еще какой-то парнишка ударились бежать в иную от парохода сторону. И чем сильнее, чем залошней ревел пароход, тем стремительней мы летели в глубь острова. Почуввав совсем уж глухую, темную тайгу, рванули мы обратно и были схвачены матросами. Они на ходу поставили нам компостеры сапогами в зад, побросали в шлюпку и устремились к пароходу, который из-за нас задержался на полчаса, — папа многие годы корил меня тем, что «высадил» тогда тридцатку штрафа. Но я не верил ему уже ни в чем и насчет тридцатки сомневаюсь по сию пору.

Приехавший на игарскую пристань встречать нас на подводе — так телеграммой велел папа — дед Павел вытаращил свой единственный глаз, и мне даже показалось — глаз у него завращался колесом — так поражен был дед явлением семейства старшего сына. Когда из двух кадушек выловлено было пяток раскисших шкур от желтых огурцов, плавающих в мутном рассоле, дед и глазом моргнуть перестал. Усы его, воинственно острые, обвяли, понял дед, что мы явились не только без имущества, но и без копейки денег в его барачную комнатенку, где и без нас народу было завозно.

Однако дед Павел был человек разворотливый, находчивый и быстренько пристроил моего папу на упущенное

«по дурусти» золотое место продавца в овощном ларьке. Следом за папой и мачеху сбыв дед, меня же подзадержал, учуяв рыбацкой страстью подточенную душу и попяв, что такого незаменимого покрученника ему не сыскать во всей Игарке.

В середине зимы бабушка из Сисима заставила меня навестить папу, чтоб он вовсе не позабыл о родном дите, надеясь потихоньку, что родитель подсобит мне деньгами, купит чего-нибудь из одежки, потому что щеголял я в обносках дядьев. Папа был на развязях, оживлен, боек, с треском кидал косточки на счетах, забавлял покупателей, особо покупательниц, прибаутками: «Всем господам по сапогам, нам по валенкам!», «Двадцать по двадцать — рупь двадцать плюс ваша пятерка — что мы имеем?! В уме?» За ухом папы торчал голубой карандаш, придавая ему вид не только деловитый, но и многозначительный. Он не торговал, он царствовал в овощном ларьке. От головы и усов его на все торговое помещение кружило запахом одеколona и водки, перешибающих запах гниющих овощей и нездешней, назьмом отдающей, земли. Одет был папа в синий сатиновый халат, распахнутый так, что видно было новый костюм, голубую рубаху. На руке родителя чикали, шевелили стрелками огромные зимовские часы.

В больших старых валенках, в заплатанной тужурке сельского образца, в драной шапке я мог своим видом оконфузить, подвести перед публикой блистательного родителя. Да куда денешься? Свои люди! Как ни был запят папа, все же заметил меня, мимоходом сунул рубль «на конфетки», велел приходить потом — дальше ему со мной вращаться было недосуг. Моментально мы были отторгнуты друг от друга бурным ходом торговли. «Э-эх, все у меня не так, всюду лишний, никому не пужный... В леса уйти бы, одному жить, но скоро морозы грянут, а в здешних лесах и летом-то не больно сладко жить-существовать. А! Была — не была! Куплю-ка я на рублевку чего-нибудь лакомое. Конфеты не стану — конфеты и пряники я пробовал, хоть и редко».

Проявив споровку, купил я на весь целковый ореховой халвы, которой объелся до того, что отбило меня с той поры от нее напрочь.

Скоро овощной ларек закрылся — овощи ли все проданы были, проторговался ли папа — не знаю. На неопределенное время пути наши вовсе разошлись, мы потеряли друг дружку из виду. Как-то дядьки-гулеваны запесли слух,

что папа мой пристроился работать в парикмахерскую горкомхоза, и я заключил, что дела родителя совсем плохи — стричь он мог деревенский, неразборчивый люд под какую-то самолично изобретенную «польку-бокс», брил лишь самого себя, да и то по нервности характера резался, резать же себя — одно дело, и совсем другое — пластать клиентов, пусть даже клиенты те ко всему привычные, все невзгоды перетерпевшие игарские жители-заполярики.

КАРАСИНАЯ ПОГИБЕЛЬ

Как и у всякого нормального человека, у меня было два дедушки. Если природе и судьбе угодно было выбрать мне в деды двух совершенно разных людей, сделав меня тонкой прокладкой между льдом и пламенем, — они с этой задачей справились и сотворили даже некоторый перебор.

Крупному, молчаливому человеку, земному в деяниях и помыслах, Илье Евграфовичу противостоял чернявый, вспыльчивый, легкий на ногу, руку и мысль, одноглазый дед Павел. Он умел здорово плясать, маленько играл на гармошке. Войдя в раж, дед хряпал гармошку об пол, сбрасывал обутки и такие ли выделявал колена, вращая при этом единственным глазом, потешно шевеля усами и поддавая самому себе жару припевками: «Эх раз! По два раз! Расподначивать горазд! Кабы чарочку винца, два ушата пивца, на закуску пирожку, на потеху деу-у-ушку-у-у!» Выстанывая слово «деушку», дед воспаляюще сверкал глазом и пер' на какую-нибудь молодку, вбивая ее в конфуз и панику. Дед Павел был еще лютым картежником и жарился не в заезженного подкидного дурака, не в черви-kozyри иль мещанского «кинга», а в «очко» и какого-то «стоса». Что за игра такая — «стос» — не знаю, но слово это пронзило память и пугает меня по сей день. До жуткого содрогания доводили не только меня, малого человека, повергали в ужас и взрослое население дедовы заклятья, творимые во время картежной игры: «Черви, жлуди, вини, бубны! Шинь, пень, шиварган! Шилды-булды, пачики-чикалды! Бух!»

Занимался дед Павел рыбалкой и охотой, без особого, правда, успеха. Менял лошадей, собак и засорил завезенными из города чудищами благородную породу охотничьих ласк в нашем и окрестных селах. Хлебопашеством, землей и каким-либо устойчивым делом дед Павел не занимался и о постоянном труде понятия не имел. Сшибал подряды на заготовку дров и дегтя, перегон плотов и валку леса, выжиг извести, пиление теса и даже мрамора; ходил в извоз, устремлялся к молотильному делу, но после того, как порушил несколько молотилок и не смог их наладить, стал кренигься к коммерции.

Сесть, задуматься, взяться за ум, как старомодно выражалась моя бабушка Катерина Петровна, деду Павлу было попросту недосуг — жены не держались в его дому, сламывались от бурности жизни, валились под напором пылкой патуры деда, оставляя малых сирот. Дошло до того, что в ближней местности не находилось больше отчаянной девки или бабы, которая пожелала бы войти хозяйкой в дом деда. И тогда дед задумал и осуществил дерзкую по тем временам операцию: нарядился в хромовые сапоги, надвинул картуз на незрячий глаз, прихватил гармошку, дещжонок и двинул в глухие верх-енисейские края. Там он, как выяснилось после, показал размах, удивил музыкой, веселым нравом, аккуратностью в одежде и намеками на «богачество» несколько верховских деревень, населенных скромным крестьянским людом. И в небольшом сельце с прелестно-детским названием Сисим высватал выросшую в сиротстве молодую красавицу Марию Егоровну, представившись невесте председателем потреббилочки, и, подтверждая на практике свои коммерческие склонности, для пачала наполовину обсчитал ее в детях.

Великие муки припявшая за мужа, за детей, им нажитых, Мария Егоровна — бабушка из Сисима — впоследствии с улыбкой рассказывала о том, как прибыла супружеская чета с верховьев в Овсянку и как по мере приближения к родному берегу смирил и заискивающе-ласковым делался бравый жених.

— Пристал наш плёт. — Бабушка из Сисима прирожденно меняла звуки в иных словах, и они у нее получались неповторимо-музыкальными, какими-то детскими, что ли. Меня, к примеру, она звала так, как никто не звал и не мог звать — Вихторь. — Пристал плёт, а оне, ребятишки-то, как высыпали на берег!.. Большие и маленькие, в штанах и без штанов. Гляжу, горбатенький один вертит-

ся, трещит. Спрашиваю, чьи это ребятишки-то? — «Наши», — повинулся Паиль, — Ну, наши так наши... — Поплакала я да и потянула воз, Богом мне определенный.

Дед Павел мечту осуществил-таки, заделался председателем потребиловки. Пережив почти полное угасание, торговое дело в конце двадцатых годов начало обретать по-сибирски небывалый размах и не могло не захватить такого делового человека, как мой дед. Гулянки в доме деда ширше, многолюдней, размашистей пошли, зачастили в Овсянку из города специалисты, да все зпатные, все по торговой части и по юриспруденции. Скачки, тяжба на опоясках, пальба из ружей, песни и пляски до упаду. Бабушка из Сисима и глазом моргнуть не успела, как образовалось у нес собственное дите — Костька.

К той поре, как двинуть по своей доброй воле нашей доблестной семейке в Заполярье за фартом и мне «открыть» своего второго деда, все у него уже образовалось: Вася и Ваня работали на лесобирже, Костька — родной сын бабушки из Сисима — ходил в школу, дед рыбачил либо играл в карты в бараках вербованных сезонников, «сяма» служила домработницей у доктора Питиримова. Вся остальная семья спала, впаянная мертвыми телами в непробудную вечную мерзлоту.

Прибыв в Игарку, отец и мачеха «забыли» меня в семье деда Павла. В барачной комнатенке ютились пятеро, но, хочешь не хочешь, пришлось им потесниться и выделить пространство шестому — я спал под столом. «Дитяtko не рожено, не хожено, папой с мамой брошено», — похохатывал дед. Поначалу был он ласков со мной, жалел, даже баловал сахарком либо конфеткой-подушечкой, потому что выдержать долго его никто не мог и напарника на рабылке у него не было.

— Ладно, Витька, не радуйся, нашедши, не плачь, потеряв, да еще таких родителей, мать их перемать! — ободрял он меня. — Вот наступит ход рыбе, и мы с тобой двинем на реку...

В ту пору дед сторожил овощехранилища. Было дело, торговал он овощами в ларьке, но, войдя в размах коммерции, где-то просчитался, скорее всего проиграл вырубку в карты, сдва ноги унес из прокуратуры, заняв дещег у доктора Питиримова на покрытие недостачи, и почел для себя более спокойным занятием не продавать, а сторожить овощи, «само же золото место» передать подвернувшемуся к моменту старшему сыну.

Спустя рукава, наплевательски, можно сказать, относился дед Павел к обязанностям сторожа, сдается мне, он презирал свою должность. Захватив казенный дробовик, дед Павел ускользал от овощехранилища в известный лишь ему барак с неусыпно мерцающим окном, шухом картежника чужая за ним соратников по азартному ремеслу. Не знаю, выиграл ли он чего, но бит бывал. Частенько разымал дед Павел платок на глазу, зашторивал им верх лица. Усы, всегда лихо закрученные, — «не беда, что редка борода, абы ус кольцом!» — у него иной раз были какие-то усталые, измочаленные. И не раз я слыхивал от деда со вздохом произносимое: «Не за то мать сына била, что играл, а за то, что отыгрывался».

Пагубу свою — картежную страсть — дед Павел тайл всеми доступными средствами, но все-таки доводилось мне видеть его в игре, и до полного потрясения поражало меня дивное преображение человека. Вперед всего замечались дедовы усы, и не просто усы — крылья сокола, да что там сокола, самого орла крылья! На суховатом, изветренном лице, заканчивавшемся несоразмерно крупным, властным подбородком, парили те крылья в ветровой выси, то загигбаясь одним концом, то рассекая встречные вихри другим. Опадали оба крыла к углам рта, как бы в полном изнеможении, дед принимался их жевать — конец полету, крах жизни, судьба разбита.

Но мысль работала напряженно, мысль не утасала, она искала хода, билась в глухой тьме о коробку черепа и с муками выпрастывалась из заперти. Вздрогнуло, затрепетало, выровнялось, начало подниматься в выси и само собой заостряться одно, затем другое крыло, ощупью пока, словно бы обретая уверенность, усы подрагивали, шевелились, трепетали кончиками и снова взмывали, кружились и летели в гибельно-сладкую стихию страстей. Над усами, на затвердевшем, то бледнеющем от напряжения, то вспыхивающем жаркой радостью лице совсем отдельной сосредоточенной жизнью жил глаз деда, чуть притуманенный хмелем вдохновения. На миг, на краткое мгновение покидала бесстрастность лицо деда; воинственной, беспощадной сталью взблескивал глаз, и сразу вспоминались кинжалы, сабли и вообще все смертельное, острое. Но мгновения эти и остались мгновениями, дед не давал воли своим страстям, гасил роковые силы, способные разорвать его и все вокруг на части, оттого и глаз, в иное время бешеный, вертящийся колесом, теплился за при-

щуренной ресницей вкрадчивым огоньком: иди, иди, ротозей, на тот огонек, на ту приветную щелочку в оконном ставне, ошморгают тебя, обдерут — и жаловаться некуда, поскольку сам пришел, сам фарта жаждал, сам башку под топор подставил...

Конечно же, как и всякий заядлый картежник, дед сыпал во время игры каламбурами, присказками, издавал вопли, стоны, замирал в стойке перед явной добычей и тут же хватался за голову, рвал волосья, бросал карты на пол, топтал их, выключался из игры, опускал голову, решая вопрос жизни и смерти.

Но упадок сил, полное разбитие души и тела происходило недолго. Одна-другая реплика, хохоток, присказка достигали слуха деда, он озирался, будто после обморока, цепляя взглядом огонь лампы, замечал колоду карт, ловкое мелькание рук в застолье, шлепанье карт о столешницу; глаз его начинал моргать, шевелиться, усы восстанавливались во всей силе и красоте, и, гаркнув что-то лихое, словно бы мчась на тройке под гору, он бросался к столу, на ходу выная из-за голенища бродней последние, на табак оставленные рубли. «Золотые, налитые, эх, конечки огневые, мчите во дьяволы врага! — швырял он рублишки на стол. — Сдай, кормовой, еще по одной! Не блефуй, не мухлой! Черги сжарят на том свете! Карта-мать! Карта-ладь! Жись-копейка, с фартом — рупь! Перебор, как забор, на ем не только кустюм, подштанники оставишь!.. Ах, милаха! Ах, деваха! Дама с усами да еще дама с бородой! Знать Феклу по рылу мокру! Лучше бы удавились иль моей жене явились! Говорено же, говорено: не называй котят мышами — кошка слопает. Все! Последний раз в жизни ставлю! Бахилы! Новые бахилы на кон! Себе, не вам, перебор не дам...»

Бывало и это. Ох, бывало! Являлся дед домой босиком и подвергался такому посрамлению, что, казалось, не только в карты, он в лапту играть не решится. Бабушка из Сисима, которой дед был всем обязан и виноват перед нею на веки вечные, умела, как и всякая русская баба, обратить потраченную ею во благо семьи доброту на угнетение супруга, повторяла, что грешное его тело и душу съело, что «сельце» ее уже почернело все, срам и стыд она терпит такой, что хоть от доктора Питиримова из домработниц уходи, что молодость и жизнь ее загубил, а какой пример подает сыновьям и внуку?

Ну и всякое такое. Чтобы поменьше торчать на глазах

«сямой», дед подавался «к себе», пропадал с весны до осени на реке, сам себе он там царь, бог и вообще вольный человек.

Бабушку из Сисима дед уважал, наверное, даже и любил — самую лучшую рыбу не съест — домой отвезет, ягод насобирает, орешков набьет, копейку, где-либо добытую, за рыбу вырученную, мимо дома не пронесет, утаит самую разве малость — на вилице да на картишки. Бабушка из Сисима, конечно же, все это знала, да какая ж она была бы жена, если б не кособочилась, не позволяла себе кураж, не давала остратки мужу. Вот и побрасывала, покидывала всякую там утварь, шипела гусихой, когда дед, ластясь, пытался подвалиться под бочок в самый сок и тело вошедшей жинке. Но год от года бабушка из Сисима все больше и больше подавляла деда, и, непривычно в себя ужавшийся, он лишь покашливал, пожимал плечами и вопросительно вздымал усы: где и чего опять напрокудил? В том, что он чего-то напрокудил, сделал неладно, дед и не сомневался, вот отгадать бы только, где, когда, и вовремя смыться.

С детства, еще с церковноприходской школы, это началось. Однажды с приятелем вместо школы свернули на Енисей, там ледостав начался, рыба от шуги подваливала к берегу, пряталась под светлые забереги. Принялись покрученники глушить рыбу чекмарем — дубина это такая с паростом на конце. Взрыхлив муть, раскидывая галечник, белой молнией метались слыцы, пулями улетали в реку хариусы и ленки, не по туловищу уворотливые ускользали под камни налимы.

В азарт вошли парни, про школу совсем забыли.

Заглушили они двух налимов, с десятков ельцов и сорожин, спрятали добычу за пазуху и, довольнехопские собой, подались в школу. Угодили парни на Закон Божий. «Можно, батюшка?» — постучали они вежливо. Поп велел им войти, но, конечно, поинтересовался, отчего чады опоздали и где так лопоть вывозгрили? Парни чего-то плели насчет петуха, который забыл петть иль поет как дурак непутевый: прокукарекано, а там хоть не светай! Но тут возьми да и завозись за пазухой деда обыгавший в тепле налим.

«Што у вас под лопотью трепещется, чады?» — «Голуби, батюшка», — не моргнув глазами, тогда еще двумя, мгновенно нашелся мой будущий дед. «Што же вы, анафемы, Божью тварь мучаете?! — рывкнул поп. — Выпус-

тить андельску птичку!» Вынули добытчики «голубей», поп аж затрясся: «Божьего слугу оманывать?! Батюшку не почитать! Покар-раю!»

И покарал:

«А возьмите-ка, отроки грешные, голубков в зубы и подержите-ка до конца урока, дабы смрад из зева вашего лживого не чадил и не застил света Божьего, не портил духу велелепного».

Деду налим попался икрной, увесистый, фунта на четыре. Подержал его дед в зубах за хвост какое-то время, налим уж в полпуда стал ему казаться. Голову долит, шею ломает, да еще склизкий налим, удержи-ка его в зубах! Словом, шмякнулся налим об пол и ну о половицы хвостом хлестать! Приягелю налим хоть и меньше угодил, но тоже выпал изо рта и тоже повел себя мятежно.

Батюшка без восчувствия: «Подымите, подымите, чады, рыбок с полу. Совсем толику время их держать в зевах осталось, — посмотрел на карманные часы и благодушно заключил: — Всего осьмнадцать минут...»

— Я с тех пор долгогривых видеть не могу! И поселенца-налима брюхо мое, почечуй мой, — ругался дед, — не приемлет без вина. Ну прямо вот хоть ты чё делай, вороти, и все!..

Раздобыв где-то двуствольный самопал, дед вдарил из него в нарисованный углем на заплоте поповского двора круг и попал ли в цель, неизвестно, — обожженный пистон угодил ему в левый глаз. Пока был парнишкой, бежал просто так, с зажмуренной, пустой глазницей, потом выбитый глаз завязывал крахмально-чистым, хрустящим платком и до конца дней остался таким «чистоткой», что вбивал людей в почтительность умением пройти по игарским хлябям в хромовых сапогах и при этом не посадить на них ни одного пятнышка. Самого деда Павла это поднимало в собственном глазу до такой высоты, что он упоительно брапил всех кряду, особенно Васю, Ваню и Костьку, называя их как ему только хотелось: полоротыми, охредями, слепошарыми...

Мы ставили с дедом подпуски-переметы в устье Губенской протоки, той самой, по правому берегу которой полукружьем располагается порт Игарка. Шел налим, и чем дальше в осень, тем он гуще и смелее шел. А уж настала пора мне учиться, и сел я на второй год в четвертом классе, не вызвав никакого, конечно, ликования среди

учителей, давши им слово, что буду прилежен, послушен и на третий год постараюсь не задерживаться.

Я и хотел так поступить. Дед-хитрюга делал вид, будто он и слыхом не слыхивал о какой-то там школе. И зачем она парню, который одержим идеей жить и пропасть на воде?! Бабушка из Сисима пробовала увещевать меня, ругала деда, он на денек-другой со мною расставался, но скоро снова уманивал на протоку.

Еще не наступили большие холода, заморские корабли не все еще покинули порт. Летали табуны уток и плюхались на воду шумно, порой без опаски. Дед становился в лодке на одно колено и долго водил в воздухе стволом ружья. Сидя на лопашках, я ждал выстрела, задержав дыхание. И когда подходила пора испустить дух, в табуне уток, чаще рядом с ним либо дальше, брызгало по воде, следом вылетал черпый дым из ствола, слышался хлопок выстрела, мы начинали гоняться за подрапками, и не раз мой дед побывал за бортом. Вытащенный из воды, он бросался на меня с кулаками. Бил и шестом, бил не только меня, но всех, кого доводилось бить, чем попало, совершенно не выбирая, где у человека мягко, где твердо. Я отрекался от деда Павла наотрез. Но уж до того он вызнал мои слабости, что выстоять я перед ним не мог и снова оказывался в лодке, на воде.

Той осенью, в студеной, безветренный день, на бережку у костра приняв для сугрева четушку, дед открыл мне тайну моего рождения: стало известно, что я дважды крещен и потому не должен ничего и никого бояться.

Маме моей, лонившей вместе с молодой женой деда Марией Егоровной в огромном бесшабашном семействе, когда пришла пора меня рожать, пришлось подаваться в баню, так как во всем доме стоял дым коромыслом, гуляли наехавшие из города дружки и знакомые дедовы, сплошь «нужные ему люди». Утром, ослабевшую, маму привели из бани в горенку. Опохмеляющимся гостям, хозяину дома и папе моему показали узелок, в котором был завязан я — первый папин сын и внук деда Павла первый. Бывшие до меня две девочки, мои сестренки, умерли совсем маленькие. Где было выжить слабому полу в таком гае, разгуле, в табачном дыму!

Дед тут же закатил пир на весь ближайший мир, во время которого городские гости вызвались окрестить меня и тянули спички, так как все жаждали стать моими крестными, а я был всего один. Ездили в город за подарками,

крестиками и прочей культовой утварью; гурьбой тащили меня в церковь. Через неделю чуть выздоровевшая мама, держась за стены, вышла в переднюю и попросила показать крестных. Получилась заминка — крестные в городе, кого из них как зовут, в каких они ведомствах служат, по какой улице проживают — дед вспомнить затруднился. Мама расплакалась: с дитем обошлись, как со щенком! Никуда не годится такое обращение — она трудом своим, поди-ка, заслужила, чтоб не к ней если, так хоть к ребенку ее по-человечески отнеслись...

Дед повинился перед невесткой, как-то уломал попа окрестить меня вторично, отрешившись на сей раз от выбора крестных из городской знати. Мама сама, к своему и всеобщему удовольствию, со своей стороны выбрала мне в крестные свою сестру Апронию, с отцовской стороны меня крестил брат отца, дядя Вася, личность тоже очень занимательная, но о нем чуть позднее.

Снова пошла гулянка, уже степенная, крестинами названная, в которой участвовала и «бедная» мамина родня.

Твердо уверовав в мою благополучную судьбу, поскольку все так хорошо уладилось с крещением, мама ломала работу дальше, нисколько не заботясь о своей судьбе, да и не знала, паверное, как это делается, как возможно жить собой и для себя, коли столько народу нуждается в ее заботах. Негде и не у кого было научиться маме себя-любии, самоздравии и бережливому с собой обращению, потому и кончилась ее жизнь так рано и горько...

Загорюнился дед возле огня, поутихла кривая трубка в его зубах — не забыл он мою маму, жалеет припоздало. Редкая минута. Молчаливый дед мне непривычен. Я боюсь его такого.

— Чё разлегся? Кто за нас переметы наживлять будет? — Дед воспрянул духом, вскочил. Катит по приплеску на дважды кривых ногах, они у него согнуты колесом и еще наперед в коленях. Побросав с грохотом весла, шесты, котел, мешок в лодку, наделав много грома и определившись на корму с веслом, отплыв от берега, он унимался. Как бы сосредоточившись перед серьезнейшей работой, дед впадал в задумчивость, усы его то загнуты одним крылом, то разогнуты, выдавая значительность свершающихся мыслей, трубка клубила дым, глаз устремлен вдаль.

Перед ледоставом, почти в пургу, все местные рыбаки снимали ловушки, но мы все булькались в обледенелой

лодке. Бабушка из Сисима пошла на деда с небывалым доселе напором, и, отступая, дед хотя и слабо, но все же отбивался:

— Чего ему сделается, твоему пальню? Я его не тяну, он поперед меня к воде летит. Налим идет как мамасво войско! Не попускаться ж. Ишшо разок...

И который по счету «последний разок» висим мы на перемете. Осталось у нас в воде всего два конца, но нам и двух хватает, чтобы околеть до полусмерти — на каждом перемете по полсотне крючков, на крючки густо цепляется налима. Хватает гальяна, вздетого на крючок, единым духом, да так, что загоняет малютку-рыбеку в самую глубь брюха. Поселенец, он чем студеной, тем резвее, в лютые морозы и вовсе что водяной жеребец. Вот летом слабнет, едва шевелится, полусонный, вялый стоит под камнем или под корягой, лови его руками. Снимать скользкую, бойкую рыбу на ветру, на волнах, в обледенелой лодке — кара, хуже которой едва ли что придумаешь.

— Режь! — раздается клич деда.

Я с радостью отхватываю ножом поводок от тетивы перемета вместе с крючком, который заглочен пенасыгтной пастью мордатого поселенца. Уд на концах оставалось все меньше, но уцелевшие-то все равно надо наживлять, цеплять на них гальянов, бросить ненаживленную ловушку в глубины — все равно что не засеять вспаханную полосу. Гальян — маленькая озерная рыбка, очень живучая, брыкливая — удержи ее попробуй! Бьется, выпрастывается из пальцев, тварь, бульк — и за борт, бульк — и за борт! За гальянами дед ходит в тундру, корчажка у него там из ивы плетенная, тестом изнутри обмазанная, стоит на озере. Несколько верст тащит дед гальянов в ведерке, меняет воду по пути, зорко стережет, чтоб не убаюкалась, не уснула ценная наживка.

— Ты чё? Шеста хочешь! — обнаружив, что я роняю гальянов за борт, ерщится дед. — Мотри у меня!

«Пропади пропадом эти переметы, гальяны, налимы, Еписей и дед вместе с ними! Не поплыву больше! Все! В школу пойду! Стану хорошо учиться, старших слушаться. Мотайся, черт одноглазый, мокни на реке хоть до морковкиного заговенья!..»

Домаляли и второй перемет, не верится даже, что домой скоро попадем, в тепло. На последнем крючке перемета, на самом уж, самом кончике болтался налимишка с отгрызок карандаша. Мал, но жаден! Уду заглоти хватко,

аж глаза у него на лоб от натуги вылезли. Дед пытался выковырять пальцем крючок из пасти налимишка — не получается. Он тогда глубже палец в рот рыбехе продел, шарится там, дергает чего-то, не может вынуть ничего, руки коченеют и коченеют. И выскользнула, усмыгнула рыбеха из рук, упала в мокро, к раскисшим бродням деда, болтается по отсеку, плавает вверх брюхом.

— Ты почему не слушал папу и маму? — скорбно спросил дед, глядя на мертвого плешивого налимишку, и загремел: — Вольничал, сатана! Вольничал?! — Дед шлепал броднем, целясь пяткой угодить в налимишку, приступить его и выдернуть с мясом уду. И он зажал наконец броднем игличкой летавшего по отсеку налимишку, приступил да как изо всей-то силушки рванул, надеясь, что ключья полетят от рыбехи, которая захапала сдуру крючок. Рыбка не сдернулась, рыбка высмыгнула из-под раскисших бродней да как шлепнется деду в зрячий глаз! Ослепленный слизью, задохнувшийся от ярости, дед плевался, утираясь, и зрит: налимишка как плавал, так и плавает в кормовом отсеке — этакая, усмиренная судьбой, скорбная щучеглазка. И тогда дед вздел руки к небу: «В стоса и в спаса! В печенки и в селезенки! В бога и в богородицу! И в деток ее, в деток! — дед почти рыдал, — в ангелочков бе-е-еленьких, если оне там, курвы, е-э-эсть!..»

Я ушал с беседки ногами кверху, дрыгался и корчился на дне лодки.

— А-а-а! Смеяться?! Над дедушкой! Над родным дедушкой!.. А-а-а, каторжная морда! А-а-а!.. — Пока я забивался под беседку, раза два дед достал меня кормовым веслом. Он бы меня оттуда выгацил и добавил, да лодку качало волной, деда валило с ног, он хватался за борта. — Сымаем! — вдруг рявкнул он, на ходу приняв решение, неожиданное даже для самого себя. — Все! Выпай якоричи! Режь наплава!

Я поскорее, пока он не раздумал, за дело.

Скомканные запутанные переметы, веревки от якорниц, шитки, уды кучей лежали на дощатом подтоварнике. Под ними ползали, шевелились, хлопали хвостами налимы. Юркая, прогонистая щучонка все выпрыгнуть из лодки поровила — раскатится на брюхе по скользким плахам борта, аж до середины вздымется и кувырк обратно! Лежит, дышит жабрами, сил набирается для нового броска.

Наплав, заостренный из сухостоинки, с белым кли-

нышком в хвосте, отрезанный нами от перемета, удалялся, качаясь на волнах. Мыс острова с зарастельником на уносе рябил в белой завеси, голые кусты сделались похожими на темные фигуры одиноких рыбаков, согнувшихся над удилищами. Там их много веснами торчит — таскают сивов и все того же безотказного и боевого едока — налима. Дикая трава, дудки, коневник, пырей, долго державшиеся в заветрии берега, отемнились, повисли над яром, где и по глине растеклись. Невидимые уходили с севера припоздальные вереницы гусей, беспокойным криком торопя друг дружку. Грузной тенью медленно проплыл мимо нас темный, в рыжих потеках и выпрямленных вмятинах борт морского парохода. Последний. Отцепляясь от морского великана, причальные суденышки «Молоков» и «Москва» прощально свистнули, желая проскочить лесовозу Карские Ворота, и потерянно болтались на пустой воде — работа окончена, капитаны решают вопрос — где и как отметить завершение навигации? Туловище лесовоза относилось все дальше и дальше, без шума, без волны провалилось судно в густую наволочь. Из инопланетного вроде бы загробного морока и тишины донесся последний, длинный гудок последнего морского гостя, и стал слышен шорох загустелого, на снегу замешанного дождя.

Умолк мой бедовый дед на корме. Мокра шапка на нем, мокры усы, платок на незрячем глазу обвис, обнажив некрасивую, голую щелку, потухла трубка, горбится старый дождевичишко на спине. Я скребу веслами по волнам, в которых уже не расплавляется жидкая снежная каша. Плешивая земля с кромкой заберег, взъерошенных волнами, плывет нам навстречу, пачинает проступать пристань, за нею труба графитной фабрики, молчаливая, бездымная, — давно не работает «графитка». Зато железная труба новой бани, увенчанной праздничным флагом, шурует дым густо, жизнерадостно, вселяя во всех людей и в нас с дедом тоже надежды на блаженство и негу под ее кровлей. И не так уж пугает длинная заполярная зима. С ранними потайками, с первым шевелением снега охватит меня и деда беспокойство. Начнем мы сучить тетивы для персметов, вязать на коленца уды, чинить старые сети, которые по делу надо бы в утиль уже сдать, но дед жметсЯ, думает их выгодно сбить полоротым рыбакам, и будем мы разговаривать, перебивая друг дружку, о том, как ло-

вили рыбу и как будем еще ловить и какой фарт принесет нам, не может не принести, грядущая весна.

* * *

Весны ждать не пришлось.

Дед вызнал у кого-то или сам выдумал способ добывать налимов из-подо льда. И снова подпусками, но подпуски эти — всего-навсего о четыре-пять крючков, однако и пяти уд хватало, чтобы околеть до полной потери речи на заполярных морозах, спешно набирающих крепости. Лед день ото дня становился толще и толще, случалась и не одна уже поземка, но дед сражался со стихиями и меня из сражения не выключал.

Уступами долбили мы прорубь, выбрасывая звонкие глызины наверх, сачком вычищали крошево шапки и опускали короткий перемет во вроде бы вовсе безжизненную воду, конец перемета привязывали за горбылину, клали ее поперек проруби, заваливали снегом отверстие и — драла домой!

Отошли, отогрелись, шевелить губами начали, говорить обрели способность, и я уж с вопросом к деду: какие его виды насчет улова? Будет ли ход поселенцу иль оцепенет он от стужи, впадет в спячку?

Дед в окно посматривал, умственно усом шевелил. «Быть страшному ходу поселенца, — давал заключение. — Луна вызрела с арбуз, в обруч ее взяло, значит, метель вот-вот грянет, пурга. А перед пургой налим-то хваток! Ох, хваток!»

Трепещетсся, обмирает во мне сердчишко: нутром своим, сладко стонущим, слышу я, как идет из глубины, рвет тетиву из рук грузный поселенец! А я волоку! А я волоку! Хохочу от счастья и волоку, брыкаюсь во сне, под столом, брыкаю погами о перекладыны.

— Х-хосьподи! — крестится бабушка из Сисима. — Как ревматизня-то мучает человека! Совсем застудил парнишонку старый бес!...

Зимний день в Заполярье с воробыиный носок. При свете уличных фонарей спешили мы с дедом на протоку. Я впереди семенил, он сзади покашливал, трубочку посасывал, искрами сорил. По обледенелому, глезкому взвозу я враскат спустился на подшитых валенках — дратва трещала. Дед тоже устремлен был вперед, но возраст и спесь

не давали ему катнуться на валенках. Он меня поругивал за такую ребячливость, родители, мол, не шибко торопят-ся одеть тебя, обушь, а у меня, мол, какие капиталы? Ох уж эти капиталы! Будь они неладны! Сколь их человеку надобно и зачем?

Из потерпевшей когда-то аварию, вросшей в берег и снег баржи через проломавшую корму я доставал пешню, сачок, железный крючок и топор.

Пошла работа до большого пота! Отгребали снег, долбили лед попеременно, вычищали проруби. Вот и вода затемнела, глубокая, беззрачная. В воду веревочка обледенелая спускается, к веревочке железяка привязана и на дно брошена, дальше сам подпуск идет. Взявшись за тети-ву рукой, я слушаю. Дед делает вид, что ему на все тут наплевать, да еще и высморкаться. «Е-э-э-эсь! Дергать!» — выталкиваю я шепот из сдавленной груди.

Дед с притворной леню кивает: давай, действуй.

«О, миг счастливый, сладкий!» — пел в кино артист женщине, разряженной в пух и прах, валясь перед нею на колени. Ни шиша он, тот артист, не ведает, не понимает! Порыбачил бы хоть раз, поводил бы рыбину на леске, вот тогда и узнал бы, что такое настоящий «миг»! Не чудо ли?! Не колдовство ли! Зима кругом, стужа, снег толсто на льду лежит, все обмерло, остановилось, а тут, ровно бы из преисподней, возникают недовольные налимьи хари. Дед отцепляет рыбин и небрежно, даже с сердцем отшвыривает их в снег. Возятся пьяно в снегу поселенцы, вымажутся ровно бы в известке и так, с непокорно загнутым хвостом, и остынут. А тут возьми да еще событие наступи — налим в лунку не пролезает! Событие так событие! Дергать подпуск нельзя — оборвешь фильдеперсовое коленце, но отпускать налимьца не хочется. Дух во мне запылся. Дед всякую спесь утратил, бесом вокруг лунки кружится, хлопает себя по коленям, отпнул меня в сторону, на брюхо упал, руку в прорубь засунул, изучая «подходы», затем, молодецки ахая, раздалбливал прорубь. Я рыдал: «Дедошка, миленький, не обрежь! Не обрежь!..» — «Не базлай под руку!» — демонским огнем пылал глаз деда, того и гляди завезет. Я отпрянул в сторону, но скоро опять плясал возле лунки, отгребал голыми руками лед, не чуя никакого мороза, о чем-то молил деда, подавал ему разные советы. Любил ли я деда? Не знаю. Не берусь судить о таком сложном чувстве, не под силу мне это. Но

в тот счастливый миг, когда, не обрезав подпуска пешней, потянул и выволок дед огромного поселенца на лед и сам в изнеможении сел тут же, я обожал деда, я готов был его обнять, расцеловать и не знаю, что еще сделать. Налим, изогнувшись дугой, лежал брюхом в снегу, яростно и устало шевелил жабрами, с недоумением тараща на нас сытые, наглые кругляшки глаз, белеющих от мороза. Как это так? Плавал-плавал в полной безопасности, подо льдом, икру метал иль молоками икру поливал, терся брюхом о песок, собирался подзакусить мелкой рыбешкой после утомительного труда и вот попался! Никакого, значит, спасения нет нашему брату и подо льдом!

Я похлопал поселенца по белому толстому пузу и сказал, что если мой дед возьмется за дело всерьез, то вашему брату и ловиться не надо, вашему брату только и останется самому на берег выскакивать и умолять, возьми, мол, уж сразу, живьем, пожалуйста, Пал Яковлевич! Мы тебя боимся!.. Дед крикнул одобрительно, высморкался, набил еще раз трубку махрой и нежно мне сказал: «Жиган, твою мать!..»

Я продолжал толковать с поселенцем:

— А тебя мы с дедом изжарим и съедем, хоть ты и бухгалтером, может, даже и директором среди налимов состоял. Вон у ты какая авторитетная пуза! Уяснил?

Налим разом покорно обвял весь, скорчился, окоченел. Дед довольнехонько хохотнул, еще раз назвал меня жиганом и сей же час сделался суровым:

— Хватит баловать! Наживляй переметы!

В одной книге я вычитал: «За каждую минуту наслаждения мы платим мукой и слезой» иль что-то в этом роде. За рыбачьи радости мы платили такими муками и слезами, которые ведомы лишь каторжникам да рыбакам. Накаленные морозом уды припаивались к пальцам и отдирались с кожей. Гальяны совсем в руках не держались, выпавши в снег, тут же застывали и ломались спичками.

— Что из воды да по воде плывет — то Бог даст! Терпи давай, терпи, чадо Божье! — подбадривал меня дед, а у самого усы, что гальяны, состылись, того и гляди сломаются, и слова вроде бы как по-иностранному звучали — свело губы морозом.

Но всему бывает конец. Сбросали налимов в мешок, инструмент в баржу спрятали и бегом в гору, на яр. Стучали налимы в мешке, визжали на полознице мерзлые

валенки. Влетели мы с дедом в барачную комнатенку, будто в царствие небесное на белых облаках, и сразу к теплу, руки в огонь суем, молча оттирая друг дружку от дверцы печи.

— Эко, эко! Совсем пальнишшонку извел, чельт од-ноглазый! — пилила деда бабушка из Сисима. Налимы меж тем оттаяли в лохани, наполненной водою, заворочались, завозились, давай хвостами бить, брызгаться. Тот, что в лунке застревал, до того разошелся, что из лохани вывалился, на пол шлепнулся.

— Эту тварину, — дед ткнул пальцем в «бухгалтера», — на сковороду! Эшь, пряткий какой! Эшь, разбушевался! Эшь, разгулялся! Мы вот тебе! — Дед набросил шапчонку на голову, метнулся к двери.

— Куды? — притопнула ногой бабушка из Сисима, намереваясь остановить деда, но где ж успеешь его перехватить, моего деда, если он устремлен к цели?

Дед уже чешет от барака в ближний магазин за чепухой — сказывал же, объяснял, что после издевательского наказания, понесенной кары от сельского попа, этого долгогривого служителя культа, повредился у него желудок и не приемлет налима без водки; кроме того, всем известно: любая рыба, пусть и поселенец, посуху не ходит!

* * *

Тою же зимой случилось крушение семейного союза между папой и мачехой. Не раз и не два будут они потом расходиться и сходитьсь. Детям, рождавшимся в моменты перемирий двух вроде бы совершенно ненавистных и все-таки страстью влекомых друг к дружке людей, от их разладов, сбегов да разбегов будет совсем не смешно.

Отец заключил договор с игарским рыбозаводом, забрал меня из тесной барачной комнатухи, где я уж поднадоел всем и устал выглядывать куски, которыми дед Павел иной раз не то чтобы корил меня, но как-то так проклинал отца с мачехой, что получался и я в прицепе, лишним везде себя чувствовал, особенно за столом.

Кое-как одолел я четвертый класс, точнее, меня «перетащили» из него в пятый, и с чувством исполненного долга впервые в жизни отправился на настоящую, промысловую рыбалку!

Напарником отца был Александр Васильевич Высотин,

мужчина крупный, бывалый. С Высотиным плыло двое сыновей, парнишек крепких, небалованных, Петька и Гришка. Одержим рыбалкой, правда, один лишь Гришка, этаким здоровый уворотепь. Петька же был мастак по части игры в лапту, в чикю и еще здорово плясал в школьной самодеятельности.

Сплоченной бригадой высадились мы с рыбосборочного бота на пустынном енисейском берегу между поселками Карасино и Полоем, на добром, как нам сказывали, рыбном угодье. С берега по крутому каменному яру полузамытая тропинка привела нас вначале к бане, вкопанной в берег, затем к крепко срубленной, тесом крытой избушке с волоковым окном в стене и крыльцом, над которым был когда-то навес, но его сорвало ветром, и он валялся поблизости, оцетинившись ржавым гвоздем.

Избушку эту — теремушку срубили лет пять назад связисты, тянувшие телефонную нить на Крайний Север до самой Игарки. В избушке бывали и загадили ее шальные охотники — горожане, ягодуники, грибуники и рыбаки. Мы взялись за дело, все отскребли, вымыли пол, изладили десяток мышеловок — чурбаков. Мыши тучами ходили, даже по стенам. Угоив избушку, мы истопили баню, напарились в ней. Вечером мужики выпили по случаю высадки на незнакомый берег и закрепления дружбы, и до глубокой ночи из жарко натопленного становья разносилось далеко по окрестным лесам: «Обнесен стеной высокой Александровский централ». Папа кричал, зажав в отчаянии головушку ладонями, Высотин басил, зажмурившись, мы в три мальчишеских горла звенели поддужными колокольцами поверху.

Начался тяжелый промысловый труд, и больше в то лето песен мы не пели — не до песен было. Для начала поставили пяток в пару связанных стаповых сетей-паромов, к которым надо две тяжелые якорницы да еще третью якорницу, что держит наплав. Пяток сетевых ловушек — только начало, чтобы «нащупать» ход рыбы. Один паром попал на уловистое место, остальные пришлось не раз и не два переставлять, добавлять к ним песколько паромов, чтоб сети попеременно вынать и развешивать на починку и просушку. План нашей бригады был задан — шестнадцать центнеров на сезон, добывать рыбы надо было больше: на еду, на продажу, потому как сезонным рыбакам выдавали небольшой «аванец», остальные деньги по договору выплатить должны были в конце путины.

Мы и в самом деле попали на уловистое угодье: шла стерлядь, белая рыба, случались осетры, горбуша одно время повалила — это на паромы и переметы; «по кустам» — как здесь выражаются, по заливам, заостровкам и возле берегов мы «сшибали» старыми мережками щуку, окуня, сорогу, налима, нет-нет вытаскивали тайменей-подростков, большие таймени пластали в клочья старые мережи, вырывались, оставляя дыры, да такие, что мы, парнишки, пролазили в них, поражая артель силою и размерами ускользнувшей рыбыцы.

На сеги выплывали мы часа в четыре утра, без завтрака, заспанные, вялые, однако на веслах, в труде разогревались, размигались и работали дружно, порой даже весело, азартно. Мы с Гришей орудовали гребями, Петька на корме, мужики управлялись с якорницами и сегями. За тетивы, за веревки якорниц и за весла без верхнонок — рукавиц мы не брались, но ладони наши все равно покрылись красными мозолями и трижды, если не четырежды, сошла кожа с рук, пока не огрубела, не закрепила, как обух топора, и больше руки не прокалывало рыбьими колючками, не разъедало кожу солью.

Лишь к полудню, едва живые от усталости, мы медленно подскребались к берегу. Еще в пути от наплавов Высотиц, облюбовав стерлядь килограммов на пять, грохал ее сделанным наподобие топорища крюком по костяному черепу и начинал разделявать рыбину, полоскать ее в воде, членить на куски. Пока мы раскидывали сети по вешалам, убирали рыбу в бочки, выплескивали воду из лодки и мыли склизкий подтоварник, на очаге, устроенном из камня, уже кипела в противне, согнутом из толстого железа, стерлядь. Навешенный на таган ведерный медный чайник начинал посвистывать и бросать из рожка воду, запаренную смородинником или белоголовкой.

Здесь же, на берегу, на рыбодельном столе, вкопанном в песок, мы ели, если не было ветра, и уминали за раз с моим худосочным папой буханку хлеба, подбирали жарено до последнего хрящика, вымакивая кусочками приправленную береговым луком жижицу, после чего опорожняли чайник и, едва переставляя ноги, тащились в угор. Первое время мы, парнишки, ладились падать на нары в сырой одежде, но мужики нас пинали, заставляя сымать хоть верхнюю одежду.

Спали до вечера, поднимались и какое-то время сидели на нарах, не понимая, где мы, что с нами, постепенно

приходили в себя, привыкали к миру Божьему, включались в дела. Упочинка сетей, разделка рыбы, изготовление якорниц, наплавов. Надо было и в избушке прибираться хоть раз в неделю, топить баню — упаси Бог опуститься на промысле — и простынешь, обветренные губы и лицо полопаются, ноги от сырости и нечистых портянок сотрутсЯ, заослеешь, грязью зарастешь и, значит, отдыха хорошего знать не будешь, а нет отдыха — и труда доброго ждать нечего.

К осени поперли у нас веревки, сети, якорницы часто обрывались, следовало запастись дровами на пору дождей и холодов, набить ореха, ягод набрать, рыбы повялить, словом, работы день ото дня не убывало, а прибывало.

Случались, однако, у нас и праздники — их нам сотворяла природа: поднимался шторм, наваливалась непогода, на реку попасть невозможно, главной заботы нет. Мы подымали высоко на берег лодку, опрокидывали ее вверх килем, сухие сети свешивали в баню и на чердак избушки, бочки с рыбой, вкопанные в берег, плотно закрывали мешковиной и деревянными крышками, чтоб не захлестывало песком; мылись в бане, подолгу, с чувством. Вспомнив старое ремесло, папа всех нас подряд стриг под «польку-бокс», стучая ножницами по башке парнишек, чтобы не вертелись лишку, и все удивлялся, оболванивая меня: «Этакая головища, а пустая!..» Я тайком оцупывал свою башку, стучал кулаком в лоб — голова как голова, ничего особенного, звучит в середине, вроде бы и правда как в пустом котле.

«Северяк» дыбил Енисей суток по пяти, случалось и по неделе. Отославшись, мы всей артелью отправлялись в лес за ягодами, грибами, ближе к осени — за кедровыми шишками. Все это было тут же, вокруг становища. Чуть поодаль, на озерах, жили утки, и мы охотились на них. Иной раз сшибали на ягодниках глухаря, возле беломошных болот били пестрого куропапа, гоняли и пугали молодых зайцев.

Склопный к вольнодумью, шатанью, порой и к созерцательности, пугавшей бабушку Катерину Петровну и других пристальных людей, считающих — раз от бурности я мигом перехожу в недвижимость, замкнутость, стало быть, блажен есть и ох как худо могу кончить по этой причине земной путь; отколовшись от артели, я бродил по лесу или сидел на обдуве у реки, бросал камни в воду, глядел в заречные дали, думал о всякой всячине, напевал

что-нибудь, чаще просто так сидел, слушал шум кедров за спиной, смотрел, как безостановочно катятся беляки по Енисею, как дымит пароход в волнах, как бегут по небу растеребленные облака, как мотает ветром чаек, и они, взойдя в высоту, не шевелят крыльями, а, выгаращив круглые глаза, лишь подергивают вытянутой шеей, ровно бы глотками сжлебывая воздух. Дозором явится на реку парочка гагар, полетают возле берега, покружатся-разведаются, повернут «домой» — к лесным озерам, возмущенно крикая, и, плюхнувшись на воду, застопнут в лесу, жалобно извещая, что непогода продлится еще не один день.

Никакие мысли не томили меня, не обуревали заботы. В такую вот бездельную пору я неожиданно отыскал озеро и замер, обвороженный. Со дна озера струил холодную воду кипун, шлифуя его круглое зеркало. Обметанное у берегов стрелолистом, кугой, расцвеченное экономно и красиво лилиями и кувшинками, озеро так ловко пряталось в гуще самосевной травы, стлаников, вербача и ольхи, что его не угадать было, а из-за гнуса в сросшийся вертеп никто не совался. В какие-то далекие-предалекие времена был страшный ледоход на реке, может, тогда еще и названия не имевшей, натолкало на мыс каменные глыбы, запрудило родник, и, пока он искал выхода, пока точил себе щель, его забросало песком, меж камешьев проросли дудки высоких пиканников, ползучие пити пырея, цепкой осоки, меж собой спеленывались лозы тальника, нити повилики и всякой ползучей твари довершили дело, сделали непролазной забоку, скрыли наполненную водой лагуну. В парной теплыни напревал комар, мухота, мизгирри, метлячки, блошка лесная, нужная птице и рыбам. Птицы занесли в лагуну рыбью икру, семена водяных цветов, и украсилась жучками-водомерами лагуна, сделалась живым озером, вокруг которого в камнях и зеленых крепях охотно селились птички. Отороченное с тундряной стороны пояском белых мхов озеро, и без того нарядное, еще и форс какой-то легкий, глаз не режущий, имело: красная брусника, сизый гонобобель рассыпались по пояску мхов; листья осипников, еще только чуть подрумяненные первыми иньями, гоняло от берега к берегу по высветленной до дна воде.

Налюбовавшись вдосталь озерцом, я перешел к земным, практическим размышлениям: «В таком озере должна быть тьма рыбы!» — и тотчас заметил едва заметные кружки в «окнах» меж листьев лилий, кувшинок и в при-

брежных водорослях. Такие кружки бывают от малой рыбехи — гальяна. Но в прибрежном, да еще таком светлом озерце гальяну песдобровать — приест его рыба, да и любит северный гальян воду, густую от тины и торфа, где много корма и худо его видать. Обмозговав все это, я хотел уж подаваться домой, заказав себе молчать согласно старорежимному правилу: нашел — не показывай, потерял — не сказывай, да на грех и беду мою, подле круглых листьев еще так недавно светло сиявшей кувшинки мягко чмокнуло, расплылся кружок, пузырьри вспухли в середине его, как у подкипевшего на сковороде блина, и долго плавали, не лопаюсь.

«Карась! Карась сплавился!» — так вот, чмокнув мясистыми губами, плеснув неповоротливым боком, выдохнув пузырьками воздух, плавится карась. Я присел на камень, утих — по всему озеру запричмокивало, чудилось: всюду лопались внешние почки. Зеркало озера сплошь покрылось тонкими кружками, ровно бы какой-то забывшийся ученик, балуясь, легко, быстро рисовал карандашом кружки на чистом листе, и только пузырьки, прозрачные пузырьки, катающиеся по воде, мгновенно возникающие и так же мгновенно гаснущие, свидетельствовали о том, что в воде идет жизнь, играет там и кормится рыба, много рыбы карася. Я, наверное, мог бы просидеть возле того озера сутки, да зараза-то, комар-то, разве позволит? Вытурил, выжал меня на берег, на обдув от так украдчиво и красиво живущего в заувее озерца, которое сделалось мне чем-то родным.

«Эх, нету дедушки! Вот бы уж половили мы тут карасиков!»

Давно ведомо: добро надо искать, а худо само найдется иль прикатит. Только я подумал насчет деда — тут же вместо одной нашей лодки увидел — две, во второй лодке тонкой былкой торчала парусная мачта. Лодку захлестывало волнами. Подле нее будоражился невысокий человек, узкая полоска светилась на его лице. «Дед!» — обрадовался я, поспешил скорее к лодке, без приветствий и объятий включился в дело, помогая деду выбрасывать на берег манатки, весла и для начала был тут же обруган за допущенные оплошности.

От избушки спустились мужики, подали руку с головы до ног мокрущему деду.

— Носит тебя, комуху, в такую погоду! Утонешь!..

— Скорее сами утонете! — Дед Павел кивнул на ском-

канную тряпку. — Под парусом, будто архангел по небеси! Перло! Того гляди в Карско море выкинет! За весло поймался, трубку зажечь моменту нет — во катил!..

* * *

Шустрияга дед явился не без умысла! Под крылышком рыбаков, ведущих законный промысел по договору, ему никакой рыбнадзор нестрашен. Чтоб рыбаки были к нему благосклонней, привез дед спирту. Давно «не причащавшиеся» мужики посулили деду всякое содействие в промысле, помечали его одряхлевшие сетчонки — для отчета годилась и рухлядь, — на что дед, само собой, и рассчитывал. Я видел, как дед спрятал под баней литр спирта, чтобы после «под магарыч» обменять черную рыбу: налима, окуня, щуку на стерлядей и осетра.

Выкинув мережки близ берега, по заливам, дед мало-мало ловил мелочишку и черную рыбу, а я подбивал его поставить сети на открытом мною озере. Дед рассказным моим не верил. «Отвяжись, хлопуша!» — кричал даже и топал на меня ногами. Но сопротивление его постепенно слабело, потому что ловилось в его мережки плохо — лето перешло за середину, вода укатилась «в трубку», то есть межень наступила. Рыба отваливала в прохладные глубины. Ставить паромы дед не умел и не смог бы их один поставить. Артель ему помогать не могла — некогда, и дед начал делать крен в сторону озерного лова, а, как известно: «Телушка стоит полушку, да перевоз дорог» — выгаскивать с озер рыбу по болотистому вертепу, да еще в пору самого лютого гнуса — адова работа.

Но не все горе горевать и понапрасну ждать форта — случилась у деда удача. Раззудил его на ту удачу опять же я, ничего, кроме добра, деду не желавший. Справляя какое-нибудь дело на берегу, замечал я в тихую погоду на реке, за ближним каменистым мыском, движение и тень огромной рыбины, осторожно скользящую в глубины воды, пробитой закатным светом. Блазнится, думалось поначалу. Вовлек в союзники Гришку. Он чуть ума не решился, увидев «водяного». В один из вечеров залегла вся бригада за лодкой, высматривая чудище речное. Терпенья у степенных мужиков мало, гордости и дел много. Они собрались было отругать нас с Гришкой за понапрасну погубленное время, но в тот миг топляком легла на дно рыбина и принялась трепать набросанные в воду лоскутья потрохов, рыбу обрезать, прелых заглотышей.

— Во-он оно че-о-о-о! — присвистнул Высотин, поднимаясь из засады.

Рыбина не метнулась в реку, она неторопливо скатилась в нее, как бы вжалась в глубь и растворилась в ней.

— Вековелая щука! Иметь добычу не может. А выть* по туше ой-ей какая, должно! Вот на дохлятину и переметнулась...

Дед Павел не признавал удочек, называл удильщиков дачными полудурками, но, прослышав про «водяного», не устоял, сотворил жерлицу — удилице в оглоблю, леску в мизинец толщиной, на конце вдвое проволока и уда, что поддевный крюк. На уду дед вздел сорожину, навалил на удилице кучу пудовых валунов и с берега удалился. Весь вечер мужики подначивали деда, измывались над его жерлицей, но какое изумление охватило всех нас, когда, спустившись к Енисею наугре, мы увидели леску с рогульки снятой и туго-натуго натянутой. Дед раскатал камень, схватился за удилице и тут же с берега исчез: бултыхается у приплеска, ругаться пробует, удилице из руки упустил!

— До-го-ня-а-а-ай! Чего рты раззявили!

Мы в лодку, дед за нами. Мужики бранятся: на сети плыть пора! Да где ж им совладать с артелью, к тому же в такой задор вошедшей! Далеко от берега догнали мы удилице, то уходившее под воду, то вехой появлявшееся наверху. Схватили жердину, сгоряча пробовали вываживать рыбину, и она шла, уморенная, послушная, но, как завидела лодку, мокрого одноглазого деда, такого козла сделала, что лодка черпанула бортом, и мы едва не высыпались из нее.

— Мате-ораяяз-зва! — стучал зубами дед и, поразмыслив, выбросил удилице за борт: — Пуцай повозит! Пуцай уторкается!

Раз пять подводили мы рыбину к лодке, пока изловчились всадить ей в грудное раскрылье поддевный кованый крюк. Перевалив щуку за борт, мы сдуру принялись ее лупить чем попадя, дед ссадил до крови кулак о шучью башку.

Мужики злились, кляли нас и деда за ребячество — погоды на реке так же дорого, как в страду на пашне. Все же упросили мужиков взвесить «водяного», и они завалили его на весы — тридцать три кило с гаком! Лежит щука

* Выть — аппетит.

на рыбобраздельном столе, пастью шевелит, морда ее источена пиявками, червяками и водяными клопами. На широком и уже тупом носу что-то вроде мхаросло, кость повсюду острая выступала.

— От дак чуду заловили! — удивлялись мужики. Перебивая друг дружку, орали, чего да как было. Дед Павел штаны отжимал, простуженно пошмыгивал носом, умственно шевелил усами, и не зря шевелил. Вечером он вынул из-за бани литр спирта и выморщил у мужиков двух осетров, по весу равных одной щуке. Чтоб мужики не передумали, он той же ночью собрался улизнуть в город. Но удача, она же страшная зараза! Она же слепит, разжигает ту самую выть, то есть аппетит, о которой поминал Высотин. Вспомнив, что карась в особом почете в семье доктора Питиримова, да и переселенцы из среднерусских мест ценят его, костлявого, тиной воняющего, вровень со стерлядью, дед решил черпануть и карася на мной открытом озере. Если карася доплавить свежим в город, соображал дед, да загнать потихонечку, глядишь, разживется деньжонками хорошо, «сямой» отвалит и еще раз, совсем уж последний раз, попытает счастья в картах...

К поре встречи нашей артели с дедом заметно смягчился он характером, гармошку в руки почти не брал, разве что по самым большим праздникам, пытался принарядно не материться, спиртное принимал лишь на реке — для сутрева, стал шибко маяться грудью, кашлял от табаку, однако трубку бросить не мог, на это его сил не хватало, и не мог он в себе побороть, отринуть навсегда тягу к картам, хотя пережил из-за пагубной страсти много сраму и внутренние противоречия терзали его тяжко. Редко, совсем уж редко ускользал дед Павел на мерклый свет заветного окна, крался, точно старый прелюбодей-слюхарь к молодой невестке, трепеща непокорным и грешным сердцем.

* * *

Озеро деду сразу поглянулось. Он усиленно задымил трубкой, забегал по шараге, соскользая с камней, покрытых слизью водорослей, воротил здоровый глаз в сторону, чтоб не выткнуло, но все же ахнулся меж камней, ушиб локоть, ободрал колено.

— Тэк-тэк-тэк-с! — бормотал дед, потирая колено и

примачивая слюной снесенную с локтя кожу. — Е-е-эсть тут рыбка, е-э-э-эсь!.. Ишь, какое озерцо — зеркальце! Упрягалось, понимаешь, в арёмнике. Ах ты! Ах ты! Вот и не верь тут «сямой» насчет Бога. Есть чё-то, есть! Прячет от нас, поганцев, экую вот невидаль. А то ить захаркаем.

И хвалил же меня дед, востротолым называл, сулился, если будет удача, купить мануфактуры на рубаху.

— Сатинету, Витька! Сатинету!... Ах ты, ах ты! Ну, озерцо! Н-ну, озерцо! Я ли не перевидал на своем веку чудес. Но экой алмазики и во сне зреть не доводилось. Счастлив ты, однако, парнишонка. Не участью-долей, душой счастлив. Красивое да доброе видеть, может, в этом-то счастье и есть? Кто знает.

После таких дедовых слов я готов был в лепешку разбиться, крушил топором лешишко, выискивал сухарины на плот, таскал сети к озеру, шесты вырубал и все время слышал на себе кожану шуршащую рубаху, даже видел себя в ней, угольпо-черной, с белыми пуговками в два ряда. Как явлюсь я в сатиновой рубахе в школу, да как сяду за парту, да как гляну вокруг! Ох ты, едрит-твою, распроедрит твою!

Особо-то я не давал полету мечте, глушил ее в себе, наученный горьким опытом, — посулят чего, а после проуха в расходах, либо в обнове-то в бочажину угодишь, испатраешь, как на пути к Усть-Мане новые штаны. Суевверный я стал в этих делах. Тут еще сомнение накатило на меня: много утки снималось всякий раз с воды, когда я появлялся у озерца, утки нырковой, черняти...

Загаился я в себе, ни гугу деду. Очень уж мне хотелось фарта рыбацкого изведать на «моем» озере.

В поздний час светлой ночи перегородили мы озерцо двумя связанными мережками, приткнули плот шестом к берегу и полюбовались своей работой: сети стояли — лучше некуда! Берестяные наплавки янтарными бусами висели на светлой груди озерца, и, пока мы стояли, помстилось нам с дедом — сколько-то наплавков затонуло — вяпался карась-дурило.

Ах ты, душа рыбацкая, саможертвенная! Спят Гришка и Петька. Высотин спит. Папа спит. Скоро уж на реку плыть, работу тяжелую делать, а у меня сердчишко тыкается в грудь. Громко говорим мы с дедом обо всем, согласие у нас с ним такое, какого еще свет не видывал. Чаю мы с ним согрели, дед отвалил мне комок конфеток с выдавленным из них повидлом, облепленных табаком и

крошками. Конфеты я не съел, чай не допил, пал на полу-слове и, мне показалось, через минуту был разбужен и безжалостно водворен в лодку.

С наплавов артель вернулась в полдень. Дед пажарил рыбы, сварил трех уток — из дробовика он их подшиб на озере. Не вытерпел дед, все-таки сбегал к сетям и сообщил: едва ли поднять сети — ни одного наплавка на воде не видно, рыбой снасть одавило. Мужики убайкались на паромах, еле живы были, но все ж подшучивали над дедом, «карасиной погибелью» его называли и, покурив, отправились в становой спать, благодарные деду за то, что он постоловал артель и дымокуром выдворил комаров из избушки. Я упал на постель, и чего видел во сне, не ведаю; что-то колыхалось, мельтешило в глуби сна, точно в мереже-мелкоперстке, тьма карасиная, не иначе! В другой раз не добудиться бы меня, но тут, лишь тронул дед за плечо, я враз подскочил. «А?» — сказал и очнулся.

Не тревожа храпящую артель, мы подались с дедом смотреть сети. Дед колесил впереди, ширкая голенищами отогнутых бродней, взбивая просеянный ветром песок, я едва поспевал за ним, однако стряхнул с себя сон, душа во мне затрепыхалась, и я на рысях опередил деда.

Дед вслух плановал: если карася попалась такая же тьма, что привиделось внуку, с мережками в приозерной шараге не возиться — комар загрызет. Стало быть, просить мужиков придется выволочь сети на берег, посулив им за это спирту, на обдуве и выпутывать рыбу, потому как боек, ох, боек стержова карась в таких вот светловодных озерцах, но телом хлипкий, изнеженный, потому стоит, пожалуй, присолить жирного барина, кабы не тронуло его запашком. Оно, конечно, и ветерок гуляет, и дело к ночи, стало быть, к холодку клонится, но все же шут его знает, этого карася, тварь мало изученная, возьмет и подпортится.

Я соглашался с дедом: стоит подсолить карася, стоит после прополоскать его в холодной воде, еще лучше в тузлуке промыть — и он сойдет за свежего. Дед воззрился на меня жизнерадостным глазом, дал совершенно уж твердое слово насчет рубахи, посулил обдумать вопрос и о штиблетах. Сплавает в Игарку, сбудет рыбу, оформит неотложное кое-что (в карты поиграет), прикатит вновь и, коли я стану ему помогать в ловле карася так же, как теперь, — штиблеты считай что на ногах. Кожаные! Коричневого цвету! Заработал парень? Получай! Деду Павлу ничего не жалко.

Начало спаренных сетей не сулило никакой беды, хотя ни одного наплавка не было на воде и тетивы до звона натянуты. «Хорошо, закрепить охвостины догадались!» Дед выколотил трубку о бревно плотика и чего-то подзамялся. Сердца моего коснулся холодок беспокойства, зануло в затылке, мне отчего-то захотелось домой, в избушку. Но куда же деваться — поставили сети, надо смотреть. Мы скоро перебирались с дедом по верхней тетиве сети, мелькнула пара, будто широкие листья, прилипших карасей, затем вразброс явилось еще несколько штук, измученных, правда, истасканных, забитых. Наперебой твердили мы друг дружке, что если уж возле берега напутался карась, то дальше и подумать страшно, сколь его...

Старый и малый хитрили, обманывали себя, руками, сердцем чуя, да и глазами уже видя: надежды рухнули, вяпались мы с дедом, попали в проруху, но так не хотелось с этим соглашаться. А уж пошла сеть свитой, перепутанной, из глубин черной головешкой возник успокоенный нырок. Долго сопротивлялся, горемыка, собрал на себя почти всю сеть, запутался так, что нечего было и браться вынимать его из сети, резать полотно мережи — один-разъединственный способ достать утку эту разнесчастную, почти что никому, кроме себя, не нужную. Если бы в мережку угодил один нырок — делов-то: часок посидеть с деревянной иглою в избушке — и дыры как не бывало! Но к середине озера ничего разобрать уже нельзя: где кибасья, где наплавки, где ячеи, где тетивы, где сеть вообще длиной сажень двадцать? Комок из водорослей, листьев, голых стеблей кувшинок и лилий, из ниток, веревок, в которые запеленаты тушки уток, — все увязано в крепкие узлы, и для насмешки, для полного уж изгальства, в путанице мережи и в тине реденько шевелились, пошептывали чего-то квашеными ртами караси.

Приближался берег озера, тундряной, дальний, в краснобоких от брусники кочках, с реденьким лесочком, в котором и думать нечего скрыться. Мы с дедом стояли до колена в воде на разных концах плота, полузатонувшего от мокрых тяжелых сетей. Ни дрыгаться, ни махаться нельзя — вывалимся.

Дед Павел зловеще помалкивал.

Охвостку на другой стороне озера отвязывать мне, так как я стоял на переду плотика. Не дожидаясь команды, я

плюхнулся на берег, как бы ненароком оттолкнул плот ногой. Не теряя времени на отвязывание охвостки, я потянул веревку — слабый корень ольхи подался из камней. Упершись ногой, я рванул изо всей силы — и готово дело, выкорчевал деревце, швырнул все хозяйство в воду — выкорчеванную ольху с веревкой, привязанную к ней сеть и... помогай Бог!.. Все еще грузный от мокрых сетей, но без меня чуть поднявшийся из воды, плот медленно уходил от берега. Дед разгадал наконец мой маневр, топнул ногой, шестом разбил вдребезги зеркало озера.

— А-а, прокудник! А-а, каторжная морда! Уш-шо-о-о-о! От меня не уйде-о-о-ошь! От меня еще никто не уходил!..

Плот стремился мне наперехват. Но я, не щадя себя, продирался сквозь шарагу, царапая лицо о шипичник, пластая одежку о коренья и сучки, устремившись к Енисею, — на ровном берегу деду ни в жизнь меня не догнать.

Мы выскочили на берег разом.

— Стой! — сказал дед и двинулся ко мне. Я на мгновение замер, будто в параличе, но тут же опомнился и хватанул во все лопатки. Какое-то время дед гнался за мной, подняв над головой шест, но скоро начал сдавать. — Бродяга! — неслось мне вслед. — Все ищет чего-то! Блудня!.. Шатун!..

Словами-то хоть какими, хоть сколько поливай! Чего мне слова? Я их не боюсь! Я и похлеще кой-чего слышал.

* * *

Скрывался я от деда на чердаке избышки. Комары меня там заедали, но я терпел. Не найдя меня, дед Павел в сердцах переругался с мужиками и отбыл в город. В щель меж тесин крыши я наблюдал, как уходила лодка за мыс. Мерно взмахивающий веслами дед Павел и лодчонка его становились меньше, меньше, поднимались над водою, и уже не на веслах, на крылах возносились в небо дед и лодка, ломалась былка мачты. Почему-то зацемило сердце, одиноко мне вдруг сделалось. Не знал я, да и не мог тогда знать, что рыбачил с дедом в остатний раз.

Весной выманит дед Павел из соседнего барака уже натуго, считай, насмерть повязанного с рекой Гришку Высотина. Подадутся молодой и старый на реку, наберут сети в лодку, присядут к костерку попить чаю перед тем,

как обметать устье речки Гравийки, и на время забудут про лодку. На такой реке, как Енисей, да еще в Заполярье, да к тому же еще весною, забываться нельзя. Вода была «на тальниках», лодку отбило, и дед Павел — отчаянная душа, не раздумывая, скинул лопоть, в подштанниках подковылял к реке, пощупал воду пяткой, съежился и, по-бабьи взвизгнув, рванул бегом за лодкой. Напористая, тяжелая от мути вода валила деда с ног, он спотыкался, охал, хватался за кусты, но пер и пер бродом к лодке, однако настичь ее все не мог. И глаз ли единственный подвел деда, показалось ли ему близко до цели — вода скрадывает расстояние, только рванулся дед вплавь за лодкой. Ему оставалось сделать один лишь взмах, и он сделал его, этот взмах, вскинул руку, чтоб пойматься за борт лодки, и так, с поднятой в небо рукой огруз, скрылся в воде.

Тугоумный Гришка еще сидел какое-то время у костра, ждал, когда вынырнет одноглазый, шепутной дед Павел, уж больно быстро и как-то невзаправдашно все произошло.

Лодку уносило, поворачивая то носом, то кормой. В середине ее на подтоварнике рыхлым снежным бугром белела сеть, на сеть брошены мокрые верхонки, лопашны выжидательно покоились по бортам, веревочка какая-то свисала с носа, трепало веревочку течением. Возле воды, на приплеске, лежала дедова одежонка, на плоском камне дымилась трубка с медным колечком. Гришка глядел, глядел на попусту дымящуюся трубку и заорал лихоматом караул.

Нашли деда Павла в замытых тиной кустах после того, как схлынула вода.

Мертвого деда я не видел, не хоронил и о смерти его узнал спустя большое время. В тот год я одолевал самую, быть может, долгую и тяжкую в своей жизни зиму.

Совсем недавно попал мне в руки документ, удостоверяющий кончину деда Павла. Вот из него выдержки:

«...Отдел актов гражданского состояния. Свидетельство о смерти № 189, фамилия: Астафьев, имя-отчество: Павел Яковлевич. Умер(ла) 7 июня 1939 г... о чем в книге записей гражданского состояния о смерти 1939 года 16 июня произведена соответствующая запись. Город-село: Игарка, край-область: Красноярский... возраст, причина смерти: 57 лет, утопление...»

Читая этот документ, я сделал потрясшее меня откры-

тие: деда-то Павла Яковлевича первый его внук и верный соратник по рыбалке почти уже на десяток лет пережил, но рыбачить стал редко и лениво: нет у него такого верного напарника, какой когда-то у деда Павла был в далеком Заполярье, внуки малы еще, да и заняты они учебой, увлечены городской жизнью, смотрят телевизор.

БЕЗ ПРИЮТА

Доля во времени живет,
Бездолье в безвременьяе.

Русская пословица

Не помню, в каком году, но где-то далеко после войны я плыл на новом пароходе вниз' по Енисею. На пристани Назимово толпа пассажиров, стосковавшихся по берегу, заранее накопилась, стиснулась у квадратной дыры и выжидательно молчала, будто у входа в Божий храм перед молебствием. Команде не удавалось выкинуть трап, матросы рассердились, тыкали торцом трапа в ноги людей и, ушибив одного-другого пассажира, пробили наконец отверстие в толпе.

Дурачась, охая, хватаясь друг за дружку, пассажиры хлынули по трапу, мелко переставляя ноги, чтоб не оттоптали. Слепым водоворотом людей выкидывало на берег повернутыми лицом обратно к пароходу.

На берегу шла торговля, небогатая, без зазывов и ора. Северяне, в отличие от южан, не красуются и не наглеют, торгуя чем-либо, они как бы даже стесняются такого занятия, тогда как южане получают от торговли удовольствие, делают из нее театр, где и цирк.

Туеса со стеклянно мерцающей смородиной, зевасто открытые мешки с каленым, как бы олифой покрытым, кедровым орехом. Под открытым веком пестеря кровенела княженица; голубика и черница темной пеной всплывали из ведер; в щели плетенок сочилась остатняя, проквашенная морошка. Овощи: лук и чеснок с сочным пером и мелкими, вытянутыми корешками, желтенькая репа, яркие морковки с пышной ботвой лежали на каменных плитах. Под соленую и свежую рыбу брошены плахи, где

и весла, чтоб не липла к продукту супесь, на тряпицах белели выступившей солью горки тугуна прошлогоднего вяленья.

В сторопе ото всех, сложив по-бабьи руки на животе, молча сидел старик разбойничьего вида. Перед ним на крапивном мешке разложены были пастушьи дудки, ивовые пикульки, берестяные зобенки под соль, резанные ложки, расписные туеса, птичьи чучела. Пассажиры дудели в дудки, вертели в руках лесные диковинки, говорили про чучела: «Прямо как живые!», но ничего не покупали у старика — не наступила еще мода на такого вида народные изделия.

Торговцы стояли коридором и пропускали по нему пассажиров, которым непременно надо подняться на берег, посмотреть на дома и на добродушно почесывающихся собак, рядами залегших по прибрежному урезу, будто на пограничном порубежье, готовых оборонять селение свое, удобу и хозяев.

Среди торговков, с горкой насыпающих ягоды и орехи, конфузливо отшучивающихся от мужичья, лепилась девочка лет девяти, в полосатеньком платье, спереди как бы обрызганном синими чернилами, — она выпесла на торжище ведро гонобобели. Угловатая, с несообразно крупной костью и выпирающими скулами, девочка выглядела старше своих лет. Потом уж, годам к шестнадцати-семнадцати, когда во многих коленях тайгой и таежной работой крепленную кость прикроет упругое тело, нальется оно соком — ох, какая сильная, может быть, удалая сибирячка получится из этой девочки. А пока торчала на берегу растопыркой большеротая, толстопятая девчушка и, ошарашенно открыв рот, глядела на нездешний, распрекрасный люд глазами, в которых накрошено и белого, и синего, и серого, и который которого переборет, пока не угадать, но непременно получатся глаза северного, застенчиво тихого свету.

Я покупал орехи у бородатого старообрядца, обутого в сырмятные шептуны, картуз еще на нем был знатный, кожаный, высокий, времен, подика, царя Алексея, выложенный под железо, насунутый до надбровных, непримиримо сдвинутых бугров. Насыпая орехи берестянкой, он воротил от меня рыло — я «вонял» табаком, но от самого кержака так перло черемшой, что пассажира послабей и с ног могло сшибить, — ушат с этой самой соленой черемшой стоял чуть в стороне. «Колбы не надо ль?» — мотнул старообрядец бородою на ушат.

Я отказался. Приняв мелочь за орехи, торговец устал в заенисейские дали, презирая вместе со мной всю гомонящую мирщину. Я отыскал взглядом девчушку. Не очень-то почитаю водянистую голубику, но у молодой сибирячки никто ягоды не покупал, и мне хотелось сделать «почин», а там сработает «закон рынка», разуму не поддающийся.

Спускаясь по отлогому берегу, я увидел на камешнике покойницки-синие следы и шмыгающие среди разномастной обуви, большие в кости и все-таки еще детские руки. Они выцарапывали ягоды из-под ног, гребли в кучу, но грязно-синяя лужа все шире расплывалась по берегу, достигла мытых мостков дебаркадера, кляксами испятнала пароходный трап. Матрос бросил перед входом сырую веревочную швабру. «Вытирайте ноги! Вытирайте ноги!» — повторял он, выхватывая за ворот попроще одетых пассажиров, сталкивал иль прямо-таки ставил обувью их на швабру. Девочка уже не собирала ягоды. Кому они нужны, с песком-то? Она терла ладошки о платье на груди, и отрешенность скитницы-черницы, понимание ей лишь ведомой юдоли исходило от нее. Вчера рано поутру разбудила ее бабушка, и они пошли в лес, по мокрой траве, и девочка ежилась со сна от утренней, пронзающей росы, и ноги ее, охлестанные травой, покрылись пупырышками, но пока пришли на болото, взошло солнце, обогрело, запели птицы, бекас на болоте зажужжал, глухарка с выводком пришла на болото кормиться ягодой. Набрали бабушка с внучкой полное ведро голубики, хоть и по оборкам ходили, где же им, старой да малой, идти на дальнее болото, пусть ягоды там и совком гребут. Но при старании да умении и на ближнем, исхоженном болоте ягод наберешь — не ленись только. Девочка свою тетрадку, шибко испомеченную красным карандашом, кроила на кулечки, высунув язык, бабушка откатывала ягоды по наклоненному столу, чтоб без сора «товар» нести на продажу, одновременно научала внучку свертывать кульки воронкой, и совместно решено было — на вырученные деньги купить внучке синие тапочки с черными шнурками, бабушке пестрого ситчику на фартук...

«Тебе чё, особу команду подавать?» — так, что затрещала на мне рубаха, сгреб меня за ворот матрос, и, пока я вытирал ноги о швабру, он с наслаждением удавкой затягивал ворот на моей шее. С сожалением выпустив меня,

матрос занял вкрадчиво-сонно: «Вытирайте ноги, граждане! Вытирайте ноги...»

А злой, свинцом налитой взгляд его щупал народ, искал жертву.

Я б забыл мокрогубого матроса и пристань Назимово забыл бы, если б не эта вот, зачем-то и почему-то накопленная и бережно хранимая злость молодого еще парня, может, и не злость, а только уверенность во власти, что хуже всякой тяжкой злобы, — власти временной, однако дающей возможность пусть хоть краткий миг потиранить ближнего своего, ротозевую ли девочку, дурня ли, вроде меня, не к месту и не ко времени размечтавшегося, — ничтожной силе и жертвы ничтожные.

«Сама во всем виноватая!» — простуженным голосом крикнула бойкая бабенка, в грязном шелковом платье, девочке, по лицу которой не потекли, прямо-таки рухнули слезы величиной с голубику. Крупные, светлые слезы, какие бывают только у детей, сыпались на камни, на песок и тут же бесследно высохали.

Легкие еще слезы, жизнь не отяготила их еще горькой солью. Но взгляд в себя послушницы-черницы все-таки почудился. От матери, от бабушки или прабабушки достал он эту девочку, занял свое место, осел в ее глазах на самом дне бабьей покорностью, которая паче мудрости.

Давно уж девушкой стала ягоdnица. Да что там девушкой? Женщиной, матерью. Рябь в ее глазах перемешалась, сделались они тихого, северного цвету, донная синева, много мудрой печали таящая в глуби, отсыяла в молодости, и серой пыльцой подернулись глаза, как спелая ягода голубика, которой вышла она торговать когда-то на пристань Назимово. А растет та ягода на тихом болоте, где лешие водятся, где лесной соседушко обретаeтся, пиликают веснами кулики, токует старый глухарь, уркают дикие голуби. В суете жизни, в бедах и радостях ягоdnица скорей всего забыла о том давнем происшествии на пристани Назимово, и саму пристань, быть может, забыла, а я вот отчего-то помню все так зримо и подробно, будто видел тихо и отринуту плачущую девочку лишь вчера.

* * *

Мы подзадержались осенью на рыбалке. Высотин с папой добирали план, забивали рыбой бочки, спрятанные под берегом в кустах. Высотин солил и коптил рыбу на

прокорм большой семье, папа, чуял я, мечтал покутить, хотя сулился справить мне «кустом и сапоги».

Вернувшись уже с «белыми мухами» в Игарку — они здесь начинают летать иным годом в начале сентября, папа где-то отыскал мачеху, и они, как говорилось в старину: «Вновь пали друг другу в объятия».

Сейчас я уж и не вспомню, какие извилистые пути привели нас в заброшенное здание драмтеатра, снаружи похожего на ящик из-под стирального мыла, не в партер привели, не в ложу — в подвал, где так и сяк нагорожено было множество клетушек. В клетушках слеплены, сбиты, со строек унесены печи, печки и печурки, трубами выведенные в окна, в стены и куда-то даже вниз, как потом выяснилось, в развалившуюся котельную.

Театр, в котором и прежде водились клопы, часто гас свет, выходило из строя паровое отопление, впавший в инвалидное состояние, был проворно от всего отцеплен и отключен, но, изъятый из культурного оборота жизни, он не сдавал свои позиции, и потому спектакли здесь шли круглосуточно, так как народ в нем обитал разнообразный, большей частью пьющий. Театр захватил, можно сказать, впитал в себя моего родителя, и такое началось «искусство», что ни в сказке сказать, ни пером описать!

Пока в нашей клетушке и в коридорчике у дверей стояли бочки с рыбой, шумно и весело шла жизнь: играли гармошки, «бацал» папа босиком, невзирая на сквозящую в щели половиц погребную стужу вечной мерзлоты. Братан Колька, изгрызанный клопами до корост, радостно подпрыгивал в люльке, гости выучили его свистеть и материться, и он, едва научившись говорить, такое загибал, что публика впадала в неистовое восхищение, одаривала его конфетками, лобызала, суля мальцу большое будущее.

Зима набирала силу. В театре начались пожары оттого, что печки тут палили украденными дровами без учета их технических возможностей. Рыба и деньги у нас кончились. Передравшись с мачехой, папа куда-то исчез. Пришлось мачехе поступать ночным кочегаром в театр, но уже не в тот, где мы жили и действовали, а в другой, в новый, имени Веры Пашенной.

Каким-то ловким маневром я был перекинут из новой седьмой школы в тридцатую, отсталую. Переход из начальных групп в пятый класс, где вместо одного учителя становилось их много, в прежние годы совершался трудно, ребята не такие были «развитые», как нынешние, и

сперва терялись от множества уроков, подолгу не могли запомнить имени-отчества преподавателей, длинного расписания.

Все это к тому, что дела мои в пятом классе пошли еще хуже, чем в четвертом, отношения с классной руководительницей — женщиной маленькой, злобредной — не заладились, и я совсем бы бросил школу, но ходил в нее от скуки, да еще чтобы раздобыть книжек, которые приохотился читать.

Отвлекаясь и забегая вперед, скажу, что кроме учительницы отпугивал меня от школы предмет под названием алгебра, к которой в шестом классе прибавилась совершенно мне недоступная геометрия, да еще важно сообщено было, что наукам нет пределу и к геометрии со временем может подсоединиться тригонометрия.

На пож хаживал, кирпичом мне голову раскалывали, каменюками, дрынами и всякими другими предметами били, пинали меня, в кулаки брали, на кумпол сажали. Все я более или менее благополучно прошел, пусть и с неизбежными физическими и умственными потерями, однако такого страха, такой жути, как при словах «геометрия» и «тригонометрия», не испытывал. Шпана есть шпана, на коварство, наглость и нахрапистость ответные качества появляются, соревнование в обмане, подвохах и наглости идет, с годами способность к сопротивлению, к отстаиванию своего достоинства, тело и душа совершенствуются. Словом, в драках и битвах толк был, закалялся я хорошо. Отпор какой-никакой научился давать, иначе ж прикончат. Но как сопротивляться геометрии, да еще и тригонометрии — чем отпор давать?

Пустота разверзлась, впереди, сзади, вокруг одна-пустота при слове «геометрия». А как с пустотой бороться? Была бы гора, так полез бы на нее, на гору, если не одолел бы, может, обошел бы.

Вот сколько ни жил я на свете, сколько ни переслушал умных слов, утверждающих, что мирозданию нет конца, все равно постичь этого не могу. Не могу, и все! Другие могут или притворяются ясновидцами и умниками, у меня не получается, потому как со дня моего рождения все имело конец, край, срок. Вот так же и с геометрией. Я тогда в ряд поставленное арифметическое действие и то одолеть мог с трудом и едва научился считать до ста. Какая тут могла быть алгебра и геометрия? Мало что знаки непонятные, так на тебе, действия разделили линейкой, и

цифры расставили в два ряда, да еще Цехин — учитель — не без гордости предупредил, что действие может растянуться до бесконечности.

Бабушка моя родимая, зачем ты меня в школу снарядила? Зачем фартук на сумку перешила? Посмотрела бы ты, что со мной творят!.. Стою у классной доски, потею, крошу мел пальцами и ворочу такое, что народ в классе впокот ложится. Учитель математики Цехин, дымясь от напряжения, толкует, что действие, написанное мелом на доске, специально для меня, тупицы, подобрано, надо только сосредоточиться, подумать, как тут же все и решится. Но еще в первом классе арифметика ввергла меня в такую пропасть, где нету места соображению. Все темно, глухо, немо, ничего не живет там, не шевелится и не звучит. «Ну а дважды два сколько будет?» — доносится до меня взбешенный голос Цехипа. «Два», — выворачиваю я. «А дважды три сколько?» — «Шесть». «Но почему же дважды два — два, а дважды три — шесть?..»

К этой поре меня начинало тошнить, с меня катилось потоком мокро, начинало пощипывать невымытую кожу, рубаха и штаны прилипали к телу. Никуда уже я не был годен. Цехин отсылал меня на место, с остервенением, ломая перо, ставил в журнале «Оч. плохо». Я и этому был рад. Освободили! Выпустили! Кончилась страшная мука.

«Попасть бы в школу, — томила меня мечта на уроках, — где нет ни алгебры, ни геометрии, тем более тригонометрии, и соображать и напрягаться совсем не надо».

Только на уроках русского языка и литературы ощущал я себя человеком. Чувство неполноценности покидало меня. Я ретиво рвался в «бой», тянул руку, желая высветить классовые противоречия в повести Тургенева «Муму» и демократические мотивы в произведении Пушкина «Дубровский».

Оставшись два раза подряд на второй и даже на третий год, я решил покончить с надсадными, никому не нужными науками. До тригонометрии я так и не дошел, слава Богу, и после шестого класса отношения мои со школой не возобновлялись.

Но Бог с ними, с этими точными науками. В театр! В театр! Там веселее и понятней все, и все действия в один ряд.

Иногда в театре поднималась большая паника. Не раздумывая, я хватал в беремья Кольку и мчался с ним на улицу — так поступать мне наказывала мачеха. «Добро, —

вразумляла она, — всегда можно нажать, а ребенок — он живой человек!» Однажды ночью театр горел особенно долго, и тушили его всем миром-собором. Мы с Колькой заспались, угорели и померли бы в подвальной клетушке, да вспомнил про нас артист, изгнанный из труппы по причине запойности, — он не единожды гуливал у нас с папой. Пожарные вытащили меня и Кольку наружу. Нас рвало. У Кольки не держалась голова, он ронял ее мне на плечо. Были разговоры, будто искал нас фотограф игарской газеты, чтобы заснять на руках у пожарников, проявивших мужество при спасении детей, но не нашел — спасенных детей мачеха укрывала в кочегарке нового театра. Старый закрылся окончательно. Публику из него вытряхнули, и, чтобы она не вздумала возвратиться, пожарные раскатали баграми уцелевшую часть гостеприимного и веселого заведения.

Узел с периной, подушками, старыми оленьими и собачьими шкурками, половиками какое-то время валялся за котлом в кочегарке. Мы с Колькой спали за котлом, полузадушенные угаром, потные от жары и пара, вымазанные глиной и сажей. Колька совсем увял в душите кочегарки, черный, худющий, перестал материться и свистеть, все тер кулачишками красные глаза и сам себе напевал: «О-о-о-о, о-о-о-о».

Явился папа, трезвый, потертый и смиренный. Мачеха взяла лом и пошла на него. Ее перехватил дежурный кочегар — переселенец из наших мест. Мачеха и кочегар срамили папу, он сидел на поленьях, смотрел в огонь тусклыми, то и дело в бессилии закрывающимися глазами и не отвечал им, не каялся, не слышал, должно быть, ничего, ничему не мог внимать, обессиленный пьянством.

Узел с добром, я и Колька были переправлены в пустое помещение летней парикмахерской, где недолго работал папа. Срубили для парикмахерской новый бревенчатый дом, но папу работать туда не перевели — «полька-бокс», сооружаемая им на головах игарчан, не подходила под госты мод; брить, не повреждая людей, он так и не наловчился — «руки суетились».

Мы отодрали доски, прибитые буквой «х» к окнам и двери парикмахерской, и зажали семейной ячейкой. Какое-то время все шло у нас ладно — папа поступил на курсы засольщиков рыбы, мачеха шуровала кочергой в долгозадом котле театральной кочегарки, поддавая жару родному искусству, я был дома за няньку и за истопника.

Но ветхое сооружение сарайного вида, воздвигнутое под парикмахерскую на скорую руку еще первопоселенцами, сдавало под напором заполярных стихий. Однорамные окна нашего обиталища, хотя и были занавешены половиками, тепла не держали. Жизнь наша переместилась в угол, к железной печке, которая неустанно гудела и содрогалась от напряжения.

* * *

Первым сдал папа. Еще в молодости прихватив простуду, он маялся многими недугами и самой страшной болезнью — псориазом. Ехать в сырое Заполярье да еще на рыбный промысел ему не следовало.

Пришла с работы мачеха, затрясла головой, подшибленно-дураковатая, раскосмаченная, выла она, размазывая слезы по плохо отмытому от сажи лицу, и вокруг глаз ее размывало слезами черные ободки, какие нынешние девчата наводят для томности и азиатской загадочности. Колька лез ко мне под пальтишко, зажимая ладошками глаза. Он не орал, не выказывал страха, только дрожал так, что проволокой выступающие ребра его вроде бы позвякивали. Он у нас хороший малый, терпеливый, да обезножел, лишь начавши ходить. Бродил с осени, ушибался, но свистел, бормотал чего-то. Старый театр, кочегарка и парикмахерская доконали мальчонку. Из мачехино воя и причетов я уяснил — отец в больнице. В тепле проведет всю зиму, сыт, умыт и беззаботен. Не в первый раз обострялась его болезнь после запоев, он надолго убирался в больницу, предавая семью, и предаст еще не единожды. Я сказал мачехе, чтоб она спасала Кольку — искала работу, жилье и уходила отсюда, иначе малому конец — кашель у него начался и ноги вот...

— А ты?

Мачеха, подбирая волосы под платок, высоко задрала руки, и меж распахнутых пол душегрейки обнаружился заметно побугревший ее живот: «Чего это она там спрятала?» — мачеха перехватила мой взгляд, поспешно запахла полы, и я догадался, отчего пошли у нее цветные пятна по лицу, мадежами в деревне они зовутся.

— Уйду к нашим, — ответил я и покраснел.

Мачеха ровно ждала такого моего решения. «Правильно, — тараторила она, собирая манатки. Колька же плотнее и плотнее прижимался ко мне. — Кому, как не дядь-

ям, не дедушке да бабушке позаботиться о сироте? Отец хворый, а я — какая мать? Со своим-то дитем дай Бог управиться, не ухайдакать его при такой жизни... Конечно, тесно у родни-то, комнатенка всего, ну да в тесноте — не в обиде... — И совсем уже заботливо наказывала: — Главное дело — потрафляй бабушке. Не огрызайся. Сяма не то, что я, сяма не любит этого. Ну даст Бог, все наладится, отец не подохнет, соберет всех в кучу...»

И по тому, как снизила она голос на «куче», не сказывала, куда уходит, суетлива больно была, голос ее был широко ласковый, я уразумел: и эта предает меня. Чувствует, знает — не пойду я «к нашим», но балаболит, извертывается. А я-то, я-то ждал взрыва: «Какие еще тебе наши?! Я что, не наша?!» — и решительно заберет меня мачеха с собою. Всю жизнь тогда я буду покорным, уважать ее попробую, когда вырасту, защищать и кормить стану...

Избавившись от обузы, мачеха переминалась «для приличия» у обмерзшего порога парикмахерской. Я сидел за печкой на полу, обняв колени, и видел Колькины глаза, слезами сверкающие из толстого, неуклюже навьюченного на него тряпья. Вот-вот рухнет ко мне Колька с протянутыми руками, тогда я не выдержу, зареву тоже.

— Ладно, идите...

— Картошек поешь. Карасин в фонаре остался... Не обгори ночью-то... Долго тут не будь...

— Иди, иди...

Дощатая, по щелям просеченная белым дверь бережно, почти беззвучно прикрылась, обдав облаком стужи пустое жилище, на стенах которого остались незакрашенные квадраты от зеркал, настенных ламп и гвозди, забитые для какой-то падобности; провода мышинными хвостами торчали из стен; белела под потолком люстра, сделанная наподобие банного таза. Кроме люстры, досталось мне кое-что из нашего личного имущества: в углу лежала перина, подушка; на окнах половики висели, и, пока не забрала их мачеха, я мог «жить — не жужить».

* * *

Самостоятельную жизнь я начал сразу, безо всякой подготовки. Мачеха из кочегарки ушла, дров мне там не дали. Я подглядел возле одного переселенческого барака нарту, явно лишнюю, укатился на ней к жилищу, отныне

мне только принадлежащему, и обнаружил, что перины на месте нет, зато половики, подушка и кое-что из рухляди, главное — собачья и оленья шкуры — милостиво оставлены мачехой. «Хоть в тоске, да все не на голой доске! Дура дурой, а где надо, так умная, — не захотела вот со мной встречаться и не встретилась, имущество поделила по совести».

Надо было взойдись нарту, что значит — облить водой, подморозить полозья, после подровнять топориком лед, чтобы нарта была ходовитей. Все это я проделал с большой охотой и, впрягшись через оба плеча в нарту, скоро волок уже с речного отвала воз сухой обрезки, именуемой в Игарке макаронником. Нарубил я его целый ворох, надеясь ночью унести сырой лиственный кряж от театральной кочегарки, потому что макаронник горел порохом и его надо «сдерживать» топливом впросырь.

Я варил в ведре и пек на печке пластики картошки, не интересуясь, допеклись они или доварились, ел их, скорлушки бросал мышам, которые бойко возились по другую сторону печки, с ними было мне не так одиноко. Я добывал в читальнях библиотек книжки, уводил их, а они уводили меня в иной мир, помогали глушить тревогу и раной ноющую обиду на весь белый свет. Я понимал, что долго мне на картошке не продержаться, ослабну и не смогу на себе таскать возами дрова.

Я уставился взглядом на люстру, ввешенную посередине залы. В чаше люстры темнела мерзлая мухота, будто подвяленная смородина, по дну люстры, словно во льду, сверкала трещина, край люстры выбит, потому и не взяли ее с собой горкомхозовцы, а вещь хорошая. Если из десяти плевков хоть одним попаду в чашу люстры — решил я, — мне стоит сходить к нашим и понюхать, чего там и как. Плевать было хоть и невысоко, но из-за печки далеко, однако я не хотел хлюздить — все вокруг меня хлюздят. Так я не стану хлюздить и, раз загадал попасть в люстру из-за печки, шагу не сделаю, даже не поднимусь, как сидел, так и буду сидеть, в соревновании должна быть честность. Я попал в люстру шестым плевком, да так попал, что мухота сажей залетала по чаше люстры и пыль облаком за клубилась. «Силен, бродяга! Зер гут!» — похвалил я самого себя и отправился к нашим.

Меня приветили, усадили есть, про жизнь спрашивали. Я чего-то плел, старался не жадничать и не капать на клеенку, ел, что давала бабушка из Сисима. Дед привы-

чно ругал отца: «И в ково уродился, сволочь такая?! Ну я вот его увижу! Ну я вот ему...»

Бабушка из Сисима поспешно взялась штопать рубашку прямо на мне, даже язык велела прикусить, чтоб память иголкой не ушить, затем украдкой от деда сунула мне рублишко — вот какая заботливая бабушка! Они, дед и бабушка, догадывались о моей беде, но прятались, прежде всего от дядьев — те не понимали, что со мной, где я живу, шуточки пошучивали, о гульбе думали. Отужинав после смены, Ваня — работал он рубщиком на лесобирже — вальнул с книжкой на кровать. Вася щелкнул меня по лбу, свистнул в «квартире», дразня бабушку из Сисима, и подался по девкам. Бабушкин сын Костька — тоже мне дядя, хотя и моложе меня, оказывал упорное сопротивление матери, заставлявшей его делать уроки. Он мегил на катушку порезвиться и покурить там с ребятами, вот и тянул шею, заглядывая в обтаявшее сверху барачное окно.

Все заняты собою. У всех свои заботы. И у меня тоже. Главная из них: чего завтра пожрать?

Дома ждал меня гость, мой одноклассник и друг, Тишка Ломов, личность тоже выдающаяся, в дружбе до гроба верная и до того преданная, что со мною на второй, если потребуется, и на третий год останется в одном и том же классе.

Тишка дал мне пирожок с капустой и записку класной руководительницы моим родителям. Она была обеспокоена долгим отсутствием вверенного ей ученика, хотела знать — отлынивает ли учащийся, болен ли, и вообще она всегда старается лично знакомиться с уважаемыми родителями и со всеми уже почти знакома, кроме моих.

Плюнув на неразборчивую роспись учительницы, я бросил бумагу в огонь, чем привел Тишку в бурное восхищение. Вдвоем мы быстро наготовили дров, нахально уперли сутунок опять же от театральной кочегарки, и Тишка засиделся у меня допоздна, сообщив напоследок, что видел мою мачеху возле домов, строящихся на улице Таймырской.

Слабо теплившаяся надежда погнала меня на улицу Таймырскую, и там среди четырех из брусьев складываемых двухэтажных домов, в жарко натопленной сторожке,

наполненной запахами стружек и выкипевшей из досок живицы, я отыскал мачеху и Кольку.

Малый метался на топчане, сколоченном из новых, свежепахнущих досок.

— Заболел наш Коле-енька, заболел-эл! — запричитала мачеха, схватившись за голову. Голос у нее был совсем уж лесной, дикий, вся она какая-то обвислая, сырая, губы мокры, раскосмачена, будто шаман. «Да она же выпившая, может, и пьяная!» — резануло меня догадкой, и я со страхом заметил на столе, из опять же белых, пахнущих досок сооруженном, уже нечистом, израненном ножиками, недопитую бутылку. На газете ржавели растерзанные ивасы с выпущенными молоками, кусок хлеба, похожий на булыжину. Хлеб почему-то ломали, не пользовались ножом, воткнутому в щель стола. Пили тут рабочие, строители пили, совсем недавно, в обед пили.

— Ну, как ты? Не ушел к нашим-то? — на слове «нашим» мачеха сделала злой упор и затрясла спутанными космами: — Не нужны мы никому! Ни нашим, ни вашим... Ни-ко-му! Знать, бороной по нашей судьбе кто-то проехал... Допей вон вино, лучше станет, тепле-е...

Мачеха, хоть и заполошная, хоть и с пьяницей жила, но к вину непривычная, ее развозило в жаре. Ночь, наверное, не спала — сторож все-таки. Может, много ночей не спала — ребенок хворый на руках, другой наружу просится; ни кола ни двора; муж из больницы табаку заказывает; где-то парнишка брошен, пусть неродной, но все-таки живой человек! Что, если мачеха вздумает допить остатки спирта? Ей ведь все равно — отчаялась. Сгорит! Умрет в судорогах. Что с Колькой тогда будет?.. Я схватил бутылку, задержал дыхание, остановил всякое движение в теле и в широко растворенный рот вылил спирт — так пьют настоящие умельцы, слышал я, так пьют ходовые мужики, покорители морей, воздушных, арктических пространств — и словно подавился горячей картошкой — ни взад, ни вперед ничего не подавалось и не пробивалось, прожигало грудь комком пламени, губы понапрасну хватывали воздух. Мачеха изо всей силы колотила меня кулаком по спине:

— Ну!.. Н-ну-у-у! Н-ну-у-у-у! Ой, тошно мне! Закатил парнишка-то!.. А-лю-у-уде-э-э-э!..

Наконец разжалось, схватило воздуху обожженное горло; остановившееся сердце пошло своим ходом, и я смог перевести занявшийся дух. Убедившись, что я ожил,

отошел, мачеха упала головой на край топчана, подгребая к себе Кольку:

— Зарублю! Если Колька помрет, отсеку башку твоему отцу!..

Я толкнул задом дверь, выпятился из сторожки. Следом несся сорванный голос человека, давно и безнадежно заблудившегося. Я зажал драными рукавицами уши, побежал куда глаза глядят. На какой-то улице, возле каких-то подпрыгивающих барачков катавшиеся с крыши сарая или с чего-то высокого и тоже подпрыгивающего ребяташки кричали: «Пьяный! Пьяный! Оголец пьяный!..» Я схватил палку, погнался за ребятами, запнулся, упал, ободрал в кровь колени. Какие-то дядьки и теткы поймали меня, ругались, хотели бить, но меня начало рвать, и они брезгливо отступились.

Неизвестной мне дорогой — пьяных же черт водит! — я проник на конный двор, располагавшийся в соседстве с парикмахерской, попал в стойла к рабочим коням, если б к жеребцу — зашиб бы он меня. Обнимая смиренную конягу за шею, истертую хомутом, я чего-то ей объяснял, целовал в окуржавелую морду. У коняги подрагивали широкие ноздри, она деликатно отворачивалась от меня, как девушка в автобусе от назойливого пропойцы. В печальном глазу коняги стоял молчаливый мне укор. И по сию пору, когда я гляжу на рабочую конягу, мне вспоминается покойный дедушка Илья Евграфович, и тогда тоже, видать, вспомнился. «Эх, дедушка, дедушка! Царство тебе небесное! — запричитал я. — Ты не бросил бы меня...»

Выплакавшись, я, должно быть, поспал в стойле коняги, потому что очнулся в соображении, нагреб из кормушки овса в карман и потрепал извинительно конягу по гриве:

— Голодуха — не тетка! Тебе еще дадут.

Холодина в парикмахерской была такая же, что и на улице.

Мышей не слышно и не видно — норками ушли на конный двор, там сытнее и теплее. Я разживил печку, подгреб в кучу грязные, облезлые шкуры, закутался в половики, жарил овес на выюшке и выгрызал из шелухи зерна. Наловчился я в этом деле. «Беда вымучит и выучит», — говаривала бабушка Катерина Петровна. Жива ли она? Надавливая зубами на зерно, я посылал ядрышки в рот и хрумстел, думая о бабушке и о разных разностях. «Овсяно зернышко попало волку в горлышко», вспомни-

лась бабушкина присказка, только ему, волчьему-то горлышку, все нипочем, а мне язык накололо. Я пробил в зеленелом ведре дырку, попил через край воды, и меня снова разморило у горячо польхающей печки, в пьяную жалость и слезу повело. «В Ледовитом океане, — затянул я только что появившуюся песню, — против северных морей, воевал Иван Папанин двести семьдесят ночей. Стергли четыре друга красный флаг родной земли до поры, откуда с юга ледоколы не пришли...»

Пел и плакал — жалко было Ивана Папанина.

* * *

В ту ночь я едва не замерз. В печке погасло. Со шкур я скатился, и только подушка, угодившая мне под бок, спасла меня от тяжелой простуды, может, и от смерти. Малую простуду — кашель, бивший меня, вечный уже насморк я болезнями не считал.

Боль в голове, одиночество ли, особенно тягостное с похмелья, надежда ли отогреться и чего-то пожрать стронули меня с места, потащили в тринадцатую школу. Располагалась наша отстающая школа в бывшем помещении горсовета. Наверху, на втором этаже школы, все еще оставались разные службы, для которых достраивалось отдельное помещение. Службам этим, особенно сотрудникам горно, учащиеся мешали выполнять обязанности, бегая по коридору и резвясь на лестницах.

Готовый дать в морду любому, кто станет приставать с расспросами или обзывать, весь внутренне подобранный, ощущая колючую щетину на спине, я шагнул в класс и понял, что друг мой, Тишка Ломов, провел «серьезную работу» среди учащихся — меня никто не «видел». Тишка пересунул в пустующее передо мной отделение парты ломоть хлеба, жиденько намазанный томатной пастой. Я приподнял клапан парты, наклонился и быстро изжевал, да что там изжевал, заглотил кусок хлеба и облизал кисленькую пасту с губ. Тишка коршуном глядел вокруг, оберегая таинство моей трапезы.

Задрезжал звонок. В класс с указкой, картами и журналом в беремени вошла Ронжа — такое прозвище носила учительница за рыжую вертлявую голову, зоркий глаз и керкающий голос. На самом деле Софья Вениаминовна, географичка, наш классный руководитель. Ростик у Ронжа от горшка два вершка и потому готова уничто-

жить всех, кто выше ее и умней. Поскольку выше ее и умней были все люди вокруг, она всех, над кем ее власть, а власть только над учениками, терзала.

Пронзив голубым, душу ледящим взором пятый класс и сразу все в нем увидев, Ронжа уцелилась клювом в меня:

— Явился не запылится! В перемену побеседуем...

Беседе не суждено было состояться.

К середине урока меня крепко разморило в тепле, и я стал кренить голову на парту. Сзади меня началось смятение. «Девчонки увидели на мне вшей,— догадался я, втягивая голову в плечи. — Выползли, заразы! Не сидится под рубахой, в тепле...»

— Встать! Вста-ать! Вста-а-а-ать!

Кто-то рвал меня, тащил за руку. Я поднял голову и в плавающей паутине сна различил что-то рыжее, с дергающимся хохолком, с острым клювом. Дружески улыбнулся я рыжей птахе, повсеместно обитающей в российских лесах, красивой птахе, но вороватой, ушлой и шибко надоедой. Птаха издала поросычий визг, и я проснулся. Из-за парты, в которой я застрял, вытаскивало меня мало-сильное существо женского пола, трясущееся от бешенства.

Я стоял у доски по команде «мирно». Ронжа, поцокивая каблуками, мне чудилось — коготками, скакала вокруг меня, будто возле корыта с прикормом, обзывала лоботрясом, идиотом и тому подобными словами, стоящими на ближних подступах к матюкам. Я плохо ее слышал и никак не мог удержать голову. Дремал. То, что я не огрызался, прикемаривал на глазах у всего класса, распаяло учительницу, уязвляло пуще всякой наглости, и в слепом обозлении перешла Ронжа ту ступень, которую переступив, даже бесстрашная мачеха бросала все дела и убегала куда подальше, надежно хоронясь от пасынка.

— Грязный, обшарпанный, раздрызганный! — Ронжа выдернула из моих штанов рубаху с прожженным подолом, оттого и заправленную под ошкур брюк. Валенки — расшлепаны, мною же проволокой чиненные, «просили каши»; прихваченные через край суровыми нитками, заплаты на штанах поотрывались; стриг меня папа под «польку-бокс» еще на рыбалке, в баню я тоже затепло ходил, нагольного белья на мне не было. Заталкивая рубаху обратно под штаны, я нечаянно показал исцарапанное ногтями тело. Кто-то в классе хихикнул и тут же получил громкую оплеуху от Тишки Ломова. Ронжа мигом выдво-

рила Тишку из класса и собралась обличать меня дальше, но сидевшая сзади меня дочка завплавбазы или снабсбыта подняла руку — левая сторона ее кошачьей мордочки сделалась еще сытнее, вроде она конфетку за щекой мумлила — Тишка отоварил! Человек — Тишка!

— Ну что у тебя, Переудина? — недовольная тем, что ее прерывают, спросила учительница.

— Софья Вениаминовна, у него вши...

Ронжа на мгновенье оцепенела, глаза у нее завело под лоб, сделав ко мне птичий скок, она схватила меня за волосы, принялась их больно раздирать и так же стремительно, по-птичьи легко отскакнув к доске, загородилась рукой, словно бы от нечистой силы.

— Ужас! Ужас! — отряхивая ладонью белую кофточку на рахитной грудешке, со свистом шептала она, все пятясь от меня, все загоразживаясь, все отряхиваясь.

Я уцелил взглядом голик, прислоненный в углу, березовый, крепкий голик, им дежурные подметали пол. Сдерживая себя изо всех сил, я хотел, чтоб голик исчез к чертям, улетел куда-нибудь, провалился, чтоб Ронжа перестала брезгливо отряхиваться, класс гоготать. Но против своей воли я шагнул в угол, взял голик за ребристую, птичью шею и услышал разом сковавшую класс боязную тишину. Тяжелое, злобное торжество над всей этой трусливо умолкшей мелкотой охватило меня, над учителькой, которая продолжала керкать, выкрикивать что-то, но голос ее уже начал опадать с недоступных высот.

— Ч-что? Что такое?.. — забуксовала, завертелась на одном месте учителька.

Я хлестнул голиком по ракушечно-узкому рту, до того вдруг широко распахнувшемуся, что в нем видна сделалась склизлая мякоть обеззвучившегося языка, после хлестал уже не ведая куда. Я не слышал криков, визга, не заметил, как в панике сыпанули за двери парнишки и девчонки, покидая родной класс и учительницу; черные стрелы замелькали перед глазами — разлетались прутья голика; на мгновенье возникло передо мной окровавленное лицо учительницы, но кровь на напугала, не отрезвила меня, наоборот, она прибавила озверения и неистовства. Ничего в жизни даром не дается и не проходит. Ронжа не видела, как заживо палят крыс, как топчут на базаре карманников сапогами, как в бараке или жилище, подобном старому театру, пинают в живот беременных жен мужья, как протыкают брюхо ножом друг дружке

картежники, как пропивает последнюю копейку отец, и ребенок, его ребенок, сгорает на казенном топчане от болезни...

Не видела. Не знает. Узнай, стерва! Проникнись! Тогда иди учить. Тогда срами, если сможешь. За голод. За одиночество, за страх, за Кольку, за мачеху, за Тишку Ломова — за все полосовал я не Ронжу, нет, а всех, бездушных, несправедливых людей на свете. Голик рассыпался в руке — ни прутика, я сгреб учительку за волосы, свалил на пол и затоптал бы, забил до смерти жалкую, неумную тварь, но судьба избавила меня от тяжелого преступления, какой-то народ навалился на меня, придавил к холодным доскам пола.

— Витька! Витька! Бешеный! В колонии сгноят!.. — далеко где-то кричал и плакал Тишка Ломов.

— Мальчик! Мальчик! Что ты, мальчик? — просил, умолял кто-то. — Успокойся! Успокойся, мальчик...

Не сразу, но дошло: зывают ко мне. Я — мальчик?! Забыл совсем об этом, забыл — мальчики и девочки бывают в детстве. Где же оно, мое детство? За горами, за долами, за далекими лесами, в родной сторонущке, у родимой бабушки. Накоротке отшумело мое детство, Троицыным зеленым листом, отцвело голубым первоцветом...

— Пустите меня. Не держите...

Меня повели в учительскую. В коридоре, прижавшись к стенам, стояли, онемело глаза на меня, учащиеся. Со второго этажа, свешиваясь через деревянный брус лестницы, глядели служащие. В учительской, бледная, возмущенная, что-то говорила директорша школы, голос ее набирал силу, переходил в крик. Куда-то звонила завуч, то и дело роняя очки на пол. Откуда-то всякого народу допална набилось. Появился наконец и милиционер, которого разом взяли в круг учителя, задержались, возмущенно тыча пальцами в меня, в Ронжу, поверженно лежавшую на диване, слабо стенающую, боязливо сморкающуюся кровью в батистовый платочек. Долетали, но мало меня трогали страшные слова; суд, тюрьма, исправительно-трудовая колония, дознание, факты, «мы все свидетели». Скучно среди этих людей, будто в худом заполярном лесу поздней осенью. И холодно. Очень. Трясло, прямо-таки зыбало меня так, что весь во мне ливер перемешанно болтался. Я схватывал, схватывал рубаху на горле, с которой оторвалась последняя пуговица. Да какое от рубахи тепло? «Свидетели! — с презрением отметил я. —

Чё же вы не заступились-то за Ронжу? Свидете-еэ-тели! Неужто лихорадка опять? Зимой? Эта похлеще листопадицы! Пропал я!..»

Хотелось лечь, свернуться, укрыться чем-нибудь теплым. «Домой», за печку бы!..

Выслушав гомонящее учительство, милиционер надел шапку и буркнул: учительша-де тоже птица хороша. Самиде тут разбирайтесь, да прежде покормите малого и одежонку из каких-нибудь фондов выделите..

Я приостановил в себе озноб, выглянул из людской чащи, забившей учительскую, из-за кочек лиц, из-за выворотней туловищ — милиционер был пожилой, мужиковатый. Он не приложил руку к шапке со звездой, он поклонился, сказав: «Извините!» — и осторожно прикрыл за собою дверь.

Наступило молчание, растерянное иль зловещее — не понять.

— И то правда, — прежде накормить, — спустя большое время вздохнула седая женщина. Она курила возле окна, кутаясь в теплый платок, и, кажется, одна только не орала, не бегала по учительской.

— Но, Раиса Васильевна!

— Что Раиса Васильевна?! Что? Набросились гамозом на голодного мальчишку... Милиционера позвали... руки крутить... Да? Чего молчите? Идем со мной, парень! — метко бросив папиросу в форточку, проговорила Раиса Васильевна и властно, как маленького, взяла меня за руку.

Мы поднялись по деревянной, замытой лестнице наверх, туда, где еще располагались разные службы, и в конце коридора вошли в комнату, на двери которой тускло светились буквы: «ГОРОНО».

За тесно составленными столами трудились разные люди, которые сделали вид, будто не заметили нас с Раисой Васильевной. В соседней комнате, куда была распахнута дверь, громогласная женщина крыла кого-то по телефону, так крыла, что графин или чернильница на столе звякали — каждое слово она припечатывала ударом кулака по столу.

«Грозная контора!» — поежился я и решил, что здесь-то меня и «оформят в исправилровку». Раиса Васильевна усадила меня за длинный стол, заваленный бумагами, над которым написано было «Инспектор гороно», сама ушла.

Впервые в жизни попав за казенный стол, да еще под такую давящую надпись, я крепко оробел. Женщины, пожилые и молодые, писали бумаги, ставили на них печати, звонили куда-то, и я начал успокаиваться. Явилась Раиса Васильевна, принесла стакан со сметаной, прикрытый ломтем белого хлеба, поставила его передо мной на стекло, сказала: «Ешь!» — и отправилась в комнату, где уже утихомирившей продолжала разговаривать по телефону женщина. «Но! Но! А они-то что? Они-то? У них-то своя голова на плечах есть? Почему я должна за всех отдуваться?.. Но! Но!..» — Должно быть, Раиса Васильевна ушла, чтоб не стеснять меня, да плевать мне на всех — не было больше моих сил терпеть, жрать так хотелось, что голова кружилась. Деловая обстановка в конторе, брань женщины, голос ее в соседней комнате, как бы понарошке грозный, не пугали меня, наоборот, приутишили смуту в моей душе, и тепло здесь было — за спинкой стула Раисы Васильевны шипела батарея, крашенная голубенькой краской. Я еще и с едой не управился, как явилась из соседней комнаты женщина, коротко стриженная, фигурой напоминающая круглый сутунок, к которому безо всякой шеи приставлена голова.

— Чего дерешься-то? — по голосу я узнал ту самую, что разорялась только что по телефону, и не мог сообразить, чего ей сказать, да она и не ждала ответа. Примостившись на край стола мягко раздавшимся задом, она закуривала и, когда я снова принялся за еду, еще спросила: — Не знаешь, что ли, мужчине женщину бить не полагается?..

«А ты старый театр знаешь? — хотелось спросить у этой женщины-коротышки. — Папу моего знаешь? Как они с мачехой сгребутся да в топоры! А я их разнимать... Ты-то знаешь, да тоже прикидываешься дурочкой. Ну и я дураком прикинусь!»

— Не знаю, — дожевывая хлеб, пробубнил я в ответ и, покончив с пищей, вмяткой добавил: — Я еще мальчик.

— Чего-о-о? — коротышка женщина и Раиса Васильевна вместе с нею так и покатались: — Ну и гусь ты лапчатый!

Сотрудницы горноначали прислушиваться к разговору. Я поднялся, одернул рубаху, поблагодарил Раису Васильевну за угощение и, вытянувшись по стойке «смирно», с вызовом брякнул:

— Готов следовать куда прикажете!

— Чего-чего? — снова поразилась заведующая. — Ты и в самом деле гусь! — и обвела присутствующих взглядом. Раиса Васильевна покивала ей головой, дескать, то ли еще будет.

— В кэпээ, в тюрьму, на каторгу, — с солдатской готовностью рубил я.

— Да ладно тебе! — буркнула Раиса Васильевна. — На каторгу... Сиди уж, — и поспешила следом за коротышкой в другую комнату, и, когда закрывала створки, я заметил буквы: «Зав. гороно». Прежде чем запахнуть дверь, заведующая обернулась и зачем-то погрозила мне пальцем, тоже коротеньким, хотела выдать чего-то грозное, руководящее, но Раиса Васильевна потеснила ее собою, утолкала за двери.

Тепло разливалось по моему нутру от еды. Боясь снова опозориться, уснуть, я стал искать развлечений и под стеклом, среди бумажек, театральных билетов, облигаций Осоавиахима, каких-то бланков и справок, обнаружил карточку молодого, красиво одетого парня. В галстук парень, в темном костюме, подстриженный, причесанный, он напряженно сдерживал улыбку, но она все же просквозила в глазах, тронула большие губы, какие чаще всего бывают у мягкосердечных людей. Такие парни слушаются мам и пап, старательно учатся, их выбирают в пионервожатые, в редколлегии стенгазет, посылают на слеты, таких мы с Тишкой лупили...

Где-то я видел такую же карточку? Где? Брезжило, брезжило и прояснилось, да вон же, внизу, у крыльца, деревянная пирамидка! На пирамидке, крашенной в защитный цвет, разлапистым крестом укреплен поврежденный пропеллер самолета и три карточки врезаны в дерево: двое в летчицкой форме и один вот этот парень, в гражданском, при галстук. Изучали они чего-то в тундре и обледенели — самолет гробанулся. На могилу, не по правилам, не на кладбище, в центре города, у горсовета сделанную, пионеры и всякие заслуженные люди приносят цветы.

— Задремал? — Я вскинулся. Раиса Васильевна кивком показала, чтоб я освободил место, села, расписалась в продолговатой бумажке со штемпелем и печатью, перехватив мой взгляд, на мгновение сникла, затем коротко, с устоявшейся болью молвила: — Сын. — И протянула мне бумажку: — Вот тебе направление... В детдом направление. И вздумай не пойти!..

Раиса Васильевна проводила меня до запасного выхода — не хотела, чтоб я прошелся по коридору родной школы, и уже на площадке лестницы спросила:

— Ты любишь читать?

— Ага.

— Так вот тебе мой совет: никогда не бросай книжки. Читай. Больше читай. И не дерись. Нехорошо это. Ладно, ступай. Тебе еще много назиданий слышать. — Раиса Васильевна посмотрела в сторону со вздохом: — Горазды мы на них. Благо ничего не стоят. Мужики и бабы, бывало, сперва хлеб голодному, потом молитву. Мы ж наоборот... — Раиса Васильевна осеклась; отвалил мне Бог рожу — все, что переживаю, на ней видно. — Варезки где? Потерял?

— Нет у меня варезек. Рукавицы-верхонки есть. Я в них дрова рублю.

— В детдоме выдадут. Ну беги, беги! Холодно тут. — Раиса Васильевна куталась в теплую шалюху или шарф, под которым еще пестрел свитер. «И чего человек мерзнет? На лестнице потеплей, чем в «моем доме», и одежда — не моей чег!» — думал я, томясь: не хотелось мне в детдом, но нельзя обманывать Раису Васильевну. Если таких людей начнешь обманывать, хана тогда всякой вере и совести.

Спустившись по лестнице, я поднял голову, увидел еще раз Раису Васильевну, не всю, только седую ее голову, склоненную над перилами, увидел и огромные, куда-то в пустоту глядящие глаза. Серой совой, ослепленной снежным светом, почудилась мне женщина из гороно, которую я видел в первый и последний раз — весной во время ледохода он скончалась от большого сердца. Ее портрет был напечатан в газете «Большевик Заполярья». Я хотел содрать газету с забора лесобиржи и вырезать портрет Раисы Васильевны, да где же мне было его хранить-то? — ни блокнота у меня, ни бумажника в ту пору не было.

* * *

Сподобило меня прочитать какую-то дряхлую книжку о старом приюте да баек досыта послушаться от обитателей старого театра о специсправилках, о страшных детдомах. Понимал я, конечно, что кормить ивасями и не давать воды, пороть проволочной плетью, бросать в карцер, где крысы живьем съедают нашего брата, — в детс-

ком доме едва ли станут, но все ж страх камнем лежал на дне моей души, и без того уже крепко надорванной. С людьми схожусь я трудно, а в детдоме ведь не просто люди — шпана там, и волю, так мне поглянувшуюся, терять не хотелось. Пусть голодную, бесприютную, одинокую, но волю: живи как хочешь, делай что угодно. И главное, верилось: наступят, не могут не наступить времена счастливые.

Словом, решил я не торопиться и глубоко обдумать положение. «Никуда от меня не денется детдом-то».

Неторопливо прошел я мимо тринадцатой школы, поочкачивался в хлебном ларьке. Ничего там не обломилось. Я особо не горевал: как-никак маленько подкрепился в гороно. Вырулив в свой переулок, я посеменял вдоль заплота конного двора и замер: такая постигла меня неожиданность. Бабушка моя, Катерина Петровна, принялась бы при такой неожиданности кресты на грудь бросать: «Матушка, Царица Небесная! Милости и благодати Твои, яко солнце Божье, всевечны...» Над жилищем моим, над хибарой сортирного типа, крашенной в небесный цвет, утонувшей до застрехи в снежных забоях, струился дымок. Значит, жизнь идет, мачеха вернулась, может, и отец? Да пусть бы и отец — все какая-никакая живая душа, в казенный дом не идти, не прилаживаться к детдомовской шпане, не менять пробитое русло жизни.

В убежище моем, за полыхающей печкой нахохленно сидел Тишка Ломов.

— Убёг? — спросил он.

Я сел рядом с ним и показал бумажку. Он ее прочел, шевеля губами, задумчиво вернул:

— Померла бы матуха, вместе бы пошли. Вместе не так боязно.

Я встал на карачки, пошуровал железиной в печи, подбросил дров. В избушке притемнилось, по ту сторону печки синичкой пискнула мышь, послышался ей ответ из-под вывороченных половиц, и зашебаршила картофельная скорлупка. Работают мыши, кормятся безбоязно, они настолько привыкли ко мне, что иной раз по лицу норовят пробежать. «Чудно дядино гумно — семь лет урожаю нет, а мыши водятся!»

— Я у тебя поживу, — не то попросился, не то разрешил себе Тишка.

— Живи! — Я взял топор, развалил сырую чурку пополам. — Только жрать нечего.

— Воровать будем.

— Ты воровал?

— Нет.

— То и треплешься. Воровать страшно.

Гудела печка — «хороший людя» — как сказали бы о ней приенисейские остяки. Что бы я и все мы делали без печки? Без огня? Неужто в детдом идти все же придется? Ах ты! Ах ты! До чего не хочется, до чего боязно...

Тишка, ровно бы оправдываясь, рассказал, почему он не может явиться домой. Это он перенял у школы милиционера и поведал ему все, как было, оттого и пришел милиционер в учительскую такой сердитый. Дома у Тишки мать и старший брат Пашка — они из переселенцев. За старшего в семье Пашка — художник в городском кинотеатре, а беснуется дома хуже урки. Примется Тишку бить — нет у него под рукой другого предмета, кроме полена или железной клюки. Сколько раз из памяти вышибал Тишку. Мать запугал до смерти, она и без того запугана переселением, утерей троих детей, подрублена цингою, беззубая, кости у нее по-старушечьи выступили и хрустят, в тридцать-то семь лет! Работает мать Тишки сортировщицей пиломатериалов на лесобирже. С работы явится, на топчан заползет и лежит пластом. «Прибрал бы скорее Господь. Ослобонить бы себя и вас», — говорит. «И освободи! Чего волянишь?!» — кричит родной сын Пашка.

Тишка другой раз пожалеет мать, печь истопит, сварит похлебку или кашу, горячим себя и ее побалуует. Пашка дома не ест. Как личность интеллигентная, кушает он в ресторане, под баян. Бабу завел Пашка, модную, курящую. Сидит красotka на топчане, бренчит на гитаре и песенки поет про отчаянных капитанов, про маленькую Мэри, пьяная нажрется, так про Колыму и про блатную жизнь поет-рыдает, в Пашку бросает туфлями. Тишке с матерью совсем не стало места в барачной комнатенке. Терпеливо ждут они, когда та, ни квартирантка, ни жепа — прости-господи и воровка, коих летом на морпричалах дополна, надоест художнику и он ее удалит из помещения.

— Пойдем-ка, Тимофей, дровами запасться, — с кряхтеньем начал я вылазить из-за печки.

— А в детдом?

Я глянул на него: «Предавал я кого? Предавал?!» —

так выразительно глянул, что он заторопился искать рукавицы.

— Уж и на понт не возьми человека! Совсем шуток не понимает!

Мы приперли воз макаронника, быстро его изрубили, затем весело и непринужденно накатали сырых чурок от кочегарки драмтеатра и сверх того ящичков от магазина свистнули. В фанерном ящичке обнаружилась подмокшая, слипшаяся в углу сахарная пудра от конфеток. Мы разболтали ее в консервных банках, попили душистого, как мыло, кипятку.

Пока пили сладкую водичку да болтали о том о сем, меня посетила мысль еще раз наведаться в магазин номер три, угкнувшийся рылом в снег за дорогой, и промыслить чего-нибудь из еды. Магазин был построен глаголю, то есть у него была загогулина, к которой примыкала казенка, тамбур такой, вроде сеней. Из казенки теплая дверь вела в само помещение, притворялась она неплотно, в щель тащило стужей. В магазине, особенно в загогулине, холодно было даже летом, о зиме чего и говорить. Продукция в «тройке» размещалась согласно климату: жиры, рыба, мясо, икра — у двери, дальше — что послаще — конфеты, пряники и винные изделия; еще дальше: картошка, свекла, капуста, лук, чеснок и всякие прочие овощи, сырые, сушеные, консервированные.

В прелью воняющем овощном отделе топилась печка-голландка. Прижимаясь к ней, продавщицы вышоркали не только известку, но и кирпичи повыворачивали ядерными задами. По левую сторону дверей штабельком стояли ящички, в щелях которых светились банки. Ящички и пошатнувшаяся голландка отгораживали полутемную магазинную загогулину от продавщиц, обхвативших круглое тело печи, будто собственного дорогого мужа. Я дождался, пока ни одного покупателя не осталось возле крайних весов и продавщица стриганула к голландке, смел все крошки, обрезки мерзлого мяса и рыбы из-под весов и, была не была, скребанул из эмалированного таза горсть скоромного масла. От грязных ногтей в желтом масле остались темные царапины, но уж делать было нечего — бухнул в сырую дверь плечом, вывалился на улицу и выпустил из груди спертый дух. Сердце мое звякало о ребра, руки дрожали, в штанах сделалось сыро.

— Ты чё? — испугался Тишка.

— Вот! — выгружая из грязного кармана слипшиеся

комочки мяса, крошки рыбы и косточки, захлебывался рваным смехом. — Варить будем! Щи — хоть портянки полощи!

Я пощупал свой лоб — клейко, «мед» выступил. «Пусть кто-нибудь скажет мне, что воровать легко!..»

В мешке оставались еще мерзлые картошки, стучали камешками. Суп — картовная вылупка, получился мутный. Однако жиров было много, и мы хорошо нахлебались горячего варева. Как водится у степенных, хозяйственных людей, после сытного ужина мы сумерничали, вели неторопливые беседы. Тишка приучал меня курить подобранные на улице бычки. «Пить вино, уродовать людей, воровать — уже могу. Осталось курить научиться — и порядок!»

Утром Тишка ушел на разведку домой и в убежище мое не вернулся.

Но я недолго тужил о Тишке. У меня появился новый друг — Кандыба.

* * *

В хлебном отделе гастронома я наметил к уводу краюшку хлеба, лежащую возле весов, и все примеривался да прицеливался к ней, но упускал моменты. То мне казалось, что продавец уже заметил меня и ждет не дождется, когда я потяну горбушку, чтоб огреть меня гирей по башке, то в очереди к прилавку «не те люди» были, при которых можно незаметно что-либо стянуть. Измучился я весь, сопрел, а есть хотелось до стона в кишках. Горбушка, в полкило примерно весом, так и кружилась в глазах, ощущался даже кисловатый вкус ее во рту, как хрустит корочка на зубах, чужалось. Сытое тепло разойдется по всему телу, в сон потянет, уютно и спокойно на душе делается — и все это от горбушки, такой близкой и такой недоступной!

Терпенье мое иссякло, и я решил действовать «на шарапа» — схватить горбушку и убежать из магазина. С таким дерзким планом я продвинулся к весам, в который уж раз кружанув возле прилавка. Впереди меня втиснулся в очередь парнишка в толстой, латаной гуне с кошачьим воротником, в шапке, единственное ухо которой так ловко было заделано, что выходило как бы два уха у шапки, и мерзнуть никакой половине башки парень не позволял. «Черт в подкладке, сатана в заплатке», — говорится о

такой лопотине иль о человеке, одетом в нее, и не зря говорится, как я скоро распознал.

— Загорожу! — дыхнул мне в лицо табачной гарью парнишка, и так ловко все сотворил, что горбушка мигом отделилась от продавца и глазастого люда.

Я сунул горбушку за пазуху и вышел из магазина, не зная, как теперь быть: дожидаться ли малого в одноухой шапке, спрятаться ли за ближние дровяники и умять хлеб, но сам уже рвал зубами горбушку, спрятавшись за поленницу трухлого макаронника.

Просунулась сюда же одноухая шапка, следом мордаха, по-песью работающая ноздрями, пришкандыбал, сильно припадая на изогнутую в колене ногу, сам парнишка с быстринами, смешливыми глазами.

— Мандру пополам! — распорядился он.

— Чего?

— Хлеб. Не умеешь по-блатному?

— Не умею, — признался я, с сожалением половиня горбушку.

— Научу. Надо бы буханку брать, сурло немьтое. Всегда надо брать больше, чтобы не так обидно, когда поймут... — выдал он мне первый свой совет из огромной, бескорыстно преподанной затем науки беспризорника.

— Тебе чё, ногу-то граждане выворачивали?

— Не-э, это с юного детства у меня. С полатей упал.

Оказалось, мы уже встречались с Кандыбой — такая кличка была у парнишки — в кое-каких укромных местах, да не разговаривались «по душам», дураки такие. А ведь так необходимы друг другу!

Кандыба почесал под шапкой:

— Не проняло: один кусок на два пустых брюха, все равно что один патрон на двух героических бойцов. Пойдем вместе, найдем двести!...

Мы двинули в столовую. Кандыба зорко отыскивал воткнувшиеся в снег или «не насмерть» затоптанные по дороге бычки, обрывал мерзлые концы и которые бычки курил, которые прятал в лохмотья и за отворот шапки — про запас.

В столовке Кандыбу знали и взашей поперли, а меня нет. Я подсаживался к столам и доедал из тарелок суп, котлеты, рыбы головы, обломки хлеба прятал в карманы. Была до войны у интеллигентно себя понимающих людей распрекрасная привычка — оставлять на тарелке еду «для приличия». По остаткам кушаний я заключал, кто за сто-

лом кормился: вахлак тупой и жадный или тонкой кости и истинного понимания этикета человек.

Одна муха не проест и брюха — вот уж правда так правда! Двое нас стало, и какая жизнь наполненная пошла. Получился у нас с Кандыбой союз такой, какого не было у меня вплоть до того, пока я не вырос и собственной семьей не обзавелся.

Перед писаными распоряжками, всякими организациями Кандыба пасовал, терялся, чувствовал себя угнетенно и потому драпанул из двух уже детдомов, до Севера вот добрался и «нечаянно» зазимовал в Игарке. Кандыба обожал волю. Воля эта пуще неволи — узнаю я после. Только «на воле», оставшись «в миру» сам с собой, он не знал унижений, чувствовал себя полноценным и полноправным человеком; умел постоять за себя, не страшась никакой борьбы и невзгод.

Вольной и беззаботной птицей рожденный — мать он зачем-то упорно отыскивал повсюду, из-за этого и в Игарку попал, Кандыба и сам хотел вольно прожить лета, отпущенные ему судьбою. Лет этих выпадет немного — семнадцать. Умрет он в больнице исправительно-трудовой колонии от костного туберкулеза, так и не смирясь с судьбой инвалида.

Кандыба пришел в восторг от моей хазы — так сразу окрестил он бывшую парикмахерскую, заявил, что берет на себя прокорм, а я чтоб дымом и огнем владел, читал бы ему книжки и рассказывал всякую всячину. Посулился Кандыба за короткий срок сотворить из меня карманника, чтоб, если один завалится, не доходить с голоду. Дело с обучением сразу потерпело крах — после первой же попытки «пощупать кошелек» я попался. Меня били на крыльце магазина. И ладно, большинство игарских граждан обуты оказались в оленьи бакари и валенки, а то бы мне все ребра переломали.

Вид мой вогнал Кандыбу в удручение.

— Во, напарили, блиндар! — покачал он головой. — До новых веников не забудешь! — и приказал мне зажмуриться и вытянуть руки. — Нервы! — сделал Кандыба заключение. — Расштананы! В карманники негоден. — Смазав лицо мое солидолом — банка с солидолом осталась в хламе, парикмахеры мазали им машинки или сапоги, мы же приспособили вместо мази, еще пепел из печи

пользовали да серу с поленьев — это уж я от таежников перенял, Кандыба обследовал меня — нос, челюсти не сломаны ли? При этом он доступно, будто фельдшер пациенту, объяснял, как вести себя, если попадешься. Надо поперед всего «вывеску хранить», падать вниз лицом и загоразживаться руками, телом не напрягаться, распустьить следует тело, чтобы кисельное оно сделалось, тогда, если даже пинают сапогами, бузуют палками — кости не переломают.

— Работа наша давняя и трудная очень, — заключил Кандыба. — Я так кумекаю: человек токо-токо научился мозгой шевелить, тут же сообразил — чем спину гнуть из-за еды, легче ее украсть, отобрать у младшего, лучше — у соседа. Но по брюху, по брюху надо брать. Обратное, разница: кто почему ворует? Один от голодухи, другой из интересу. Который из интересу, от жадности — того смертно бить. Но лупят всеш-ки нашего брата голодранца... безопасней...

Рот открывши, слушал я нового своего друга: «Да уж малый ли это? Оголец ли? Годок ли мне? Видно, ничего в мире просто так не делается, и уж не зря, ох не зря судьба нас соединила».

Пошла жизнь складно и ладно, Кандыба промышлял в магазинах, столовых и разных кладовых, я заделался как бы замом его по хозяйственной части и по культурно-просветительской тоже, обеспечивал братство наше топливом, светом, водою, заботился о полезном досуге, читал вслух книжки, рассказывал о лесах, озерах и прошлом лете. Особенно удался мне рассказ о том, как ловили мы с дедом карасей на озере и налимов на протоке, да еще о том, как новые штаны загубил на заимке. «Болони надорвал» Кандыба, слушая историю о штанах, — я уж постарался, наворотил, разукрасил ту историю.

Керосин для фонаря я добывал все у того же драмтеатра имени Веры Пашенной. Стоял позади него движок со всегда полным баком, на тот случай, если с городским электричеством что-нибудь случится, а случалось с ним «что-нибудь» часто, движок моментом запускали, не давая загаснуть свету разума в далеком Заполярье, и без того зимою темном.

Из лесокомбинатовского клуба увел я красную скатерть, графин и еще балалайку. Графин, налитый до гор-

лышка водою, разорвало, струны на балалайке лопнули от холода, когда я надолго покинул свое жилище.

Кандыба вынюхал где-то склад с мясом, нас не очень-то занимало, для кого «добро плохо положено», нам требовалась пища — и весь разговор. Мясо бледно-розовое, с голубоватыми прожилочками, твердыми сухожилиями, обмыленными мускулами, должно быть, оленина, но это нас не занимало — мы делили пищу на два сорта: годную для жратвы и негодную. Это мясо было годное. Мы заваливали оковалок с костью в ведро с водою, сыпали горсть или две соли, натрясенной из столовских солонок, мясо прело в воде, распространяя ароматы по пустому и гулкому нутру нашего обиталища. Отхватив кус ножичком, мы валяли горячее мясо во рту, если был хлеб, потребляли с хлебом отвар, если хлеба не было, обходились и так. Глянулось нам крушить зубами упревшие кости. Мы их хрумкали, высасывали мозг и сок, выбрасывая в угол лишь трубочки, не дающиеся зубу. Работу, начатую нами, продолжали шустрые мыши, деловито скыркали острыми резцами, брякали, перекатывая кости по полу.

Я всеми силами старался не оставаться перед Кандыбой в долгу, которого от чувств, во мне пробудившихся, стал кликать Ндыбаканом. Это, если повторять крику, все равно получается Кандыба, однако чуткий бродяга уловил душевность, вложенную в переименованную кличку. Кроме того, многие игарчане знали и на себе испытали присутствие в городе хромого парнишки. Извернутое прозвище, на наш взгляд, затемняло подлинное прозвище сноровистого добытчика харчей.

Я приловчился обходить на лыжах, самим же сотворенных из гибких горбылин, перелески близ города и прибрежные кустарники на острове, осматривая поставленные на куропаток силки. Иной раз мы баловались птичкой и даже скопили кой-чего на черный день, зарыли в снег между «слепой» стеной парикмахерской и заплотом конного двора несколько куропаток и кусок оленьего мяса.

Черный день ждать долго не пришлось. Известно, сытый человек начинает много воображать, задаваться сам перед собой, если больше не перед кем. В еду ему разносолы подавай, балуй зрелищами. По этой-то причине я совершил оплошность, которая повязала узелками, после и спутала всю нашу жизнь. Я, видите ли, порешил совсем уж распотешить себя и Кандыбу завлекательным чтением

и остался вечером в городской библиотеке за стеллажами. Библиотека располагалась вверху все того же драматического театра, который имел несчастье стоять невдалеке от брошенной парикмахерской и потому нес постоянный урон.

Все замерло — в театре начался спектакль. Внизу под мной, ровно в берег преисподней, время от времени ударялись громобойные волны — это игарские зрители разражались хохотом или рассыпали крошево аплодисментов. В библиотеке было так тихо, так тепло, так уютно, что я приморился и подремал чуткой дремою воришки. Вонь рыбьего клея, пресноту клейстера, которыми скрепляли листы растрепанных книг, забивало остро скользящей струей спиртовых красок. Меж деревянных стеллажей парил дух бумаги, шрифтов, отдающих керосином, и тот ни на что не похожий запах, даже не запах, а глен стареющих книг безропотно, с тихой скорбью роняющих белую перхоть...

Если сквозь небесные тверди пробивался отблеск позарей и по библиотеке шарился живой, волшебно светящийся сполох, книги на полках чуть подрагивали рубчатой лентой, искрили золотом-серебром и вроде бы шевелились. Я провел рукой по одному, по другому ряду книг. Отчужденно-прохладные, плотно стояли они на своих местах. Поврежденные корешки цеплялись за брюшки пальцев сеточкой клееной марли, рядами железных скобок, тронутых ржавчиной. Необъяснимой усталостью и мудрой печалью веяло от этих сморщенных, иссохших от времени книг. Никогда бы не узнал и не почувствовал я всего этого, если б не остался с книгами наедине в боязных потемках.

Что-то похожее со мною бывало, когда я, маленький, вечеровал на заимке с дедом Ильей. Он виделся мне в таежной деревянной избе согбенно сидящим на скамейке. Большая его фигура очерчена четко в проеме пепельно-серого окна. Недвижимый, молчаливый, так много повидавший и переработавший на своем веку, о чем он думал и печалился, мой добрый, тихий дед? О маме моей и других своих детях, раньше него разлученных с жизнью? О земле и о хлебе? О жизни прошлой и грядущей? Быть может, и о том, и о другом, и о третьем. Да как теперь узнаешь-то?

Я расслабился от тихих, грустных мыслей и хотел «выйти» в форточку, но где-то Ндыбакан добывал пропи-

тание, бродил по студеным улицам, тискался сквозь людей, всегда враждебных к ворью и шпане. Он ждет не дождется, когда я прочитаю ему про «другую жизнь». Книжки — не харчи, они для всех людей оставлены. Многие из тех, кто их оставил, так же, как мы, голодовали, скитались по свету. Да если на то пошло, тот, кто не страдал, не мыкался, ничего занятого и не оставил о себе, а раз так, значит, наш брат-кондрат сочинял эти книги. Я распался, чтоб подавить в себе неловкость, но не очень-то получалось у меня. «Подумаешь! — фыркал я во тьме. — Они неживые, книжки-то! Нагородил ерунды всякой, барахольная душа! Вечно перелажу через заплот, которого нету! Сейчас вот начну фуговать эти книжки, только свист пойдет!»

В библиотеке театра я бывал не раз, сиживал за столом, листал журналы, пользовался дармовым теплом и все тут знал. Я прошел в отдел с названием «Художественная литература», поднялся на подоконник, распахнул широкую форточку. В сырой квадрат ударило белой стужей, зашорохтело меж рам. Я вернулся к стеллажам, замялся опять, переступил с ноги на ногу, но переборол себя и на этот раз раскинул руки, охапкой понес книги. В форточку книги летели, то распластавшись крылато, лопоча страницами, то, как обрезь досок, щлепались в снег, то рыбинами в сутробы заныривали, но больше падали обреченно и бесшумно. Мне поглянулся мой нахрапистый налет, и власть моя, хоть и подленькая, тайная, глянулась, пусть над бессловесными, беззащитными книгами, но все же власть! Внизу люди полороты на сцену глазают, вверху над ними я, как Бог, чего хочу, то и ворочу. Я разохотился, готов был всю библиотеку перетаскать, но все же командовал себе: «Стоп, капитан!» — и вылез в форточку. Держась под крышей за брусья застрехи, достиг пожарной лестницы, спустился наземь, точнее, ухнул до пояса в снежный намет.

Книжки я собрал в кучу, забросал их снегом и, сунув под одежку сколько-то штук, побежал домой, еще издали поймав взглядом пухло расплзающийся в серой ночи дым из нашей благодатной обители. «Ндыбакан дома! Красота!»

Друг мой сердечный, друг единственный таился за печкой, подальше от света. «Попался!»

Попутали моего друга у счастливо им открытых складов с мясом. Мясо то предназначалось для сторожевых

собак. Собаку и напустили на Кандыбу. Она свалила парнишку, хорошо, что в сугроб, а то б загрызла. Охранник дал потешиться сытому кобелю над голодным парнишкой и потом пнул его в лицо. От собаки на своих двоих и переломанных не больно-то упрыгаешь! Тюремный охранник приказал следовать куда надо. В дороге Кандыба от него смылся. Только твердолобый оглоед, привыкший к беспрекословному повиновению, мог решить, что ему все от мала до велика подвластно и пойдут, куда он прикажет, тем паче парнишка, да еще калека к тому же. Милиционеры, те лучше знают людей, по нравам и характерам их различают. От милиционеров убежать трудно, как миленький засеменишь куда надо...

Я осмотрел Кандыбу при свете фонаря. Он через силу улыбнулся мне разбитыми губами. Где правый глаз должен быть, бутрилась грязная картофелина. В махонькой ямке живым ростком шевелился и обнадеживающе просверкивал зрачок. Я полил Кандыбе умыться, сам руки с мылом вымыл, развел глазницы болезного друга пальцами — оба глядели на месте, не вытекли, хотя и захлестнуло их красной кровью. Присыпав теплым пеплом ссаженную зубами спину друга, я сказал Кандыбе, все, мол, заживет до свадьбы. Он ободрился, хотел идти со мной за книгами, так ловко добытыми мною, но я взял мешок из-под картошек, ему, как человеку пострадавшему, определил работу в тепле, выдал иголку, тюрючок с нитками и велел упочиниваться.

* * *

Спали мы с Ндыбаканом, братски обнявшись, на старых шкурах, за печкой, под половиками, на одной подушке с такой грязной наволочкой, что цветочки, когда-то красовавшиеся на ней, различались только на углах, куда наши головы не доставали.

Проснувшись поутру, я в упор глянул на Кандыбу и понял: дела наши швах. С мордой, расквашенной в капусту, гибель воришке.

— Худо? — перехватил мой взгляд Кандыба.

— Сопrotивлялся, что ли?

— Насопротивляешься! Он с собакой.

— Запомнил его?

— Где запомнишь? Собака спину рвет... Живодер пинкарей вешает...

— Жалко!

— Чё?

— Жалко — не запомнил. Мы бы ему устроили фокус-мокус!..

— Чё ты ему сделаешь?..

— Выследили бы, где живет, подперли стягом и подожгли бы! Пусть жарится, как крыса в клетке!..

Ндыбакан длинно и горестно глядел на меня из глазниц, налитых багровой тяжестью.

— Н-да, литература! Она до хорошего не доведет!.. Поднимайся-ка, поджигатель, печку затопляй. Я на бюллетене.

Кандыба вольготно валялся за печкой, я наготовил дров, сварил похлебку из куропаток, овса нажарил, раздобыл его снова в кормушках коней, посулился накормить друга такой ухой, от которой он вмиг выздоровеет. У деда все еще небось стоят подпуски в прорубях, надо их проверить — нет ли там и на нашу долю налимишка?

Похлебка из дичины подживила Кандыбу, и мы пришли к заключению: не так уж все худо, как нам с вечера казалось. «Утро вечера мудренее» — толковая, правильная пословица, которая тут же подтвердилась жизнью — явился Тишка Ломов. Бог его послал — решили мы и ошиблись...

— Загораете? Отдыхаете? Спозабыт, спозаброшен с молодых, юных лет, да?! А об вас вот, об рылах битых, думают, заботятся!..

С нарастающим интересом смотрели мы на кривляющегося Тишку, по тону его угадывая, какие большие удовольствия нас ждут. Лицо Тишкино излучало озорство и лукавость, сам он был умыт, пострижен, одежонка на нем починена; выяснилось: Пашкина лярва подалась по другим адресам, художник бросился за ней и куда-то запропал, оставив Тишку с матерью на свободе.

— Итак, пошто же вы не спрашиваете, кто об вас заботится?

— Легавые, — буркнул Кандыба.

— Легавые — само собой. И скорбный их труд не пропадет даром. Они все одно вас заметут. А вот кто еще? Кто?

Мы переглянулись с Кандыбой — больше вроде бы никому о нас заботиться.

— Промеж тем, — медленно и картинно залезая за пазуху и извлекая какую-то бумагу, кособочился Тишка, —

об вас страна думает, почти што вся! Ну, может, oprичь дальних губерний.

Я ожидал увидеть похабную картинку, рисовать которые Тишка был большой спец. Но то оказался «документ важнейшего значения», как назвал его Тишка, — еще одно послание из школы моим родителям, напечатанное на машинке и выданное Тишке под расписку, поскольку лишь он сподобился знать адрес нашего кочевого семейства.

«Уважаемые родители! — Тишка поднял палец. Как бы не различая дальше послание, вынул из кармана проволочные очки без стекол, воздел их на нос и продолжал, важничая: — Дирекция школы номер тринадцать надеется, что вам известно, как, напрягая все силы, Страна Советов борется с тяжким наследием проклятого прошлого — безграмотностью. Однако вы не проявляете надлежащей активности в воспитании и обучении вашего сына, чем нарушаете закон всеобуча.

С тех пор, как ваш сын перешел в тринадцатую школу и был, как второгодник, принят условно, вы ни разу не поинтересовались его успехами на важнейшем фронте нашей борьбы — просвещения, а также и дисциплиной, которая...»

— Дальше тут описывается, как изуит этот исхвостал учителку. Слух катится — бродит по Игарке страшный второгодник и колет финкой молодых учительок, исключительно молодых. По выбору! Запорол он их не то шешнадцать, не то двадцать штук! Ведутся подсчеты. Й-я продолжаю: «Педсовет требует, чтоб вы немедленно явились к директору школы и досконально объяснили, думаете ли выполнять закон о всеобуче? В противном случае педсовет тринадцатой школы примет решительные меры к вашему сыну, являющемуся членом коллектива, борющегося за высокую успеваемость и передовую сознательность. Надеемся, что вы также употребите все доступные меры воздействия на вашего сына.

Данная записка выдается под расписку товарищу, — Тишка снова поднял вверх палец, — Ломову, должна быть возвращена с подписью одного из родителей, с указанием числа и часа ее получения, а также дня и времени, в которое вы посетите школу (желательно с посещением не затягивать).

Директор школы: Загорюха К. Н.

Завуч: Мартынова А. В.»

Повисло молчание. Никто рта не открывал, не нарушал тишины, тугой, благолепной. Такие удовольствия перепедают нашему брату не каждый день, ими надо дорожить.

Я глядел на исходящего радостным сиянием Тишку, который приволок нам такой подарок. Мне почему-то снова вспомнилась бабушка Катерина Петровна. Только теперь я понял, насколько она вместе с подружками своими, Божьими старушками, счастливей нас — безбожников! Сколь часто одариваемы они блаженством бывают. Живут-живут в грехах и мирском содоме, в земле ковыряются, полы скоблят, подштанники стирают, в головах ищутся — и раз им послание Божье, а то сам лик Господен явится, пусть даже и во сне, да и возвестит грядущее на небеси, по сравнению с которым жизнь на грязной, назьмом пахнущей земле есть прозябание. В довершение ко всему деревенский батюшко покропит святой водой, перекрестит, елеем лоб мазнет и подтверждение словесное насчет царствия небесного даст, да еще ангельские голоса с хоров ликующе грянут: «Аллилуйя, аллилуйя!» — тут тебе и трепет души, и умильные слезы, и надежды на вознаграждение за земные муки...

Но я же не просто второгодник, я еще и атеист-безбожник. Трепет, умиление и всякая подобная чепуха неведомы мне. Вместо этих чувств из моего черного нутра поднималось злорадное торжество и ярость, ненасытная ярость. Вшивую башку ровно бы гвоздем проткнуло и выцарапало из-под черепа, как сталь, твердую и решительную мысль: «Сожгу школу!»

Тишка давно меня знает, он почувствовал мое настроение, ярость, во мне занимающуюся, угадал и повел представление дальше:

— Спасибо, родимый сын, спасибо! — бабьим голосом завел он. — Отблагодарил родителей за ласку-заботу. Мы ночей не спим, бьемся, колотимся... Чё молчишь, паразит? — взвизгнул он и дал мне по затылку.

— Не буду больше, — пробубнил я.

— Он не будет, он не будет! — радуясь тому, что я принял игру, зачастил Тишка. — Скоко раз мы от тебя его слышали?!

— Не бу больше!

— Я спины не разгибаю, отец бьется, бьется, чтоб прокормить дармоеда! Ему эвон трудящиеся как рожу изукрасили, а он чё?

— А он чё? — вклинился Кандыба, прижигая сплющенный чьей-то обувью окурок. — Он дров или воды когда привезет, овсеца, картошек тырнет, чурок от кочегарки натаскает, и все... Запороть его до смерти!

— Не бу больше!

— Чего не будешь-то?

— Учиться.

— Слышал, отец, слышал?! Как хошь, а меры воздействия примать надо! У меня уж нету сил-возможностей с им совладать. Кормишь его, обормота, поишь, обувашь-одевашь...

— Не бу больше!

— Чё заладил-то? Не бубо, не бубо!.. Чисто филин, прости Господи!

— Запорю!

— И то, отец, и то! Нас ране вон пороли, дак и толк был! А ноне пораспустили их!..

Тишка обходил меня слева, от устья печки, Кандыба с тылу, от трубы.

— Где же его выпорешь?! У него рожа-то, гли! Сверкает глазьями. У-у, волчина! В проулке встренешь, партаманет с деньгами без митингу выложишь, — в виде отвлекающего маневра толковал Кандыба. Внезапно оба друга набросились на меня.

— Вот тебе! Вот тебе! — чикая по моему заду прутом от веника, приговаривал Кандыба. — Не нарушай всеобучу! Не нарушай всеобучу!..

— Отец, отец! — схватился за голову Тишка. — Будет, будет! Уж больно ты лютой! Ум вышибешь последний або калекой сделаешь, чего хорошего? Сам калека...

— Запор-р-рю! В тюрьме отсижу, но научу!..

— Гори-и-и-им!

Мы сдвинули печку, пока возились. Подвешенная к потолку труба осталась на месте, печка, растревоженная нами, гнала в короткое горло патрубка густой дым, пламя, искры. Обжигая руки, кашляя, чихая, мы с веселым гоготом водворили печку на место, сели на пол, где можно было еще дышать, и, радуясь за спасенное от огня жилище, также и друг дружке, начали придумывать достойный ответ тринадцатой школе. Не могли мы упустить такую редкую возможность для отмщения. Уж дать так дать по родимой школе, чтоб качалась, чтобы у Загорюхи К. Н. и Мартыновой А. В. зубы ныли!

Кандыба настаивал ничего не писать! Нарисовать с

деталлями некий предмет и послать в конверте — выразительно и понятно! Вызывался даже позировать, несмотря на холод. Чего с него возьмешь, если он и одной зимы в школе не досидел? Темнота!

Тишка пошел дальше: оставить в силе предложение друга Кандыбы, но пририсовать к предмету будто на гвоздик надетую бумажку с надписью: «Лично всему женскому персоналу тринадцатой школы».

— Под картину надо написать стих, — предложил я, — пусть знают — не зря нас учили.

Долго мы пыхтели, сочиняя стих. Кандыба толстушие, как бревна, выражения подбрасывал, и ни в какую поленницу стиха они не лезли. Я велел ему заткнуться, что Кандыба охотно исполнил, отправившись на промысел за бычками.

Тишка, прикусив язык, рисовал картинку. Я глядел в потолок, на люстру, шевелил губами — поэзия давалась трудно. В конце концов с большим трудом, но достойное послание в тринадцатую школу было сотворено. Под картину Тишка переписал своим кругленьким почерком мои каракули и громко зачитал:

— Стих-загадка.

А на этот ультиматум
Мы тебя покроем (кем? чем?),
В школу больше не пойдем,
На нее (кого? чего?) кладем!

Кандыба был сражен:

— Неужто ты сам придумал?! — спросил он, подписывая послание, и озабоченно добавил: — Да-а, тебе, всешка, учиться надо. Талант развивать. Это вот я... — Он постучал себя по лбу — кость его лба звучала звонко.

После Кандыбы, которому подпись придумывать не надо — Кандыба и все, тужились придумать чего поозорней мы с Тишкой. Тишка задумчиво грыз карандаш, продолжая высказывание Кандыбы:

— Будешь таланен, как напишься по баням! — подписался: «Фома-вымя», чем остался очень доволен. Мнеглянулась фамилия одного типа из комедии «Недоросль», и я поставил подпись: «Скотинин», не подозревая, что прилипнет оно ко мне прозвищем на много лет.

Напряженное творчество не вымотало, наоборот, вызвало в нас прилив сил. Мы принялись дуреть, снова своротили печку, снова чихали и кашляли, налаживая ее,

потом петь взялись, но ладу у нас не получилось. Тогда Кандыба начал исполнять почерпнутые им в его извилистой, странствиями переполненной жизни песни, прибаутки, частушки-посказушки.

— Бедный ребенок, — вздохнул Тишка, — детсадом и всевобучем не охваченный...

Весело прожили мы тот редкостный день и вечер.

Напоследок провели соревнование, сидя за печкой: кто сколько влепит плевков в чашу-люстру? Кандыба обошел нас с Тишкой — десять попаданий из десяти плевков!

— Учитесь, пока я живой! — заявил Кандыба. — Это вам не стишки сочинять!

С упрятанным в шапку посланием, довольный собою, трусил Тишка в ночь, долго еще в пустынной, узкой щели переулка, освещенного переменчивыми сполохами и редкими каплями фонарей, виделась крохотная его фигурка с огромной, плоской тенью, слышалось поскрипывание катанок, подшитых кож.

Вот и смешно изломанная тень Тишки запала в тень сараюшек, крутоверхих сувоев; каменная, морозная тишина поглотила его.

Мы с Кандыбой передернулись, клацнули зубами: «У-ух, блиндар!» — взвизгнул он и, хромой-хромой, а так стриганул с мороза в наше логово, что я и глазом моргнуть не успел.

Занялись литературой. Я зачитывал названия книг, благодушный, отдыхающий от работы по причине болезни Ндыбакан выбраковывал литературу, как сортировщик пиломатериалов на лесобирже.

— Герцен. «Былое и думы», — достав из грязного мешка серенький в клеточку томик, выкрикнул я.

— Пусть конь думает, у него голова большая! — вельможно взмахнул рукой Ндыбакан. И новенькая книжка полетела в угол парикмахерской, где свалкой лежал по сию пору цирюльный инвентарь.

— Тургенев. «Муму».

— Это как собаку утопили? Не треба! Про людей сочинять надо. Собак приручать да наускивать — плевое дело! Кость ей в зубы — и она готова людей заживо грызть...

«Н-да, все же не худо бы того громилу припутать да в огне изжарить...»

— «Козлиная песнь».

— Козлиная? Эта книжка интересная.

- «Хмельной верблюд».
- Эта еще интересней!
- «Сотая жена».
- Которая?
- Сотая!
- Такую книжку нельзя пропустить.
- «Маруся — золотые очки».
- О-о, про Марусю уж я послушаю! Это тебе не собачка Му-му! Ма-ру-у-уся! Х-хых, блиндар!
- «Генералы умирают в постели».
- Где-где?
- В постели.
- Вот устроились, волосатики!
- «Мать, благополучно окончившая свои бедствия, или Опыт терпения и мужества, торжествующего над коварством, ненавистью и злобою. Повесть, редкими приключениями наполненная».

Услышав это название, Ндыбакан долго чесал под шапкой и сраженно махнул рукой, отступаясь от выбора книг.

Я долго боролся с собою, пытаюсь определить, что же все-таки читать в первую очередь: «В когтях у шантажистов», «Джентльмены предпочитают блондинок» или «Человека-невидимку»? «Невидимка» переборол всех. Я читал эту книжку почти всю ночь, затем день и вечер, пока не выгорел до дна керосин в фонаре.

Книга о человеке-невидимке потрясла Кандыбу.

— Вот это да-а! — Кандыба скакал по парикмахерской, и тень его, высвеченная полыхающей печкой, мятежно металась по стенам. Кабы друг мой сердечный в забывчивости не рухнул в подпол да не принялся бы крушить все кряду и рвать на себе рубаху — в такое он неистовство впал. — Эт-то да-а-а! — повторял он. — В магазине чё тырнул, в харю кому дал — и ничего не видно! Ни-че-го!

Я запас побольше керосину, полную банку из-под томата нацедил из движка, банка в полведра, не меньше — и сошло. Сходил за налимками, нашел пешню, черпак, крюк в старой барже и на первом подпуске, до которого пришлось в поту додалбливаться — долгонько не был дед Павел на протоке, — поднял двух налимов, один, килограмма на три, валялся в сугробе и застыл, непокорно изогнув пустое, запавшее пузо, — зима, пищи мало, икру отметал.

Другой налимишка еще холостяга, видать, успокоился и вовсе без боя, выкатив глазки на умственно-объемный лоб.

Стуча мерзлыми налимами друг о дружку, я ворвался в нашу обитель, махал рыбинами над головой друга, приплясывал, орал насчет ухи, которой он, рыло воровское, отродясь не хлебывал!..

На медяшки, вытрясенные из лохматой гуни друга, я купил в третьем магазине три картофелины. Пока продавщица отпускала картохи, собрал с полу и прилавка горстку мелких луковок. Перец и лавровый лист хранились у меня в спичечном коробке. Когда я растирал налимий сенок — печень с луком в банке из-под консервов, чтобы сдобрить и без того исходящую ароматами уху, Ндыбакан, напряженно наблюдавший за моими действиями, не выдержал.

— Умер ты?!

Хлеба кусок еще был у нас, перемерзлого, черствого, но с ухой он в самый раз. Налимов мы управили обоих — жоркие парни! Лежали, отяжелелые от еды, за печкой. Ндыбакан курил, я рассказывал ему о том, как мороженный налим оживает в холодной воде. Друг мой сердечный рыгнул сыто и подмигнул почти ожившим глазом:

— А в брюхе?

— В брюхе, — я похлопал себя по вздувшемуся пузу, — в брюхе никакая тварь не оживет и никуда оттуда не убежит. Граница на замке!..

Кино с названием «Граница на замке» вспомнилось. Отдыхать так культурно отдыхать: пробрались мы в лесокомбинатовский клуб через пожарный люк, спустились в зал задолго до начала сеанса, спрятались под скамейками, когда кино началось, вылезли оттуда и смотрели фильм под названием «Пышка».

* * *

Раным-ранехонько я проскользнул на копошню, постоял, слушая ее тишину, наполненную запахом сена, теплого навоза, плотного конского пота. Отфыркивая сennую труху, кони хрумстели сеном и овсом, переступали по скользким плахам пола, пришлепывали мякотью губ, перекинувши головы через заборки стойлов и как бы беседуя друг с дружкой, родственно глядя при этом глубокими глазами, почесываясь шеями, прижимаясь окур-

жавелой щекой к окуржавелой щеке. Нигде нет такого обстоятельного, тихого и умиротворенного покоя, как в жилищах скота, особенно у лошадей — я думаю, и уравновешенность, солидность крестьян, их уверенность в вечности земного бытия, неизменности уклада жизни происходили от кормящей их, работающей безотказно бок о бок с ними деревенской животины и в первую голову — надежды, выручки и друга, некорыстного с виду, неуросливого, доброго деревенского коня, который не потерял своего спокойного трудового облика и верности человеку и в городе, попавши в неумелые, порой в варначьи руки людей, не наученных любить и уважать не только скотину, но и самих себя.

Я потрепал гриву одной-другой лошади, погладил плоские, вышерканные хомутом, шеи, поотирался в стойлах, выпугнул оттуда стайку воробьев — ночью они хоронились в конюшне от холода, — нагрузил овса в карман, выпоротый из старого полушубка и приспособленный мною под полезный продукт, от которого распухли и потрескались у нас с Кандыбой языки и губы, но что же делать, есть-то надо, и чем студеней, тем больше.

У ворот конюшни торчала из забоев, осыпанных сеным крошевом, небольшая клетушка-сторожка. На ней ворошились воробышки, спархивали во двор, к теплым конским котыхам, крошили их. Я скользнул мимо сторожки за угол и лоб в лоб столкнулся с маленьким старичком в круглой, саморуком шитой шапке, с кругло стриженной бородкой, с круглой луковкой носа, и когда старичок заговорил, мне и голос его показался кругленьким:

— Здоров живем, доброй молодец! — звякнув железными удилами уздечки, сказал он, поглядывая на мое оттопыренное пальтишко.

«Сейчас врежет по башке уздой!» — подумал я и отступил в сторону. Тропинка от сторожки только что прогребена, я увяз в рыхлом намете.

— Да ты не бойся, не бойся меня.

— Я и не боюсь.

— Давненько, примечаю, пасешься на конюшне, давяпенко! Зачем овес-то таскаешь?

— Известно зачем. Есть.

— И-ы-ы-ысы! Ты чё, конь или курица?

Я хотел отшить деда, но пришлось сдержаться — не до капризу, надо как-то выпутываться. Глазом я намечал, как и где ловчее утечь с конного двора. Но в этот час на кон-

ном дворе толпилось много народу. Коновозчики запрягли лошадей в сани с ящиками-коробками — для вывозки опилок с лесозаводов, в сани без ящиков — на этих доставляли отходы — обрезь кирпичному заводу и на мощение дорог. «Не проскочить, ой, кажется, не проскочить! Переймут!»

— А ну-кось! — прихватив за рукав пальтишка, дед несильно, однако настойчиво поволок меня в сторожку.

«Все! Засыпался!»

В сторожке, пахнувшей подгорелой глиной, лошадиными потниками и мышами, дед сунул мне мятый котелок с недоеденной драченой, деревянную треснутую ложку, дал кусок хлеба, круглой луковицей будго печатью пристукнув по нему сверху.

Я не стал отпираться от еды. Угощал дед без болтовни, попреков и надежд на благодарную слезу. Он даже хмуро и как бы недовольно угощал, и я к нему проникся хотя и неполным, хотя и скрытым, но все же доверием, кроме того, надеялся во время еды обмозговать, как смотаться отсюда либо сигнал Кандыбе подать, чтобы отрывался он из нашего убежища. Однако дедок разумненький попался, не оставлял времени на соображения, донимал расспросами, что, да как, да откуда, да зачем. Я пробовал нести околесицу, с поселка, мол, нефтебазы, родители пригорели на керосинчике и сейчас находятся в домике, который зовется: «Я тебя вижу, ты меня нет».

— Полно, полно плести лапти-то! Я сам их мастер плести! — остановил меня старичок. — Вы по суседству с осени жили, в парикмахерской. После примолкли. Тебя бросили, что ли?

Я уткнулся взглядом в котелок, против воли часто заморгал.

— Наверде. — Мне бы на том и кончить, да повело меня на беседу в тепле и уюте сторожки, при старичонке, тоже по-домашнему уютном. Он слушал, слушал и вперился в меня глазками:

— Пошто в приют не идешь?

— Да так... боюсь...

— Эко, эко, боится! А тройку-магазинишко шшипать, тиягр пужать налетом и поджогом?..

— Поджог?! Ты чё? Поджог — это не мы...

— Э-э, дак ты ишшо и не один! Шайка у вас?

— Двое нас, — заметался мой умишко, думаю, чего не надо, говорю не то, что следует.

— Двое — уж шайка. Ну, лады, — старичок задумчиво пошарился в бороде. — Лады. На вот горбылек, ташиши другу-то. Докуль держаться затеяли?

— До весны.

— До парходов, стало быть? Потом чё?

— Потом! Потом по этому месту долотом! Больно ты хитер, дедушко!

— Хитер не хитер, оннако разумею: скоко кобылке ни прыгать, а в стойле быть! Ешли покрученник твой али кореш, как там у вас, одет тако же, как ты, карачун вам. — Дедок картох из-под нар выкатил, в карманы мои засунул. — Сдавайтесь в полон. Не резон держать оборону. Ешли, упаси Господь, перезимуете, подадитесь на магистраль — хто вас там ждет? Хто вам чего припас? Снова воровать? Опеть шаромыжничать?

— Утомил ты меня, дедушко. Отпускай, ешли...

— Ишь этъ, ишь какой! Утомил я его! Пропадай, коль людских слов не понимаешь. Поймаю в кормушке — уздой опояшу!

— Боевой дедушко-то! Солдатом, видать, сражался в японскую, может, еще в турецкую войну. — С шутками-прибаутками рассказывал я свое приключение Кандыбе, но он, веселый человек, не смеялся. Картошки надвое разрезал, на печь положил, горбушку разломил и тоже на горячую печь пристроил — Кандыба любил подгорелый хлеб, только что из печи вынутого хлеба, печенюшек, калачей не едал сроду, но первобытная душа его требовала жареного, на огне паленого.

— Кранты нам! — поднял друг Кандыба на меня полинявшее от сипяков лицо. — Заложит нас боевой солдат. Знаю я их, этих старичков и старушек! Спят и видят, кого бы пожалеть. Из жалости и заложит...

— Н-не-е, — сердитый он, занятой! — говорил я и чувствовал: слабеет во мне уверенность. — Он турков насквозь штыком порол, — придумывал.

По-телячи обхватывая все еще не зажившими губами отмякшую на горячем, кисло запахшую горбушку, Кандыба пробубнил заткнутым ртом:

— Сам-то ты турок! Трепло! Покурить надыбал?

— Есть, малость есть. Привел бычка на веревочке, — тараторил я, тем хоть довольный, что ублажу друга сердечного, неловкость, глядишь, и минет. Я и читать поскорее принялся. Древнее сочинение: «Дафнис и Хлоя». Ндыбакан, не дослушав, решительно забраковал книжку.

— Липа все это! — заявил он. — Чтоб парень с девкой по лесу столь время толклись и все без толку! Тут или парень лопух, или уж девка жох, не дается, имея цель Дафниса-дурака довести до того, чтоб он на ей женился.

Я спорить с Ндыбаканом не стал. Виноват кругом. В прошлые дни я спорил с ним, он меня слушал списходительно, как неразумного дитятю, и, утомленный вконец, отмахивался.

— Доведут тебя эти книжки! ДовеДУ-ут!..

Спал Кандыба в ту ночь беспокойно, во сне метался, взмыкивал: «Ы-ы-ы!» В глухой час вдруг подхватился, вскочил, торнулся об угол печки, заругался, щупая лицо:

— Добавку добыл! Мало моей харе!..

Утро было иль день — в нашей хмарной обители не разберешь, когда послышался в сенках резкий скрип на обмерзших, водой облитых половицах. Я замер в самом себе, заставляя думать, что шум и скрип мне снятся. На двери ни крючков, ни засовов. Я поймался взглядом за белый и толсто очерченный притвор. Примерзлую дверь задержало, затрясло, рвануло.

За мной шевельнулся Кандыба, сунул руку в изголовье, но топор остался у притвора печки. Всегда мы спали, вооруженные до зубов: топор, ножик, кирпич в головах, но тут, как нарочно, никакого оружия для обороны нет под руками.

Схлынул клуб пара, ударившись о широкую раму, взметнулся к потолку, развеялся, и возле дверей обнаружились два человека, оба в полушубках, один в черном, другой в белом. Белый полушубок, поперек и накосом, через плечо пересекала полоса, на шапке, тоже белой, сверкнула искра. «Мент!»

— Вот туго-ка они и зимогорят, — услышал я сыпучий, круглый говорок: — Магазинышко шшипают, на тигр панику наводят: то дровишки увезут, то карасину сольют, в нашем лесокомбинатском клубе скатерть президиумную свистнули, на портянки! Это чё тако? Бильбатеку обобрал кто? Конечно, оне, зимогоры! Бильбатекаршу ударило, аж из кону выпала, в больницу при смерти увезли... Так и есть! Книжки-то звон они где! На полу да под столом! — Старичок живо бегал по нашему просторному жилищу, подбирал книжки, ухнул в подземелье, где были вывернуты половицы. — Спаси и помилуй, Господи! — взревел дедок. — Полком топят. Оне и конный двор спалют!..

Милиционер подал деду руку, выдернул его наверх. Опрятный старикан начал охлапываться. «Башку б тебе своротить, иуда!»

— Вынайтесь на свет, орлы! Вынайтесь, вынайтесь! — услышал я команду.

Нехотя мы полезли с Кандыбой из-за печки, почесывались, зевали. Кандыба приседания стал делать, потешно взягивая хромой ногой. Для сугрева или издевается? Старичок меж тем поднял фонарь, болтал им и, услышав всплеск керосина, засветил его. Желтушный кружок расплзался по нашему лежбищу, не достигнув потолка и дальней стены. Означались порубленные, истюканные половицы возле печи, щепье, натопанная пыль и грязь, серая изморозь по щелям.

Милиционер пристально оглядел нас, мы его. Это был тот самый милиционер, что приходил в школу. Из-за слабого ли света или из-за полной уж моей запущенности он не узнал меня.

Дед балаболит, шарясь по избушке, складывая книги на стол, возмущался тем, что такие дорогие книжки мы, изверги и бесы, разбросали будто ружьядь какую малоценную.

— Да заткнись ты, шал-лавый! — не выдержал Кандыба.

— Кто шалавый? Кто шалавый? — шатнулся к нам дедок.

— Ты шалавый! Ты гнида легавая!.. — по-уркагански, грозно прошипел сквозь зубы Кандыба, не отступая перед дедком, наоборот, даже молодецки напирая на него грудью.

— Э-э! — встал меж них милиционер. — Без драки у меня! Ишь, бойцы какие! — рассмеялся он. Я тоже хохотнул — больно уж потешны бойцы, оба ростику одинакового, оба кулачишки сжали. У Кандыбы высверкивало в штаны, выдранные собакой, через кое-как зашитую ту-журку или бабью кофту — не узнать — на спине тоже что-то белело. Милиционер собрал книжки в мешок, в тот самый, в котором я их принес, попросил деда сдать их в библиотеку, сам, закуривши папироску, показал нам рукой на дверь — потопали, дескать.

На улице непогодно, но не так уж заносно было, как в прошлые дни. Дедок прилаживал на нарту мешок с книгами. Проходя мимо него, Кандыба врезал дедку по спине как бы шутивно, но дедок от неожиданности сунулся в

снег лицом. Выцарапался весь белый, отплевывался, обирал снег с бороды и усов.

— Будь здоров! — сказал ему Кандыба. — Пускай твоя бабка кажин день по свечке ставит, чтоб ты нам в узком переулке не попался!..

— Да вы чё, робятишки! — загородившись мешком, начал оправдываться дедок. — Я ж как лучше хотел. Жалеючи... В приюте столовать вас легулярно станут, оденут, обуют...

— Жалеючи! — поднимая кошачий воротник и так ловко втягивая себя в лопотину, что на морозе остался лишь подбитый глаз, фыркнул Кандыба.

Милиционер шагал сзади нас с Капдыбой, понуро бредущих в неизвестность. Переновой опоясало улицы и переулки. В дырявые мои валенки набилось снегу, ноги стыли, портянки, сделанные из скатерти, вылезли в протертые задники катанок, красными языками лизали сзади меня улицу. «Дедок-то глазастый какой, змеина! Узрел!..»

Я оглянулся. Вдавленная по самую крышу в кудреватозавитые навои, утопала наша избушка в сугробе. По узкой щелке, протоптанной нами в улицу, дедок тащил нарты. Он поднял волосатое лицо, не шевелиясь, какое-то время глядел нам вслед и снова задержал веревку, попер нарту с кпижками по рыхлым снежным заметам.

На улицах малоллюдно, отовсюду вытекали на дорогу, сливаясь с нею синими ручьями, узкие тропинки. Исток их во дворах домов, низко севших в снега, окна до середины зашиты «фартуками» с опилом. В верхних звеньешках обмерзших стекол тускнел и днем не гаснущий свет. Скукотища-то какая! Пустота! Неприютность! Не глядели бы глаза на этот захороненный в снегу городишко. Чего мы в нем ждали? Какую весну? В нем никогда не будет весны! Успокоится он под сугробами, заснет, и свет в домах постепешно выгорит, остынут печи, выветрится жилой дух из квартир, даже собаки, реденько, без охоты взбредивающие по дворам, умолкнут...

Но ближе к центру города, к милиции ближе, ходил народ, шуму прибавлялось, народ, как ему здесь положено в глухую зиму, толсто одетый, укутанный, не ходил, а бегал, торопясь попасть под крышу, в тепло. Есть и нарспашку которые — грудь пола, дыра гола — удалые парни, прибрлатнейные игарские драчуны, среди них и детдомовцы — приметные человеки, цыркают слюной сквозь зубы, меряют всех сощуренным глазом, мальчикам школьникам

дорогу загораживают, задираются, с которых и выкуп берут за свободную ходьбу по городу серебришками, куревом или каким другим провиантом.

Хозяйственные парни собак в нарты позапрягали, воду на них возят или просто катаются — для удовольствия. Детдомовцы да разная уличная шпана норовили упасть на нарты.

Словом, жизнь идет своим ходом, не глядя на зиму и ночь.

И работа идет. С протоки доносится ляг и скрежет лесотаски, гулко бьются друг о дружку мерзлые бревна; над лесозаводами труба, закрытая искрогасителем, дымком опилочным курится, внизу котельная парит: за дощатым заплотом биржи квакают рожками лесовозы; по улицам нег-нег да и проковыляет машина, западая в выбоины задом, ползет по сугробам еле-еле, зато гудит во всю ивановскую; самолет с лыжами под брюхом над городишком пролопотал, юркнул за дома, натужно рывкнул и смолк в снегу. Почту доставил в Игарку самолетик, хотя и мести еще не перестало, да и видно худо, отчаянный народ — заполярные летчики.

Возле первого магазина шла потасовка: пластались парнишки, волгузя друт дружку, дяденьки и тетеньки кругом стояли, подначивая парнишек. Как мимо пройти, если драка?! Но при появлении милиционера мальчишки рассыпались. Публика стала расходиться. «Ох, уж эта шпана! Когда на нее только управу найдут!» — слышался недовольный отовсюду говор.

«Слы-ы-ышит ли, де-е-еви-ица, се-е-ердце твое-о-о? Лю-у-тое го-орюшко, го-о-оре мое-о-оо», — пело радио на коньке магазина. За магазином, совсем недалеко, в переулке имени Первой пятилетки, находится милиция.

— О-о! Ндыбакан, Ндыбакан, рассердечный мой друг, — начал я подпевать. — Надо нам, надо отрываться скорей... — Кашель прервал мое пение. Согнувшись крючком, я бухал, стонал, харкался. Милиционер приостановился, поглядел, как рвет меня, терзает простуда, покачал головой: «Допрыгался!» — и пошел дальше. Я разом перестал кашлять и стриганул в ближайший двор. К радости своей, не напоролся там на собаку, и пока милиционер кричал с улицы: «Мальчик! Мальчик! Во глупый! Во дурной!» — да искал меня, почти на виду спрятавшегося за лопату-пехало, метлу, доски и угол поленицы, в бега уда-

рился и Кандыба, но удачи ему не было. Милиционер выудил его откуда-то, задержал за руку, звал, кликал меня.

Хорошо было видно из убежища Кандыбу и милиционера, потешно мне сначала было, я смеялся про себя, да скоро до того застыл, что если б еще маленько посидеть, то не выдержал бы, вылез сдаваться, но Кандыба, хотя и утянул себя до самой маковки в кошачий воротник, замерз до самых до кишок, чакал зубами. Милиционер сердито плюнул себе под валенки и повел Кандыбу за руку. «Неужто испекся Ндыбакан? Вырвется. Он парень шустрый!..»

Бодрость моя и ловким побегом вызванное настроение иссякли по мере приближения к милому убежищу. «Меня же здесь загребут! Хаза-то теперь раскрыта!..»

Я прошлепал мимо парикмахерской, и такой она мне показалась родной, обжитой, близкой, что даже в груди до стона заныло. Поотиравшись в «тройке» возле потрескавшейся от жары голландки, я чуть отогрелся, затолкал пальцем в катанки красные портянки и подрулил к центральной столовке, где твердая моя вера: не везет, не везет да и повезет же когда-то, — нашла наконец подтверждение.

Появилась у меня благодетельница — официантка со смуглым северным лицом, которое венчал сказочно красивый, в рубчик строченный козырек. Она так умело подвязана фартучком, что все ее и без того красивые формы сделались еще завлекательнее. Приветливым лицом, на котором сияла улыбка, не дежурная, своя улыбка, глазами, исходящими радушием, счастьем молодой жизни, предчувствием ли его, всем своим видом она словно бы призывала: «Садитесь за мои столы! Всех накормлю!»

Заметив, что я скребу в пустой тарелке и собираю крошки со стола, официантка подмигнула мне угольно-черным глазом с искрой в середине: «За мной!» И я пошел, не боясь ее, не думая, что она может мне сделать что-либо худое. Есть люди, как бы сотворенные для добра, часто безответного, и это отмечено природой на их лицах, во взгляде, в улыбке, даже в походке. Не случайно же настоящего доктора узнают и без белого халата, хорошего учителя — без очков и портфеля.

Официантка втолкнула меня в затянутую плотной сней материей кабину, пустующую в дневной час. Вечером в столовке заливается баян, подбавляется свету, в

действие вступают кабины — и все это именуется уже вечерним рестораном «Сиянье севера».

«Моя» официантка впорхнула в кабину, сунула на стол ложку, кусок хлеба и половину порции борща в тарелке — не доел кто-то или в кухне выпросила — угадывать было некогда. У меня голова закружилась от запаха еды.

— Ешь, ешь! — заметив мою нерешительность, ободрила меня официантка, которую кто-то кликал: «Аня! Аня! Где ты?»

«Аня! — умилялся я. — Какое хорошее имя! — И принялся споро метать ложкой борщ. — Вот уж истинно Аня! Не Анна! Не Нюрка...»

Аня снова вихрем влетела в кабину, поставила тарелку с обломками котлет, с макаронами, с кашей и картошкой, наваленными будто поросенку, и, не зная, чем отблагодарить замечательную такую девушку, я сказал:

— Я знаю, как вас зовут.

— Как же? Ишь ты, угадал! — удивилась она и вытерла чистеньким фартучком пот с лица. — Матери-то нету? И отца нету? Вот горе-то! Да иду, иду! И причесаться не дадут! — откликнулась девушка на чей-то голос. Она всем была необходима. — Ну, ты ешь, ешь... — Для виду поправляя прическу под белым козырьком, еще ярче оттеняющим и без того красивое лицо, Аня побежала выполнять свою работу.

«Старухи молотят языком, будто черный глаз урочливый, недобрый и люди черноглазые очень даже опасные. Вот и верь им после этого!» Почему-то вспомнилось: были ведь и у меня две сестренки да умерли, не повидав ладом свету, не намаявшись в этой жизни. Хоть одна из них была бы, непременно была бы такой же доброй и красивой, как Аня. Впервые в жизни коснулась моего сердца жалость к рано умершим, хотя и неведомым мне, близким людям, и еще возникло, укрепилось во мне решение: вырасту, буду стараться из всех сил быть добрым к людям, особенно к людям увечным и обездоленным, заведу себе хорошую одежду, завлеку девушку с карими глазами и, коли сладится, женюсь на ней.

— А спать тут не надо, миленький! Беги-беги! Поел и беги. Мне попадет от заведующей. — Аня легонько вытолкала меня, осоловелого от еды, из кабины. Перебарывая стыд и смущение, я пробормотал что-то извинительное, оттого что расслабился, чуть человека не подвел. Аня кивнула мне, обнадеживая на будущее.

Ночевал я ту ночь на чердаке театра. На трубы парового отопления положены щит, рогожа, клочья бумаг и рвань пыльных декораций. «Кандыбино гойно!» — догадался я и заставил себя надеяться, что друг мой сердечный, покрученник, как поименовал его дедок, утрюхает из милиции или из деддома и меня найдет.

Но прошел второй, третий день — Кандыба не объявлялся. Театр зорко стерегли пожарники — уж два сгорело, довольно! Пробраться на чердак становилось все труднее, «хазу» мою кто-то постоянно навещал. Из белой ниточки я делал настояжку, протягивал ее вниз, поперек притвора, и всякий раз, наведавшись «домой», находил нитку сорванной — дверь отворяли. «Вот так-то, миленький, легавенький, с наганом, кучерявенький! Какой-никакой все же охотник и рыбак — соображаю!»

Однако на душе становилось все тревожней. Лежа в чердачном, пыльном гойне, я приближенно, у самой головы слышал шуршание снега, завывание ветра в пустынной ночи и как-то не выдержал, распричитался. Правда, причитания пробовал превратить в шутовство, но не быстро получалось: «О-о, Ндыбакан, Ндыбакан! Где ты есть-то? Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий ты один мне был поддержкой и опорой! Я ведь на чердаке, в твоём старом гнезде леплюся. Совсем один, паря! Одному худо. Спозабыт-спозаброшен с молодых, юных лет! Загнусь, поди-ко, скоро...»

И чтоб не разрыдаться вслух, продекламировал ту непонятную муру, как я тогда считал, которую силком заставляли учить в школе, прямо-таки вталкивали ее в башку: «О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Ты один мне поддержка и опора! — Я расхотался и харкнул во тьму: — На кой он мне, хоть русский, хоть тунгусский, если не с кем поговорить? Сопли слизывать да слезы? Потекли вон...»

Та ночь была длинная, тягостная. Наревевшись до полной потери сил, я долго не мог уснуть, лежал, глядя в густую тьму чердака, и ничего, кроме пустоты, вокруг не чувал. Не пугали даже жуткие видения, так мучившие меня в прошлые ночи, не сжималось сердце от скрипов, шелеста чердака, шевеления снега.

Но на лобой земле, в любом живом уголке наступает тот час, когда черти перестают горами ворочать и небо

мучить, люди, что любили друг дружку, отлюбились, те, что мучили, устали мучить. И здесь, на этой Богом забытой земле, над театральным чердаком, изнутри похожим на скелет коня, немного поутихло. Где-то в полуденных краях солнце катилось к середине дня, на обед, здесь только-только наступало предрассветье, и хотя ангелы тут не водились из-за холодов, все же крыла их меня опажули. Я уснул.

Тревожные, нелепые сновидения тут же закружились во мне и надо мной. Одно сновидение особенно мучительно было: я искал дверь и никак не мог ее найти. Плешивого человека и генерала во сне видел — снятся же они только к неприятностям, и под кем лед трещит, а под нами ломится. Сон вышел в руку.

В центральной столовке не оказалось «моей» Ани. Я долго вертелся возле умывальника, в раздевалке, ждал ее, по сердцу, откованное беспокойной жизнью, наполненное предчувствиями и страхами, подсказывало: нет, не дожидаться мне Анечки. На мой робкий вопрос раскормленная дармовым харчем тетка из раздевалки в натянутой на фуфайку столовской куртке, в валенках, разрезанных сзади, — не влезали икры в голенища, с мордой, которая не просила, прямо-таки требовала кирпича, ответила, подпершись пухлой рукой:

— Она теперь далеко-о-о-о! Гулял вчерась у нас зимовщик с Хеты, горстями деньги кидал, уманил ее за собой. Так што лафа твоя кончилась. Прикормила, вертижопка, а меня греют. Заведушша строга...

«Выдра ты, и заведушша твоя выдра!..»

Я побрел из столовки. Ноги притащили меня к парикмахерской. Наклонился, засветил спичку — насторожка на месте, но это почти не обрадовало меня. Будь насторожка хоть и сорвана, я бы все равно залег в избушке. Нагло, почти не таясь, натаскал я дров от кочегарки драмтеатра, ящичков от магазина и завалился в свою берлогу, голодный, сломленный, ко всему уже безразличный.

Какое-то время я еще поднимался подкидывать дрова в печку, но и это мне скоро надоело, вернее сказать, не было сил и охоты чего-либо делать. Один лишь раз еще взяла меня бешеная ярость, кинула из-за печки — где-то что-то стучало, скреблось, царапалось. Подумалось — это люстра качается под низким потолком, ударяет меня по голове, царапает в ушах, сверлит их ржаво. Я схватил полено и рубанул по люстре так, что звонко брызнуло во

все стороны. Прислушался — скрипело, сверлило уши, как и прежде. Осталось еще что-нибудь от люстры, я махнул во тьме поленом и свалился в яму, под вывороченный пол. Едва оттуда выбрался — вспышка ярости отняла последние мои силы.

• • •

«Счастье пучит, беда крочит», — говаривала дорогая моя бабушка Катерина Петровна. Расхворался я, сдал духом, мне стало жалко самого себя и захотелось умереть. Когда этакая напасть наваливается на бесприютного человека и яростная его сопротивляемость слабеет, он и в самом деле может умереть или наделать много всякой дури себе во вред.

Я лежал за печкой, завернувшись в шкуры, придавив себя сверху половиками. Уши шапки завязаны, драные рукавицы на руках. Над головой, под потолком и во дворе все выло, все стучало. В печи дымился сырой чурбак, изредка чихая так, что печка вздрагивала и в прогорелой трубе видно было сыпанувшие вверх искры. Дрова у меня кончились. Поднимался я из берлоги лишь по нужде, мочился в угол, выворачивал остатные половицы, нехотя крушил их слетающей с топорича секирой, постепенно подбирался к печке. На последнюю очередь я наметил стол, чурбаки, заменившие сиденья, там уж будь что будет. Мыши перестали являться в мое жилище: вскрывши пол, я засветил их норки, да и поживы не стало возле меня совсем никакой. От голода не то что сосало нутро, прямо-таки ломило живот, ребрами его сдавливало, и где-то там, в пустоте, скатывался под грудью и твердел комок. «Смерть гнездо из костей вьет с камешком в середине...»

Когда-то в родном селе катал я с ребятишками мячики из коровьей шерсти с камешком в середине..

Неужели было это «когда-то»? Деревня, русская добрая печка, связки луковиц по стенам, запах вареной картошки и закисающей капусты, с кути дух горячего хлеба, бабушка Катерина Петровна, дедушка Илья Евграфович, займка па Усть-Мане, весна, ярко цветущая луковка в горшке, новые штаны, лохматый Шарик, кошка-семиковрижница, Санька-разбойник, дядя Левонтий, деревенские, бойкие в лесу и на реке парнишки...

Где все это? Где? Если и было, то у другого какого-то человека, вруши-хохотуши, на язык бойкого, в играх и спорах заядлого...

Вот на таком-то краю погибели и застал меня Кандыба. Ввалился он, весь заспешенный, в мое убежище и ухнул в подземелье, брякнувшись костью о рыжую, пыльную балку, обнажившуюся из-под пола. Ругаясь, потирая хроющую ногу, выбрался ползком наверх, в новых валенках, в новой шапке и рукавичках, в пальтишке, неказистом с виду, но все же теплом, недраном. Хрустя стеклом, гость прошкандыбал к печи, поднял голову, поискал глазами люстру.

— Озверел?

Я ничего ему не ответил, даже головы к нему не повернул, смотрел в потолок и так стискивал зубы, что выдавливалась соленая кровь из ослабевших от цинги десен. Много мокра скопилось во рту и внутри у меня, стоит шевельнуться — кашель, слезы с хрипом и соплями вырвутся наружу, болью рванут нутро, высекут искры из глаз.

Кандыба достал из кармана два ломтя с сыром, слепленных холодом, и кинул их мне за печь. Я с трудом откусил корочку шатающимися зубами и пока валял ее во рту распухшими деснами, пока грел хлебушек на печке, Кандыба свертел сигарку, натрусив табаку из бедных бычков — где их в метель-то сыщешь? Вот весной, когда земля вытает, бычок взойдет густо, как трава. Подбросив щепок в печку, Кандыба прикурил и отчего-то грустно спросил, глядя на разгорающуюся печку:

— Где ошивался?

— На театре. У меня нынче весь почти сезон театральный, бенефис вот подошел!.. — Было за окном, сыпалось хрустко на стекла, что-то хлопалось под потолком, било по голове. — Стучит, стучит и стучит... Год стучит, век стучит!.. — Я схватился за голову, зажал уши. — В рот бы пароход, в зад баржу!..

— Банефи-ист! — покачал головой Кандыба. — Три дня не евши, в зубах ковыряет... — Он насадил покрепче топор, вышел на улицу. Донесся бряк топора. Перестало. Слух и сердце, болезненно сжавшись, ждали стука, но шуршал снег, метелило, выло, однако не стучало. И удушливое, беспомощное бешенство, почувствовал я, капля по капле утекало куда-то

Покрученник, друг мой верный, запоскрипывает ногой по мерзлым половицам, мы поговорим и, улегшись рядом, выспимся, добудем дров, еды, и все станет хорошо. Но Кандыба отчего-то не являлся. Я всполошился, хотел

бежать на улицу — упаси Бог снова остаться одному. Но дверь распахнулась, и я радостно заорал: «Не упади!» Кандыба прямо с порога бросил два ящика к печке, сам сиганул следом, удовлетворенно выдохнув:

— У «тройки» смарал! Банефист! — Глазенки Кандыбы смеялись, сияли — поглянулось ему новое слово.

— Бенефис, охламон!

— Банефист лучше! — хряпая ящики топором, возразил Кандыба. — Про баню напоминаст. — Он довел печку до гудения. — Когда в бане был последний раз?

— Не помню.

— Нас каждую декаду гоняют.

— То-то и сияешь! — Я утер нос до блеска измазанным рукавом пальтишка, сел, почти навалившись грудью на печку. — Думал, мент за мной охотится. Как ни приду — насторожки нету...

— Нужен ты менту! Им есть кого ловить. Понаряднее.

Мрачноват все же мой друг Кандыба, мрачноват, хотя и одет, и сыт, и в бане часто моеется, с лица желтизна пропала. Небось гложет, гнетет бродягу тоска по вольной жизни, будь она неладна!

— Ну, как твой новый дом? Родня как?

— Родня от старого бродня! — не принимая моего тона, буркнул Кандыба и стал шариться по избушке. Из щели подоконника выковырял бычок — сам и прятал когда-то, сильный бычок — половина «беломорины». Оживел корешок от такой находки, закурил, распахнулся. На нем рубаха свежая, хоть и неновая. — Дом как дом. Получше, правда, канского, из которого я летось мотанул. Побогаче. — Он затянулся по-взрослому умело, густо выдохнул дым, щурия глаз. — Воспиталки тоже всякие, есть дуры дурами, которые ниче, ходят в детдом все равно как на лесобиржу доски складывать. А которые и папой и мамой сразу быть норовят!.. Этих братва со свету сживает,— Кандыба до трубочки дососал бычок, защелкнул его в гнутую дверь печки, посидел недвижно, ровно бы забыв про меня, и неожиданно улыбнулся, так же, как в прошлые наши отрадные времена, всем лицом: быстрыми глазками, кругляшком носа, широкими губами. — Одна щебетунья-мамочка бегаёт, кудряшками трясёт: «Вороваць нехорошо! Дратся и ругаться нехорошо! Учицесь, деци! В этом ваша достойная благодарность за цёплую о вас заботу!..» Про великих людей трещит, какие они все были послушные, как все время помогали родителям, как ста-

рательно учились, примером были для всех.. Макаренку какого-то часто поминает. Не знаешь, кто такой?

— Писатель и педагог.

— Вон под кого она мазу держит! А умишка, ха-ха!

— Не стучит, — вслушиваясь в гул и вой ветра за окном, облегченно вздохнул я, прерывая рассказ Кандыбы. — Еще б постучало, я бы топором разнес все тут...

— Бывает. Ты вот чё: кидай хазу. Не переговорать в ней. Такая тут долгая зима, блиндар! Айда со мной. Бумажку не выбросил?

Я помотал головой — не выбросил.

— Да-да-а, брат, уж долгая так долгая! — я опустил голову, погрузился в раздумье. Кандыба терпеливо ждал. — В груди харчит, голову обносит, кашель бьет, аж искры из глаз секутся... Но... — Я хотел объяснить, что щетина вроде бы на спине у меня поднимается против казенного дома, против воспиталок-мамочек, хотя и слышал я о них только от него, от Кандыбы, но все равно знаю их. Очень уж много ласковых тетенок пыталось заменить мне мать: пряником, рублевкой, поношенной рубахой. Зная по опыту, что убогому возле богатых жить — либо плакать, либо тужить, я неуверенно добавил: — Попробую... С дедом рыбачил, может, еще порыбачу. Психованный он, да ничего, стерплю... терпел же...

«Привыкнет собачонка за возом бегать, так и за пустыми санями трусит», — сказать бы Кандыбе, но другой мой — человечина чуткая, он не хотел у меня отымать последнюю надежду — притулиться к кому-то родному.

— Ну-ну, ладно! Знай наших, поминай своих! — хлопнул себя Кандыба по коленям. — Я уваливаю. Обед скоро, после обеда «мертвый час», мамочки считают по головам. Ну я двинул. Если чё, ищи меня...

Этот парнишка давно перестал терзать себя пустыми надеждами на совместную жизнь и содружество с людьми, кроме беспризорной шпаны, которая была ему ближе всякой родни.

* * *

Я не сказал Кандыбе, что повстречал на улице мордастенького, ходкого сына бабушки из Сисима, Костьку — моего дядю. Невзирая на девятилетний возраст и суровые запреты матери и со всех сторон сыплющиеся на него колодушки, Костька курил, ловко выуживая папиросы из

нераспечатанных пачек старших братьев, Вани и Васи, не брезговал и бычками — этой вечной пищей безденежных и бродячих курцов.

За сбором бычков я и прихватил Костьку. Он обрадовался мне, сообщил, что дядя Вася как-то изловчился добыть документ и улетел на самолете в Красноярск, учить уму-разуму разметчиков и сортировщиков древесины.

— Ты приходи, — сказал Костька. Вид и слова его были обнадеживающими, Костька хотел надеяться, что на этот-то раз «наши» не откажут мне.

Ваня был на работе. Костька в школе. Дед Павел слеповал у обмерзшего окна, в звеньях которого маленько вытаяло, — починил старую мережку, опасливо побрякивая кибасьями. «Сяма», закутавшись в пуховую шаль, лежала в постели, смежив глаза.

Я стянул с головы шапку и поздоровался. Дед отвернулся к окну, ровно бы ничего его тут не касалось.

— Ково там опять чельти плинесли? — словно не услышав моего голоса, спросила бабушка из Сисима. Каждое слово она произносила с тихим, мучительным постапыванием. — А-а, — совсем уж умирающим голосом, в котором чуялась плохо скрытая досада, протянула она и приподнялась на руке. Отстранив шаль от лица, посидела, помолчала, спросила насчет отца и мачехи. Я ничего на этот раз не соврал.

— Чтоб он подох там в больнице, сволочь такая! — угодливо выругался дед Павел и приостановил работу, ожидая распоряжений насчет меня.

— Госьподи, Госьподи! И подохнуть не дадут! — бабушка из Сисима снова опустилась на подушку, забросила на грудь угол шали. — Чё стоишь тамока? Разболакайся, проходи... У дверей разболакайся, натрясешь ишшо...

Бабушка из Сисима привередница насчет чистоты. В барачной комнатухе все белоснежно, все блестит — бабушка подкладывает в известку соли, чтоб блестела. От порога до окна сплошь настелены половики, поверх половиков старые тряпицы и витые из лоскутья кружки лежат: чистые кастрюльки висят на стене, к которой прибита старая газета; одна тряпка для посуды, одна для утирки рук, полотенец несколько, у бабушки из Сисима и у Костьки отдельные. Вылизанная клеенка темнеет ломаными углами. На узком барачном окошечке мучаются два бескровных цветка — ванька мокрый и еще не знаю какой. Не зря так любят и ценят Питиримовы свою домра-

ботницу, которая охотно именуется прислугой. Дед вон какой смиренный сделался — осаврасила «сяма» и его, небось, в картишки забыл как играть? И впрямь не у всякого жена Марья, а кому Бог даст!

— Долго маячить у порога будешь? — прикрикнула бабушка из Сисима из-под шали, но вспомнила, что ей вредно волноваться, уже расслабленно распорядилась: — Ты-то чё пнем сидишь? Покорми ево...

Бабушка Катерина Петровна кричала на меня с утра до ночи, случалось, и порола, колотушек мимоходных я от нее добыл — не перечесть, а вот не было во мне при ней униженности и робости этой проклятой не было. Переминаюсь у порога, шапку, будто в церкви, стянул, под валенками натекло, впору кланяться.

— Я не хочу, спасибо!

Дед Павел словно того только и ждал.

— Не хочу.. не хочу! Проходи! Садись! — загремел он посудой на плите. — Кочевряжится еще!..

— Госьподи, Госьподи! И правда подохнуть не дадут. Каку чигунку-то открываешь, каку? — бабушка из Сисима слишком резво для человека, которому до смерти осталось всего разок дохнуть, вскочила с постели и шуганула деда от плиты. — Глаза-то есть у тебя?!

Дед буркнул: «Не глаза, а глаз!» — и с облегчением подался к окну — чинить мережу. Бабушка из Сисима, стеная, шевеля баптиком губ, все еще спелым соком налитых, натянула через голову фартук и принялась хозяйничать возле плиты. Она готовила вкусно, блюда церковную опрятность во всем, и от других людей добивалась того же. Боже упаси накапать на стол — тут же схватит тряпку и вытрет клеенку перед тобой, да с таким видом, что больше не только капать, есть не захочется.

Между прочим, маленький чугунок был с Костькиным супом. Для своего единственного сыночка бабушка из Сисима готовила отдельно, отдавала ему что «повкуснее», принося с питиримовской кухни недоедки, лакомства, посланные докторшей «маленькому Костеньке». И как же он, «лизик» и «самоздравец», «отблагодарит» свою мать за доброту? Страшно кончит жизнь бабушка из Сисима со своим сыночком. Если и найдется на всем свете родной ей человек, которого бабушка из Сисима будет встречать словами: «Шолнышко ты мое!» — так этот человек, напяливая шапку на окоростелую от ногтей голову, с горем скажет в ту далекую пору:

— Правда не хочу. Ел недавно.

— Чё ель? Чё ель? Ково оммануть-то хочешь? Садись да хлебай! Тебе ли купороситься?

И то правда: мне ли купороситься? Надо садиться, хлебать суп. Я должен помочь деду с бабушкой из Сисима проявить «доброту». Это их успокоит, очистит совесть перед Богом — на поминках в деревнях напослед ставят кисель перед надоевшими, досадными людьми, называется тот кисель «выгоняльным». Киселя у бабушки с дедом нету, вот мне и выставили суп-вылупку.

Знают они, хорошо знают — кто сирых питает, того Бог знает. Заповедь Христову: «Оденем нагих, обуем босых, накормим алчных, напоим жаждущих, проводим мертвых — и заслужим царствие небесное» — помнят, вот и стараются изо всех сил выполнить заповедь-то, только так, чтобы не накладно было. Одни несут на могилки тех, кого сводили со свету, крашенные яички, крупку сыпят, цветки кладут на твердую землю, тычут в озеленелые подсвечники копеечные свечки в душных церквах, суют в цепкие пальцы нищих пятаки; другие соорудили в сибирских дворах оконца на воротах, выставляют туесок с квасом, зобенку с солью, каравай хлеба — для «страждущих, нищих и бездомных», умиляя этакой «благодатью» «знатоков кондового быта». А по мне — они просто дешево откупаются от беглых каторжников, бедовых людей, чтоб те не вломились под крышу и не унесли больше, как откупаются вот теперь от меня супишком бабушка из Сисима с дедом Павлом.

Сидят, помалкивают благодетели мои, я хлебаю теплый прокисший суп. Дед Павел снует деревянной иглой и дымит трубкой, как пароход, что лица не видно. У меня никакого раскаянья нет, что я снял налимов с его подпунков. По другую сторону стола полулежит на кровати бабушка из Сисима, кутаясь все в ту же пуховую шаль.

— Ешь, ешь, не торопись, — бабушка из Сисима видит, что я не тороплюсь, не могу торопиться, забило мне горло дресвой слез, не лезет в него кусок. — И чё он кулит и кулит табачище свой клятый? — отгоняя дым рукою, прячась от меня, ворчит бабушка. В забывчивости засмоливший трубку дед Павел сунул палец в сипящий ее зев, и трубка, пикнув, умолкла, только из-под ногтя деда синенькой волосинкой сочится дымок. — Шел бы на улку и кулил бы, сколько влезет! — пилила деда Павла бабуш-

ка из Сисима. — Сельце чисто все занялося, на лекальствах дельжусь.

Все это бабушка из Сисима говорила деду, но слова-то пазначены мне — понимать должен: за всеми надо ухаживать, обмывать, обшивать, накормить, у Питиримовых дел невпроворот, износилась она в работе, умаялась, а года легят...

Да-а, летят года-годочки! Мне кажется, я уже сто лет среди людей ошиваюсь, обмялся, нюх у меня сделался — спасу нет! Всякое слово взаболь принимаю: на том конце города рукавицы украдут, я на этом краснею! Во мне вроде бы клубок из жил и нервов скатался, по всему нутру щетина выросла. И ощетиненным нутром я не приемлю копеечной доброты, но, мучаясь, недоумеваю, изо всех сил пытаюсь и не могу понять, как эта вот самая бабушка из Сисима отправилась в неведомые, полунощные края с малыми, чужими, считай, детьми, и как она сама, выросшая в сиротстве, и за одно это благоговел я перед нею, как это она, подкормив себя и семью докторскими обедами, забыла, сумела забыть день и час, когда, изувеченно ломаясь в поясице, кланялась люду, оставшемуся на Овсянском берегу, прижимая вцепившихся в юбку ребятшек, не в силах чего-либо молвить, тыкала в них пальцем, слепыми от слез глазами спрашивала людей, что она станет с ними делать в чужом краю, среди чужих людей?

— Спасибо! — выбираясь из-за стола, я с облегчением отметил: на клеенку не накапано. — Больше не хочу.

Дед Павел, отвернувшись, посасывал незажженную трубку, она у него не то простуженно, не то обиженно сипела. Бабушка из Сисима, отвернувшись, шарилась в кошельке, шуршала деньжонками, выбирая для «сиротки» рублишко. И чтобы хоть этой милости избежать, чтоб еще раз не выжимать из себя благодарности, я толкнул обитую стеженным тряпьем дверь:

— До свиданья!

«До свиданья! До свиданья!» — я прятал мокрые глаза в засаленный воротник холодного пальтишка. Говорят, сиротская слеза — самая тяжелая, и канет она не на землю, па человеческую голову. Чертовщина какая-то заключена в этом или злое совпадение — не дано мне знать, но четыре месяца спустя дед утонет в Енисее, и жизнь бабушки из Сисима очень изменится. Тогда я не мог, конечно, знать этого, просто брел в какую-то морозную пустоту, а в памяти моей и перед глазами вертелся полосатый

зверек — бурундук. Он сидел на мамином кресте, делал вид, будто умывается, на самом же деле навораживал беду.

Нет мне удачи и, видно, не будет; удача — говаривал картежник дед Павел — вроде очка, выпадает редко, чаще недобор или перебор, и вся житуха есть игра в три листа: рожденис, жизнь и смерть. Разница в том, сколь сроку выпадет, пока сдает судьба карты...

* * *

Негоропливо, словно собираясь на долгий таежный промысел, я все уложил, припрятал в жилище топор, пилу, ведро, ложки, банки, фонарь, завернул в половики подушку, пыльные ремки, бывшие когда-то одежкой, шкуры маральи и собачьи, все уже вышеркавшиеся, затолкал в мешок из-под картошек — вернется отец из больницы, пусть и не своим, как говорится, деткам отец, а все же человек, спать где-то и на чем-то надо. Бабушка Катерина Петровна говорила, что, если б мама была живая, не скитались бы мы по свету и отец прибран, догляжен, не распущен был бы.

Я подмел уцелевшие половицы, сгреб щепье, мусор и перья в печку, веник тоже в печку сунул — никуда уж он не годился, давно подобрал возле городской бани, весь исхвостанный. Сверх веника туго натолкал мелко рубленого макаронника, искал еще какой-нибудь работы — ее не было. Тогда я присел на чурку, как это делается перед дальней дорогой, пощупал под рубахой бумажку, именуемую направлением, достал ее, попытался расправить — не получалось, бумажка успела сморщиться и полинять, однако печать и решительную подпись «зав. город» на ней разобрать еще можно было.

Тихо, студено, сумрачно в моей обители, занесенной по самую крышу снегом. Из-под вывороченных половиц подвалом несет. Дни все еще короткие, время сонное, хотя и повернуло на весну. Наступил март. Где-то в российских краях, которые я не видел, но уже тосковал по ним и родственно болел ими, ростепель, с крыш капает, дороги порыжели, утрами сосульки на солнце горят, в оврагах пучится серый снег, скоро тронутся в весну ручьи, зальет водою землю. Села, хутора, овчарни, пасеки, кордоны, даже российские города рассыпанно поплывут по струйной быри, опоясанной теньями облаков, и впереди всех головным стругом с крестом иль флагом на маковице белой лебедью будет плыть по воде выстоявшая против всех

невзгод и напастей церковь с певучей и без колоколов колокольной.

И в Овсянке, в моем родном селе, на первых потайках играет в бабки ребятыня, гомонят птички, старухи вербу освящают, на увале, может, лохматые подснежники зацвели, бабушка Катерина Петровна выставляет рамы. Скворцы, кулики, плишки на подступах к нашему селу, зяблики, сипицы, снегири уже частят на вершинах елей. А здесь все так еще серо, так завалено снегом, придавлено низким небом, что не просачивается в окно ни единая живая искорка, никакой птичий голосок, даже трудно верится, что есть где-то весна, что доберется она до этих мест.

Я выштал гвоздь из стены, болтом, валявшимся в хламе, прибил дверь в притворе к косяку — на всякий случай, подергал за ручку — не открывалось, и отправился кружным путем по городу, прощаясь с ним и с тем отрезком жизни, который я провел в нем.

Он жил своей жизнью, этот запавший в снега городишко. Он миновал еще один день на пути к весне и погружался в тягучие, оловянно-тяжелые сумерки, которые невидимо глазу перейдут в ночь, ночь будет длиться, длиться нудно до тех пор, пока не выльется на землю простоквашная жидкость рассвета.

Я спустился на протоку, с нее по плотно прикатанному лыжами снегу забрел в Медвежий лог, где на зимнем отстое занесенные до бортов бугрились пароходы, катера, баржи, и среди них «Москва» и «Молоков» — знаменитые портовые тудяги.

Весна только-только пускала распары, проходил спайный лед на Енисее, шевелил Губенскую протоку, еще снег лежал по улогам, и вода оставалась в берегах, еще несло муть, хлам, кусты и редкие льдины, а в устье Медвежьего лога, отбитые мысом и глыбами торосов, пускали дым в небо, сопели, парили машинами, бурлили винтом пароходы «Москва» и «Молоков».

Пароходами их называть, может быть, слишком смело. В местной газете именовались они обтекаемо — судами. Но для игарских ребятишек, да и для всех почти игарчан, они самоглавнейшие были пароходы. Водяные эти сооружения заметно отличались от других судов трубой — она у них была больше и выше, чем у всех остальных кораблей, и еще гудком — он был ревучей всех гудков в Игарском порту.

Построенные по одной и той же колодке, «Москва» и «Молоков» имели все же кое-какие различия. «Москва» была чуть женственней, если можно так сказать о машине. Она тоже чумаза, латана по бортам и поддону, с неровно выправленными обшосами, у одного якоря, торчавшего из носовой пюzdри, отломлена лапа, но на ее трудовой, сажею запорошенной трубе виднелись три полоски — две красные и посередине белая. Такие же полоски выведены по борту, по шесту-водомерке и по рулевой рубке, да и на четырех спасательных кругах «Москвы», форсисто развешанных по ту и по другую сторону рубки, различалось белое.

«Молоков» был что жук, черен, маслянист, на водомерке-шесте у него черные полоски и по борту черная, рубка выкрашена в коричневый цвет. На трубе «Молокова» тоже когда-то была полоска, но оказалась под таким непроницаемым слоем трудовой копоти, что труба сделалась словно голенище сапога, да и все на «Молокове» под один цвет рабочей спецовки, которую стирать уже бесполезно и бросать жалко.

Зная, с чего начинается жизнь в заполярном городе, понимая, что требуется народу, «Молоков», примеряя к стихиям молодецкие силы, налетел закругленным рыльцем на льдину и, содрогаясь корпусом, трубой и всем своим чумазым существом, давил ее, давил. Труд его казался игрушечным, однако льдина мало-помалу начинала шевелиться, разламываться на глыбы, выпирать шалашом посередине и в конце концов, обреченно прошелестев рыхлыми краями, трескалась по всему полю, разом на нее хлестала вода из всех щелей, пузыри веселыми мячиками выбуривали, «Молоков» пуще того налетал на льдину, таранил ее корпусом, напирал, почти затопляясь кормой, буйно при этом дымя трубой и шипя всеми отверстиями. Наконец последний ледяной кругляш оказывался в протоке, и, увидев, как подхватило и понесло к морям и океанам льдину, вместе с нею и стойкую зиму, вырвавшийся из плена, обалделый от простора, солнечного неба, манящих далее, в которых он никогда не бывал, «Молоков» давал силой ржавчиной засорившийся гудок, пробку из горла выкашливал, и вот вырывался пар тугим клубом, бодрый, совсем живой гудок приветствовал людей, город, извещая о весне и начале трудовой жизни на реке.

Ребятишки на берегу ревели, прыгали, махали руками. Из Медвежьего лога, рубя винтом ледяное крошево,

на всех парах вылетала «Москва» и мчалась навстречу «Молокову». С того и с другого парохода давали отбортовку белыми флагами, на мачтах кораблей поднимали красные флаги с серпом и молотом. Поравнявшись с «Молоковым», как на параде, приветствовала его «Москва» гудком несколько игривым и продолжительным. «Молоков» коротко гудел: «Привет!» — и следовал мимо, по стрежневой быри, как бы вдаль, но тут же круто разворачивался и спешил следом за «Москвой» в устье протоки, к мысу Выделенному — там корабли совместно приветствовали Енисей, косяки птиц, летящих на север, весну, солнце и все на свете.

Мгновенно и как-то совершенно незаметно корабли исчезали с глаз, ровно бы погружались в пучину.

«Молоков» и «Москва» отрулили в совхозный магазин на остров. Явятся они в протоку поздней ночью, кто-то кого-то поведет на буксире, крадучись причалят к обрывистому пустому яру и погрузятся в сон.

И хотя еще не поставлен дебаркадер, не поднят флаг навигации на мачте порта, еще нет в Губенской протоке никого и ничего, но раз вышли «Москва» и «Молоков» на полую воду, сходили по-братски в совхозный магазин, значит, в Игарку пришла навигация. Ничего, что иной раз игарчанин, содрогнувшись от гудка «Молокова», подскочит среди ночи: «Да чтоб тебе, окаянному, глотку завалило!» — скажет, за лето так притерпятся люди к гудкам, что и не замечают их.

Будто мураши, суегились портовые трудяги в протоке: везли речную обстановку — бакены, мигалки, щиты и прочее; тартали откуда-то полуразбитые плоты; спасали беспризорно несомые лодки и баржи; мчались на голоса тонущих людей; перевозили рабочих и школьников с острова; волокли в поселок Старая Игарка баркас с продуктами; вытаскивали из логов и учаливали к месту дебаркадеры и брандвахты. Сверху, случалось, дождь холодный хлещет, кидь — снег лохматый густым пером валит, свету белого не видать, всякая жизнь вроде бы остановилась на земле, но они, пароходишки портовые, не прекращают труда, нельзя им его прекращать, только чаще перекликаются: «Жив?» — «Жива?»...

Главная их работа начиналась с приходом морских судов. «Калоши», как презрительно именовали портовых трудяг дальние просоленные моряки, помогали учаливаться заморским гостям, выводили их, груженных, из протоки.

Любо-дорого смотреть было, как, деловито гукнув, «Молоков» пристраивался к океанскому надменному кораблю с одного бока, «Москва», фыркнув гудком, прилеплялась с другого. Пустив затяжные дымь, они поворачивали водяную махину куда следует. Вся уж корма у пароходиков в воде, будто деревенские конишки, уперлись они задними ногами в рыхлую пашню, поджилки у них дрожат, глаз на рубке кровяно налился, иностранный штурман что-то орет в рупор, показывая на трубку — ну, это понятно, хоть и по-иностранному, — вы, дескать, меня так уделаете, что и дома не узнают! «Молоков» и «Москва» всякого в жизни наслушались, ни на иностранную, ни на русскую брань они не отвечают, делают свое дело, стиснув зубы, и все. Но как отведут груженный транспорт в устье протоки, вытолкнут его в Енисей, гудком все же дерзко реванут чужаку: «Гуд бай! Чеши, проклятый буржуй!» Нашему же толстобрюхому лесовозу еще и флагом прощально махнут.

Правда, опытные капитаны, хоть наши, хоть исчужа, с «Молоковым» и «Москвой» отношений не портили. Ребята они миру, может, и незаметные, но порту позарез нужные. Спорить и ругаться с этой парой нельзя. Если шибко досадишь, возьмут да и за острова умотают, шуми тогда не шуми — ничего с ними не сделаешь, будешь мокнуть от причалов вдали. Начальник порта, вздыхая, разведет руками: у команды «Молокова» и «Москвы» порт в вечном долгу — за одни только сверхурочные они могут отдыхать не меньше года. В Карскую, так именуется навигация в Игарке, спали на «Молокове» и «Москве» час-два в сутки. Наутро, когда падет мерклый туман на округу, устало ткнутся в берег пароходишки, потому как места ни у каких причалов им вечно не доставалось, перестанут дымить, парить, лишь из свистка чего-то бело струится да тускло светятся сигнальные фонарики на мачтах — все остальное повержено сном.

Ладно, если шторма нет, если тихо на реке, а как задует «север», как поднимет волну, клади, как говорится, весла, молись Богу! Все живое спешит тогда скорее с Енисея в Губенскую протоку. «Москве» же и «Молокову» в непогодь самая работа. Катера, боты, парходы, даже океанские корабли набивались в протоку, жались к причалам, они, встречу буре, в открытый бой — волна через нос, порой и через трубу перехлестывает. Помстится иногда: все, конец! Но вынырнут пароходишки, гуднут, проверяя

жизнестойкость, и, объятые брызгами, дымом, шпарят дальше, бьются о волны грудью, глядишь, тянут откуда-то горемычное судно, раненое, гнущее, с перевернутой мачтой и безжизненной трубой. Ткнут его к аварийному причалу — и вновь наперекор бурям, выручать из беды суда и суденышки.

Однажды теплоход «Красноярский рабочий» заводил в Губенскую протоку караван. Заходить в нее сложно — она замкнута от игарского берега мысом Выделенным, от острова Полярного — крылато загнутой отнойгой. Караван был велик, барж в двадцать. Волной навалило хвостовые баржи на каменный мыс. Тревожно и угрюмо гудел «Красноярский рабочий», призывая на помощь. Откликнулись в первую голову «Молоков» и «Москва». Их било о борта барж, о каменя мыса, посрывало с них круги, трап унесло, повредило палубные надстройки. Но они кружились в кипящей воде, схлебывали волны, отжимая хвост каравана от камней, на которых громадами вздымалась вода, с треском ломая уже оторванную и опрокинутую баржу. Никто не мог сосчитать на берегу, сколько времени шла борьба за спасение каравана. Опрокинуло, разбило еще одну баржу с ценным грузом, но весь остальной караван удалось завести в протоку, учалить.

Все это время игарский народ толпился на берегу, больше всего, конечно, ребятишек — ждали развязки, переживали за героические корабли. Часа в два светлой северной ночи «Молоков» бережно привел к аварийному причалу «Москву». Она была полузатоплена, побита, ершилась ощепинами, кренилась на левый борт, труба ее не дымила.

Скорбно приняли парнишки чалку с «Молокова», слетали в дежурный ларек за водкой. Пароходные люди выпили по стакану водки, молча покурили, переоделись в сухое и стали осматривать «Москву». Парнишкам в знак признательности и особой минуты разрешено было побывать в машинном отделении уцелевшего в сражении корабля «Молоков».

Отделение было тут же — две ступеньки вниз. Всего две железные ступеньки! Но как отдалилось все от нас, как переменилась жизнь, приняв доселе нам неведомый облик.

Шедшая до сей минуты жизнь со всей своей обыденной примитивностью совершенно утратила интерес. Полумрак, таинственность, захватывающие дух, властвовали

внутри корабля, в котором и места-то было только для машин и топки. Где жили и спали люди, нам установить так и не удалось. Здесь пахло недром машины, горячим, потным, трудовым. Приостановились набрякшие силы, замерли какие-то изогнутые валы, трубки и патрубки, маслом смазанные медные колена, провода, рычаги, рычажки. Знаки и клейма были на валах и корпусе машины, в стеклянной банке, называвшейся маслоотстойником, пульсировала жидкость, из-под ног просачивался пар, и где-то совсем близко, ощутимая ногами и голым сердцем, хлопала вода. В топке тускло горел уголь, сипело, ворчало и ворочалось что-то в котле. Лампочки едва светились, круглые окошки закопчены, застарелый густой запах отработанного масла и полумрак создавали впечатление могущества этого ни с чем не сравнимого машинного мира.

Мы говорили шепотом и не лезли с вопросами к большому, с трубу ростом, механику, ходившему по машине в полусогнутом виде и в городе, на улице тоже не разгибавшемуся. Был он крепко огорчен гибелью боевой подруги, пошвыривал какие-то железяки, ворчал на полумертвого от усталости помощника и, когда мы ему чем-то досадили, так рывкнул, что нас, точно бумажных, подхватило и вытряхнуло на сушу. Скоро, однако, механик вышел на корму и милостиво послал нас за папиросами. Когда мы вернулись, он в знак благодарности и примирения сорвал с мачты вяленую стерлядку, кинул ее нам, и мы тут же ее благоговейно изгрызли.

«Москва» в тот сезон больше не работала, ее увели в Подтёсово на ремонт. Весной, к ребячьей радости, к радости города и всех людей на свете, она появилась принаряженная, покрашенная, с новым якорем и флагом. «Молоков» радостно заорал, дуром метнулся навстречу боевой подруге, чуть было не торнулся в ее бок, но, приблизившись, оробел — очень уж парядна и чиста «Москва». Однако боевая подруга сама милостиво подрулила к выключившему ход, выжидательно бултыхающемуся на воде «Молокову», тут, среди протоки, и побратались они, наши корабли.

Ребягня кричала «ура!», снова бросала кепки вверх; бабы, случившиеся на берегу, слезу пустили при виде такой картины; мужики успокоенно разбрелись по домам — жизнь шла дальше, шла как надо!

В тот раз, когда я ездил по Енисею и встретил девочку-ягодницу на пристани Назимово, сойдя на берег в Игар-

ке, — первым делом, конечно же, стал искать глазами на протоке любимые парходы, но возле причалов работали новые, мало дымящие, чистые и сильные суда. Никого не пугая гудками, размеренно, неторопливо и скучно они делали скучную причальную работу. Никто на них не обращал внимания, названия их не знал, да и не было у них названий — какие-то номера да цифры.

«Молокова» я обнаружил причаленным возле острова к звену матки — так называются на Енисее плоты. Он доставлял сплотки к лесобирже, где бревна лесотасками выкатывали в штабеля. Был «Молоков» совсем стар, обшарпан и уныл, вяло бурлил винтом, чуть дышал и не гудел вовсе.

На «Москву» я нечаянно наткнулся в Медвежьем логу. Разломившись корпусом, вросла она брюхом в болото, заваленное хламом лесозаводских отходов, в кору, обрезь, опилки, обросла ржавой осокой. Винта и машины на «Москве» не было, рубка скосбочилась, доски растрескались, окна перебиты, всюду мелом начеркана матерщина, но изгорелая труба парходика все еще пахла дымом, возле него играли в прятки и в «капитанов» малые дети.

...Не с кем больше прощаться в этом городе. Ничего не поделаешь, надо подаваться в детдом, к верному другу Кандыбе. Но я все же исхитрился отсрочить явку: не знаю, для чего и зачем приволокся к тому месту, где стоял старый драмтеатр. Белым медведем лежал на том месте бугор, из которого черной лапой торчала выветренная, собаками помеченная головня, трепало клоч старой припорошенной рекламы или обоев, серели ветром сметенные с дороги окурки и копоть, налетевшая из соседних труб, мышьяная строчка, едва завязавшись, обрывалась дыркой в руинах пожара, толсто укрытых снегом.

Путано, кружно, с задержками, будто заяц к кормному месту, приближался к «дому». Все казенное, начиная с ворожейных карт, по которым мне часто выпадал жуткий «белый домик», кончая больницей, милицией и детдомом, сильно пугало меня в ту пору. Неокрепшим, незаматерелым еще умишком я все-таки понимал: переступлю порог казенного дома, и начнутся большие перемены в моей жизни и судьбе.

К лучшему или к худшему те перемены, знать я тогда, конечно, не мог.

Долго отирался я возле пошатнувшегося барака, где располагался детдом. Недавно объединенный с интернатом, он постоянного помещения еще не обрел. Доносились гам, хохот и свист с протоки, где лихо каталась, нараскоряку прыгала с самодельных трамплинов городская братва, напористо галдели, безбоязненно лаялись там и курили детдомовцы, в самом доме чудился неумолчный гул, перебиваемый топотом или вскриком.

Из-за угла барака выкатилась на обледенелых валенках запарившаяся девчонка, от маковки до пят вывалившаяся в снег, споткнулась возле меня, вытаращила и без того выпуклые, с прозеленью глазищи:

— Табе кого?

— Кандыбу.

— Якого Кандыбу! У нас их четверо! У красном углуку один запертый сядит, можа, его? Ти песельника? Ти воруогу? Ти который недавно пришел?

Я смешался, запереступал на месте: оказалось, не знаю я имени друга, вот так да!

— Того, который недавно пришел... — наконец нашелся я, кивая на распахнутую дверь, толсто вмерзшую в желтые натеки.

— А-а, значит, Вальку! — У девчушки чудной выговор, он шел ей, кругломорденькой, крепенькой. Важничая, она подала мне варежку, знаком приказывая отрясти с нее снег.

Я отряхивал снег, стараясь не сшибить девчонку с ног, она стреляла в меня глазищами, улыбалась и, подмигнув, звонко чему-то рассмеявшись, юркнула в дощатые сени по раскатанному притвору.

«Пигалица! Еще совсем пигалица, шаромыжка, из четвертого, от силы из пятого класса, уже глазки строит! Ну и народ тут подобрался...» — Мысль эту я не успел закончить, дверь распахнулась, из нее выглянул, приветливо мне улыбнулся, хватаясь за косяки, взнял себя по раскату наверх Кандыба и, понимающе глянув на меня, как взрослый, подал и крепко пожал мою руку.

— Здорово! Как они там, «наши», поживают? — не дожидаясь ответа, он мотнул головой через плечо, на дверь сенок, исписанную бойкими струйками, примерзшими к ней. — Наши здесь, паря, живут! — И треснул меня для бодрости по спине: — Идем, что ли? Банефист! Бумажку не потерял?

Я катнулся следом за Валькой, одетым в казенную клет-

чатую рубаху, и на дверях казенного дома, в котором через мгновение мне предстояло очутиться, вместо вывески увидел мелом нарисованную, ухмыляющуюся рожицу с большими ушами, под которой красовалась размашистая, непечатная подпись, дальше городьбой стояли восклицательные знаки и в стороне, отдельно — крупный, сердитый, змеей загнутый вопрос.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН

Повесть в рассказах

Книга первая

Далекая и близкая сказка	8
Зорькина песня	22
Деревья растут для всех	26
Гуси в полынье	31
Запах сена	38
Конь с розовой гривой	52
Монах в новых штанах	71
Ангел-хранитель	105
Мальчик в белой рубашке	124
Осенние грусти и радости	129
Фотография, на которой меня нет	142
Бабушкин праздник	162

Книга вторая

Гори, гори ясно	198
Стряпухина радость	252
Ночь темная-темная	259
Легенда о стеклянной кринке	285
Пеструха	298
Дядя Филипп — судовой механик	326
Бурундук на кресте	335
Карасиная погребель	361
Без приюта	391

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том четвертый

Художественное оформление
А. Озеревской, А. Яковлева

Редакторы
А. Ф. Греницкая, М. В. Моисеева

Художественный редактор
Е. В. Корнеева

Технический редактор
Н. Н. Шабля

Корректоры
А. Ф. Пантелеева, Л. С. Павленко, В. Н. Ключина, Е. М. Гаврилина

Оператор компьютерной верстки
Л. С. Васьковская

ЛР № 010162 от 04.01.92

Подписано в печать 14.02.97. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная №1.
Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24.36. Уч.-изд. л. 24.57.
Тираж 10000. С—004. Заказ 63.

Отпечатано на производственно-издательском комбинате
«ОФСЕТ».

660049, Красноярск, ул. Республики, 51



